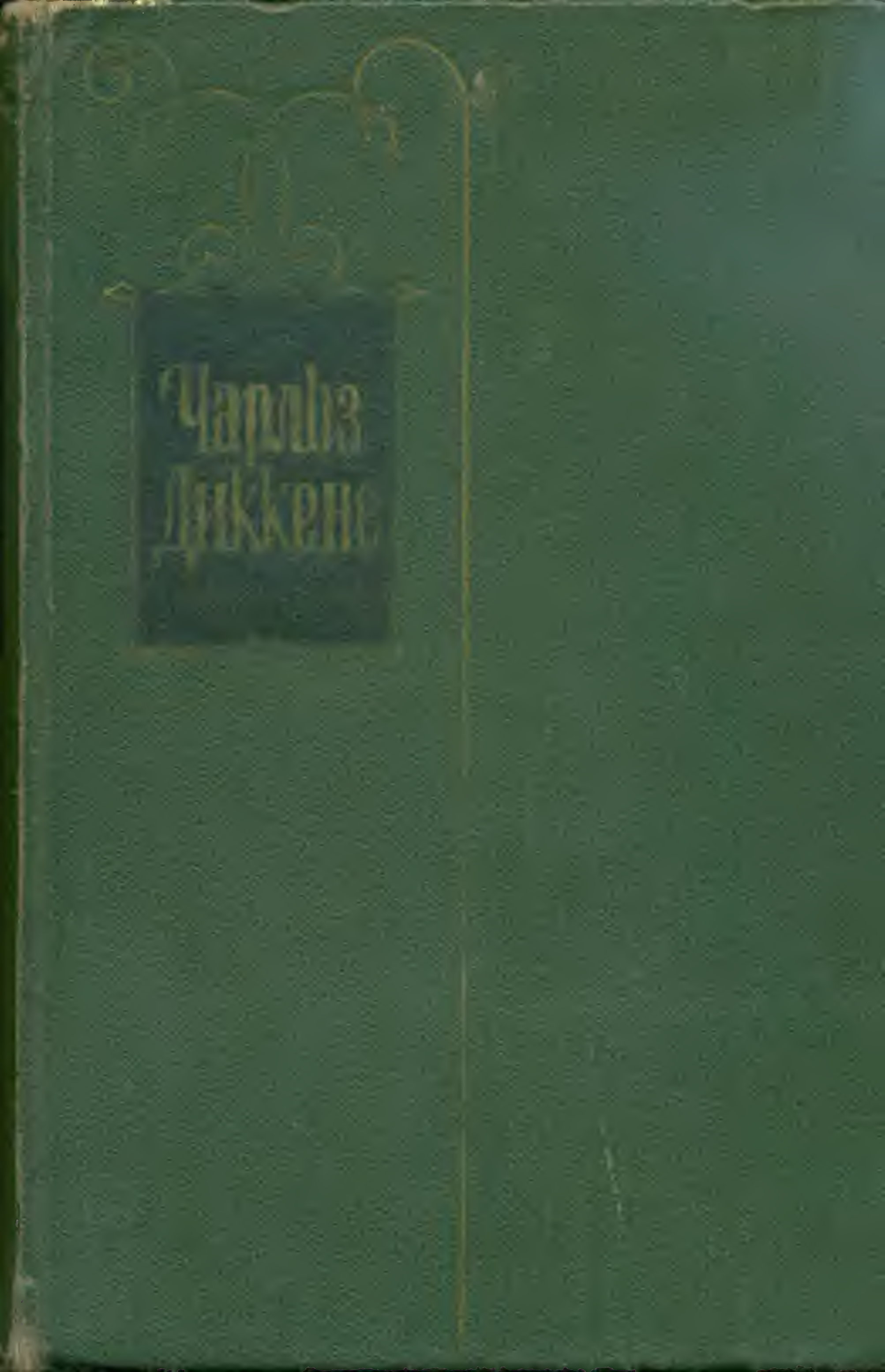

Чарлз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

ЧАРЛЬЗ

ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

НАШ ОБЩИЙ ДРУГ

Роман

Книги
первая и вторая

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ и Н. ДАРУЗЕС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1962

CHARLES DICKENS

OUR MUTUAL FRIEND

1865

Иллюстрации художника

МАРКА СТОУНА

НАШ ОБЩИЙ ДРУГ

КНИГА ПЕРВАЯ

Уста и чаша

ГЛАВА I

На ловле

В наше время, хотя едва ли стоит упоминать в каком именно году, между Саутуоркским мостом, построенным из чугуна, и Лондонским, построенным из камня, в один ненастный осенний вечер по Темзе плыла грязная и подозрительная с виду лодка, в которой сидели два человека.

Один из них был крепкий старик с лохматой седой головой и загорелым лицом, а другая — девушка лет девятнадцати — двадцати, смуглая и настолько похожая на старика, что в ней сразу можно было узнать его дочь. Девушка гребла, легко взмахивая веслами; старик не правил рулем: засунув руки за пояс, он зорко смотрел на воду. У него не было ни сети, ни удочки с крючками, и потому он не мог быть рыбаком; лодка была некрашеная, без надписи, без подушки для пассажира — в ней не было ничего, кроме ржавого багра да свернутой кольцом веревки — поэтому он не мог быть и лодочником; самая лодка была слишком неустойчива и мала для того, чтобы перевозить в ней грузы,— поэтому он не мог быть ни перевозчиком, ни бакенщиком. Непонятно было, чего именно он ищет на реке, но он чего-то искал настороженным и зорким взглядом. Час тому назад начался отлив, вода в реке убывала, и старик легким кивком головы указывал дочери, как вести лодку: то против течения, то по течению, обгоняя от-

лив и держась вперед кормой; он зорко вглядывался в каждую струйку, в каждый водоворот на широкой полосе отлива. Девушка следила за отцом так же настороженно, как он следил за рекой. Но в настороженности ее взгляда был заметен какой-то страх, даже отвращение.

Покрытая илом и речной тиной, вся разбухшая от воды и потому более сродни подводной, чем надводной стихии, эта лодка с двумя людьми в ней, по-видимому, делала свое привычное дело и искала то, чего издавна привыкла искать. Без шапки, взлохмаченный, с оголенными выше локтя загорелыми руками и сквозящей под космами бороды голой грудью, едва прикрытой концами кое-как завязанного шейного платка, старик глядел полудикарем, однако по его деловито-сосредоточенному виду заметно было, что это занятие ему знакомо с давних пор. Привычка к делу сказывалась и в каждом движении девушки, в каждом повороте ее гибкой фигуры, быть может, больше всего в ее взгляде, выражавшем страх и отвращение,— видно было, что все это для нее не ново.

— Прибавь ходу, Лиззи. Тут сильное течение. Постарайся его обогнать.

Положившись на ловкость девушки и уже совсем не правя рулем, старик сосредоточенно вглядывался в волны настигавшего лодку отлива. Дочь так же внимательно следила за ним самим. Но вот косой луч заходящего солнца случайно упал на дно лодки и, коснувшись темного пятна гнили, похожего на закутанное человеческое тело, словно залил его кровью. Девушка невольно вздрогнула.

— Что с тобой? — спросил отец, который сразу это заметил, как ни занимал его двигавшийся вместе с лодкой отлив.— По воде ничего не плывет.

Красный луч погас, девушка успокоилась, и старик, обернувшись на мгновение и окинув лодку быстрым взглядом, снова стал смотреть в воду. Там, где сильное течение встречало какую-нибудь помеху, его взгляд всегда задерживался. Алчно горящие глаза рыскали по цепям и канатам причалов, по стоявшим на якоре лодкам и баржам, за кормой которых течение расходилось веером, по быкам и устоям Саутуоркского моста, по колесам пароходов, взбивавшим грязную пену, по стянутым скрепами звеньям плотов, спущенных на воду около верфей. Прошло не меньше



часа, уже темнело, как вдруг старик взялся за руль и, круто свернув налево, стал править к сэррейскому берегу *.

Не спуская с него глаз, девушка послушно отозвалась на его движение, снова заработав веслами: лодка повернулась кругом, вздрогнула, словно от толчка, и старик всем туловищем перегнулся за корму.

Девушка натянула на голову капюшон плаща, закрыв им все лицо, и направила лодку вниз по реке, обгоняя отлив. До сих пор лодка вертелась почти на одном и том же месте, едва справляясь с отливом, теперь же берега быстро летели мимо: мелькнули сгустившиеся тени и загорающиеся огни Лондонского моста,— и с обеих сторон снова потянулись ряды кораблей.

Только теперь старик разогнулся и сел в лодке попрежнему. Руки его были мокры и грязны, он вымыл их за бортом. В правой руке он что-то держал, и это что-то он тоже прополоскал в реке. Это были деньги. Прежде чем положить монеты в карман, старик звякнул ими, подул на них и поплевал,— на счастье, как объяснил он хриплым голосом.

— Лиззи!

Девушка, вздрогнув, повернулась к нему лицом, но продолжала грести молча. Она сильно побледнела. Крючковатый нос старика вместе с блестящими глазами и взъерошенными космами волос придавал ему сходство с потревоженным стервятником.

— Открой лицо!

Она отбросила капюшон.

— Вот так! И давай мне весла. Теперь я сам буду грести.

— Нет, нет, отец! Я, право, не могу. Отец! Не могу я сидеть так близко к нему.

Он двинулся было к ней, чтобы перемениться местами, но, видя ее испуг, снова сел на место.

— Что он тебе может сделать?

— Ничего не может, я знаю. Только мне этого не вытерпеть...

— Ты, кажется, реки видеть не можешь.

— Я... я ее не люблю, отец.

— А ведь ты рекой живешь! Ведь она тебя кормит и поит!

Девушка снова вздрогнула и на минуту выронила весла: она была близка к обмороку. Старик этого не заметил — он глядел в воду, на то, что тянулось на буксире за кормой лодки.

— Как тебе не стыдно, Лиззи! Ведь река твой лучший друг. Уголь, который согревал тебя в младенчестве, и тот я вылавливал из реки, возле угольных барок. Корзинку, в которой ты спала, и ту выбросило на берег приливом. Даже качалку для твоей колыбели я сделал из обломка, выкинутого на берег волной.

Лиззи, положив весло, поднесла правую руку к губам и ласково послала отцу воздушный поцелуй. Но только что она взялась снова за весла, как вторая лодка, с виду очень похожая на первую, но не такая грязная, бесшумно выскользнула из тени и пошла рядом.

— Опять повезло, Старик? — криво ухмыльнувшись, спросил гребец, который был один в лодке.— Я так и знал, что тебе повезло,— заметно по следу.

— Вот как! — сухо ответил старик.— Значит, тебя уже выпустили?

— Да, приятель.

Теперь на воде лежал мягкий лунный свет, и человек во второй лодке, пропустив первую вперед на половину длины, стал пристально разглядывать след за ее кормой.

— Только я тебя завидел, сразу же сказал себе: «Вон Старик, и опять ему повезло, ей-богу повезло!» Это веслом задело, приятель, не беспокойся, я-то до него и пальцем не дотронусь.— Этими словами он отвечал на нетерпеливое движение старика и, подняв весло, ухватился рукой за край его лодки.

— Довольно уж его побило, Старик, хватит,— уж я-то вижу. Верно, давненько мотается по реке взад и вперед, а, приятель? Видишь, до чего мне не везет! Надо полагать, последний раз его пронесло мимо меня приливом, когда я сторожил вон там, под мостом. А ты, мне думается, издали их чуешь, словно коршун.

Он понизил голос и несколько раз взглянул на Лиззи, которая снова закрыла лицо капюшоном. Мужчины смотрели на след за кормой, словно околдованные, с выражением странного интереса.

— Вдвоем мы с ним шутя справимся. Забрать, что ли, его к себе, приятель?

— Не надо,— ответил Старик так резко, что «приятель», в недоумении поглядев на него, огрызнулся:

— Белены ты объелся, что ли?

— Да, объелся кой-чего,— ответил Старик.— С меня довольно! Какой я тебе «приятель»? Я тебе не приятель!

— С каких же это пор, мистер Хэксем?

— С тех самых, как тебя осудили за кражу. За то, что ты обокрал живого человека,— сердито и негодующе ответил Старик.

— А если б меня осудили за кражу у мертвеца?

— Мертвеца нельзя обокрасть.

— Как так?

— Так — нельзя. На что мертвецу деньги? Зачем это надо, чтобы у мертвеца были деньги? На каком свете находится мертвец? На том свете. А деньги на каком? На этом. Как же это может быть, чтобы деньги принадлежали мертвому телу? Разве покойник может владеть деньгами, нуждаться в деньгах, тратить деньги, разве он может хватиться своих денег или потребовать их? Ты лучше не путай, когда не знаешь, что правильно, а что нет. Да чего другого и ждать от труса, который норовит обокрасть живого человека.

— Я тебе расскажу...

— Ничего ты не расскажешь. А вот я тебе расскажу. Ты запустил лапу в карман матросу, живому матросу, и отсидел за это сущие пустяки — дешево отделался. Твое счастье, пользуйся, только не думай, что ты меня обведешь вокруг пальца этим своим «приятель». Прежде мы с тобой работали вместе, но больше уж не будем, ни теперь, ни после. Пусти-ка. Отцепись!

— Старик! Ты что, хочешь от меня отделаться таким манером?

— Не отделаюсь так, попробую иначе: стукну по пальцам перекладиной, а не то хвачу по голове багром. Отцепись! Греби, Лиззи! Греби живей, коли не хочешь, чтобы отец греб сам!

Лиззи налегла на весла, и вторая лодка скоро осталась позади. Старик, усевшись отдыхать в непринужденной позе человека, которому удалось отстоять свой кодекс мо-

рали и подняться на недоступную другим высоту, не спеша разжег трубку, закурил и стал разглядывать то, что было у него на буксире. То, что было на буксире, иногда словно рвалось прочь, иногда зловеще толкалось о лодку, а чаще всего послушно следовало за лодкой. Человеку неопытному могло показаться, что рябь над этим местом страшно похожа на гримасы безглазого лица, но Хэксем был не новичок, и ему ровно ничего не казалось.

ГЛАВА II

Человек неизвестно откуда

Супруги Вениринг * были самые новые жильцы в самом новом доме в самом новом квартале Лондона. Все у Венирингов было с иголочки новое. Вся обстановка у них была новая, все друзья новые, вся прислуга новая, серебро новое, карета новая, вся сбруя новая, все картины новые; да и сами супруги были тоже новые — они поженились настолько недавно, насколько это допустимо по закону при наличии новехонького с иголочки младенца; а если б им вздумалось завести себе прадедушку, то и его доставили бы сюда со склада в рогожке, покрытого лаком с ног до головы и без единой царапинки на поверхности.

Ибо все в хозяйстве Венирингов было натерто до блеска и густо покрыто лаком,— начиная со стульев в приемной, украшенных новыми гербами, и нового фортепьяно в нижнем этаже, и кончая новой пожарной лестницей на чердаке. И это бросалось в глаза не только в убранстве дома, но и в самих хозяевах: поверхность везде еще немножко липла к рукам и сильно отдавала мастерской.

Чета Венирингов являлась источником постоянного смятения для одного безобидного предмета обеденной сервировки, который двигался словно на шарнирах, а по миновению надобности содержался над конюшней на Дьюкстрит, возле Сент-Джеймс-сквера. Этот предмет сервировки именовался Твемлоу. Как близкий родственник лорда Снигсворта он пользовался большим спросом, и обеденный стол во многих домах просто невозможно было себе представить без Твемлоу.

Мистер и миссис Вениринг, например, составляя список гостей, всегда начинали с Твемлоу, а потом уже прибавляли к нему и других приглашенных, словно доски к раскладному столу. Иногда стол составлялся из Твемлоу и шести прибавлений, иногда из Твемлоу и десяти прибавлений; иногда, на парадных обедах, доходило и до двадцати прибавлений. В торжественных случаях супруги Вениринг сидели посередине стола, один напротив другого, так что сравнение оставалось в силе: чем больше прибавлений делалось к Твемлоу, тем дальше он оказывался от середины стола и тем ближе либо к буфету на одном конце комнаты, либо к оконным гардинам на другом.

Но не это повергало в смятение слабую душу Твемлоу. К этому он давно привык, и это было ему понятно. Бездна, глубин коей он не в силах был постигнуть, пучина, откуда всплывала вечно тяготившая и мучившая Твемлоу загадка, таилась в невозможности решить вопрос, самый ли он старый друг Венирингов или самый новый. Безобидный джентльмен подолгу ломал голову над этой загадкой, и в своей квартирке над конюшней и в холодной мгле Сент-Джеймс-сквера, весьма способствующей размышлениям. Так Твемлоу впервые встретился с Венирингом в своем клубе, где Вениринг не знал еще никого, кроме человека, который их представил друг другу и казался самым близким другом Вениринга, в действительности же союз их душ был скреплен всего два дня тому назад, когда они познакомились за обедом, в один голос порицая клубных старшин за возмутительно пережаренное телячье филе. Вскоре после этого Твемлоу получил приглашение отобедать у Венирингов — и отобедал: среди гостей был и клубный друг Вениринга. Вскоре после этого Твемлоу получил приглашение отобедать у клубного друга — и отобедал: в числе гостей был и Вениринг. Кроме него на обеде присутствовали: Член Парламента, Инженер, Плательщик Национального Долга, Поэма о Шекспире, Жалобщик и Представитель Министерства, по-видимому, все совершенно незнакомые с Венирингом. Однако вскоре после этого Твемлоу получил новое приглашение на обед к Венирингам, специально для встречи с Членом Парламента, Инженером, Плательщиком Национального Долга, Поэмой о Шекспире, Жалобщиком и Представителем Министерства, и за обедом

сделал открытие, что все они самые близкие друзья Вениринга и что их жены, которые тоже присутствовали на обеде, являются предметом нежнейших попечений и сердечных излияний миссис Вениринг.

Вот каким образом случилось, что мистер Твемлоу, сидя у себя на квартире, твердил, потирая лоб: «Не надо об этом думать. Тут у кого угодно ум за разум зайдет»,— и все же думал и думал и не мог прийти ровно ни к какому заключению.

Нынче вечером Вениринги дают банкет. Одиннадцать добавлений к Твемлоу, а всего за столом четырнадцать человек. Четыре осанистых лакея во фраках выстроились в прихожей. Пятый, поднимаясь по лестнице, возвещает: — Мис-тер Твемлоу! — с таким мрачным видом, будто говорит: «Вот и еще один несчастный тащится обедать — ну и жизнь!»

Миссис Вениринг приветствует своего милого мистера Твемлоу. Сам Вениринг спешит обнять своего дорогого Твемлоу.

— Вряд ли грудные дети интересуют мистера Твемлоу,— щебечет миссис Вениринг,— это такая скука, но все же такой старый друг семейства непременно должен взглянуть на малютку.

— Да, да, куколка,— говорит мистер Вениринг, с умилением кивая этому новому предмету обстановки,— ты, конечно, будешь сразу узнавать нашего лучшего друга, как только начнешь узнавать всех своих.

И он тут же знакомит дорогого Твемлоу с двумя своими друзьями, мистером Бутсом и мистером Бруэром, причем Твемлоу ясно, что хозяин дома и сам не знает, который из них Бутс, а который — Бруэр.

Но тут происходит нечто ужасное.

— Мис-тер и мис-сис Подснеп!

— Душа моя, Подснепы! — говорит мистер Вениринг своей супруге, с выражением живейшего дружеского интереса, в то время как дверь распахивается настежь.

Непрестанно улыбаясь, под руку с женой в комнату входит весьма солидный мужчина с выражением непроходимой наглости на лице и, бросив жену, немедленно устремляется к Твемлоу.

— Как вы поживаете? Очень рад с вами познако-

миться! У вас тут прелестный домик. Надеюсь, мы не опоздали? Весьма рад случаю, весьма рад!

Растерявшись от неожиданности, Твемлоу подается назад и дважды переступает своими сухими ножками в старомодных башмачках и шелковых чулочках, словно собирается перепрыгнуть через стоящий за его спиной диван, но солидный мужчина не дает ему ускользнуть и настигает его на полдороге.

— Позвольте мне,— изрекает солидный гость, пытаясь издали привлечь внимание своей супруги,— познакомить миссис Подснеп с хозяином дома. Она будет весьма рада случаю, весьма рада! — Сам он так свеж и бодр, что эта фраза тоже кажется ему неувядаемо свежей и вечнозеленой.

Тем временем миссис Подснеп, которой невозможно впасть в ошибку, ибо миссис Вениринг единственная дама в комнате, кроме нее самой, старается по мере сил оказывать поддержку своему супругу и, с сожалением глядя издали на мистера Твемлоу, сочувственно замечает миссис Вениринг, во-первых, что ее муж, должно быть, страдает разлитием желчи и, во-вторых, что малютка уже и сейчас похожа на него как две капли воды.

Едва ли кому вообще может быть приятно, что его приняли за другого; тем более мистеру Венирингу, который специально для этого вечера облачился в крахмальную рубашку, достойную молодого Антиноя * (белого батиста, с вышивкой, только что от швеи), отнюдь не лестно, что за него приняли Твемлоу, сухопарого, морщинистого и по крайней мере тридцатью годами старше. Миссис Вениринг тоже возмущена тем, что ее сочли за жену Твемлоу. Сам же Твемлоу чувствует себя настолько выше Вениринга по воспитанию и положению в обществе, что солидный гость кажется ему просто невежей и ослом.

Вениринг, видя такое затруднительное обстоятельство, сам подходит к солидному гостю и, протянув руку, с улыбкой уверяет неисправимого путаника, что очень рад его видеть, на что тот отвечает нимало не медля, со своей неизменной наглостью:

— Благодарю вас! Извините, я что-то не припомню, где мы с вами познакомились; но я все-таки очень рад этому случаю, очень рад!

Затем он набрасывается на Твемлоу, хотя тот упирается из последних сил, и тащит его к миссис Подснеп, чтобы представить ей в качестве Вениринга; но тут, с прибытием новых гостей, ошибка разъясняется. После чего Подснеп еще раз пожимает руку Венирингу как Венирингу, а Твемлоу — как Твемлоу и, к полному своему удовольствию, завершает все репликой по адресу последнего:

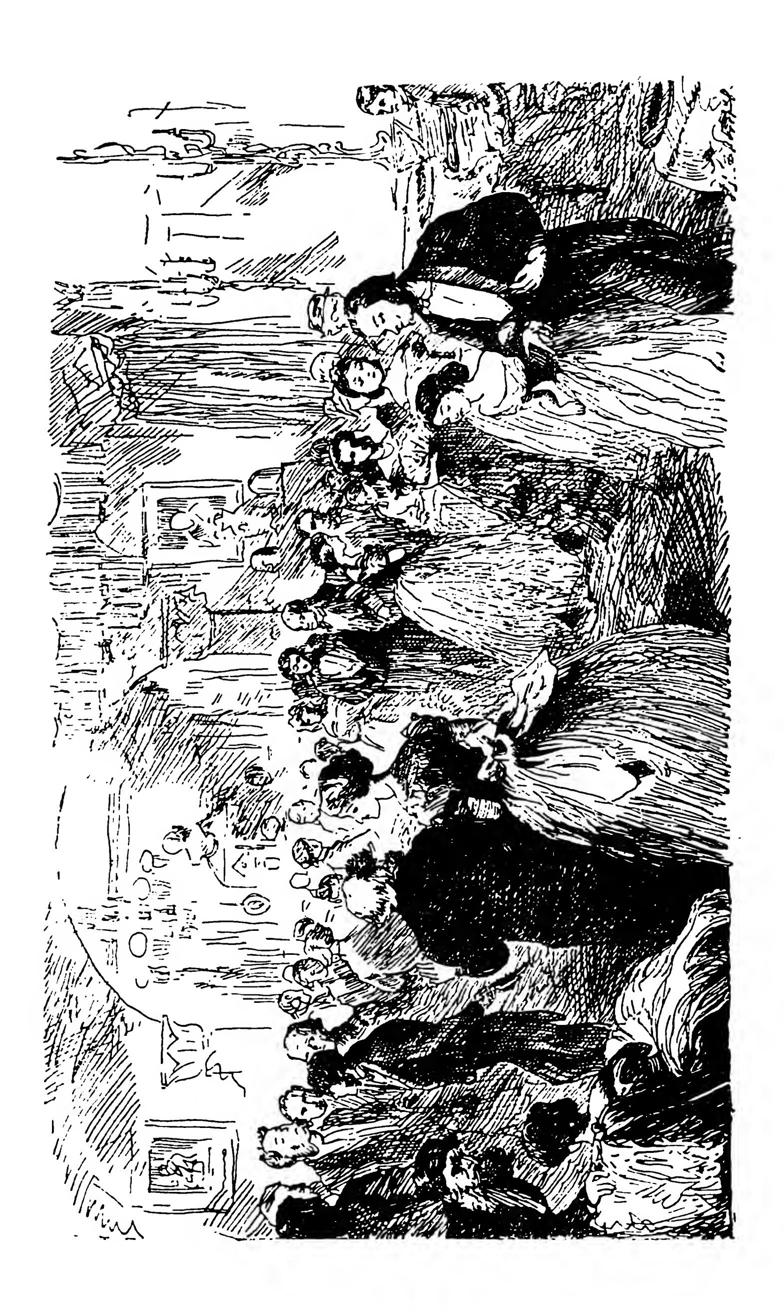
— Забавный случай, но все-таки я очень рад, очень рад!

После того как мистер Твемлоу пережил такое ужасное потрясение и имел случай наблюдать превращение Бутса в Бруэра, а Бруэра в Бутса, и кроме того видел, что из семерых гостей четверо наиболее осторожных входят в комнату, блуждая глазами по сторонам, и наотрез отказываются решать на свой страх, который тут Вениринг, пока он сам с ними не поздоровается,— после всех этих испытаний колеблющийся разум Твемлоу крепнет, и сам Твемлоу готов поверить, что он действительно старейший друг Вениринга. Как вдруг все рушится, и разум Твемлоу помрачается снова: взор его встречает Вениринга под руку с солидным гостем; они стоят рядышком, словно братья-близнецы, в малой гостиной, у входа в оранжерею, слух Твемлоу ловит замечание миссис Вениринг о том, что солидный гость уже согласился крестить их малютку.

— Кушать подано! — возглашает меланхолический лакей, как бы говоря: «Грядите в столовую, несчастные сыны человеческие, и вкусите отравы!»

Твемлоу, который остался без дамы, плетется сзади, хватаясь за голову. Бутс и Бруэр думают, что он захворал, и шепчутся: «Ослаб, должно быть. Еще не завтракал». Но он только подавлен загадкой жизни.

После супа Твемлоу оживает и мирно беседует с Бутсом и Бруэром о последнем номере «Придворных новостей». Когда подают рыбу, Вениринг обращается к нему с вопросом: «В городе ли его кузен лорд Снигсворт?» Твемлоу сообщает, что кузен сейчас за городом. «В Снигсворти-парке?» — осведомляется Вениринг. «Да, в Снигсворти»,— отвечает Твемлоу. Бутс и Бруэр делают вывод, что такое знакомство надо поддерживать, а Вениринг убеждается, что сделал ценное приобретение. Тем временем лакей об-



ходит вокруг стола, мрачный как химик, занимающийся анализом, и кажется, что, предлагая гостям шабли, он думает про себя: «Кабы вы знали, из чего оно делается, вы бы его и в рот не взяли».

Большое зеркало над буфетом отражает стол и сидящее за ним общество. Отражает новый герб Венирингов: золотой с серебром верблюд в разных видах: и матовый, без блеска, и полированный, с блеском. Геральдическая коллегия отыскала для Веniринга крестоносца-предка, который носил на щите верблюда,— или мог бы носить, если бы догадался об этом вовремя,— и теперь караван тянется по всему столу, нагруженный цветами, фруктами, восковыми свечами и становится на колени с грузом соли. Отражает Вениринга, брюнета лет сорока, с волнистыми волосами, склонного к полноте, изворотливого, загадочного и туманного — нечто вроде пророка под покрывалом, довольно представительного, но только без пророчеств. Отражает миссис Веніринг, блондинку с орлиным носом, орлиными пальцами и не слишком густыми волосами, блистающую шелками и драгоценностями, восторженную, благосклонную, вполне уверенную в том, что мантия пророка одним концом прикрывает и ее самое. Отражает Подснепа, отлично упитанного, с двумя полосками светлой щетины по обеим сторонам лысой головы, похожими более на щетки для волос, чем на самые волосы, с красными прыщами на лбу и широкой полоской измятого воротничка на затылке. Отражает миссис Подснеп, великолепный экземпляр с точки зрения профессора Оуэна: * сплошной костяк, шея и ноздри, как у игрушечной лошадки, резкие черты, величественная прическа, увешанная дарами Подснепа словно жертвенник. Отражает Твемлоу, седого, сухонького, подверженного простудам, в точно таком же воротничке и галстуке, как у первого джентльмена Европы *, с такими втянутыми щеками, словно он сделал когда-то попытку уйти в себя, да так и остался, не в силах двинуться дальше. Отражает пожилую молодую особу с черными как смоль локонами и цветом лица, который очень выигрывает от пудры, не без успеха пленяющую пожилого молодого человека, который отличается излишне крупным носом, излишне рыжими бакенбардами, излишне тесным жилетом, излишним блеском запонок, пуговиц, глаз, разговора и зу-

бов. Отражает престарелую очаровательницу леди Типпинз, справа от Вениринга, с серым непомерной длины лицом, словно отраженным в столовой ложке, и крашеным пробором,— весьма удобной дорогой к пучку фальшивых волос на затылке,— покровительственно беседующую с миссис Вениринг напротив нее, которая с радостью принимает это покровительство. Отражает некоего Мортимера, еще одного из старейших друзей Вениринга, который до сих пор ни разу не бывал в доме и больше бывать не собирается; его заманила сюда леди Типпинз (подруга его детства) с тем, чтобы он приехал к этим людям и разговаривал, а он сидит с безутешным видом по левую руку от миссис Вениринг и не желает разговаривать. Отражает Мортимерова друга Юджина, который погребен заживо в глубине кресла, за плечом пожилой молодой особы с эполетой из пудры, и находит утешение единственно в шампанском, которое время от времени разносит Химик. Наконец в зеркале отражаются Бруэр с Бутсом и остальные два Буфера, которых разместили среди прочих гостей в виде затычек, на случай возможного столкновения.

Обеды у Венирингов превосходные — иначе новые знакомые не стали бы к ним ездить,— и все идет как полагается. Достойны внимания опыты, производимые леди Типпинз над своим пищеварением, настолько сложные и смелые, что если бы опубликовать их результаты, то это было бы благодеянием для всего человечества. Нагрузившись провизией со всех концов земли, эта крепкая старая шхуна достигает, наконец, Северного Полюса и, в то время как убирают тарелочки из-под мороженого, произносит следующие слова:

— Уверяю вас, дорогой мой Вениринг...

(Бедняга Твемлоу подносит руку ко лбу, терзаемый опасениями, что самым старым другом Венирингов, пожалуй, окажется леди Типпинз.)

— Уверяю вас, дорогой мой Вениринг, что это очень любопытное дело! Я не прошу вас верить мне на слово, без самых надежных рекомендаций, как говорится в рекламах. Вот моя рекомендация — Мортимер, ему все это известно.

Мортимер приподнимает усталые веки и слегка приоткрывает рот. Но тут по его лицу проходит слабая улыбка,

говорящая: «Какой смысл разговаривать!» — И он снова опускает веки и закрывает рот.

— Ну, Мортимер,— произносит леди Типпинз, постукивая сложенным веером по костяшкам левой руки, состоящей как будто из одних костяшек,— я требую, чтобы вы рассказали решительно все, что вам известно об этом человеке с Ямайки.

— Даю вам честное слово, я ничего не слыхал ни про какого человека с Ямайки, разве только про того чернокожего, который человек и брат наш.

— Тогда с Тобаго *.

— И с Тобаго не слыхал.

— Разве только,— вмешивается Юджин так неожиданно, что пожилая молодая особа, совсем про него забывшая, вздрагивает и убирает подальше от него эполету из пудры,— разве только про нашего друга, который ничего и в рот не брал, кроме кашки и желе, но доктор что-то там сказал, и тогда он уписал... бараний бок, кажется.

За столом все оживляются, создается впечатление, что Юджин вот-вот разговорится. Впечатление обманчивое,— он опять замыкается в молчание.

— Милая моя миссис Вениринг,— говорит леди Типпинз,— скажите на милость, что может быть гнуснее такого поведения? Я везде вожу за собой своих поклонников, по двое и по трое зараз с условием, чтобы они вели себя преданно и покорно, а тут первый мой раб, глава всех прочих моих рабов, вдруг взбунтовался и сбрасывает оковы при посторонних! Да еще другой мой поклонник, правда, пока что неотесанный Кимон *, однако я не теряю надежды сделать из него что-нибудь порядочное, вдруг прикидывается, будто не может припомнить какие-то детские стишки! Нарочно, лишь бы рассердить меня, ведь ему известно, что я их просто обожаю!

Леди Типпинз упорно держится этой зловещей выдумки насчет своих поклонников. Ее всегда сопровождают один или два поклонника. Она ведет список своих поклонников и то вписывает в него нового поклонника, то вычеркивает старого поклонника, то заносит поклонника в черный список, то переносит поклонника в золотой список, то подсчитывает своих поклонников, то еще как-нибудь выставляет на вид свой список. Миссис Вениринг очарована

таким остроумием, сам Вениринг тоже. Быть может, оно действует еще сильнее оттого, что какой-то клубок все время катается у леди Типпинз под кожей на желтой шее, похожей на куриную ногу.

— С этой минуты я прогоняю коварного изменника, дорогая моя, и с этого самого вечера вычеркиваю его имя из Купидона (так называется моя книжка). Но я не отстану, пока мне не расскажут про человека неизвестно откуда, а так как сама я потеряла всякое влияние, то попрошу вас, душенька, добейтесь этого для меня. О коварный! — Это она говорит Мортимеру, постукивая зеленым веером.

— Мы все очень интересуемся человеком неизвестно откуда,— замечает Вениринг.

Тут все четыре Буфера, набравшись храбрости, говорят разом:

— Очень интересно!

— Это так волнует!

— Как драматично!

— Это человек ниоткуда?

И тут миссис Вениринг — так заражающе действуют обольстительные кривлянья леди Типпинз,— сложив руки на манер просящего ребенка, обращается к соседу слева и шепелявит:

— Плосу вас! Позалуста! Пло целовека ниоткуда!

Причем все четыре Буфера, словно движимые все разом какою-то таинственной силой, восклицают:

— Как можно устоять!

— Клянусь жизнью,— томно говорит Мортимер,— чрезвычайно затруднительно рассказывать, когда на тебя обращены глаза всей Европы, и я утешаюсь единственно тем, что все вы будете в душе проклинать леди Типпинз, когда сами увидите, что человек неизвестно откуда просто скучен, а это вы непременно увидите. Конечно, жаль разрушать романтику, прикрепляя его к определенному месту жительства, хотя я и позабыл, как оно называется, но, может быть, кто-нибудь другой здесь припомнит,— там еще выделывают вино.

— Фабрика ваксы Дея и Мартина,— подсказывает Юджин.

— Нет, не то,— невозмутимо возражает Мортимер,—

там делают портвейн. А мой герой оттуда, где делают капское вино. Да ты послушай, старина, ведь это не какая-нибудь статистика, а довольно любопытное дело.

Замечательно то, что за столом Венирингов никто из гостей не обращает внимания на самих хозяев, и если есть что рассказать, предпочитают обычно рассказывать кому-нибудь другому.

— Этот человек, по фамилии Гармон,— продолжает Мортимер, обращаясь к Юджину,— был единственным сыном прожженного старого мошенника, который нажил себе состояние на мусоре.

— В красном плисе и с колокольчиком? — спрашивает мрачный Юджин.

— И с лестницей и корзинкой *, если хочешь. Так или иначе, с течением времени он разбогател на мусорных подрядах,— а жил он в ложбине между горами, целиком составленными из мусора. На своем собственном небольшом участке этот старый брюзга насыпал свой собственный горный хребет, наподобие старого вулкана, а основой его геологической формации послужил мусор *. Угольный мусор, овощной мусор, костяной мусор, битая посуда, крупный мусор, просеянный мусор,— словом, мусор всех сортов.

Мимолетное воспоминание о миссис Вениринг заставляет Мортимера адресоваться к ней со следующими пятью-шестью словами, потом, снова забывшись, он обращает свою речь к Твемлоу, не находит в нем отклика и, наконец, вступает в общение с Буферами, которые принимают его с восторгом.

— Душе,— кажется, я правильно выразился? — этого образцового экземпляра доставляло высочайшее наслаждение проклинать своих близких родственников и выгонять их из дому. Естественным образом, он начал с того, что оказал внимание своей собственной жене, а затем, на досуге, смог заняться и дочерью, равным образом признав ее права. Он выбрал для нее мужа, считаясь единственно со своим собственным вкусом, но не с ней, и собирался уже закрепить за дочерью, в виде приданого, не знаю сколько мусора, но только неимоверно много. Когда дело дошло до этого, дочь почтительно сообщила, что она уже обручена тайно с тем весьма популярным персонажем, которого романисты и стихотворцы именуют «Другой»,

и что брак по выбору отца обратит ее сердце в прах и самую жизнь в мусор,— словом, заставит ее заняться делом отца в весьма широких масштабах. Немедленно вслед за этим почтенный родитель — как говорят, в холодную зимнюю ночь,— проклял ее и выгнал вон из дому.

Тут Химик (по-видимому, составивший себе весьма невыгодное мнение о рассказе Мортимера) уделяет всем Буферам понемножку красного вина, и те, опять-таки движимые все сразу некоей таинственной силой, медленно просмаковав его с особенной гримасой наслаждения, восклицают хором:

— Продолжайте, пожалуйста!

— Денежные ресурсы Другого оказались, как это обычно бывает, крайне ограниченны. Кажется, я нисколько не преувеличу, если скажу, что Другой вечно сидел на мели. Тем не менее он женился на молодой особе, и они поселились в скромном жилище, вероятно с крылечком, увитым жимолостью и каприфолием, где и жили до самой ее смерти. На вопрос, какая причина смерти была указана в свидетельстве, мог бы вам ответить только регистратор того округа, где находилось скромное жилище, но ранние тревоги и горе, конечно, тоже должны были сыграть свою роль, хотя о них ничего не говорится в графленых листках и печатных бланках. Несомненно, так же обстояло дело и с Другим: утрата молодой жены настолько его потрясла, что если он и пережил ее, то самое большее на год.

В ленивой речи Мортимера слышится некий намек на то, что если светское общество бывает способно в иных случаях растрогаться, то и он, принадлежа к светскому обществу, тоже может позволить себе эту слабость и растрогаться тем, о чем он здесь рассказывал. Он прилагает все старания, чтобы это скрыть, но безуспешно. На мрачного Юджина рассказ тоже производит впечатление: когда зловещая Типпинз объявляет, что, если бы Другой не умер, она отдала бы ему первое место в списке своих поклонников, а пожилая молодая особа улыбается и пожимает эполетами, внимая пожилому молодому человеку, который что-то шепчет ей на ухо, мрачность Юджина доходит до такой степени, что он начинает свирепо играть фруктовым ножичком.

Мортимер продолжает:

— Теперь мы должны возвратиться, как говорят романисты (и, по-моему, напрасно говорят), к человеку неизвестно откуда. Когда изгнали его сестру, он, в то время мальчик лет четырнадцати, воспитывался на медные деньги в Брюсселе и узнал об этом не сразу — от кого, не могу сказать точно, вероятно, от нее самой, так как их мать уже умерла. Не теряя времени, он бежал из Брюсселя и явился сюда. Должно быть, мальчик был находчивый и с характером, если сумел добраться домой, не имея даже пяти су карманных денег в неделю; однако это ему удалось, он явился к отцу неожиданно, как снег на голову, и заступился за сестру. Почтенный родитель немедленно прибегает к проклятию и выгоняет сына вон. Потрясенный и испуганный мальчик покидает родину и, отправляясь на поиски счастья, садится на корабль, а в конце концов оказывается на суше, там, где делают капское вино, владельцем участка, фермером, плантатором — называйте как хотите.

В эту минуту в прихожей слышится какое-то шарканье, затем раздается стук в дверь столовой. Химик идет к дверям, сердито пререкается с невидимым посетителем, должно быть, смягчается, узнав причину стука, и выходит из комнаты.

— И вот, совсем недавно, он вновь появляется на сцене после четырнадцатилетнего отсутствия.

Один из Буферов неожиданно изумляет трех остальных и, обособившись от них, спрашивает, проявляя некую индивидуальность:

— Каким образом появляется и почему?

— Да! Вот именно. Благодарю вас за напоминание. Почтенный родитель умирает.

Тот же Буфер, осмелев от успеха, задает вопрос:

— Когда?

— Не так давно. Полгода или год тому назад.

Тот же Буфер бойко вопрошает:

— Отчего же? — Но мгновенно увядает, ибо остальные три Буфера глядят на него холодно, и после этого вопроса уже решительно никто не хочет его замечать.

— Почтенный родитель умирает,— снова повторяет Мортимер и, вспомнив мимоходом, что за столом сидит некий Вениринг, впервые за все время обращается к нему.

Польщенный Вениринг важно повторяет его слова, складывает руки на груди и, разгладив морщины на челе, готовится беспристрастно выслушать все до конца, но тут же замечает, что снова остался в одиночестве среди холодного света.

— Находят его завещание,— продолжает Мортимер, встречая взгляд лошади-качалки, миссис Подснеп.— Судя по дате, оно составлено вскоре после побега сына. Один из мусорных хребтов, тот, что пониже, вместе с домиком у его подножия, предназначается старому слуге и единственному душеприказчику, а все остальное состояние — очень значительное — сыну. На тот случай, если б он ожил, он завещает себя похоронить со всякими эксцентрическими церемониями и предосторожностями, которыми я не намерен вам докучать, и это все, кроме разве...— и он умолкает.

Тут возвращается Химик, и все смотрят на него. Не потому, что он кому-нибудь нужен, но повинуясь хитрому велению природы, в силу которого люди пользуются малейшим предлогом глядеть на что угодно, только не на того, с кем беседуют.

— ...кроме разве того, что сын получит наследство только при условии, если женится на девушке, которая была ребенком лет четырех или пяти, когда писалось завещание, а теперь стала взрослой девушкой-невестой. Объявления и расспросы выяснили, что человек неизвестно откуда и есть тот самый сын; теперь он возвращается на родину, для того чтобы унаследовать большое состояние и жениться — и, натурально, себя не помнит от изумления.

Миссис Подснеп интересуется, привлекательна ли молодая особа по внешности? Мортимер ничего не может сообщить на этот счет. Мистер Подснеп интересуется, что станет с большим состоянием, если условие относительно женитьбы не будет выполнено? Мортимер отвечает, что в завещании имеется особый пункт, по которому состояние в таком случае переходит к вышеупомянутому слуге, минуя сына; а кроме того, если бы сына не оказалось в живых, этот же слуга стал бы единственным наследником.

Миссис Вениринг только что разбудила всхрапнувшую леди Типпинз, ловко направив через стол целый поезд тарелок и блюд к ее костяшкам, когда все, кроме самого

Мортимера, замечают, что Химик, возникнув за его спиной словно привидение, подносит ему сложенную записку. Из любопытства миссис Вениринг на минутку задерживается в столовой.

Мортимер, вопреки всем уловкам Химика, безмятежно смакует рюмку мадеры, даже не подозревая о наличии документа, овладевшего всеобщим вниманием, пока леди Типпинз (по привычке обеспамятев со сна) не припоминает наконец, где она находится, и, снова обретя способность узнавать окружающих, обращается к нему:

— Изменник, превзошедший Дон-Жуана, почему же вы не берете записку от Командора?

После чего Химик сует ее прямо под нос Мортимеру, который оглядывается на него и спрашивает:

— Что это такое?

Химик, наклонившись к нему, что-то шепчет.

— Кто? — спрашивает Мортимер.

Химик опять наклоняется и шепчет.

Мортимер, взглянув на него с изумлением, развертывает записку. Читает ее раз, читает другой, перевертывает и, разглядев обратную сторону, читает в третий раз.

— Записка получена как нельзя более кстати,— говорит Мортимер и с изменившимся выражением лица оглядывает сидящих за столом,— это конец истории моего героя.

— Давно женат? — догадывается один из гостей.

— Отказывается жениться? — догадывается другой.

— Приписка к завещанию, обнаруженная среди мусора? — догадывается третий.

— Да нет,— говорит Мортимер.— Замечательно то, что все вы ошибаетесь. Эта история гораздо обстоятельнее и, пожалуй, драматичнее, чем я думал. Он утонул.

ГЛАВА III

Другой человек

Дамские шлейфы уже исчезали из виду, поднимаясь из столовой в гостиную по лестнице, когда Мортимер, выйдя вслед за ними, повернул в библиотеку, полную новехоньких книг в новехоньких, густо позолоченных переплетах,

и выразил желание видеть посыльного, который принес записку. Посыльный оказался мальчиком лет пятнадцати. Мортимер смотрел на мальчика, а мальчик смотрел на процессию новеньких с иголочки кентерберийских пилигримов в массивной золотой раме с резьбой, которая занимала гораздо больше места, чем сама процессия.

— Чей это почерк?

— Мой, сэр.

— А кто тебе велел написать записку?

— Мой отец, Джесс Хэксем.

— Это он нашел тело?

— Да, сэр.

— Чем занимается твой отец?

Мальчик замялся и, глядя на пилигримов с упреком, словно по их вине попал в затруднительное положение, ответил, разглаживая рукой складку на правой штанине:

— Промышляет кое-чем на реке.

— Это далеко отсюда?

— Что далеко? — уклончиво переспросил мальчик, все так же глядя на шествие пилигримов в Кентербери *.

— Ваш дом?

— Порядочно, сэр. Я приехал в кэбе и не отпустил его, он и сейчас дожидается, чтобы ему заплатили. Если хотите, мы бы с ним и доехали, а потом бы вы заплатили. Я сначала зашел к вам в контору, по адресу, который нашли у него в кармане, а в конторе никого не было, один только мальчишка вроде меня, он-то и послал меня сюда.

Мальчик представлял собою смесь еще не выветрившейся дикости с еще не укоренившейся цивилизацией. Голос у него был грубый и хриплый, и лицо у него было грубое, и щуплая фигура тоже была грубовата; но он казался опрятнее других мальчиков его склада и глядел на корешки книг с живым любопытством, которое относилось не к одним только переплетам. Тот, кто научился читать, смотрит на книгу совсем не так, как неграмотный, даже если она не раскрыта и стоит на полке.

— Не знаешь ли ты, мальчик, были приняты какие-нибудь меры, чтобы вернуть его к жизни? — спросил Мортимер, разыскивая свою шляпу.

— Вы не стали бы спрашивать, сэр, если бы видели, в каком он состоянии. Легче было бы вернуть к жизни

воинство фараоново, которое потонуло в Чермном море *. Если б Лазарь сохранился вдвое лучше, и то уж было бы чудо из чудес *.

— Ого, мой юный друг! — воскликнул Мортимер, уже надев шляпу и оборачиваясь к нему,— кажется, в Чермном море ты как у себя дома?

— Слыхал про него в школе, от учителя,— ответил мальчик.

— А про Лазаря?

— И про него тоже. Только отцу не говорите! Дома нам житья не будет, если он узнает. Это все моя сестра устроила.

— У тебя, должно быть, хорошая сестра?

— Не плохая,— сказал мальчик,— только дальше азбуки ничего не знает, да и тому я ее выучил.

Вошел мрачный Юджин, засунув руки в карманы, и застал конец разговора: услышав, как пренебрежительно мальчик отзывается о сестре, он без всякой церемонии взял его за подбородок и повернул к себе лицом, чтобы разглядеть хорошенько.

— Ну, хватит, сэр! — сказал мальчик, вырываясь.— Теперь, я думаю, вы где угодно меня узнаете.

Юджин, не удостоив его ответом, предложил Мортимеру:

— Я поеду с тобой, если хочешь.

И все втроем они уселись в тот экипаж, который привез мальчика: оба друга (учившиеся когда-то в одной школе) внутри кэба, с сигарами в зубах, а посыльный — на козлах, рядом с кучером.

— Нет, ты послушай,— говорил Мортимер доро́гой,— я уже пять лет состою в списке адвокатов при Верховном Канцлерском суде, а кроме того, в списке поверенных при Суде Общего права и, если не считать бесплатных консультаций раза два в месяц по завещанию леди Типпинз, которой решительно нечего завещать, у меня не было и нет никаких дел, кроме вот этого романтического случая.

— А я,— отвечал Юджин,— вот уже семь лет как «допущен к делам», а никаких дел у меня еще не было и никогда не будет. Да если бы и подвернулись, я бы не знал, как их вести.

— Вот на этот счет мне и самому далеко не ясно, много ли я выиграл сравнительно с тобой,— невозмутимо возразил Мортимер.

— Ненавижу,— сказал Юджин, кладя ноги на противоположное сиденье,— ненавижу свою профессию.

— Тебя не обеспокоит, если и я свои ноги положу рядом? — спросил Мортимер.— Спасибо. Я тоже ненавижу свою профессию.

— Мне ее навязали,— мрачно сказал Юджин,— так уж считалось, что у нас в семье должен быть юрист. Ну и получили сокровище.

— Мне эту профессию навязали,— сказал Мортимер,— потому что считалось, что у нас в семье должен быть адвокат. И тоже получили сокровище.

— Нас четверо, и все наши фамилии написаны на дверях темной дыры, именуемой «апартаментами»,— сказал Юджин,— и каждый из нас владеет четвертой частью конторского мальчика — Касим-бабы в пещере разбойников,— и этот Касим-баба единственный порядочный человек из всей компании.

— Я живу в полном одиночестве,— сказал Мортимер,— подниматься ко мне надо по ужасной лестнице; окна выходят на кладбище, и мне одному полагается целый мальчишка, которому нечего делать, разве только любоваться этим кладбищем,— и что из него выйдет в зрелом возрасте — решительно не представляю себе. О чем он думает, сидя в этом грачином гнезде; замышляет убийство или подвиг добродетели, получится ли из него после этих уединенных размышлений что-нибудь на пользу ближним или, наоборот, во вред,— вот единственная крупица интереса, какую можно усмотреть с профессиональной точки зрения. Дай-ка мне огня! Спасибо.

— А идиоты еще толкуют насчет энергии,— сказал Юджин слегка в нос, откинувшись назад, сложив на груди руки и раскуривая сигару с закрытыми глазами.— Если есть во всем словаре на любую букву, от первой до последней, такое слово, которого я терпеть не могу,— это именно «энергия». Такая дикая условность, такая попугайная болтовня! Черт бы их взял! Что же мне, выскочить, что ли, на улицу, схватить за шиворот первого встречного богача, встряхнуть его хорошенько и приказать: «Судись немед-

ленно, собака, и нанимай меня в адвокаты, а не то тут же тебе крышка!» А ведь это и есть энергия.

— Именно так и я смотрю на дело. Но предоставь мне только удобный случай, дай мне что-нибудь такое, к чему действительно стоит приложить руки, и я покажу всем вам, что значит энергия.

— И я тоже,— сказал Юджин.

Очень возможно, что не менее десяти тысяч молодых людей произносили те же полные оптимизма слова в пределах лондонского почтового округа в течение того же самого вечера.

Колеса катились дальше; катились мимо Монумента *, мимо Тауэра, мимо Доков; и дальше, мимо Рэтклифа, мимо Ротерхита * и дальше, мимо тех мест, где скопились подонки человечества, словно смытый сверху мусор, и задержались на берегу, готовые вот-вот рухнуть в реку под собственной тяжестью и пойти ко дну. То среди кораблей, словно стоящих на суше, то среди домов, словно плывущих по воде,— мимо бушпритов, заглядывающих в окна, и окон, глядящих на корабли, катились колеса, пока не остановились на темном углу, омываемом рекой, а во всех прочих смыслах совсем не мытом, где мальчик, наконец, спрыгнул с козел и отворил дверцу.

— Дальше вам придется идти пешком, сэр, это всего несколько шагов.— Он обращался к одному Мортимеру, как бы умышленно обходя Юджина.

— Черт знает какая глушь,— сказал Мортимер, поскользнувшись на камнях, облитых помоями, как только мальчик свернул за угол.

— Вот тут, где светится окно, и живет мой отец, сэр.

Низкое строение, судя по внешнему виду, было когда-то мельницей. На лбу у него торчала гнилая деревянная бородавка, должно быть на том месте, где раньше находились крылья, но все строение трудно было разглядеть в ночной темноте. Мальчик приподнял щеколду, и посетители сразу же вошли в низенькую круглую комнату, где перед очагом, глядя на тлеющий в жаровне огонь, стоял человек; тут же сидела девушка с шитьем в руках. Огонь пылал в ржавой жаровне, не приспособленной для очага; простой светильник на столе, в горлышке каменной бутылки, похожей на луковицу гиацинта, горел неровным

пламенем, пуская копоть. Один угол занимали деревянные нары или койка, другой — деревянная лестница, ведущая наверх, такая крутая и неудобная, что больше походила на корабельный трап. Два-три старых весла стояли прислоненные к стенке, а дальше, на той же стене, висела кухонная полка, выставлявшая напоказ самую незатейливую посуду. Потолок был не оштукатурен, и те же доски служили полом для верхней комнаты. Очень старые, узловатые, все в щелях и заплатах, они придавали комнате мрачный вид; потолок, стены и пол, запачканные мукой, в застарелых пятнах плесени и сурика или другой краски, оставшейся еще с тех времен, когда помещение служило складом, казались в равной степени проеденными гнилью.

— Отец, вот этот джентльмен.

Человек у тлеющего огня повернулся и, подняв взъерошенную голову, стал похож на хищную птицу.

— Вы Мортимер Лайтвуд, эсквайр, так, что ли, сэр?

— Да, мое имя Мортимер Лайтвуд. То, что вы нашли... оно здесь? — спросил Мортимер, с некоторой робостью поглядывая на койку.

— Нельзя сказать, чтобы здесь, а неподалеку. Я все делаю, как полагается. Я уведомил полицию, полиция его и забрала. Одной минуты не было потеряно, ни с той, ни с другой стороны. Полиция уж и бумагу на этот счет напечатала, вот что там про него говорится.

Взяв со стола бутылку с горящим в ней фитилем, он поднес ее к стене, где висело полицейское объявление с заголовком: «Найдено тело». Оба приятеля читали наклеенное на стену объявление, а Старик тем временем разглядывал их самих, держа светильник в руке.

— Сколько я вижу, на этом несчастном нашли только документы,— сказал Лайтвуд, переводя взгляд с описания найденного тела на того, кто его нашел.

— Одни документы.

Тут девушка встала и вышла за дверь с работой в руках.

— Денег при нем не оказалось,— продолжал Мортимер,— кроме трех пенсов в заднем кармане сюртука.

— Три. Монетки. По пенни,— сказал Старик Хэксем, ставя точки после каждого слова.

— Карманы брюк пустые и вывернуты наизнанку.

Старик Хэксем кивнул.

— Это бывает. Приливом, что ли, выворачивает, не могу вам сказать. Вот и здесь,— он поднес светильник к другому такому же объявлению,— тоже карманы пустые и тоже вывернуты. И у этой тоже. И у того. Читать я не умею, да мне оно и ни к чему, я и так помню всех по порядку. Вот этот был матрос, на руке у него было два якоря, флаг и буквы Г. Т. Ф. Поглядите, так ли.

— Совершенно верно.

— А вот это была молодая женщина в серых башмаках, белье помечено крестом. Поглядите, так ли.

— Совершенно верно.

— Вот у этого была страшная рана над самым глазом. Вот это две сестрички, которые связались вместе платком. Вот это старый пьяница, в ночных туфлях и колпаке,— потом оказалось, что он вызвался нырнуть в воду, если ему наперед выставят четверть пинты рому, и в первый и последний раз в жизни сдержал свое слово. Видите, у меня почти вся комната ими заклеена, а я всех наперечет знаю. На это у меня учености хватит!

Он провел вдоль всего ряда светильником, словно это был символ его просвещенного разума, затем поставил бутылку на стол, зорко вглядываясь в посетителей. У него была одна особенность, свойственная некоторым хищным птицам: когда он хмурил брови, взъерошенный хохол надо лбом топорщился сильнее.

— Неужели вы сами всех нашли? — спросил Юджин.

На что стервятник ответил с расстановкой:

— А вы кто такой будете, ну-ка?

— Это мой друг,— вмешался Мортимер,— мистер Юджин Рэйберн.

— Мистер Юджин Рэйберн, вот как? А что мистеру Юджину Рэйберну от меня надо?

— Я вас просто спросил, сами ли вы всех нашли?

— А я вам просто и отвечаю: всех нашел сам.

— Как вы полагаете, многие ли из них были предварительно ограблены и убиты?

— Ничего я на этот счет не полагаю. Я не из тех, которые полагают. Кабы вы только тем и жили, что добудете на реке, так не очень-то полагали бы. Проводить вас, что ли?

Как только он отворил дверь, повинуясь кивку Лайтвуда, перед ними появилось очень бледное и встревоженное лицо, лицо сильно взволнованного человека.

— Нашли чье-нибудь тело? — спросил Старик Хэксем.— Или никак не могут найти? Что случилось?

— Я заблудился! — ответил человек, торопливо и взволнованно.

— Заблудились?

— Я... я здесь чужой и не знаю дороги... Я... мне надо разыскать дом, где находится то, что здесь описано. Возможно, я его опознаю.

Он задыхался и говорил с трудом, однако показал им экземпляр только что отпечатанного объявления, того самого, которое еще не просохло на стене. Быть может, по новизне бумаги или по ее общему виду Хэксем, со свойственной ему точностью наблюдения, сразу догадался, о чем идет речь:

— Вот этот джентльмен, мистер Лайтвуд, прибыл по тому же делу.

— Мистер Лайтвуд?

Наступило молчание, Мортимер и незнакомец смотрели друг на друга. Ни один из них не знал другого в лицо.

— Кажется, сэр,— нарушая неловкое молчание, сказал Мортимер с присущим ему непринужденным и самоуверенным видом,— вы сделали мне честь, упомянув мое имя?

— Я только повторил его вслед за этим человеком.

— Вы сказали, что не знаете Лондона?

— Совсем не знаю.

— Вы ищете некоего мистера Гармона?

— Нет.

— Тогда я, кажется, могу вас уверить, что вы напрасно себя утруждаете и не найдете того, что опасаетесь найти. Не хотите ли пойти вместе с нами?

Несколько поворотов по грязным переулкам, словно выброшенным на берег последним дурно пахнущим приливом, привели их к яркому фонарю у ворот полицейского участка; и там дежурный инспектор с пером и линейкой в руках заполнял какие-то книги так спокойно и прилежно, словно это было в монастырской келье, на вершине горы, и никакая пьяная фурия не билась с воплями в дверь ка-

меры где-то в глубине здания за самой его спиной. С тем же видом отшельника, погруженного в благочестивые размышления, он оторвался от своих книг и слегка кивнул Хэксему, окинув его недоверчивым взглядом, который явно говорил: «Ага, тебя-то мы знаем, смотри, когда-нибудь доиграешься!» — и дал понять мистеру Лайтвуду с друзьями, что он сию минуту ими займется. После чего он очень аккуратно и методически закончил свою работу (так спокойно, словно разрисовывал требник), ничем не выказывая, что его сколько-нибудь беспокоит соседство женщины, которая еще яростнее билась в дверь, с воплями покушаясь на чью-то печенку.

— Потайной фонарь! — приказал дежурный инспектор, доставая ключи. Услужливый приспешник подал ему фонарь.

— Прошу вас, господа.

Одним из ключей он отпер прохладный грот в конце двора, и все вошли, но очень скоро снова вышли оттуда, причем молчали все, кроме Юджина, который шепотом сказал Мортимеру:

— Немногим хуже леди Типпинз.

Итак, назад, в чисто выбеленную монастырскую келью, куда с прежней силой доносились чьи-то вопли насчет печенки, как и в то время, когда они безмолвно созерцали безмолвный труп,— а там перешли и к существу дела, итоги которому подвел отец настоятель.

Нет указаний, каким образом тело попало в реку. Очень часто таких указаний не бывает. Слишком много прошло времени, чтобы можно было узнать, когда получены ранения — до или после смерти: один авторитетный хирург высказал мнение, что до; другой авторитетный хирург — что после. Стюард того корабля, на котором джентльмен возвращался на родину, был здесь для опознания и мог дать присягу, что это он самый и есть. Мог бы дать присягу и насчет платья. А кроме того, видите ли, имеются и документы. Каким образом он совершенно исчез из виду, сойдя с корабля, пока его не нашли в реке? Что ж! Возможно, имелась в виду какая-нибудь затея. Возможно, что был не в курсе дела, считал, что опасности никакой, а затея оказалась роковой для него. Следствие завтра, виновных, конечно, не обнаружат.

— Как видно, вашего друга это подкосило, совсем подкосило,— заметил инспектор, покончив с подведением итогов.— Плохо на него подействовало, понятно! — Он сказал это тихим голосом, бросив проницательный взгляд (отнюдь не первый) в сторону предполагаемого друга. Мистер Лайтвуд объяснил, что они даже не знакомы.

— Вот как? — сказал инспектор, настораживаясь.— А где же вы его подцепили?

Мистер Лайтвуд объяснил и это.

Инспектор, адресовав эти несколько слов незнакомцу и покончив с подведением итогов, оперся локтями на конторку и приставил пальцы правой руки к пальцам левой. Несколько повысив голос, инспектор прибавил, оставаясь совершенно неподвижным и следя за незнакомцем только глазами:

— Вам дурно, сэр? Вы, видно, не привыкли к нашей работе?

Незнакомец, который стоял, опустив голову и опершись на каминную полку, оглянулся и ответил:

— Да. Ужасное зрелище!

— Я слышал, вы тоже пришли для опознания, сэр?

— Да.

— И что же, опознали?

— Нет. Ужасное зрелище. О! Ужасное, ужасное!

— А кто бы это мог быть, о ком вы думали? — спросил инспектор.— Опишите нам его, сэр. Быть может, мы помогли бы вам?

— Нет, нет,— сказал незнакомец,— это было бы совершенно бесполезно. Всего хорошего!

Инспектор не двинулся с места, не отдал никакого приказания, однако помощник прислонился спиной к дверце, положив на верхнюю перекладину левую руку, а в правой держа фонарь, взятый им у инспектора, и как бы невзначай направил его свет прямо в лицо незнакомцу.

— Вы искали друга или вы искали врага, иначе вы сюда не пришли бы, сами знаете. Ну, как же в таком случае не спросить, кто это был? — Так говорил инспектор.

— Извините меня, я ничего не могу вам сказать. Вы лучше всякого другого поймете, что люди разве только в самом крайнем случае идут на то, чтобы предать гласности свои семейные раздоры и несчастья. Задавая этот вопрос,

вы действовали по долгу службы, бесспорно — но вы должны согласиться с тем, что я имею право не отвечать на него. Всего хорошего.

И он снова повернулся к дверце, где немой статуей стоял приспешник, не сводя глаз со своего начальства.

— По крайней мере,— сказал инспектор,— вы не откажетесь оставить мне визитную карточку, сэр?

— Не отказался бы, но со мной ее нет.— Отвечая инспектору, он покраснел и очень смутился.

— По крайней мере,— продолжал инспектор, не меняя ни голоса, ни манеры,— вы не откажетесь записать вашу фамилию и адрес?

— Разумеется.

Инспектор окунул перо в чернильницу и ловко положил его на листок бумаги возле себя, после чего принял прежнюю позу. Незнакомец подошел к конторке и написал дрожащей рукой — а пока он стоял, наклонившись, инспектор сбоку пристально разглядывал каждый волосок на его голове — «Мистер Джулиус Хэнфорд, Биржевая кофейня, Плейс-Ярд, Вестминстер».

— Вы, я полагаю, остановились там, сэр?

— Да, остановился.

— Значит, приехали из провинции?

— А? Да... из провинции.

— Всего хорошего, сэр.

Приспешник, сняв с дверцы руку, отворил ее, и мистер Джулиус Хэнфорд вышел на улицу.

— Дежурный,— сказал инспектор.— Возьмите эту записку, незаметно следите за ним, не упуская из виду, установите, живет ли он там, и узнайте о нем все, что можно.

Приспешник ушел, и инспектор, снова превратившись в безмятежного настоятеля сего монастыря, окунул перо в чернильницу и снова занялся своими книгами. Оба друга, которые наблюдали инспектора, интересуясь больше его профессиональной манерой, нежели подозрительным поведением мистера Джулиуса Хэнфорда, перед уходом спросили, как он думает, имеются ли тут налицо какие-нибудь признаки преступления?

Настоятель сдержанно ответил, что не может сказать наверное. Если это убийство, его мог совершить кто угодно. Для ограбления или карманной кражи нужно иметь опыт.

Другое дело — убийство. Уж нам-то это известно. Видели десятки людей, приходивших для опознания, и ни один из них не вел себя так странно. Впрочем, может просто желудок, а нервы тут ни при чем. Если желудок, очень странно. Но, разумеется, мало ли бывает странностей. Жаль, что в суеверии, будто бы на теле выступает кровь, если до него дотронется кто следует, нет ни слова правды — труп никогда ничего не скажет. Вот от такой, как эта, крику не оберешься, видно, теперь на всю ночь завела (намекая на стук и вопли насчет печенки), а от трупа ровно ничего не добьешься, как бы оно там ни было.

До следствия, назначенного на завтра, ничего больше не оставалось делать, поэтому друзья вместе отправились домой, и Старик Хэксем с сыном тоже отправились своей дорогой. Но, дойдя до угла, Хэксем велел мальчику идти домой, а сам, «выпивки ради», завернул в трактир с красными занавесками, разбухший словно от водянки.

Мальчик повернул щеколду и увидел, что его сестра сидит перед огнем с работой. Она подняла голову, когда он вошел и заговорил с ней.

— Куда ты выходила, Лиззи?

— Я вышла на улицу.

— И совсем ни к чему. Ничего такого не было.

— Один из джентльменов, тот, что при мне молчал, все время очень пристально смотрел на меня. А я боялась, как бы он не понял по лицу, о чем я думаю. Ну, будет об этом, Чарли. Меня из-за другого всю в дрожь бросило: когда ты признался отцу, что немножко умеешь писать.

— Вот оно что! Ну, да я притворился, будто так плохо пишу, что никто и не разберет. Отец стоял рядом и глядел, и был пуще всего тем доволен, что я еле-еле пишу да еще размазываю написанное пальцем.

Девушка отложила работу и, придвинув свой стул ближе к стулу Чарли, сидевшего перед огнем, ласково положила руку ему на плечо.

— Тебе теперь надо еще усердней учиться, Чарли: ведь ты постараешься?

— Постараюсь? Вот это мне нравится! Разве я не стараюсь?

— Да, Чарли, да. Я знаю, как ты много работаешь. И я тоже понемножку работаю, все хочу что-нибудь приду-

мать (даже ночью просыпаюсь от мыслей!), как-нибудь ухитриться, чтобы сколотить шиллинг-другой, сделать так, чтобы отец поверил, будто ты уже начинаешь зарабатывать кое-что на реке.

— Ты у отца любимица, он тебе в чем угодно поверит.

— Хорошо, если бы так, Чарли! Если б я могла его уверить, что от ученья худа не будет, что от этого нам всем только станет лучше, я бы с радостью умерла!

— Не говори глупостей, Лиззи, ты не умрешь!

Она скрестила руки у него на плече, положив на них смуглую нежную щеку, и продолжала задумчиво, глядя на огонь:

— По вечерам, Чарли, когда ты в школе, а отец уходит...

— К «Шести Веселым Грузчикам»,— перебил ее брат, кивнув головой в сторону таверны.

— Да. И вот, когда я сижу и гляжу на огонь, то среди горящих углей мне видится... вот как раз там, где они ярче всего пылают...

— Это газ,— сказал мальчик,— он выходит из кусочка леса, который был занесен илом и залит водой еще во времена Ноева ковчега. Смотри-ка! Если я возьму кочергу — вот так — и разгребу уголь...

— Не трогай, Чарли, а то все сгорит сразу. Видишь, как тускло огонь тлеет под пеплом, то вспыхивая, то угасая, вот об этом я и говорю. Когда я гляжу на него по вечерам, Чарли, то вижу там словно картины.

— Покажи мне какую-нибудь картину,— попросил мальчик.— Скажи, куда надо глядеть.

— Что ты! На это нужны мои глаза.

— Тогда живей рассказывай, что твои глаза там видят.

— Ну вот, я вижу нас с тобой, Чарли, когда ты был еще совсем крошкой и не знал матери...

— Не говори, что я не знал матери,— прервал ее мальчик,— я знал сестричку, которая была мне и матерью и сестрой.

Он обнял ее и прижался к ней, а девушка радостно засмеялась, и на ее глазах выступили светлые слезы.

— Я вижу нас с тобой, Чарли, еще в то время, когда отец, уходя на работу, запирал от нас дом, из боязни, как бы мы не устроили пожара или не выпали из окна,— и вот

мы сидим на пороге, сидим на чужих крылечках, сидим на берегу реки или бродим по улице, чтобы как-нибудь провести время. Таскать тебя на руках довольно тяжело, Чарли, и мне частенько приходится отдыхать. Бывало, то нам хочется спать, и мы прикорнем где-нибудь в уголку, то нам хочется есть, то мы чего-нибудь боимся, а что всего больше нас донимало, так это холод. Помнишь, Чарли?

— Помню, что я прятался под чью-то шаль, и мне было тепло,— ответил мальчик, крепче прижав ее к себе.

— Бывало, идет дождь, и мы залезем куда-нибудь под лодку, или уже темно, и мы идем туда, где горит газ, и сидим, смотрим, как по улице идут люди. Но вот приходит с работы отец и берет нас домой. И после улицы дома кажется так уютно! А отец снимает с меня башмаки, греет и вытирает мне ноги у огня, а потом, когда ты уснешь, сажает меня рядом с собой, и мы долго сидим так, пока он курит трубку, и я знаю, что у отца тяжелая рука, но меня она всегда касается легко, что у него грубый голос, но со мной он никогда не говорит сердито. И вот я вырастаю, отец уже начинает доверять мне и работает со мною вместе, и, как бы он ни гневался, он ни разу меня не ударил.

Внимательно слушавший мальчик что-то проворчал, словно говоря: «Ну, меня-то он бьет частенько!»

— Это все картины того, что прошло, Чарли.

— Ну, а теперь скорей,— сказал мальчик,— давай такую картину, чтобы показала нашу судьбу: погадай нам.

— Хорошо. Я вижу себя: живу я по-прежнему с отцом, не оставляю его, потому что он меня любит и я его тоже. Прочесть книжку я не сумею, потому что если б я училась, отец подумал бы, что я его хочу бросить, и перестал бы меня слушать. Он не так меня слушает, как мне хотелось бы — сколько я ни бьюсь, не могу положить конец всему, что меня пугает. Но я по-прежнему надеюсь и верю, что придет для этого время. А до тех пор... я знаю, что во многом я для него поддержка и опора и что, если бы я не была ему хорошей дочерью, он бы совсем сбился с пути — в отместку или с досады, а может, от того и другого вместе.

— Погадай теперь немножко и про меня, покажи мне, что будет.

— Я к этому и вела, Чарли,— сказала девушка, которая за все это время ни разу не шевельнулась и только теперь грустно покачала головой,— все другие картины только подготовка к этой. Вот я вижу тебя...

— Где я, Лиззи?

— Все там же, в ямке, где всего жарче горит.

— Кажется, чего только нет в этой ямке, где всего жарче горит,— сказал мальчик, переводя взгляд с ее глаз на жаровню, длинные, тонкие ножки которой неприятно напоминали скелет.

— Я вижу тебя, Чарли: ты пробиваешь себе дорогу в школе, потихоньку от отца, получаешь награды, учишься все лучше и лучше; и становишься... как это ты назвал, когда в первый раз говорил про это со мной?

— Ха-ха! Предсказывает судьбу, а не знает, как оно называется! — воскликнул мальчик, по-видимому довольный тем, что ямка, где всего жарче горит, оказалась отнюдь не всезнающей.— Помощник учителя.

— Ты становишься помощником учителя, а сам учишься все лучше и лучше, и вот, наконец, ты уже настоящий учитель, которого все уважают, чудо учености. Но отец давно уже узнал твою тайну, и это разлучило тебя с отцом и со мной.

— Нет, не разлучило!

— Да, Чарли, разлучило. Я вижу ясно, яснее видеть нельзя, что у тебя другая дорога, не та, что у нас, и даже если бы отец простил тебя за то, что ты пошел своей дорогой (а он никогда не простит), наша жизнь бросила бы тень на твою. Но я вижу еще, Чарли...

— Все так же ясно, что ясней видеть нельзя? — шутливо спросил мальчик.

— Да, все так же. Что это большое дело — пробить себе дорогу в жизни, отделиться от отца, начать новую, лучшую жизнь. И вот я вижу себя, Чарли, я осталась одна с отцом, слежу, чтоб он не сбился с пути, стараюсь, чтоб он больше меня слушал, и надеюсь, что какой-нибудь счастливый случай, или болезнь, или еще что-нибудь, поможет мне сделать так, чтобы он изменился к лучшему.

— Ты сказала, что не сумеешь прочесть книжку, Лиззи. Ямка в угле, где всего ярче горит,— вот, по-моему, твоя библиотека.

— Как я была бы рада, если б умела читать настоящие книжки. Я очень чувствую, что мне не хватает образования, Чарли. Но еще больней мне было бы, если б оно разъединило меня с отцом... Тс-с... Слышишь? Отец идет!

Было уже за полночь, и стервятник отправился прямо на насест. Наутро, часам к двенадцати, он опять явился к «Шести Веселым Грузчикам» для того, чтобы выступить перед следователем и понятыми в роли свидетеля, отнюдь для него не новой.

Мистер Мортимер Лайтвуд выступал не только в роли свидетеля, но еще и во второй роли — известного ходатая по делам, наблюдавшего за следствием в интересах покойного, что и было, как водится, напечатано в газетах. Инспектор тоже наблюдал за следствием, но держал свои наблюдения про себя. Мистер Джулиус Хэнфорд, который дал верный адрес и о котором в гостинице было известно только то, что он аккуратно платит по счету и ведет весьма уединенный образ жизни,— не был вызван повесткой и присутствовал единственно в сокрытых от света мыслях господина инспектора.

Дело вызвало интерес среди публики, когда мистер Мортимер Лайтвуд в своих показаниях коснулся тех обстоятельств, при которых покойный мистер Джон Гармон возвратился в Англию; Вениринг, Твемлоу, Подснеп и все Буферы на несколько дней присвоили себе эти обстоятельства, развозя их по обедам, и противоречили один другому, не умея согласовать свои рассказы. Делу придали интерес также и показания корабельного стюарда Джоба Поттерсона и одного из пассажиров, некоего Джейкоба Киббла, которые подтвердили, что покойный Джон Гармон привез с собой деньги, вырученные от продажи земельного участка, и что в чемоданчике, с которым он сошел на берег, лежало свыше семисот фунтов наличными. Кроме того, вызвали большой интерес и замечательные опыты Джесса Хэксема, выудившего из Темзы столько мертвых тел, что один восхищенный читатель «Таймса», подписавшийся «Другом Похорон» (вероятно, гробовщик), прислал в его пользу восемнадцать почтовых марок и пять писем редактору «Таймса», начинавшихся: «Уважаемый сэр...»

Рассмотрев вышеприведенные свидетельские показания, следствие установило, что тело покойного мистера

Джона Гармона было найдено в Темзе сильно поврежденным и в состоянии значительного разложения и что вышереченный мистер Джон Гармон скончался при весьма подозрительных обстоятельствах. Но каким именно образом и от чьей руки, следствие, не располагая достаточными данными, установить не могло. В добавление следователь рекомендовал министерству внутренних дел (господин инспектор нашел такую меру в высшей степени разумной) предложить награду за разгадку этой тайны. Спустя двое суток была объявлена награда в сто фунтов, вместе с полным прощением вины тому лицу или лицам, причастному, или причастным к преступлению,— и так далее, как оно следует по форме.

Это объявление прибавило инспектору хлопот, заставив его останавливаться в раздумье на спусках к реке и на плотинах, заглядывать в лодки и вообще раскидывать умом и сопоставлять одно обстоятельство с другим. Но, смотря по успеху, с каким люди сопоставляют одно с другим, у них получается либо женщина и рыба по отдельности, либо целая русалка. А у инспектора при всем старании не получалось ничего, кроме русалки, в которую никакой суд не поверил бы.

Так, подобно водам, которые вынесли его на свет, убийство Гармона,— как оно стало именоваться в народе,— убывало и прибывало, поднималось и опускалось, то среди дворцов, то среди хижин, то в городе, то в деревне, то среди лордов и знатных господ, то среди рабочих, молотобойцев и грузчиков, пока, наконец, после долгого покачивания в стоячей воде, его не вынесло в открытое море.

ГЛАВА IV

Семейство Р. Уилфера

Имя Реджинальд Уилфер звучит довольно величественно, при первом знакомстве с ним наводя на мысль о бронзовых надгробиях в сельских церквах, о надписях на цветных витражах и, вообще, о некиих де Уилферах, которые явились к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем *. Ведь

в генеалогии замечателен тот факт, что никакие Де к нам ни с кем другим не являлись.

Однако предки Реджинальда Уилфера были такого заурядного происхождения и образа жизни, что в течение ряда поколений это семейство весьма скромно кормилось около доков, акцизного управления и таможни, а теперешний Р. Уилфер был бедный конторщик. Настолько бедный, что, имея ограниченное жалование и неограниченное число детей, он ни разу в жизни не мог достичь скромного предела своих мечтаний, а именно: одеться с головы до пят во все новое сразу, включая сапоги и шляпу. Его черная шляпа успевала порыжеть, прежде чем он обзаводился деньгами на новый сюртук, брюки белели по швам и на коленках раньше, чем он собирался купить себе пару сапог, сапоги изнашивались прежде, чем он мог позволить себе новые брюки, и к тому времени, как он снова добирался до шляпы, блестящему модному цилиндру приходилось увенчивать собой ветхие руины разных периодов.

Если бы традиционный вербный херувим мог предстать перед нами взрослым и одетым, то его фотография вполне заменила бы портрет Р. Уилфера. По внешности Р. Уилфер был так пухлощек, моложав и наивен, что к нему всегда относились свысока, а то и попросту командовали им. Посторонний человек, заглянув в его бедное жилье часов около десяти вечера, непременно удивился бы, что он так поздно сидит за ужином. Своей пухлостью и малым ростом он до такой степени напоминал мальчишку, что попадись он на Чипсайде * своему бывшему учителю, тот вряд ли удержался бы от искушения высечь его тут же на месте. Словом, это был традиционный херувим во взрослом состоянии, как было уже сказано, несколько седоватый и явно в стесненных обстоятельствах.

По своей застенчивости он не любил признаваться в том, что его зовут Реджинальдом, так как это имя казалось ему слишком высокопарным и вычурным. Подписываясь, он ставил одно начальное Р. и разве только избранным друзьям, и то под строгим секретом, сообщал, что, собственно, оно значит. Из этого в окрестностях Минсинглейна возникло шутливое обыкновение давать ему прозвища из прилагательных и существительных, начинающихся с Р. Одни из них более или менее соответствовали

его характеру, как, например: Рохля, Разиня, Размазня, Растяпа, Работяга, Резонер и т. д., у других же вся соль заключалась в том, что они были совершенно к нему неприложимы, как, например: Ракалья, Разбитной, Ражий, Развеселый. Но излюбленным было прозвище «Рамти», сочиненное в минуту вдохновения одним охотником до пирушек, служившим по аптечной части, и входившее в припев к хоровой песне, сольное исполнение которой привело этого джентльмена в храм славы, а весь припев, весьма выразительный, звучал так:

Рамти и-ти-ти, рау, дау, дау,
Пойте все ти-ли-ли, бау, вау, вау.

Вот почему даже в деловых записках его именовали «Многоуважаемый Рамти», а он, отвечая на эти записки, степенно подписывался: «Преданный Вам Р. Уилфер».

Он служил конторщиком на складе медикаментов Чикси, Вениринга и Стоблса. Прежних его хозяев, Чикси и Стоблса, поглотил Вениринг, бывший их коммивояжер или агент по поручениям, который ознаменовал свое восшествие на престол тем, что украсил помещение фирмы зеркальными окнами, лакированными перегородками красного дерева и блестящей дверной доской невиданных размеров.

Однажды вечером Р. Уилфер запер свою конторку и, положив в карман связку ключей, словно любимую игрушку, отправился домой. Дом его находился к северу от Лондона, в районе Холлоуэя, в те времена отделенного от города полями и рощами. Между Бэтл-Бриджем и той частью Холлоуэя, где он жил, простиралась пригородная Сахара, где обжигали кирпич и черепицу, вываривали кости, выбивали ковры, драли собак и где подрядчики сваливали в кучи шлак и мусор. Проходя своей дорогой по краю этой пустыни, Р. Уилфер вздохнул и покачал головой, глядя на огонь заводских печей, зловещими пятнами проступавший сквозь туман.

— Ах, боже мой! — произнес он.— Все идет не так, как полагается.

И, высказав такое мнение о человеческой жизни, почерпнутое не только из своего личного опыта, он ускорил шаги, стремясь к своей цели.

Миссис Уилфер была, как и следовало ожидать, женщина высокого роста и угловатого сложения. Поскольку ее супруг и повелитель был похож на херувима, она, конечно, должна была отличаться величественностью, сообразно тому правилу, что в браке соединяются противоположности. Она очень любила покрывать голову носовым платком, связывая его концы под подбородком. Этот головной убор в соединении с перчатками, надеваемыми в комнате, она, видимо, считала своего рода броней против несчастий (и неизменно облекалась в нее, будучи не в духе или ожидая неприятностей), а также чем-то вроде парадного костюма. И потому душа ее супруга невольно ушла в пятки, как только он увидел, что миссис Уилфер, оставив свечу в маленькой прихожей, спускается с крыльца в этом героическом одеянии и идет через палисадник отпереть ему калитку.

Со входной дверью что-то было не в порядке, и Р. Уилфер, остановившись на крыльце, воззрился на нее с восклицанием:

— О-го?

— Да,— сказала миссис Уилфер,— мастер сам пришел с клещами, снял вывеску и унес. Он говорит, что потерял всякую надежду получить за нее деньги, а так как ему заказали еще одну доску с надписью «Пансион для девиц», оно выйдет даже лучше (поскольку она вычищена) для всех заинтересованных в этом деле.

— Может быть, оно и действительно лучше, милая: как по-твоему?

— Вы здесь хозяин, Р. У.,— возразила его жена.— Пусть будет по-вашему, а не по-моему. Может, было бы еще лучше, если б он унес и самую дверь.

— Милая, без двери нам никак нельзя.

— Неужели нельзя?

— Что ты, душа моя! Как же это можно?

— Пускай будет по-вашему, Р. У.,— а не по-моему.— И с этими покорными словами послушная жена проследовала впереди мужа вниз по лестнице в полуподвальную комнатку, не то кухню, не то гостиную, где девушка лет девятнадцати, очень красивая и стройная, но с раздраженным и недовольным выражением лица и плеч (которые у девиц ее возраста отлично умеют выражать недовольство),

играла в шашки с другой девушкой, самой младшей из всего потомства Уилферов. Чтобы не загромождать страницы, перечисляя всех Уилферов по отдельности, и покончить с ними разом, довольно будет сказать здесь, что остальные, как принято выражаться, уже разлетелись по белу свету и что их было очень много. Так много, что, когда кто-нибудь из почтительных детей приходил повидаться с отцом, Р. Уилфер, казалось, говорил сам себе, произведя сначала умственный подсчет: «Вот и еще один!» — прежде чем прибавить вслух: — Как поживаешь, Джон? (или Сьюзен,— смотря по обстоятельствам).

— Ну, поросятки, как вы себя чувствуете нынче вечером? — сказал Р. Уилфер.— Вот о чем я думал, милая,— обратился он к миссис Уилфер, которая уже уселась в углу, сложив руки в перчатках одну поверх другой,— я думал, что если мы так удачно сдали наш второй этаж, то поместить учениц все равно будет негде, хотя бы даже ученицы...

— Молочник говорил, что знает двух девиц самого лучшего круга, которые как раз ищут подходящее заведение, и взял мою карточку,— прервала его миссис Уилфер монотонным и строгим голосом, словно читая вслух парламентский акт.— Белла, скажи твоему отцу, когда это было, не в прошлый ли понедельник?

— Да, но больше мы про это ничего не слыхали,— сказала Белла, старшая из дочерей.

— Кроме того, милая,— упорствовал муж,— если тебе некуда поместить этих молодых особ...

— Извините меня,— снова прервала его миссис Уилфер,— они не просто молодые особы. Две молодые леди самого лучшего круга. Скажи твоему отцу, Белла, так или не так говорил молочник.

— Милая, это совершенно все равно.

— Нет, не все равно,— отвечала миссис Уилфер попрежнему внушительно и монотонно.— Уж вы меня извините!

— Я хочу сказать, душа моя, что в смысле места это все равно. В смысле места. Если тебе некуда девать двух молодых особ, хотя бы они и были самого высшего круга, в чем я нисколько не сомневаюсь, то куда же ты их поместишь? Дальше этого я не иду и смотрю на дело исключи-

тельно с точки зрения этих юных существ, моя милая, с чем ты и сама должна согласиться, душа моя,— уговаривал ее муж примирительным, заискивающим и вместе убедительным тоном.

— Мне больше не о чем говорить,— возразила миссис Уилфер, кротко взмахнув перчатками в знак отречения.— Пусть будет по-вашему, Р. У., а не по-моему.

Тут мисс Белла, потеряв три шашки разом и огорчившись тем, что Лавиния прошла в дамки, так подтолкнула шашечную доску, что она слетела со стола вместе с шашками, и ее сестра, опустившись на колени, принялась подбирать их.

— Бедняжка Белла! — вздохнула миссис Уилфер.

— А может быть, и бедняжка Лавиния, душа моя? — подсказал Р. Уилфер.

— Извините меня, нет! — отрезала миссис Уилфер.

Достойная женщина отличалась, между прочим, изумительной способностью потворствовать своей хандре и тщеславию, превознося собственное семейство, к чему она в этом случае приступила немедленно.

— Нет, Р. У., Лавиния не знала тех испытаний, какие пришлось вынести Белле. Испытание, которое пришлось вынести вашей дочери Белле, быть может, не имеет себе равных, и в этом испытании она проявила, мне кажется, истинное величие души. Взгляните на вашу дочь Беллу в черном платье, которое носит она одна из всей нашей семьи, припомните обстоятельства, которые заставили ее надеть это платье, и так как вам известно, что эти обстоятельства подтвердились, то вам остается только преклонить голову на подушку и воскликнуть: «Бедняжка Лавиния!»

Тут мисс Лавиния, стоя под столом на коленях, объявила, что она не желает, чтобы папа или кто другой называл ее бедняжкой.

— Ну, конечно, ты этого не желаешь, милочка,— возразила ее мамаша,— потому что у тебя здоровый мужественный дух. И у твоей сестры Цецилии здоровый мужественный дух, только в другом роде, дух чистейшей преданности, пре-красный дух! В ее самопожертвовании проявляется чистая, женственная натура, которой трудно найти равную и которую невозможно превзойти. У меня в кар-

мане лежит письмо от твоей сестры Цецилии, полученное нынче утром — всего через три месяца после ее свадьбы,— бедная девочка! она пишет, что к ее мужу совершенно неожиданно приезжает тетушка, которая оказалась в стесненных обстоятельствах, и им придется дать ей приют под своим кровом... «Но я останусь ему верна,— она так трогательно пишет,— я его не покину, мама, я не должна забывать, что он мой муж. Пусть приезжает его тетушка!» Если все это вас не трогает, если вы не видите тут женской преданности...— и почтенная дама, не в силах говорить далее, взмахнула перчатками, поправила носовой платок на голове и еще крепче стянула узел под подбородком.

Белла, которая сидела на коврике перед камином, задумчиво глядя карими глазами на огонь и стараясь засунуть в рот целую горсть каштановых кудрей, засмеялась при этих словах, потом надула губки и чуть не заплакала.

— Хотя ты мне не сочувствуешь, па, я все-таки уверена, что несчастней меня нет девушки на свете. Ты знаешь, как мы бедны (возможно, он это знал, имея на то некоторые основания!) и как передо мной промелькнуло богатство и тут же растаяло в воздухе, а теперь я хожу в этом нелепом трауре — ненавижу его! — вроде вдовы, которая никогда не была замужем. А ты меня все-таки не жалеешь. Нет, жалеешь, жалеешь!

Эта неожиданная перемена настроения была вызвана переменой в лице ее папаши. Она чуть не стянула его со стула, чтобы поцеловать и похлопать по щекам, заставив сначала принять позу, весьма способствующую удушению.

— Но ты же сам знаешь, па, ты должен мне сочувствовать.

— Я и сочувствую, душа моя.

— Да, а я говорю, что так и следует. Если б только меня оставили в покое и ничего мне не говорили, тогда бы еще можно было терпеть. Но этот противный мистер Лайтвуд счел своим долгом, как он сам говорит, написать мне письмо и сообщить о том, что меня ожидает, и, значит, мне нужно было отделаться от Джорджа Самсона.

Тут в разговор вмешалась Лавиния, вынырнув на поверхность с последней шашкой в руке.

— Белла, ты никогда не любила Джорджа Самсона.

— А разве я говорю, что любила, мисс? — И Белла

снова надула губки, засунув локоны в рот.— Джордж Самсон очень меня любил и восхищался мною и выносил все, что только я с ним ни проделывала!

— Ты была с ним довольно-таки невежлива,— снова прервала ее Лавиния.

— А разве я говорю, что не была, мисс? Я не собираюсь проливать слезы из-за Джорджа Самсона. Я говорю только, что Джордж Самсон был все же лучше, чем ничего.

— Ты даже этого не дала ему понять,— снова прервала ее Лавиния.

— Ты еще совсем девчонка, и притом глупенькая,— возразила Белла,— иначе не позволяла бы себе таких детских выходок. Что же, по-твоему, мне надо было делать? Не говори о том, чего не понимаешь, подожди, пока подрастешь. Ты только доказываешь этим свою наивность! — И то всхлипывая, то покусывая локоны, то умолкая, чтобы взглянуть, много ли откушено, она продолжала: — Это позор! Еще никто не бывал в таком затруднительном положении! Я бы не принимала ничего так близко к сердцу, если б все это не было так смешно. Смешно и то, что едет какой-то незнакомец жениться на мне, хочет он этого или нет. Смешно подумать, какая это была бы стеснительная встреча, и ведь ни один из нас не посмел бы даже заикнуться о том, что у него имеется своя сердечная склонность. Смешно подумать, что мне он мог бы и не понравиться. Да и как бы он мог понравиться, когда меня ему завещали точно дюжину ложек, и все это было состряпано и приготовлено заранее, как сушеные апельсинные корки. Действительно, что уж тут говорить о флердоранже! Я опять повторяю, что это позор! Деньги могли бы все сгладить, потому что я люблю деньги и мне нужны деньги, ужасно нужны! Я ненавижу бедность, а мы унизительно бедны, оскорбительно бедны, бедны до нищеты, до неприличия. Ну вот я и осталась со всем, что тут есть нелепого и смешного, да еще вдобавок в этом нелепом трауре! И если люди знали правду в то время, когда весь город только и говорил, что про убийство Гармона, и все допытывались, не самоубийство ли это, то всякие бесстыдники в клубах и других местах уж, верно, издевались надо мною и говорили, что этот несчастный предпочел броситься в реку, лишь бы не жениться на мне. Уж, верно, позволяли

себе такие шуточки, и не удивительно! Я опять говорю, что мое положение очень тяжелое и что я самая несчастная девушка на свете. Подумать только, что ты вроде вдовы, а даже и не была замужем. Подумать только, что ты как была бедной, так и осталась, да еще должна носить траур по ком-то, кого даже и не видала, а если б видела, то невзлюбила бы сразу, потому что ведь все это вышло из-за него!

Тут причитания молодой особы были прерваны постукиванием руки в полуоткрытую дверь комнаты. Рука успела постучаться уже два или три раза, но никто не слышал стука.

— Кто там? — спросила миссис Уилфер самым строгим парламентским тоном.— Войдите!

Вошел джентльмен, и мисс Белла с коротким и резким восклицанием вскочила с коврика и перекинула всю массу локонов туда, где им полагалось быть, то есть на шею.

— Служанка запирала дверь своим ключом и направила меня в эту комнату, сказав, что меня ожидают. Быть может, лучше было бы попросить, чтобы она обо мне доложила.

— Извините меня,— возразила миссис Уилфер.— Зачем же? Это мои дочери. Р. У., это тот джентльмен, что снял у вас второй этаж. Он был так любезен, что согласился зайти вечером, когда вы будете дома.

Брюнет, самое большее лет тридцати. Лицо выразительное, даже можно сказать красивое. Совершенно не умеет себя вести. Дурные, очень дурные манеры. Держится крайне принужденно, натянуто, застенчиво, очень волнуется. Только взглянул на Беллу и сейчас же опустил глаза, обращаясь к хозяину дома.

— Мистер Уилфер, так как я очень доволен и комнатами, и их расположением, и ценою, то не лучше ли нам будет сейчас же составить условие в две-три строчки, и я уплачу наличными, чтобы скрепить нашу сделку? Я хочу немедленно перевезти свою мебель.

В продолжение этой краткой речи, херувим раза два или три указывал пухлой ручкой на стул, и в конце концов джентльмен уселся, нерешительно положив руку на край стола, а другой рукой нерешительно поднося свой цилиндр ко рту и водя им взад и вперед.

— Джентльмен предполагает снимать ваши апартаменты поквартально, Р. У.,— сказала миссис Уилфер.— С тем чтобы обе стороны предупреждали о выезде за три месяца.

— Не знаю, стоит ли говорить о рекомендациях? — намекнул домохозяин, думая, что это само собою разумеется.

— Полагаю, что рекомендаций не понадобится,— возразил джентльмен после некоторого молчания,— да по правде сказать, для меня это и не совсем удобно, так как в Лондоне я человек новый. Я не требую рекомендаций от вас, быть может, и вы их от меня не потребуете. Это будет справедливо для нас обоих. Ведь я даже больше вам доверяю, потому что готов заплатить вперед сколько потребуется и оставляю в залог свою мебель. Тогда как у меня, если б вы оказались в стесненных обстоятельствах,— это, конечно, только предположение...

Р. Уилфер виновато покраснел, и миссис Уилфер из своего угла (она всегда величественно восседала в углу) пришла ему на помощь, произнеся на самых низких нотах:

— Разумеется.

— ...пропала бы... пропала бы моя мебель.

— Ну, что ж,— радостно согласился Р. Уилфер,— деньги и имущество, конечно, самая лучшая рекомендация.

— Ты думаешь, самая лучшая, па? — негромко спросила мисс Белла, грея ножку на каминной решетке и не оборачиваясь.

— Одна из самых лучших, душа моя.

— А мне лично кажется, что было бы очень нетрудно прибавить к этому обычную рекомендацию,— сказала мисс Белла, встряхнув кудрями.

Джентльмен выслушал ее с заметным вниманием, хотя не поднимая глаз и не меняя позы. Он сидел неподвижно и молча до тех пор, пока будущий его домохозяин не принес бумагу и чернила, чтобы оформить сделку. Он сидел неподвижно и молча все время, пока будущий домохозяин писал.

Когда условие было написано в двух экземплярах (причем домохозяин трудился над ним словно пишущий херувим с одного из тех полотен старых мастеров, которые принято называть сомнительными, тогда как на самом



деле сомневаться тут не в чем), обе стороны его подписали, а Белла смотрела на них в качестве презирающей все это свидетельницы. Расписались, с одной стороны, Р. Уилфер, а с другой — Джон Роксмит, эсквайр.

Когда пришел черед Беллы расписываться, мистер Роксмит, который поднялся с места и стоял, в нерешимости опираясь рукой на стол, посмотрел на нее украдкой, но очень внимательно. Он смотрел на красивую фигуру Беллы, которая склонилась над бумагой и спросила: «Где мне расписаться, па? Вот здесь, в уголке?» Он смотрел на красивые каштановые волосы, оттеняющие кокетливое личико; смотрел на свободный и твердый росчерк подписи, очень смелый для женщины,— потом оба они взглянули друг на друга.

— Очень признателен вам, мисс Уилфер.

— Признательны?

— Я доставил вам столько затруднений.

— Тем, что попросили расписаться? Да, конечно. Но ведь я дочь вашего хозяина, сэр.

Больше ничего не оставалось, как только уплатить восемь соверенов в завершение сделки, положить условие в карман, назначить время, когда жилец перевезет мебель и переедет сам, а затем уйти; и мистер Роксмит проделал все это как нельзя более неловко, после чего был выпровожен своим хозяином на свежий воздух. Когда Р. Уилфер с подсвечником в руке возвратился в лоно своего семейства, он нашел это лоно взволнованным.

— Па,— сказала Белла,— к нам въехал убийца под видом жильца!

— Па,— сказала Лавиния,— к нам въехал грабитель!

— Видно же, что он не смеет никому в глаза посмотреть,— сказала Белла.— Это просто неслыханно.

— Милые мои,— возразил их отец,— он очень застенчив, и я бы сказал, особенно застенчив в обществе девиц вашего возраста.

— Какие глупости, наш возраст! — сердито воскликнула Белла.— Какое ему дело до нашего возраста?

— А кроме того, мы не одних лет: какого именно возраста? — спросила Лавиния.

— Напрасно ты беспокоишься, Лавви,— отрезала мисс Белла,— ты сначала дорасти до таких лет, чтобы можно

было задавать подобные вопросы. Вот что я тебе скажу, па: между мной и мистером Роксмитом возникла естественная антипатия и глубокое недоверие, и так просто дело не кончится!

— Душа моя, и вы, девочки! — сказал херувим-патриарх.— Из разговора между мной и мистером Роксмитом возникло что-то вроде восьми соверенов, и дело кончится ужином, если вы со мной согласны.

Это сообщило весьма ловкий и счастливый оборот разговору, так как пиры были редкостью в хозяйстве Уилферов, где неизменное появление голландского сыра в десять часов вечера нередко комментировалось пухлыми плечиками мисс Беллы. Действительно, скромный голландец и сам, кажется, понимал, что ему недостает разнообразия, и обычно появлялся перед семейством Уилферов весь в слезах.

Обсудив сравнительные достоинства телячьих котлет, сладкого мяса и омаров, они вынесли решение в пользу телячьих котлет. Миссис Уилфер торжественно разоблачилась, сняв перчатки и платок, и, жертвуя собой, взялась за сковородку, а Р. Уилфер самолично отправился за провизией. Скоро он возвратился, неся котлеты в свежем капустном листе, где они застенчиво обнимались с добрым ломтем ветчины. Сковородка на огне, не теряя времени, начала издавать мелодические звуки, словно наигрывая танцевальную музыку,— по крайней мере так казалось при взгляде на полные бутылки на столе, отражавшие игру пламени в своих налитых виноградным соком боках.

Скатерть была постелена Лавинией. Белла, в качестве общепризнанного украшения семьи, прежде всего старательно взбила обеими руками свои кудри, затем, усевшись в самое удобное кресло, стала распоряжаться приготовлением ужина, командуя то матери: «Поджарьте, как можно румянее, ма!» — то сестре: «Поставьте солонку как следует, мисс, не будьте такой неряхой!»

Тем временем ее отец, сидя перед своим прибором в ожидании ужина и позвякивая золотыми мистера Роксмита, заметил, что шесть из этих золотых явились как раз вовремя для уплаты домохозяину, и поставил их столбиком па белой скатерти, чтобы полюбоваться ими.

— Терпеть не могу нашего хозяина! — сказала Белла.

Но, заметив, что физиономия отца вытянулась, она подошла к нему, села рядом и принялась взбивать ему волосы черенком вилки. Такая уж была привычка у этой избалованной девушки, причесывать всех своих родных, быть может потому, что у нее самой были прелестные волосы и она ими много занималась.

— Ты заслужил, чтобы у тебя был свой собственный дом, правда, бедный мой па?

— Не больше, чем кто-нибудь другой, моя милая.

— Во всяком случае, мне дом нужен больше, чем кому-нибудь другому,— сказала Белла, взяв его за подбородок и зачесывая кверху его льняные кудри,— и мне жалко, что эти деньги перейдут к чудовищу, которое и без того заглотало целую уйму, когда нам всем всего не хватает. А если ты скажешь (тебе хочется это сказать, я знаю, что хочется), что «это неразумно и недобросовестно, Белла», так я тебе отвечу: «Может быть, па, и даже очень возможно, но это происходит от бедности, оттого, что мне надоело и опротивело быть бедной»,— вот в чем дело. Вот теперь ты очень мил, па; зачем ты не всегда так причесываешься? А вот и котлеты. Если они не очень румяные, мама, так я их есть не стану, пускай одна котлетка дожарится получше, специально для меня.

Котлеты, однако, достаточно подрумянились, даже на вкус Беллы, и эта молодая особа снизошла до того, чтобы отведать и котлет, не отправляя их обратно на сковородку, и содержимого двух бутылок, в одной из которых был шотландский эль, а в другой ром. Запах рома, усиленный кипятком и лимонной коркой, сначала разлился по комнате, а потом сосредоточился у пылающего камина настолько, что ветер, покружившись вокруг печной трубы словно большая пчела, полетел далее, нагруженный этим восхитительным ароматом.

— Папа,— сказала Белла, прихлебывая душистую смесь и грея перед огнем ножку,— как ты думаешь, зачем старый мистер Гармон поставил меня в такое дурацкое положение (чтобы не говорить о нем самом, потому что он умер)?

— Трудно сказать, душа моя. Как я уже тебе рассказывал бог знает сколько раз, с тех пор как нашли его завещание, сомневаюсь, обменялся ли я со стариком хотя бы

десятью словами. Если ему взбрело в голову нас удивить, то это ему удалось. Он нас удивил, это верно.

— А я топала и визжала, когда он впервые обратил на меня внимание? — спросила Белла, глядя на свою ножку.

— Ты топала, милая, и визжала тоненьким голоском и колотила меня своим капором, который нарочно сорвала с головы,— отвечал ее отец с таким удовольствием, словно воспоминание придавало особый вкус рому,— это было в одно воскресное утро, когда я повел тебя гулять, и ты капризничала оттого, что я шел не туда, куда тебе хотелось, а старик, сидя рядом на скамеечке, сказал тогда: «Вот милая девочка, очень милая девочка; девочка с большими задатками. Такая ты и была, душа моя.

— А потом он спросил, как меня зовут, да, папа?

— Потом он спросил, как тебя зовут, милая, и меня тоже; а потом по утрам в воскресенье мы его часто встречали, если шли гулять в ту сторону, и... вот, право, и все.

Ром с водой тоже вышел весь, и Р. У., откинув голову назад и держа перевернутый стакан на носу, деликатно намекнул этим, что он все выпил и что со стороны миссис Уилфер было бы чистейшим милосердием налить ему еще. Но вместо того героическая женщина кратко напомнила, что пора спать, убрала бутылки, и все семейство отправилось ко сну — миссис Уилфер в сопровождении херувима, подобно суровой святой на картине, или просто почтенной матроне, изображенной аллегорически.

— А завтра в это время мистер Роксмит будет уже здесь,— сказала Лавиния, когда девушки остались одни у себя в комнате,— и того и жди, что перережет нам горло.

— И все-таки не надо загораживать от меня свечку,— возразила Белла.— Вот еще одно последствие бедности. Подумать только, что девушке с такими чудными волосами приходится убирать их при одной тусклой свечке, перед маленьким зеркальцем!

— А все-таки Джорджа Самсона ты поймала этими самыми волосами, как тебе ни плохо их причесывать!

— Ах ты дрянная девчонка! Поймала Джорджа Самсона! Не ваше дело об этом разговаривать, мисс, погодите, пока придет ваше время кого-нибудь поймать, как вы выражаетесь.

— А может, оно уже пришло,— пробормотала Лавви, тряхнув головою.

— Что ты сказала? — очень резко спросила Белла.— Что вы сказали, мисс?

Лавви не пожелала ни повторить, ни объяснить свои слова, и Белла, расчесывая волосы, постепенно перешла на монолог о том, какое это несчастье родиться в бедности, когда девушке нечего надеть, не в чем выйти на улицу, негде даже причесаться, потому что вместо туалетного столика торчит какой-то дрянной ящик, да еще приходится пускать в дом подозрительных жильцов. Дойдя до предела, она сделала особенно сильное ударение на этой последней жалобе, а могла бы сделать и еще сильнее, если бы знала, что у мистера Джулиуса Хэнфорда имеется двойник и что этого двойника зовут мистер Джон Роксмит.

ГЛАВА V

«Приют Боффина»

Напротив одного из лондонских домов, который выходил на угол Кэвендиш-сквера, несколько лет подряд сидел человек с деревянной ногой, в зимнее время грея другую ногу в корзинке, и добывал себе пропитание следующим образом: ежедневно, в восемь часов утра, он ковылял к своему углу, неся вешалку, стул, козлы, доску, корзину и зонтик, связанные вместе. Разобрав все это, он устраивал из козел и доски прилавок, доставал из корзины десяток яблок и горсточку-другую конфет и пряников, после чего обращал корзину в грелку для ноги, развешивал на вешалке полный набор грошовых романсов, ставил за ней стул, словно за ширмой, и усаживался там на весь день. В любую погоду он неизменно был на своем посту и неизменно прислонял спинку стула к одному и тому же фонарному столбу. В дождливую погоду он раскрывал зонтик над своим товаром,— не над собой; в сухую погоду он свертывал полинялый зонтик, обвязывал его веревочкой и клал под козлы, словно переросший кочан салата, который, утратив сочность и цвет, увеличился зато в размере.

В правах на этот угол инвалид утвердился как-то незаметно, в силу давности. С самого начала, еще будучи не уверен в себе, он занял тот угол, куда выходила эта сторона дома, и за все время не сдвинулся с него ни на дюйм. Ветреный угол в зимнее время, пыльный угол в летнее время, неудобный угол в самое лучшее время года.

Когда посредине улицы было тихо, бесприютные клочки соломы и бумаги крутились на углу вихрем, а когда везде было сухо — бочка с водой, словно пьяная, толкалась и плескалась, разводя на этом углу сырость и грязь.

Над прилавком у него висела маленькая вывеска, не больше подноса, на которой было мелко написано его собственной рукой:

Поручения принимаются
с точностью От
Дам и Джентльменов
Остаюсь
Ваш покорн. слуга
Сайлас Вегг.

С течением времени он убедил самого себя не только в том, что состоит в должности посыльного при угловом доме (хотя за весь год его посылали не больше пяти раз, и то по поручению кого-нибудь из прислуги), но также и в том, что он и сам старый слуга в этом доме, находится от него в вассальной зависимости и связан с ним узами преданности и чести. Поэтому он называл угловой дом не иначе как «наш дом», и хотя только воображал, будто знает, что там делается, и то шиворот-навыворот, все же настаивал, будто пользуется там доверенностью. Из тех же соображений, завидев в окне кого-нибудь из жильцов, он никогда не упускал случая поклониться. Однако он так мало знал обитателей дома, что даже имена для них придумал сам, как, например: «Мисс Элизабет», «маленький Джордж», «тетушка Джейн», «дядюшка Паркер»,— не имея на то решительно никаких оснований, особенно в последнем случае,— и потому, весьма естественно, настаивал на своем с большим упорством.

Ему представлялось, будто он знает и самый дом не хуже чем его жильцов со всеми их делами. Он никогда не бывал в доме, не заходил даже во двор хотя бы на длину

толстой черной водопроводной трубы, которая тянулась от кухонной двери по сырым каменным плитам и больше походила на прочно присосавшуюся к дому пиявку. Но это не мешало Веггу расположить все в доме по собственному плану. Дом был большой, грязный, со множеством мутных боковых окон и пустующих надворных построек, и Вегг немало ломал голову, придумывая, чем объяснить каждую деталь его внешности. Однако он отлично справился с этой задачей и пришел к убеждению, что знает дом как свои пять пальцев, так что не заблудится в нем даже с закрытыми глазами,— от наглухо заколоченных мансард под высокой кровлей, до двух чугунных гасильников перед парадной дверью, которые словно приглашали весело настроенных гостей сначала угасить в себе все живое, а потом уже войти.

Положительно, ларек Сайласа Вегга был самым неприглядным из всех лондонских ларьков, торгующих пустяками. При виде яблок лицо у покупателя сводило судорогой, при виде апельсинов начинались колики в желудке, при виде орехов ломило зубы. Вегг всегда держал на прилавке малопривлекательную кучку этого товара, прикрытую деревянной меркой, которая не имела видимой внутренности и которой полагалось вмещать товара на пенни, в количестве, установленном Великой Хартией вольностей. От восточного ли ветра или от иной причины,— угол был восточный,— и ларек, и товар, и сам продавец казались высохшими, словно пустыня Сахара. Вегг был человек угловатый, жесткий, с лицом словно вырубленным из очень твердого дерева и столь же выразительным, как трещотка ночного сторожа. Когда он смеялся, что-то дергалось у него в лице, и трещотка приходила в действие. Сказать по правде, это был до такой степени деревянный человек, что деревянная нога выросла у него как бы сама собою, и наблюдателю, не лишенному фантазии, могло прийти в голову, что еще полгода — и обе ноги у Вегга станут деревянными, если за это время ничто не воспрепятствует естественному развитию его организма.

Мистер Вегг был наблюдательный человек, или, как он сам выражался, «глаз у него был довольно-таки примечательный». Сидя на стуле, прислоненном к фонарному столбу, он ежедневно раскланивался с постоянными прохо-

жими и немало кичился соответственными оттенками своих поклонов. Так, пастора он встречал поклоном, составленным из мирской почтительности с самым легким намеком на благоговейные размышления в храме божием; доктору кланялся дружески, как человеку близко знакомому с состоянием его организма, что со всем уважением и подтверждал поклон; перед знатными господами он рад был пресмыкаться, а для дядюшки Паркера, который служил в армии (по крайней мере так решил Вегг), он по-военному прикладывал руку к шляпе, чего застегнутый на все пуговицы краснолицый старик с сердитыми глазами, по-видимому, не желал замечать.

Один только предмет из всех товаров Вегга не был жестким — это имбирный пряник. Однажды днем, продав какому-то несчастному мальчику размокшую пряничную лошадку (едва ли годную для употребления) и липкую птичью клетку, стоявшую на прилавке, он достал из-под стула жестянку, чтобы заменить эти ужасающие образцы своего товара, и уже собирался снять с нее крышку, как вдруг остановился и сказал про себя: «Ага! Опять ты здесь!»

Эти слова относились к коренастому, сутуловатому и кривобокому старичку с крепoвой нашивкой на рукаве, с толстой тростью и в сюртуке горохового цвета, который, смешно подпрыгивая, словно иноходью подбегал к углу. На нем были башмаки на толстой подошве, толстые кожаные гетры и толстые перчатки, как у садовника. И по костюму и по сложению он смахивал на носорога — и вся кожа у него была в складках — складки на щеках, на лбу, на веках, около рта, на ушах; зато из-под кустистых бровей и широкополой шляпы смотрели очень живые, зоркие и детски любопытные серые глаза. В общем, какой-то чудак с виду.

— Опять ты здесь,— повторил мистер Вегг в раздумье.— А кто же ты такой будешь? Живешь процентами с капитала или еще чем-нибудь? Недавно поселился в наших местах или же зашел из другого околотка? Да еще есть ли у тебя средства, стоит ли гнуть спину и тратить на тебя поклон? Так и быть, рискну! Не пожалею поклона!

И мистер Вегг поклонился, поставив жестянку на место и выложив новую пряничную приманку для других доверчивых мальчиков. Его поклон был замечен.

— Доброго утра, сэр! Здравствуйте, здравствуйте!

(«Зовет меня «сэр»,— подумал про себя мистер Вегг.— Нет, куда он годится. Пропал мой поклон!»)

— Здравствуйте, здравствуйте, доброго утра!

(«Видать, довольно-таки общительный старикашка»,— так же про себя подумал мистер Вегг.)

— Доброго утра и вам, сэр!

— Вы разве помните меня? — задорно, хотя и очень добродушно, спросил его новый знакомый, с разбега останавливаясь перед ларьком.

— Я видел, сэр, как вы несколько раз прошли мимо нашего дома на прошлой неделе.

— Нашего дома? — повторил старик.— То есть, вот этого?

— Да, вот этого самого,— подтвердил мистер Вегг, кивнув головой, когда старик указал на угловой дом толстым пальцем в перчатке.

— Вот как! А сколько же вам платят? — настойчиво и с любопытством расспрашивал старичок, перекидывая свою узловатую палку на левую руку, словно грудного младенца.

— Для нашего дома я работаю сдельно,— сухо и сдержанно отвечал Сайлас,— пока что мне еще не положили определенного жалованья.

— Вот как! Пока что не положили определенного жалованья? Да! Пока что не положили определенного жалованья. Вот как! Всего хорошего, всего хорошего! Прощайте!

«Сдается, будто у старикашки не все дома»,— вопреки прежнему благоприятному мнению подумал Сайлас, глядя, как старик удаляется иноходью. Но не прошло и минуты, как он опять был тут как тут с вопросом:

— А откуда у вас деревянная нога?

Мистер Вегг ответил довольно сухо, так как вопрос касался личности:

— Несчастный случай.

— Ну, и каково вам теперь?

— Что ж! Она у меня не зябнет,— буркнул в ответ мистер Вегг, выведенный из себя странностью вопроса.

— Она у него не зябнет,— сообщил старик своей узловатой палке, крепче прижимая ее к боку,— она у него —

ха-ха-ха! — не зябнет! Слыхали когда-нибудь фамилию Боффин?

— Нет,— отвечал мистер Вегг, которого бесил этот допрос.— Никогда не слыхал фамилию Боффин.

— Нравится она вам?

— Н-нет,— возразил мистер Вегг, закипая от бешенства,— не могу сказать, чтобы нравилась.

— Почему же она вам не нравится?

— Не знаю почему,— ответил мистер Вегг, приходя уже в совершенную ярость,— не нравится — вот и все!

— Ну, так я вам сейчас скажу одно словечко, и вы об этом пожалеете,— улыбаясь, сказал незнакомец.— Это моя фамилия Боффин.

— Ничего не могу поделать,— отрезал мистер Вегг таким тоном, в котором подразумевалось обидное добавление: — «А если б и мог, так не стал бы».

— Ну, попробуем еще разок,— сказал мистер Боффин, все так же улыбаясь.— Нравится вам имя Никодимус? Подумайте-ка хорошенько. Ник, или Нодди.

— Нет, сэр,— возразил мистер Вегг, садясь на свой стул с видом кроткой покорности судьбе, сочетающейся с меланхолической прямотой,— мне бы не хотелось, чтобы меня называли этим именем люди, которых я уважаю; но, может быть, не у всех имеются такого рода возражения. А почему — не знаю,— прибавил Вегг, предвидя новый вопрос.

— Нодди Боффин,— повторил старик.— Нодди. Это мое имя. Нодди — или Ник — Боффин. А вас как зовут?

— Сайлас Вегг. Не знаю, почему Сайлас, и не знаю, почему Вегг,— ответил мистер Вегг, по-прежнему осторожно.

— Ну, Вегг,— сказал мистер Боффин, еще крепче прижимая к себе свою палку,— я хочу сделать вам одно предложение. Помните, когда вы меня в первый раз увидели?

Деревянная нога посмотрел на него задумчивым взглядом, несколько смягчившимся в предвидении возможной поживы.

— Позвольте подумать. Я не вполне уверен, хотя вообще глаз у меня довольно-таки примечательный. Не в понедельник ли утром? — еще тогда мясник приходил в

наш дом насчет заказа и купил у меня один романс,— мне еще пришлось напеть ему мотив, потому что он не знал, как это поется.

— Правильно, Вегг, правильно! Только он купил не один романс.

— Да, верно, сэр, он купил несколько штук и, не желая тратить деньги на всякую дрянь, советовался со мной насчет выбора,— мы вместе с ним просмотрели всю коллекцию. Да, да, верно! Вот так он стоял, а вот так я стоял, а вот тут вы, мистер Боффин, на том самом месте, где теперь стоите, и с той же самой палкой в той же самой руке, и вот точно так же спиной к нам. Да, да, верно! — прибавил мистер Вегг, заглядывая за спину мистера Боффина, чтобы увидеть его сзади и проверить это последнее. поистине необычайное совпадение, что спина «та самая».

— Как по-вашему, что я тогда делал, Вегг?

— Я бы сказал, сэр, что вы, может быть, разглядывали улицу?

— Нет, Вегг. Я подслушивал.

— В самом деле, сэр? — с сомнением спросил мистер Вегг.

— Не с каким-нибудь дурным умыслом, Вегг, потому что вы пели мяснику: ведь не стали бы вы напевать секреты мяснику посреди улицы.

— Пока еще не приходилось, сколько припомню,— осторожно ответил мистер Вегг.— А вообще, дело возможное. Как знать, мало ли что человеку может прийти в голову со временем. (Это для того, чтобы не упустить самой малейшей возможности извлечь выгоду из признания мистера Боффина.)

— Так вот,— повторил Боффин,— я подслушивал ваш с ним разговор. А сколько вы?.. Да нет ли у вас другого стула? Одышка замучила.

— Другого у меня нет, но вы садитесь, пожалуйста, на этот,— предложил Вегг, уступая ему стул.— Я и постою с удовольствием.

— Бог ты мой, как приятно тут посидеть! — воскликнул мистер Боффин, усевшись на стул и по-прежнему прижимая к себе палку, словно младенца,— какое тут славное местечко! И с обеих сторон эти романсы, будто шоры из книжных листков. Одно удовольствие!

— Если я не ошибаюсь, сэр,— деликатно намекнул мистер Вегг, опершись рукой на прилавок и нагнувшись к разглагольствующему Боффину,— вы упомянули о каком-то предложении?

— Сейчас дойдем и до этого. Да-да! Сейчас дойдем и до этого! Я хотел сказать, что если я слушал вас тогда утром, то слушал с восторгом, даже прямо-таки с благоговением. А про себя думал: «Вот человек с деревянной ногой, литературный человек...»

— Н-не совсем так, сэр,— сказал мистер Вэгг.

— Да ведь вы знаете все эти романсы и по названиям и на голоса, так что если вам вздумается вдруг прочесть или пропеть любой из них, то стоит только надеть очки — вот и все! — воскликнул мистер Боффин.— Так вас и вижу за этим делом!

— Ну что ж, сэр,— подтвердил мистер Вегг, с достоинством наклоняя голову,— в таком случае можно сказать и литературный.

— «Литературный человек с деревянной ногой — и все печатное перед ним открыто!» Вот что я думал тогда утром,— продолжал мистер Боффин, наклоняясь вперед, чтобы описать правой рукой возможно большую дугу, не наткнувшись на вешалку с романсами,— «все печатное перед ним открыто!» Ведь так оно и есть, правда?

— Что ж, сказать вам без утайки, сэр,— скромно согласился мистер Вегг,— какую бы печатную страницу вы мне ни показали, думаю, что я с ней расправлюсь в два счета, лишь бы печать была английская.

— Не сходя с места? — спросил мистер Боффин.

— Не сходя с места.

— Так я и думал! Тогда сообразите вот что. Я хоть и не на деревянной ноге, а все печатное для меня закрыто.

— Неужели, сэр? — отозвался мистер Вегг в приливе самодовольства.— Плохо учились?

— Плохо учился! — с расстановкой повторил мистер Боффин.— Совсем не то слово. Ну, конечно, если вы мне покажете букву «Б», так я ее узнаю, это та самая буква, с которой начинается «Боффин».

— Ну-ну, сэр,— вставил мистер Вегг поощрения ради,— это все-таки кое-что.

— Кое-что, но ей-же-ей немного,— ответил мистер Боффин.

— Может, это меньше, чем хотелось бы человеку любознательному,— согласился мистер Вегг.

— Так вот, послушайте. Дела я бросил и живу на покое. Вместе с миссис Боффин — Генриетти Боффин — ее отца звали Генри, а мать — Хетти, вот оно и получилось Генриетти,— и живем мы с ней в достатке, на те деньги, что нам завещал покойный хозяин.

— Так он скончался, сэр?

— А я что говорю; покойный хозяин. Так вот, теперь мне уже поздно начинать рыться и копаться во всяких там азбуках и грамматиках. Дело к старости, не хочется себя утруждать. А хочется мне почитать что-нибудь, да чтобы печать была покрасивее, покрупнее, какую-нибудь этакую книгу получше, да чтоб томов было побольше, как в профессии лорд-мэра (он, должно быть, хотел сказать «в процессии» *, но сходство слов его подвело), такую, чтобы пришлась и по вкусу и по мысли и чтобы читать ее можно было не торопясь, подольше. А как же мне добраться до чтения, Вегг? Платить,— тут он толкнул Вегга в грудь набалдашником своей толстой палки,— платить такому человеку, который это дело знает как свои пять пальцев, платить по стольку-то в час, скажем, по два пенса, чтобы он приходил ко мне и читал вслух.

— Гм! Разумеется, это лестно слышать, сэр,— ответил Вегг, начиная видеть себя в совершенно новом свете.— Гм! Вот это и есть то предложение, о котором вы говорили, сэр?

— Да. Нравится оно вам?

— Надо подумать, мистер Боффин.

— Мне не хочется стеснять литературного человека с деревянной ногой,— великодушно сказал мистер Боффин,— не хочется слишком его стеснять. Мы не поссоримся из-за лишних полпенни в час. Часы вы назначите сами, какие вам удобно, после того как освободитесь от занятий в вашем доме. Я живу недалеко от Мэйдн-лейна, ближе к Холлоуэю; стоит вам после занятий пройти немного на восток, а там свернуть к северу — вот вы и на месте. Два с половиной пенса в час,— продолжал Боффин, доставая из кармана кусок мела и поднимаясь со стула,

чтобы по своему способу произвести вычисление на его сиденье,— две длинных и одна короткая — это будет два с половиной пенса, две коротких — это все равно что одна длинная, да два раза по две длинных — это будет четыре длинных — всего пять длинных; шесть вечеров в неделю по пяти длинных за вечер; сложить все вместе — получается тридцать длинных. Кругленькая сумма! Полкроны!

Указав на этот солидный и вполне удовлетворительный итог, мистер Боффин стер его, поплевав на перчатку, и уселся на следы мела.

— Полкроны,— в раздумье произнес мистер Вегг.— Да! Это не так много, сэр. Полкроны.

— В неделю, знаете ли.

— В неделю. Да! А ведь сколько придется затратить умственных усилий. Стихи вы тоже имеете в виду? — сосредоточенно осведомился мистер Вегг.

— А разве стихи будут дороже? — спросил мистер Боффин.

— Конечно, дороже,— подтвердил мистер Вегг.— Если человек со всем своим усердием долбит стихи вечер за вечером, так он вправе ожидать добавочной платы, ведь они действуют на голову расслабляюще.

— Сказать вам по правде, Вегг, стихов я не имел в виду, разве только вот в каком отношении: если вам вдруг вздумается угостить меня и миссис Боффин каким-нибудь романсом, вот тогда мы с вами ударимся в поэзию.

— Понимаю, сэр. Но поскольку я не настоящий музыкант, не певец по профессии, мне бы не хотелось брать за это деньги. Так что если б мне случилось удариться в поэзию, то я просил бы вас в это время рассматривать меня как друга.

Глаза мистера Боффина просияли, и он с чувством пожал руку мистера Вегга, говоря, что он даже и не рассчитывал на это и очень рад.

— Что вы думаете насчет условий, Вегг? — спросил мистер Боффин, не скрывая тревоги.

Сайлас, намеренно поддерживавший эту тревогу суровой сдержанностью тона и уже начинавший понимать, с кем имеет дело, ответил с таким выражением, будто его слова свидетельствовали о необычайной широте и величии его души.

— Мистер Боффин, я никогда не торгуюсь.

— Так я и думал! — с восхищением сказал мистер Боффин.

— Да, сэр. Никогда не запрашивал и не стану запрашивать. А потому я сразу пойду вам навстречу и скажу прямо и честно: согласен за двойную цену!

Мистер Боффин, казалось, вовсе не ожидал такого заключения, но согласился, заметив:

— Вам лучше знать, чего это стоит, Вегг,— и снова пожал ему руку.

— Могли бы вы начать нынче вечером? — спросил он, помолчав.

— Да, сэр,— ответил мистер Вегг, заботясь о том, чтобы все рвение проявлял исключительно мистер Боффин.— С моей стороны препятствий нет, если вам так желательно. У вас имеется необходимое орудие — то есть книга,— сэр?

— Я ее купил на распродаже,— сказал мистер Боффин.— Восемь томов, красные с золотом. В каждом томе алая лента, чтоб закладывать место, на котором остановишься. Вы знаете эту книжку?

— А как она называется, сэр? — осведомился Сайлас.

— Я думал, может, вы и так ее знаете,— несколько разочаровавшись, сказал мистер Боффин.— Она называется «Упадок... и... разрушение * русской империи». (Мистер Боффин одолевал эти камни преткновения медленно и с большой осторожностью.)

— Ах, вот как! — И мистер Вегг кивнул головой, словно узнавая старого друга.

— Вы ее знаете, Вегг?

— Последнее время мне как-то не приходилось в нее заглядывать,— отвечал мистер Вегг,— был занят другими делами, мистер Боффин. Ну, а насчет того, знаю ли я ее? Еще бы, сэр! Знал еще тогда, когда был не выше вот этой трости. Знал еще тогда, когда мой старший брат ушел из дому и поступил в солдаты. Как говорится в романсе, написанном на этот случай, мистер Боффин:

> Пред хижиной стояла дева *, мистер Боффин,
> Свой белый шарф держа в руках,
> Порывы ветра налетали, сэр,
> Он развевался, словно флаг.

Она свою мольбу шептала,
Но бог ее не услыхал:
Мой старший брат, на саблю опираясь, мистер
Боффин,
Украдкой слезы утирал.

Под сильным впечатлением этого семейного события, а также дружеского расположения мистера Вегга, которое выразилось в том, что он так скоро ударился в поэзию, мистер Боффин снова пожал руку деревянному пройдохе и попросил его назначить час. Мистер Вегг обещал прийти в восемь.

— Тот дом, где я живу, называется «Приют»,— сказал мистер Боффин.— «Приют Боффина» — так его окрестила миссис Боффин, когда он стал нашим собственным домом и мы в него переехали. Идите к Мэйдн-лейну, через Бэтл-Бридж; не дойдя с милю, или милю с четвертью,— это как хотите,— спросите «Приют», и если окажется, что никто этого названия не знает (да оно и не похоже, чтобы знали), то спросите Гармонову тюрьму, или Гармонию, тогда вам всякий укажет. А я буду вас ждать с нетерпением, Вегг, прямо-таки с радостью,— сказал мистер Боффин, восторженно хлопая его по плечу.— Не успокоюсь, пока вы не придете. Вот теперь мне откроется все печатное! Придет нынче вечером литературный человек — на деревянной ноге,— мистер Боффин бросил восхищенный взгляд на это украшение, словно оно помогало ему оценить достоинства мистера Вегга,— и с ним я начну новую жизнь. Вашу руку, Вегг! Еще раз до свидания! Всего хорошего, всего хорошего!

Старик убежал иноходью, а мистер Вегг, оставшись один у своего ларька, забрался за ширму, извлек носовой платок, жесткий как власяница, и с глубокомысленным видом ухватил себя за нос. Держась за нос, он задумчиво поглядывал вниз по улице, вслед удаляющейся фигуре мистера Боффина. Физиономия мистера Вегга выражала глубочайшую серьезность. Ибо, размышляя про себя о том, что это старичок редкой простоты, что такую возможность было бы грешно упустить и что тут можно нажить и побольше, чем они только что подсчитали вдвоем, он нисколько не уронил себя: он не допускал даже и мысли, что новое занятие вовсе не по его части или что в этом заня-

тии есть хоть что-нибудь недостойное и смешное. Мистер Вегг не на шутку поссорился бы со всяким, кому вздумалось бы усомниться в его близком знакомстве с восемью томами «Упадка и разрушения». Глубина его серьезности была необычайной, знаменательной и неизмеримой, не потому, что он сколько-нибудь сомневался в своих силах, но потому, что он провидел необходимость пресекать такого рода сомнения, если б они возникли у других. Этим он показал, что принадлежит к весьма многочисленному разряду самозванцев, которые готовы обманывать не только ближних, но и самих себя.

Помимо всего прочего, мистер Вегг преисполнился гордостью: ему льстило, что он призван выполнять официальную роль истолкователя всякого рода тайн. Это отнюдь не побуждало его отпускать товар более щедро, наоборот: если бы деревянная мерка могла вместить в этот день меньше орехов, чем обычно, он не преминул бы этим воспользоваться. Но когда настала ночь и сквозь свое покрывало заметила Вегга, ковыляющего к «Приюту Боффина», он ощутил некий подъем настроения.

Без путеводной нити «Приют Боффина» было так же трудно найти, как и приют прекрасной Розамунды *. Добравшись до указанного места, Сайлас Вегг раз двадцать спросил, где здесь находится «Приют», но без малейшего успеха, пока не вспомнил про Гармонову тюрьму. Это вызвало мгновенную перемену в настроении охрипшего джентльмена с тележкой и ослом, уже дошедшего до полного недоумения.

— Да вы про что? Про дом старика Гармона, что ли? — спросил охрипший джентльмен с тележкой, подгоняя своего осла морковью вместо кнута.— Так бы сразу и говорили! Мы с Эддардом как раз мимо поедем! Садитесь.

Мистер Вегг не заставил себя упрашивать, и охрипший джентльмен обратил его внимание на третьего из присутствующих:

— Ну-ка, поглядите на уши Эддарда. Как это вы сначала сказали? Повторите шепотом.

Мистер Вегг прошептал:

— «Приют Боффина».

— Эддард! (Глядите ему на уши!) Пошел к «Приюту Боффина». (Эдуард и ухом не повел, словно не слышал.)

Эддард! (Глядите ему на уши!) Пошел к Старому Гармону!

Эдуард мгновенно навострил уши торчком и поскакал таким карьером, что слова мистера Вегга слетали у него с языка в самом вывихнутом состоянии.

— Разве — тут бы-ла тюрьма? — спросил мистер Вегг, цепляясь за тележку.

— Не то чтоб настоящая тюрьма, куда можно бы засадить нас с вами,— отвечал его проводник,— а так прозвали из-за того, что старик Гармон жил тут один, как сыч.

— А поче-му она назы-вает-ся «Гар-мония»?

— Потому что он никогда ни с кем не соглашался. Вроде как в насмешку прозвали: Гармонова тюрьма, Гармония. Для красного словца.

— Знаете ли вы мист-Ерабоф-фина? — спросил Вегг.

— Еще бы не знать! Его тут все знают. Вот и Эддард знает. (Глядите на его уши!) Нодди Боффин, Эддард!

Действие этого имени оказалось настолько потрясающим, что голова Эдуарда на время скрылась из виду, задние копыта взметнулись кверху, и тележка помчалась с такими толчками, что у мистера Вегга пропало всякое желание узнать, следует ли считать эту выходку данью уважения Боффину или наоборот,— все его внимание было сосредоточено на том, как бы не вылететь из тележки.

Вскоре Эдуард остановился перед воротами, и Вегг, благоразумно не теряя времени, поспешил соскочить с тележки сзади. Как только он стал на ноги, его возница крикнул, помахав морковью: «Ужинать, Эддард!» И Эдуард, тележка, задние копыта и сам возница, казалось, поднялись на воздух и скрылись из виду, словно в театральном апофеозе.

Толкнув полуотворенную калитку, мистер Вегг заглянул в огороженное пространство, где высились чуть не до небес какие-то темные холмы и где при лунном свете белела дорожка к «Приюту», обозначенная красоты ради двумя полосами фаянсовых черепков среди золы. Белая фигура, двигавшаяся навстречу ему по этой дорожке, оказалась отнюдь не призраком, но самим мистером Боффином, который, готовясь к занятиям наукой, оделся полегче и попроще — в белую блузу. Он весьма сердечно приветствовал своего литературного друга, затем повел его в

«Приют» и там представил миссис Боффин, тучной даме с румяным веселым лицом, одетой (к великому ужасу мистера Вегга) в открытое бальное платье из черного атласа и в черной бархатной шляпе с перьями.

— Миссис Боффин, Вегг, у меня большая модница. Она женщина видная, так что всякой моде сделает честь. Сам я пока еще не привык к модной жизни, разве когда-нибудь потом привыкну. Генриетти, старушка, вот это и есть тот джентльмен, который взялся крушить русскую империю.

— И уж, верно, это пойдет вам обоим на пользу,— ответила миссис Боффин.

Комната была самая странная, и, на взгляд Сайласа Вегга, по обстановке больше походила на богато убранную распивочную. У камина, по одному с каждой стороны, стояли два ларя и перед каждым из них — по столу. На одном из этих столов были разложены в один ряд, наподобие гальванической батареи, те самые восемь томов; на другом — оплетенные соломой пузатые бутылки заманчивой наружности словно привставали на цыпочках, чтобы подмигнуть мистеру Веггу из-за стоящих впереди стаканов и сахарницы с рафинадом. На огне кипел чайник, перед огнем дремала кошка. Между ларями, перед камином, стояли диван, ножная скамеечка и столик — центральное место, отведенное миссис Боффин. Эта обстановка гостиной, крикливая и пестрая, но отнюдь не дешевая, выглядела довольно странно рядом с ларями и ярким газовым рожком, свисавшим с потолка. На полу лежал цветастый ковер, но его яркая растительность не доходила до камина и обрывалась у ножной скамеечки миссис Боффин, уступая место опилкам и песку. Восхищенный взгляд мистера Вегга подметил, кроме того, что эта цветущая область выставляла напоказ только такие бесплодные украшения, как птичьи чучела и восковые плоды под стеклянным колпаком, тогда как на территории, лишенной растительности, этот недостаток восполняли полки, где среди прочих твердых тел усматривались едва початый пирог и большой кусок холодной говядины. Сама комната была просторная, хотя и низкая; старинные тяжелые рамы окон и массивные балки прогнувшегося потолка говорили о том, что это был некогда богатый загородный особняк, стоявший поодаль от других.

— Вам здесь нравится, Вегг? — спросил мистер Боффин со свойственным ему задором.

— Я в восторге, сэр,— ответил Вегг.— Особенно уютно у этого очага, сэр.

— Понимаете, в чем дело, Вегг?

— Вообще говоря, понимаю, сэр,— начал Вегг, медленно и с видом знатока, склонив голову набок, как делают люди уклончивые, но мистер Боффин прервал его:

— Нет, вы не понимаете, Вегг, так я вам объясню, в чем дело. Тут все устроено по взаимному согласию между мной и миссис Боффин. Миссис Боффин, как я уже вам говорил, гонится за модой, а я пока еще нет. Я ни за чем не гонюсь, кроме уюта и удобства такого рода, чтобы мне они доставляли удовольствие. Ну вот. Что же было бы хорошего, если б мы с миссис Боффин поссорились из-за этого? Мы с ней никогда не ссорились до того, как «Приют Боффина» стал нашим собственным и мы в него переехали. Зачем же нам ссориться теперь, когда «Приют Боффина» стал нашим собственным и мы в него переехали? Вот миссис Боффин и живет на своей половине комнаты так, как ей хочется, а я живу на моей половине так, как мне хочется. И потому у нас имеются сразу и Общительность (без миссис Боффин я бы повесился с тоски), и Мода, и Уют. Если я когда-нибудь тоже сделаюсь модником, то миссис Боффин будет мало-помалу продвигаться вперед. Если миссис Боффин надоест гоняться за модой, тогда ковер миссис Боффин отодвинется назад. Если же мы оба будем жить по-старому, ну что ж, тогда все у нас останется по-старому — поди поцелуй меня, старушка.

Миссис Боффин, все так же сияя улыбкой, охотно согласилась и, подойдя к своему супругу, продела пухлую ручку под его руку. Мода, в виде черной бархатной шляпы с перьями, пыталась воспрепятствовать поцелую, но была заслуженно помята при этой попытке.

— Теперь, Вегг, вы с нами более или менее знакомы,— сказал мистер Боффин, утирая губы, словно после чего-то очень вкусного.— Прелесть что за местечко, этот наш «Приют», но к нему не сразу привыкнешь. Это такое место, что вы каждый день будете открывать в нем новые достоинства, одно за другим. Тут на верхушку каждой насыпи

ведет извилистая дорожка, и с этой дорожки вид на двор и его окрестности меняется каждую минуту. А как взойдешь наверх, то открывается такой вид на соседние постройки, которому — ну просто нет равных. Владения покойного батюшки миссис Боффин (производство собачьих галет) у вас как на ладони, будто они ваши собственные. А на верху Большой Насыпи устроена решетчатая беседка, и не моя будет вина, если вы этим летом не прочитаете нам с миссис Боффин уйму книжек в этой самой беседке, а может, как друг, ударитесь и в поэзию. Ну, а с чего же мы начнем чтение?

— Благодарю вас, сэр,— ответил Вегг, словно чтение было для него вовсе не новым делом.— Как обыкновенно, начнем с джина.

— Смачивает горло, правда, Вегг? — в своем простодушном усердии спросил мистер Боффин.

— Н-нет, сэр,— холодно возразил Вегг,— я бы выразился иначе, сэр. Я сказал бы — смягчает горло. Смягчает,— вот какое слово я употребил бы, сэр.

Тупое чванство и хитрость Вегга росли с минуты на минуту, наравне с восторженностью его жертвы. Хотя перед его корыстолюбивой душонкой уже носились видения, каким способом можно будет извлечь прибыль из этого знакомства, они отнюдь не мешали главной его мысли, свойственной всем тупоголовым мошенникам,— как бы не продешевить и не уронить себя.

Мода миссис Боффин — божество менее жестокосердое, чем тот кумир, которого обычно чтут под этим именем, позволила ей приготовить стаканчик смеси для литературного гостя и даже спросить, по вкусу ли ему напиток. Когда Вегг удостоил ее милостивым ответом и уселся на литературный ларь, мистер Боффин тоже уселся на ларь напротив него и, сияя глазами, приготовился слушать.

— Жалко лишать вас трубочки, Вегг,— сказал он, набивая трубку для себя,— да ведь нельзя же делать два дела разом! О! Еще про одно я забыл вам сказать. Когда вы придете сюда вечером и осмотритесь по сторонам, то если увидите на полке что-нибудь подходящее, прямо так и говорите.

Вегг, который уже надел было очки, немедленно снял их и заметил игриво:

— Вы угадали мою мысль, сэр. Если мои глаза меня не обманывают, то не вижу ли я там пирог? Не может быть, чтобы это был пирог.

— Да, это пирог,— ответил мистер Боффин, бросая несколько разочарованный взгляд на «Упадок и разрушение».

— Может, я не разбираюсь в запахах, сэр, или это действительно пирог с яблоками?

— Это пирог с телятиной и ветчиной,— сказал мистер Боффин.

— В самом деле, сэр? А ведь, пожалуй, нет вкуснее пирога, чем с ветчиной и телятиной,— заметил мистер Вегг, прочувствованно кивая головой.

— Не хотите ли съесть кусочек, Вегг?

— Благодарю вас, мистер Боффин. Пожалуй, съем, раз вы приглашаете. В другой компании я бы отказался при таком положении дел, но у вас, сэр!.. А ведь сочное мясо, да если оно еще слегка присолено, как полагается ветчине, смягчает орган, даже очень смягчает орган.

Какой именно орган — мистер Вегг не сказал,— он говорил вообще и в положительном смысле.

Пирог сняли с полки, и почтенному мистеру Боффину пришлось вооружиться терпением, пока Вегг не прикончил всего пирога, вооружившись ножом и вилкой. Он только воспользовался этим обстоятельством и сообщил Веггу, что, хотя мода этого и не одобряет, он (мистер Боффин) считает долгом гостеприимства держать на виду все, что есть в кладовой; вместо того чтобы говорить гостю довольно-таки отвлеченно: «Внизу имеются такие-то припасы, не принести ли вам чего-нибудь наверх?» — действуешь более смело и практически, показывая на полки: «Посмотрите сами и берите, если вам что-нибудь понравится».

Но вот, наконец, мистер Вегг отодвинул тарелку и надел очки; а мистер Боффин закурил трубку, радостно тараща глаза на открывающийся перед ним мир; а миссис Боффин, по-модному, прилегла на диван — если сможет, будет слушать, а если окажется, что не сможет,— будет дремать.

— Гм! — начал Вегг.— Это, мистер Боффин и миссис Боффин, есть первая глава первого тома «Упадка и разрушения...».— Тут он уставился на книгу и замолчал.

— В чем дело, Вегг?

— Знаете ли, сэр, мне вспоминается,— с видом вкрадчивой откровенности сказал Вегг (снова уставившись на книгу),— что нынче утром вы сделали одну маленькую ошибочку, а я хотел было вас поправить, да как-то вылетело из головы. Кажется, вы сказали: «Русской империи», сэр?

— Она и есть русская; правильно, Вегг?

— Нет, сэр, римская. Римская!

— А в чем же тут разница, Вегг?

— Разница, сэр? — Мистер Вегг запнулся, дело грозило полным крахом, но вдруг его осенила блестящая мысль.— В чем разница, сэр? Тут вы ставите меня в затруднительное положение, мистер Боффин. Достаточно будет сказать, что разговор насчет разницы нам лучше отложить до другого раза, когда миссис Боффин не будет украшать собой наше общество. А в присутствии миссис Боффин, сэр, нам лучше этот предмет оставить.

Таким образом мистер Вегг весьма галантно вывернулся из затруднения, и не только вывернулся, но, постоянно повторяя с рыцарской деликатностью: «В присутствии миссис Боффин, сэр, нам лучше это оставить!» — перенес всю невыгоду положения на Боффина, который почувствовал, что провинился не на шутку.

Затем мистер Вегг сухо и непреклонно вступил в отправление своих обязанностей; он шел напролом и не разбирая дороги, какое бы препятствие ему ни встретилось; брал приступом трудные термины — и биографические и географические; несколько задержался перед Адрианом *, Траяном * и Антонинами *, споткнулся на Полибии (он произносил Полли Бий, так что мистер Боффин принял этого древнегреческого историка за римскую деву, а миссис Боффин обвинила именно его во всем том, из-за чего разговор отложили до другого раза); был выбит из седла Титом Антонином Пием; * снова взобрался на коня и бойко галопировал с Августом; * и, наконец, одержал победу вместе с Коммодом *, который, как решил мистер Боффин, судя по имени, был англичанином, но вел себя недостойно своего английского происхождения, и окончательно опозорил свое имя, правя римским народом. Смертью этого персонажа мистер Вегг и закончил свое первое чтение,

но еще задолго до конца свеча миссис Боффин претерпела несколько полных затмений, скрываясь за черным бархатным диском, что могло бы вызвать пожарную тревогу, если бы миссис Боффин каждый раз не приводил в чувство сильный запах жженых перьев, неизменно сопровождавший это явление. Мистер Вегг, который читал механически, нисколько не задумываясь над текстом, вышел из борьбы свежим и бодрым; но мистер Боффин, который вскоре отложил недокуренную трубку и уже до самого конца сидел, сосредоточившись взглядом и мыслями на чудовищных преступлениях римлян, пострадал настолько серьезно, что у него едва хватило сил пожелать своему литературному другу спокойной ночи: он с трудом выговорил: «До завтра».

— Комод,— вздохнул мистер Боффин, запирая за Веггом ворота и глядя на луну.— Комод семьсот тридцать пять раз выступал в зверинце, и все в одной роли! Умопомрачение! да мало того, еще целую сотню львов выпустили на него сразу в том же зверинце! Мало того, этот же Комод побивает всю сотню одним махом! Мало того, там еще этот Каракатица (вот уж по шерсти и кличка!) за семь месяцев сожрал на шесть миллионов всякой еды, считая на английские деньги! Хорошо Веггу читать, но, ейбогу, даже такому старому хрычу, как я, страшно все это слушать! Пускай они там своего Комода удушили,— намто ведь от этого не легче!

В задумчивости шагая к «Приюту», мистер Боффин прибавил, качая головою:

— Не думал я нынче утром, что в книжках бывают такие страсти. Ну, да уж делать нечего, придется терпеть, раз взялся за дело!

ГЛАВА VI

По течению

Трактир «Шесть Веселых Грузчиков» (о котором было сказано выше, что он словно разбух от водянки) давно уже одряхлел, но все еще бодрился. Во всем его теле не осталось ни одной здоровой косточки — полы покривились, по-

толки прогнулись, однако трактир все еще держался, и было ясно, что он переживет много зданий, гораздо лучше построенных, много трактиров, гораздо более щеголеватых с виду. Снаружи он казался длинной, покосившейся набок кучей деревянного хлама — с разбухшими окнами, нагроможденными одно на другое, словно пирамида апельсинов на лотке, готовая развалиться, с шаткой деревянной галереей, нависшей над самой рекой; да и весь дом, вместе с жалобно поскрипывающим флагштоком на крыше, навис над водой в позе трусливого пловца, который так долго простоял на берегу, что, кажется, никогда уже не решится прыгнуть в воду.

Это описание относится к фасаду «Шести Веселых Грузчиков», выходящему на реку. Задняя сторона трактира (хотя там и находился главный вход) была так стиснута и сдавлена, что по отношению к фасаду напоминала ручку утюга, поставленного на широкий конец. Эта ручка упиралась в дальний конец двора, заваленного мусором; а двор так энергично наступал на пятки «Шести Веселым Грузчикам», что для самой харчевни, за ее порогом, уже не оставалось ни дюйма свободного места. Поэтому (а также и потому, что во время прилива дом чуть-чуть не пускался вплавь), когда у «Грузчиков» шла стирка, белье, подвергнутое этой операции, сушилось на веревках, протянутых в спальнях и других комнатах для гостей.

Дерево перегородок, балок, полов и дверей в «Шести Веселых Грузчиках» на старости лет, казалось, было одержимо смутными воспоминаниями о своей юности. Во многих местах оно покривилось или раскололось, как бывает со старыми деревьями; сучки местами выпали; но там и сям дерево изгибалось, как будто раскидывая ветви. Впадая во второе детство, оно становилось болтливым и повествовало о заре своего существования. Недаром завсегдатаи трактира утверждали, что, когда свет падал прямо в окно и ярко освещал прожилки дерева, особенно же старый ореховый буфет в углу распивочной,— на нем можно было различить настоящие миниатюрные леса и крохотные деревья, как две капли воды похожие на их предка — старое ореховое дерево, одетое тенистой листвой.

Распивочная в «Шести Веселых Грузчиках» была такова, что при взгляде на нее невольно смягчалось челове-


RRY

ческое сердце. Места в ней было немногим больше чем в извозчичьей карете, однако ни у кого не являлось желания, чтобы она была просторнее — так плотно заставлено было все свободное место пузатыми бочоночками, бутылками с подкрепительными напитками, блиставшими гроздьями винограда на этикетках, лимонами в веревочных сетках, сухарями в корзинках и благовоспитанными пивными насосами, которые низко кланялись, когда посетителям наливали пиво; сырами в уютном уголке и столиком самой хозяйки, всегда накрытым скатертью, в еще более уютном уголке перед камином. Это убежище было отделено от внешнего мира стеклянною перегородкой с окном и свинцовым подоконником, чтобы гостю было куда поставить кружку с пивом; но уют комнаты таким широким потоком изливался через это окно, что, хотя все гости пили, стоя на сквозняке, в темном коридорчике, где их, входя и выходя, толкали другие посетители, этих гостей, по-видимому, не покидало заблуждение, что они находятся в самом буфете.

Что касается прочего, то и распивочная и зал «Шести Веселых Грузчиков» выходили окнами на реку, и на этих окнах висели красные занавески, цвет которых гармонировал с носами завсегдатаев; там имелись специальные жестяные сосуды в виде сахарной головы, которые сами зарывались острым концом в горячие уголья, подогревая эль; там можно было приготовить восхитительные напитки: «медведь», «флип» и «собачий нос». Первый из этих певучих напитков был специальностью «Грузчиков», о чем говорила надпись на дверях, деликатно взывая к чувствам потребителя: «Трактир с подачей раннего Медведя». Очевидно, этот напиток полагалось принимать внутрь спозаранку, хотя трудно сказать, почему именно: потому ли, что ранняя птичка скорей червячка поймает, а ранний медведь скорее поймает потребителя, или же по другим соображениям диетического порядка. Остается только прибавить, что в ручке утюга, напротив буфета, находилась маленькая, похожая на треугольную шляпу, комнатка, куда не проникал ни один луч света, будь то свет солнца, луны или звезд, но которую суеверные посетители считали святилищем уединения и верхом комфорта — при газовом

освещении — и на дверях которой стояло поэтому завлекательное название «Уют».

Мисс Поттерсон, единственная владелица и хозяйка «Грузчиков», царила тут безраздельно, сидя на троне, то есть в буфете, и надо было уж в самом деле допиться до чертиков, чтобы осмелиться ей противоречить. Ее звали мисс Аби Поттерсон, как утверждала она сама; и умные головы (из числа приречных жителей, не блиставшие ясностью мыслей, как и сама река не блистала чистотой воды), уважая хозяйку за твердость характера и уменье обращаться с людьми, полагали, что это имя было дано ей в честь Вестминстерского аббатства. Но имя Аби было только сокращенным от Абигэйль, и его дали мисс Поттерсон при крещении в лаймхаузской церкви, лет шестьдесят с небольшим тому назад.

— Имей в виду, Райдергуд,— говорила мисс Поттерсон, угрожающе подняв указательный палец,— «Грузчики» в тебе совсем не нуждаются, им куда больше нужно твое место, чем твоя компания. Но даже если бы тебе здесь были рады, чего пока еще нет, все равно нынче вечером ты не получил бы ни капли после вот этой кружки пива. Так что пей и наслаждайся.

— Но ведь если я веду себя как следует, мисс Поттерсон, вы не можете отказать мне в кружке пива; сами знаете, мисс,— Райдергуд держался очень покорно и робко.

— Так-таки не могу? — сказала мисс Аби крайне выразительно.

— Не можете, мисс Поттерсон, потому что закон, знаете ли...

— Я тут закон, любезный,— возразила мисс Аби,— и могу тебе это доказать, ежели ты сомневаешься.

— Я вовсе не говорил, что сомневаюсь, мисс Аби.

— Тем лучше для тебя.

Аби-властительница бросила в кассу трехпенсовик клиента и, усевшись на стул перед огнем, снова взялась за газету. Это была высокая, прямая женщина, благообразная, несмотря на суровое выражение лица, и больше походившая на учительницу, нежели на хозяйку «Шести Веселых Грузчиков». Клиент по ту сторону дверцы был береговой житель; глядя исподлобья, он стоял перед мисс

Поттерсон, как стоит провинившийся ученик перед учительницей.

— Очень уж вы строги ко мне, мисс Поттерсон!

Мисс Поттерсон, нахмурив брови, продолжала читать газету и не обращала на клиента никакого внимания, пока он не прошептал:

— Мисс Поттерсон! Сударыня! Можно сказать вам одно слово по секрету?

Только тогда мисс Поттерсон снизошла до просителя и, покосившись на него, увидела, что он усердно ей кланяется, приложив руку к низкому лбу, словно просит разрешения кинуться головой вперед и проскочить за дверцу, прямо в распивочную.

— Ну? — произнесла мисс Поттерсон весьма лаконически.— Говори свое словечко! Что ж ты молчишь?

— Мисс Поттерсон! Сударыня! Что я вас спрошу — извините меня,— ведь вам не по душе моя репутация?

— Разумеется,— ответила мисс Поттерсон.

— Если вы, может, боитесь...

— Тебя-то я нисколько не боюсь, если ты это имел в виду,— оборвала его мисс Поттерсон.

— Что вы, мисс Аби, я совсем не то имел в виду, извините великодушно!

— Так что же тогда?

— Вы, право, уж очень ко мне строги! Я вас хотел спросить вот о чем: может, вы опасаетесь или, может, верите разным слухам и наговорам насчет того, что будто бы вашим гостям надо глядеть в оба и поберегать карманы, когда я тут бываю?

— Зачем тебе это нужно знать?

— Как же, мисс Аби, я к вам со всем почтением и не хочу вас обидеть; только мне хотелось бы понять, почему таким, как я, нельзя ходить к «Веселым Грузчикам», а таким, как Старик Хэксем,— можно?

Лицо хозяйки омрачилось тенью какой-то заботы и словно смущения, но она ответила:

— Хэксем не побывал там, где ты был.

— Это вы про тюрьму, мисс? Все может быть. А может, ему там самое место? Мало ли в чем его подозревают, может, за ним водятся дела и похуже, чем за мной?

— Кто же его подозревает?

— Мало ли кто. А один так уж наверно. Я его подозреваю.

— Ну, это еще не бог знает какая важность,— сказала мисс Аби Поттерсон, презрительно хмуря брови.

— Я же был его компаньоном. Обратите внимание, мисс, я был его компаньоном. Вот почему мне все его ходы и выходы известны лучше, чем всякому другому. Заметьте себе это. Я тот человек, который был его компаньоном, и я же его подозреваю.

— Тогда ты и себя обвиняешь,— намекнула мисс Аби, и ее лицо омрачилось еще больше.

— Нисколько, мисс Аби. Ведь как оно получается? Получается вот каким образом: когда я был его компаньоном, так все не мог ему угодить. А почему я не мог ему угодить? Потому что мне все не везло, потому что находок у меня было не так много. А у него? Ему всегда везло. Заметьте себе. Ему всегда везло! Да! Много есть таких промыслов, мисс Аби, где главное — удача, а много и таких, где нужно уменье, одной удачи тут мало.

— Кто же сомневается в том, что Хэксем умеет разыскивать свои находки? — спросила мисс Аби.

— Умеет приготовить себе находку,— ответил Райдергуд, зловеще кивая головой.

Мисс Аби, нахмурившись, взглянула на него, а он покосился на нее, зловеще ухмыляясь.

— Если вы бываете на реке с каждым приливом и отливом и если вам желательно выудить из реки мужчину или женщину, то вам будет очень на руку, мисс Аби, если вы сперва стукнете этого мужчину или женщину по голове, а потом спихнете в воду.

— Боже милостивый! — невольно вырвалось у мисс Аби.

— Заметьте себе! — подхватил Райдергуд, перегибаясь через прилавок, чтобы слова легче доходили до его слушательницы,— он говорил так глухо, словно горло ему заткнули лодочной шваброй.— Я это говорю, мисс Аби! И заметьте себе! Я его выслежу, мисс Аби! И заметьте себе! Я его притяну к ответу, притяну, хотя бы и через двадцать лет! Кто он такой, чтоб ему делали снисхождение ради его дочери? А у меня разве нет дочери?

С этим красноречивым монологом, к концу которого

он, как видно, совсем захмелел и уже не мог скрыть своего озлобления, мистер Райдергуд взял свою кружку пива и, пошатываясь, направился в распивочную.

Старика Хэксема там не было, зато налицо был целый выводок питомцев мисс Аби, которые проявляли величайшее послушание, когда требовалось обстоятельствами. Как только часы пробили десять, мисс Аби появилась в дверях и произнесла, обращаясь к субъекту в порыжелой куртке:

— Джордж Джоунс, тебе пора домой! Я обещала твоей жене, что ты придешь домой вовремя! — Джоунс покорно встал с места, попрощался со всем обществом и ушел. В половине одиннадцатого мисс Аби снова заглянула в дверь и, как только она сказала: — Уильям Уильямс, Боб Глемор и Джонатан, вам всем пора домой! — Уильям, Боб и Джонатан не менее покорно пожелали всем доброй ночи и испарились. Еще удивительнее было то, что некий тип в клеенчатой шляпе и с распухшим носом, после долгих колебаний заказал еще стакан джина с водой, и когда мисс Аби, вместо того чтобы выслать ему этот стакан, вышла сама и сказала: — Капитан Джой, вы уже выпили, что полагается, а больше пить вам вредно,— то капитан только крепко потер колени и посмотрел на огонь, но не промолвил ни слова, зато остальная компания хором поддержала мисс Поттерсон: «Да, да, капитан, мисс Аби правду говорит; послушайтесь ее совета, капитан!» Бдительность мисс Аби ни в коей мере не была ослаблена такой покорностью, но даже еще усилилась: обведя взглядом почтительные лица своих учеников и обнаружив еще двух молодых людей, нуждавшихся в назидании, она немедленно преподала им это назидание: — Том Тутл, молодому человеку, который через месяц женится, пора уже идти домой и ложиться спать. И напрасно вы его толкаете под бок, мистер Джек Маллинз, я и вам то же самое скажу: ведь я знаю, что завтра вам надо с раннего утра на работу! Спокойной ночи, будьте оба умниками!

После этой речи Тутл, краснея, взглядывает на Маллинза, а Маллинз — на Тутла, словно спрашивая, кому первому подниматься с места, и в конце концов оба встают одновременно и выходят в сопровождении мисс Поттерсон, а вся компания гогочет им вслед, чего не посмела бы сделать в присутствии хозяйки.

В таком заведении кабатчик-подручный в белом фартуке и с туго закатанными до плеч рукавами служит только напоминанием о том, что гостя можно выпроводить силой, и это напоминание существует только для порядка и ради формы. В самую минуту закрытия, не позже и не раньше, все оставшиеся гости встали и вышли один за другим, чинно и благородно; мисс Аби стояла в дверях, совершая церемонию смотра и роспуска. Все попрощались с мисс Аби, и мисс Аби попрощалась со всеми, кроме Райдергуда. Умудренный опытом подручный, присутствовавший во время церемонии как лицо официальное, в глубине души пришел к убеждению, что этот человек на веки вечные предан анафеме и изгнан из общества «Шести Веселых Грузчиков».

— Ну, Боб Глиддери,— приказала мисс Поттерсон этому мальчишке,— сбегай-ка к Хэксему и скажи его дочери Лиззи, что мне надо с ней поговорить.

Боб Глиддери сбегал туда и обратно с образцовой быстротой. Лиззи пришла вслед за ним, как раз в ту минуту, когда одна из двух служанок «Веселых Грузчиков» ставила на маленький столик перед огнем ужин мисс Поттерсон: горячие сосиски с картофельным пюре.

— Входи и садись со мной, девушка,— пригласила мисс Аби.— Может быть, съешь кусочек чего-нибудь?

— Нет, спасибо, мисс. Я сыта.

— Кажется, и я тоже сыта,— сказала мисс Аби, отталкивая нетронутую тарелку,— и даже больше того. Я очень расстроена, Лиззи.

— Мне очень жаль это слышать, мисс.

— А зачем же ты так себя ведешь, скажи на милость? — сердито спросила мисс Поттерсон.

— Я, мисс?

— Ну-ну, не удивляйся. Мне бы надо было объяснить сначала, в чем дело, да у меня уж такой обычай — прямо брать быка за рога. Я всегда была горячка. Эй, Боб, Глиддери! Заложи дверь на цепочку, да ступай вниз ужинать.

Боб скатился вниз с необыкновенным проворством, которое объяснялось скорее боязнью «горячки», чем желанием ужинать, и было слышно, как его сапоги загремели вниз по лестнице, к самому ложу реки.

— Лиззи Хэксем, Лиззи Хэксем,— начала мисс Поттерсон,— сколько раз я тебе давала возможность избавиться от твоего папаши, уйти из дому и устроиться на хорошее место?

— Очень часто, мисс.

— Очень часто, да! И все без толку, с тобой говорить все равно что с трубой самого большого океанского парохода, который проходит мимо «Грузчиков».

— Что вы, мисс, ведь это была бы неблагодарность, а я вам очень благодарна.

— Ей-богу, мне даже самой совестно, что я так с тобой вожусь,— обиженно сказала мисс Аби,— а ведь, наверно, не стала бы возиться, не будь ты так красива. Ну, зачем ты не урод?

На этот затруднительный вопрос Лиззи ответила только извиняющимся взглядом.

— Однако ты не урод,— значит нечего и толковать про это. Приходится брать тебя такой, какая ты есть. Я так и делаю. А ты, должно быть, все еще упрямишься?

— Не упрямлюсь, мисс, что вы!

— По-твоему, это называется твердостью характера?

— Да, мисс. Уж так я решила.

— Не было еще на свете упрямца, который сознался бы, что он упрям! — заметила мисс Аби, сердито потирая нос.— Я бы созналась, будь я упряма, но я вспыльчива, а это совсем другое дело. Лиззи Хэксем, Лиззи Хэксем, подумай хорошенько! Знаешь ли ты самое дурное про своего отца?

— Знаю ли я самое дурное? — повторила Лиззи, широко раскрывая глаза.

— Знаешь ли ты, в чем подозревают твоего отца? Знаешь ли ты, какие ходят на его счет слухи?

Лиззи подумала о том, чем промышлял каждодневно ее отец, и медленно опустила глаза, подавленная этой мыслью.

— Скажи мне, Лиззи? Знаешь ты это или нет? — настаивала мисс Аби.

— Прошу вас, скажите, в чем его подозревают, мисс,— после некоторого молчания произнесла Лиззи, не поднимая глаз.

— Нелегко это сказать родной дочери, но сказать надо. Так вот, некоторые думают, что твой отец помог умереть кое-кому из тех, кого он нашел в реке.

Лиззи, услышав о подозрениях, которые она считала ложными, а не о том, что было правдой и что она боялась услышать, почувствовала такое облегчение, что мисс Поттерсон изумилась, глядя на нее. Лиззи быстро подняла глаза, покачала головой и чуть-чуть не засмеялась торжествующе.

— Плохо знает отца тот, кто так говорит.

«Уж очень спокойно она к этому относится,— подумала мисс Аби,— даже чересчур спокойно!»

— А может быть,— тут у Лиззи мелькнуло одно воспоминание,— может быть, так говорит тот, кто сердит на отца; тот, кто угрожал отцу? Уж не Райдергуд ли, мисс?

— Да, это он.

— Да! Он работал вместе с отцом, отец порвал с ним, вот он и мстит ему теперь. Отец порвал с ним при мне, и Райдергуд очень разозлился. А кроме того... Мисс Аби! Обещаете вы никому не передавать того, что я вам скажу, без самой уважительной причины? — Она произнесла это шепотом, на ухо мисс Поттерсон.

— Обещаю,— ответила та.

— Это было в ту ночь, когда узнали про убийство Гармона; отец сам же и нашел тело, чуть повыше моста. А пониже, как раз за мостом, когда мы уже гребли домой, из темноты вынырнул Райдергуд на своей лодке. И сколько раз после того, когда люди столько положили трудов, чтобы найти виновника, и так ничего и не нашли, сколько раз я думала про себя: уж не Райдергуд ли убил, не нарочно ли он подстроил так, чтобы отец сам нашел тело? Даже и подумать такое показалось мне тогда нехорошо, как-то бесчеловечно; а теперь, когда он пытается взвалить вину на отца, мне сдается, что так все и было. Да неужели это правда? Неужели это убийство навело меня на такую мысль?

Она задала этот вопрос, обращаясь скорее к огню в камине, чем к хозяйке «Шести Веселых Грузчиков», и обвела маленькую распивочную тревожным взглядом.

Но мисс Поттерсон, как опытная учительница, при-

выкшая никогда не теряться и наставлять на путь истинный своих учеников, сейчас же представила Лиззи все дело в другом свете, более близком к действительности.

— Бедная, обманутая девушка,— сказала она,— как же ты сама не видишь, что если уж подозревать в чем-либо одного, то вместе с ним надо подозревать в том же и другого? Они ведь работали вместе. И одно время все что ни делали,— делали сообща. Положим даже, что так все и было, как ты думаешь, но ведь если они вместе что-нибудь сделали, то другой не мог не участвовать в этом?

— Вы не знаете отца, мисс, если так говорите. Право же, право, вы его совсем не знаете!

— Лиззи, Лиззи,— сказала мисс Поттерсон.— Оставь его. Тебе вовсе не нужно с ним порывать, только уходи от него. Живи отдельно — не из-за того, о чем я тебе нынче говорила — не нам об этом судить, будем надеяться, что это ошибка, а потому, что я тебе и раньше это предлагала. Не важно из-за чего — из-за твоей красоты или чего другого. Но ты мне нравишься, и я хочу тебе помочь. Лиззи, поступай ко мне на службу. Не губи себя напрасно, девушка, послушайся меня, тебе же лучше будет жить честно и счастливо.

Мисс Аби дала волю своим добрым чувствам и заметно смягчилась, уговаривая Лиззи; даже голос ее звучал мягко, она даже обняла девушку за талию. Но та отвечала только:

— Спасибо вам, мисс, спасибо! Я не могу. Мне это никак нельзя. Даже и думать об этом нечего. Чем хуже отцу приходится, тем больше я ему нужна.

Тут мисс Аби, как бывает обычно с суровыми людьми, когда они смягчаются, вдруг спохватилась, что она слишком уж расчувствовалась, и, решив, что ей следует наверстать это упущение, стала вдруг очень холодна.

— Я сделала все, что могла,— сказала она,— теперь живи, как сама знаешь. Помни только: как постелешь, так и уснешь. А отцу твоему передай одно,— чтобы он больше сюда не ходил.

— О мисс, неужели вы запретите ему ходить в единственное место, где ему, я знаю, ничего не грозит?

— «Грузчикам» надо заботиться и о себе, а не только о других,— возразила мисс Аби.— Мне было очень не-

легко навести здесь порядок и сделать это заведение таким, каким оно теперь стало, а для того, чтобы поддерживать в нем порядок, нужно работать день и ночь не покладая рук. Я не могу допустить, чтобы на репутации «Грузчиков» осталось пятно, чтобы про нас пошла дурная слава. Я запретила Райдергуду ходить сюда, запрещаю и Хэксему. И тому и другому одинаково. От тебя и от Райдергуда я знаю, что они оба на подозрении, и не берусь решать, который из них виноват. Обоих одинаково мазнули дегтем, а я не хочу, чтобы мое заведение тоже мазали дегтем. И больше я знать ничего не знаю.

— Прощайте, мисс! — грустно сказала Лиззи.

— Г-м! Прощай! — отвечала мисс Аби, мотнув головой.

— Поверьте мне, мисс Аби, я все равно благодарна вам от всей души.

— Мало ли чему я верю, Лиззи,— возразила с достоинством величавая Аби,— постараюсь поверить и этому.

Мисс Поттерсон так и не ужинала в тот вечер и выпила только полстакана горячего негуса с портвейном, вместо обычной порции. А прислуга женского пола,— две сестрицы, похожие на кукол,— коренастые, курносые, с круто завитыми черными локонами, вытаращенными черными глазами и плоскими, как блин, красными лицами, обменялись замечаниями насчет того, что хозяйку нынче кто-то погладил против шерсти. Мальчишка же говорил впоследствии, что еще никогда не получал такой трепки на сон грядущий,— разве только в те времена, когда еще покойная мамаша загоняла его в кровать кочергой.

Лиззи вышла, и за ее спиной загремела цепь, накладываемая на дверь; звук рассеял то облегчение, которое она почувствовала в первую минуту. Ночь была непроглядно темная, с резким ветром. Мрачно встретил ее пустынный берег реки; а кроме того, все еще стояли в ушах звон железной цепи и скрип болтов, задвигаемых рукою мисс Поттерсон,— звук, символизирующий изгнание из общества. Как только Лиззи очутилась под хмурым ночным небом, ею овладело чувство, что тень убийства легла и на нее; и как волны прилива разбивались у ее ног, приходя неизвестно откуда, так и эта мысль возникла из незримой бездны и поразила ее в самое сердце.

Что ее отца подозревают напрасно, она была уверена. Уверена. Уверена. И все же, сколько она ни повторяла про себя это слово, сколько ни пыталась рассуждать, доказывая себе самой, что она права, ей это не удавалось. Райдергуд совершил преступление и заманил в ловушку ее отца. Райдергуд не совершал преступления, но по своей злобе решил пустить в ход против отца те обстоятельства дела, которые легко было перетолковать и которые оказались у него в руках. Как бы ни представляла она себе это дело, и в том и в другом случае с одинаковой быстротой возникала ужасная возможность: ее отца могут счесть в конце концов виновным, несмотря на то, что он не виновен.

Ей приходилось слышать, как люди платили жизнью за пролитие крови, в котором они впоследствии оказывались не повинны, а эти несчастные прежде всего не заблуждались так опасно, как ее отец. Именно с тех пор, при самом благополучном толковании дела, на него стали показывать пальцем, люди начали его избегать, пополз недоброжелательный шепот. Все это началось с той самой ночи. И когда большая черная река с ее унылыми берегами стала незрима для нее во мраке, Лиззи все еще стояла на берегу реки, силясь проникнуть взглядом за черную завесу горя, чтобы увидеть за нею жизнь, чувствуя себя чуждой и добру и злу, но зная, что жизнь простирается перед нею туманной пеленой, вплоть до великого океана — смерти.

Одно было ясно для девушки. С младенческих лет привыкнув сразу делать то, что можно было сделать — прятаться ли от непогоды, бороться ли с холодом и голодом, да и мало ли что еще,— она очнулась от задумчивости и побежала домой.

В комнате было тихо, на столе горела лампа. В углу, на койке, спал ее брат. Лиззи нагнулась, тихонько поцеловала его и подошла к столу.

«Мисс Аби уже заперлась, да и по приливу судя, теперь должно быть уже час ночи. Прилив начался. Отец в Чизвике, и вряд ли захочет вернуться раньше отлива, а это будет в половине пятого. Я разбужу Чарли в шесть. Отсюда услышу, как пробьют церковные часы».

Двигаясь очень тихо, она поставила стул перед скудным огнем и села, плотно закутавшись в шаль.

— Сейчас не видно той ямки, Чарли, где жарче всего горит. Бедный Чарли!

Часы пробили два, пробили три, пробили четыре, а она все сидела с терпением, свойственным всем женщинам, и с решимостью, свойственной ее характеру. Когда пятый час утра был уже на исходе, она сняла башмаки, чтобы хождением по комнате не разбудить Чарли, бережливо подбросила угля в огонь, поставила вскипятить воду и накрыла стол к завтраку. Потом она поднялась по лестнице с лампой в руках, опять сошла вниз и начала сновать по комнате, собирая небольшой узелок. Из своего кармана, с каминной доски, из-под опрокинутой миски на самой верхней полке она собрала, наконец, несколько полупенсов, еще меньше пенсов и совсем мало шиллингов, и принялась усердно и бесшумно пересчитывать их, откладывая в сторону маленькую кучку. Она была погружена в это занятие, когда брат проснулся и сел на постели.

— О-го! — окликнул он ее, так что она вздрогнула.

— Ты меня испугал, Чарли!

— Испугал! А ты разве меня не испугала,— я только что проснулся, смотрю, ты сидишь тут, словно призрак какой-нибудь скряги, глухой ночью.

— Сейчас не глухая ночь, Чарли. Почти шесть утра.

— Разве? А ты что поднялась, Лиззи?

— Все гадала на тебя, Чарли.

— Немного же ты мне нагадала, если это все,— сказал мальчик.— Для чего ты откладываешь в сторону эту кучку?

— Для тебя, Чарли.

— Что это значит?

— Вставай, Чарли, умойся и оденься, тогда я тебе все расскажу.

На Чарли всегда действовали ее спокойные манеры и ее тихий, ясный голос. Он быстро окунул голову в таз с водой, вынырнул оттуда и, утираясь, посмотрел на сестру из-за летавшего вихрем полотенца.

— Я не видывал такой девушки, как ты,— говорил он, растирая самого себя полотенцем с бешеной энергией, словно своего злейшего врага.— Что ты затеваешь, Лиз?

— Ты уже готов, Чарли?

— Можешь наливать. Ого! И узел готов?

— И узел, Чарли.

— Неужели и узел тоже для меня?

— Да, Чарли, тоже.

Став серьезнее и двигаясь медленнее, мальчик привел себя в порядок, вышел и сел завтракать за маленький столик, не отводя изумленных глаз от лица сестры.

— Видишь ли, милый Чарли, я решила, что теперь тебе самая пора уходить от нас. Помимо того, что все, надо думать, когда-нибудь переменится к лучшему, не пройдет еще и месяца, ты сам будешь счастливее и учиться будешь лучше. Быть может, не пройдет даже и недели.

— Откуда ты знаешь, что я буду счастливей?

— Сама не знаю хорошенько, а все-таки знаю.

Хотя с виду Лиззи держалась по-прежнему спокойно и говорила все так же тихо, она боялась взглянуть на брата, не надеясь на свои силы, и не поднимала глаз, занимаясь разными мелочами: резала для брата хлеб, намазывала маслом, наливала чай.

— Отца ты предоставь мне, Чарли, я постараюсь сделать все, что могу; а тебе надо уходить.

— Ты со мной не церемонишься, я вижу,— проворчал мальчик, в сердцах отталкивая кусок хлеба с маслом.

Сестра ничего не ответила.

— Вот что я тебе скажу,— начал он и тут же сердито всхлипнул,— ты просто себялюбивая девчонка, думаешь, что на троих не хватит, вот тебе и надо сбыть меня с рук.

— Если ты так думаешь, Чарли, ну что ж, тогда я сама готова думать, что я себялюбивая девчонка, что на троих нам не хватит и что мне надо сбыть тебя с рук.

И только когда мальчик бросился к ней и повис у нее на шее, она не могла больше сдерживаться. Не могла больше сдерживаться и заплакала над ним.

— Не плачь, не плачь, Лиззи! Я и сам рад, что ухожу, я и сам рад. Я знаю, ты потому отсылаешь меня, что хочешь мне добра.

— Ах, Чарли, видит бог, что хочу!

— Да, да. Не слушай меня, забудь, что я говорил. Поцелуй меня.

Наступило молчание. Потом она высвободилась из рук Чарли, чтобы вытереть глаза, и снова заговорила с ним твердо, спокойно и убежденно.

— Теперь послушай меня, милый Чарли. Оба мы знаем, что это нужно, и я одна знаю, что нужно сделать это сейчас,— есть на это причина. Иди прямо в школу и скажи, что мы с тобой так решили, что мы не могли сладить с отцом — он против того, чтобы ты учился, что отец не будет никого беспокоить, но больше уже не примет тебя обратно. Ты и сейчас гордость школы, а потом они тобой еще больше станут гордиться и помогут тебе получить стипендию. Покажи там, что ты принес из одежды и сколько с тобой денег, и скажи им, что я тебе пришлю еще. Если никаким другим способом мне не удастся достать денег, я попрошу взаймы у двух джентльменов, что приходили к нам в ту ночь.

— Слушай! — с живостью окликнул ее брат.— Не бери только денег у того, который держал меня за подбородок! Не бери денег у этого Рэйберна!

Она кивнула головой, зажав ладонью его рот, чтобы он молчал и слушал, и, быть может, щеки и лоб у нее слегка порозовели.

— А самое главное вот что, Чарли! Об отце всегда отзывайся хорошо: не забудь этого. Старайся всегда быть справедливым к отцу, отдавай ему должное. Отец не учился сам, потому и тебе не дает учиться — этого ты отрицать не можешь, но больше никаких наговоров на него не слушай, и смотри же, говори всегда,— ведь ты это знаешь,— что твоя сестра очень его любит. А если тебе придется услышать про отца такое, чего ты еще никогда не слыхал, то все это неправда. Слышишь? Все это неправда.

Мальчик взглянул на нее удивленно и с сомнением, но она продолжала, не обращая на это внимания.

— Самое главное, не забывай: все это неправда. Больше мне нечего сказать тебе, Чарли, разве только одно: учись, будь хорошим, да вспоминай про старую жизнь так, словно она приснилась тебе во сне вчерашней ночью. Прощай, мой голубчик!

Такая юная, она сумела вложить в эти прощальные слова любовь, которая больше походила на материнскую, чем на сестринскую любовь, и перед которой мальчик не мог не дрогнуть. С рыданиями прижав сестру к своей груди, он схватил узелок и выбежал за дверь, вытирая глаза рукавом.

Медленно близился белый лик зимнего дня, окутанный морозною мглою, и призраки судов на реке медленно преображались в черные силуэты. Диск солнца, красный, как кровь, выплывая из-за восточных болот, из-за темного леса мачт и верфей, казалось, заключал в себе руины сожженного им леса.

Лиззи, поджидавшая отца, завидела его лодку издали и вышла на пристань, чтобы и он ее заметил.

В лодке у него ничего не было, и он двигался быстро. Кучка человеческих амфибий, которые каким-то таинственным образом извлекают средства к существованию из вод прилива, по-видимому, только тем, что глядят на эти воды, собралась у пристани. Как только лодка Хэксема причалила, они отвернулись и разбрелись кто куда. Лиззи поняла, что люди начали избегать ее отца.

Старик тоже это понял, как только ступил ногой на берег и осмотрелся. Но он сейчас же занялся делом: вытащил лодку на берег, привязал ее, достал из лодки весла, руль и веревки. С помощью Лиззи он понес все это к своему жилищу.

— Садись поближе к огню, отец, пока я приготовлю тебе завтрак. Все уже есть, только тебя и дожидается. Ты, верно, прозяб?

— Что ж, Лиззи, мне не так-то жарко, это верно. А руки у меня так болят, словно были гвоздями прибиты к веслам. Смотри, как покраснели! — Он протянул к ней руки, но, быть может, цвет этих рук, а может быть, и выражение лица дочери поразили его; он повернулся к ней боком и стал греть руки у огня.

— Надеюсь, ты не был на реке в такую холодную ночь, отец?

— Нет, милая. Я был на барже, грелся у жаровни с угольями. А где мальчишка?

— К чаю тебе осталось немножко бренди; выпей чаю, пока я поджарю этот кусочек мяса. Если река станет, то-то будет горе для всех, правда, отец?

— Да, уж горя у нас всегда довольно,— сказал Старик, наливая в чашку бренди из короткогорлой черной бутылки и стараясь лить как можно медленнее, чтобы показалось больше,— беда и горе всегда висят над нами, словно сажа в воздухе. Разве мальчишка до сих пор не встал?

— Вот и мясо готово, отец. Ешь скорее, пока оно не остыло и еще мягкое. А когда позавтракаешь, мы сядем с тобой к огню и поговорим.

Но он понял, что Лиззи уклоняется от прямого ответа и, быстро взглянув на койку, дернул дочь за уголок фартука и спросил:

— Куда девался мальчишка?

— Отец, садись завтракать, я сяду рядом с тобой и все тебе расскажу.

Он взглянул на нее, помешал чай и сделал два-три глотка, потом отрезал карманным ножом кусочек мяса и сказал, прожевывая:

— Ну, говори! Куда девался мальчишка?

— Не сердись, отец. Кажется, у него большие способности к учению...

— Бессовестный щенок! — воскликнул родитель, потрясая ножом в воздухе.

— ...к этому у него способности есть, а к чему-нибудь другому нету, вот он и решил учиться...

— Бессовестный щенок! — повторил родитель, все так же потрясая ножом.

— ...он знает, что у тебя лишних денег нет, отец, и не хочет быть тебе в тягость, оттого и надумал идти искать себе счастья в ученье. Он ушел нынче утром, отец, и очень плакал, уходя; он ушел в надежде, что ты когда-нибудь простишь его.

— Пусть лучше никогда не приходит ко мне просить прощенья,— сказал отец, потрясая ножом, чтобы подчеркнуть свои слова.— Пусть никогда мне на глаза не показывается, даже и близко не подходит. Родной отец ему нехорош! Он от родного отца отрекся. Так и отец тоже от него отрекается на веки вечные, от щенка этакого!

Он оттолкнул от себя тарелку. Как все грубые и сильные люди в гневе, чувствуя потребность пустить в ход силу, он зажал нож в кулаке и ударял им по столу в конце каждой фразы, как ударял бы просто кулаком, если бы в нем ничего не было.

— Ушел — и отлично. И гораздо лучше, что он ушел, а не остался. Только, чтоб уж больше не возвращался сюда. Чтоб ноги его тут больше не было. И ты не смей больше за него заступаться, чтобы я ни слова от тебя не слышал,

не то отец и от тебя отступится и все, что говорит про него, скажет и про тебя. Вот теперь мне понятно, почему все эти людишки глядеть на меня не хотят. Небось говорят один другому: «Вот идет человек, от которого родной сын отрекся!» Лиззи...

Но тут она прервала его речь криком. Взглянув на нее, он увидел, что она с изменившимся лицом пятится к стене, закрывая глаза ладонью.

— Перестань, отец! Не могу я видеть, как ты ударяешь ножом. Брось его!

Он в изумлении посмотрел на свой нож, все еще не разжимая кулака.

— Отец, мне страшно. Брось ножик, брось!

Испуганный выражением ее лица и криком, растерявшись от неожиданности, он отшвырнул нож и поднялся с места, протягивая к ней разжатые руки.

— Что ты, Лиззи? Неужели ты подумала, что я могу ударить тебя ножом?

— Нет, отец, нет, ты никогда меня не тронешь.

— А разве я кого-нибудь трогал?

— Никого, милый. Я стану на колени и поклянусь, что я верю в это. Положа руку на сердце, я верю, что никого! Но так было страшно смотреть! похоже было...— и тут она снова закрыла лицо руками,— похоже было, что...

— На что похоже?

Воспоминание о том, как он был страшен вот только что, тяжелые испытания вчерашней ночи и нынешнего утра оказались ей не под силу — она замертво упала к его ногам, так ничего и не ответив.

До сих пор он никогда не видел, чтобы Лиззи падала в обморок. Он поднял ее очень бережно, с нежностью, называл ее лучшей из дочерей и «бедной крошкой», положил ее голову к себе на колени и пытался привести ее в чувство. Когда это ему не удалось, он бережно опустил голову Лиззи на пол, взял подушку, подсунул ее под черные косы Лиззи и стал искать на столе, не осталось ли хоть глотка бренди. Оказалось, что нет ни капли — тогда он поспешно схватил пустую бутылку и выбежал из дому.

Возвратился он так же поспешно и все с той же пустой бутылкой. Став на колени возле дочери, он положил ее

голову к себе на плечо и, окунув пальцы в воду, смочил ее губы; при этом он говорил со злобой, озираясь то через правое, то через левое плечо:

— Чума у нас в доме, что ли? Или какая зараза прилипла ко мне? Что за беда стряслась над нами? И кто виноват в этой беде?

ГЛАВА VII

Мистер Вегг заботится о себе самом

Сайлас Вегг, собираясь походом на Римскую империю, идет на нее через Клеркенуэл *. Время — ранний вечер, погода — сырая и холодная. Располагая досугом, мистер Вегг делает небольшой крюк: теперь, имея еще один источник дохода, он свертывает свою ширму пораньше; а кроме того, из уважения к самому себе он считает необходимым, чтобы в «Приюте» его поджидали с нетерпением.

«Пускай Боффин подождет немножко — и пылу прибавится и ценить больше будет»,— думает Сайлас, ковыляя путем-дорогой, и прищуривает сначала правый глаз, а потом левый, что, пожалуй, уже и лишнее: природа и без того постаралась и прищурила ему оба глаза больше, чем следует.

— Если я с ним полажу так, как рассчитываю поладить,— рассуждает Сайлас, ковыляя дальше,— то мне, пожалуй, не годится оставлять это место. А то получается несолидно.

Подбодренный этой мыслью, он ковыляет быстрей и заглядывает далеко вперед, что нередко бывает с честолюбивыми людьми, планы которых откладываются на неопределенное время.

Будучи осведомлен, что около церкви в Клеркенуэле нашло себе прибежище целое население ювелиров, мистер Вегг чувствует к этому району особенный интерес и некоторое уважение. Однако его чувства несколько хромают с точки зрения строгой морали, как хромает и сам мистер Вегг: они подсказывают ему мысль о шапке-невидимке, в которой мистер Вегг мог бы беспрепятственно удрать, унося с собой золотые часы и драгоценные камни, и реши-

тельно отказываются от всякого сожаления к людям, которые лишились бы этих ценностей.

Однако не к этим мастерским, где искусные ремесленники оправляют жемчуга и брильянты в серебро и золото и где к их рукам прилипает столько золота, что даже обогащенная вода, в которой они моют руки, идет в продажу,— не к этим мастерским ковыляет мистер Вегг, а к убогим лавчонкам, где бедняки покупают себе что есть, что пить и чем прикрываться от холода,— к мастерским итальянцев, торгующих рамками, к лавчонкам цирюльников, перекупщиков, торговцев собаками и певчими птицами. Из всех этих лавчонок, втиснутых в узкий и грязный переулок, мистер Вегг выбирает одну с темным окном, где тускло горит сальная свеча среди хаоса каких-то странных предметов, смутно напоминающих клочки кожи и обломки палочек,— а впрочем, ничего как следует разобрать невозможно, кроме самой свечи в старом жестяном подсвечнике да двух лягушек в спирту, сражающихся на рапирах. Ковыляя еще энергичнее, мистер Вегг вступает на темное, грязное крыльцо, толкает грязную, темную боковую дверцу, подающуюся очень туго, и входит в темную, грязную мастерскую. Темнота такая, что ничего нельзя разглядеть за маленьким прилавком, кроме другой сальной свечи в жестяном подсвечнике, рядом с лицом человека, который сидит на стуле, низко нагнувшись над чем-то.

Мистер Вегг кивает этому лицу.

— Добрый вечер!

Когда человек поднимает голову, оказывается, что лицо у него желтое, с подслеповатыми глазами — над ним торчат вихры пропыленных рыжеватых волос. Его обладатель сидит без галстука, расстегнув измятый воротник рубашки, чтобы легче было работать. Поэтому же он работает без куртки; поверх пожелтевшей рубашки на нем один только просторный жилет. Глаза у него красные, утомленные, как у гравера, но он не гравер; выражением лица и сутуловатостью он похож на сапожника, но он и не сапожник.

— Добрый вечер, мистер Венус. Не узнаете?

Что-то смутно припоминается мистеру Венусу; он встает, поднимает свечу над прилавком, потом, опустив ее,

освещает обе ноги мистера Вегга, натуральную и искусственную.

— Ну, еще бы! — произносит он после этого.— Как поживаете?..

— Вегг, если припомните,— объясняет тот.

— Да, да,— говорит Венус.— Ампутирована в госпитале?

— Совершенно верно,— отвечает мистер Вегг.

— Да, да,— говорит Венус.— Как поживаете? Садитесь к огню, грейте... грейте ту, другую.

Маленький прилавок так короток, что оставляет свободным доступ к камину, который пришелся бы позади прилавка, будь тот несколько длиннее.

Мистер Вегг садится на ящик перед огнем и вдыхает теплый, приятный запах,— отнюдь не похожий на запах мастерской.— «Потому что здесь,— решает мистер Вегг про себя, для верности принюхавшись как следует,— должно пахнуть плесенью, клеем, перьями, погребом, кожей, лаком и... (нюхнув еще раз) пожалуй, сильней всего старыми мехами».

— Чай у меня заварен и лепешки подогреты, мистер Вегг,— не желаете ли присоединиться?

Руководящим жизненным правилом мистера Вегга было ни от чего не отказываться, и он ответил, что желает. Но в маленькой лавчонке до того темно, до того много черных полок, подставок, углов и закоулков, что он видит чашку мистера Венуса только потому, что та стоит рядом со свечкой, но не видит, из какого таинственного хранилища мистер Венус достает вторую чашку для гостя, и замечает ее только тогда, когда она оказывается под самым его носом. В то же время мистер Вегг замечает хорошенькую мертвую птичку, лежащую на прилавке: грудь у нее насквозь проколота длинной острой проволокой; головкой, свернутой набок, она касается блюдца мистера Венуса. Словно это Красногрудый Робин *, о котором поется в песенке, а мистер Венус — воробей с луком и стрелами, а мистер Вегг — муравей с круглыми глазами.

Мистер Венус ныряет под прилавок и достает вторую, еще неразогретую лепешку, вытаскивает стрелу из груди Робина и поджаривает лепешку на острие этого смертоносного орудия. Когда лепешка подрумянилась, он ныряет

снова и достает масло, чем и завершаются его приготовления к чаю.

Мистер Вегг, как человек хитрый и притом уверенный, что ужин от него не уйдет, отказывается от лепешки в пользу хозяина, для того чтобы смазать тому механизм, если можно так выразиться, то есть для того, чтобы он смягчился и настроился более гостеприимно. Лепешки исчезают мало-помалу, черные полки и углы яснее выступают из темноты, и мистер Вегг различает,— правда, не сразу и не очень ясно,— что на каминной полке напротив него стоит индийский младенец в банке, головой вниз и свернувшись в три погибели, словно собирается перекувырнуться, и перекувырнулся бы, будь банка пошире.

Когда, по его мнению, колеса мистера Венуса уже достаточно смазаны, мистер Вегг подходит, наконец, к занимающему его предмету и спрашивает, слегка потирая руки, что выражает некоторую нерешительность:

— А как шли мои дела в это время, мистер Венус?

— Очень плохо,— нелюбезно отвечает мистер Венус.

— Как? Разве я все еще тут? — с удивлением спрашивает Вегг.

— Пока еще тут.

Втайне Вегг, по-видимому, очень доволен, но, скрывая свои чувства, он замечает:

— Странно! Чему вы это приписываете?

— Не знаю, чему и приписать, мистер Вегг,— отвечает Венус, изможденный, меланхолического склада человек, слабым, жалобно-ворчливым голосом: — Не могу вас вставить ни в один сборный экземпляр. Сколько ни стараюсь, никак вас не приладишь. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, сразу отметит вас и скажет: «Не годится! Не подходит!»

— Ну, хорошо, мистер Венус, но ведь, черт возьми, не может же быть, чтобы так получалось только со мной одним, то есть лично у меня,— протестует мистер Вегг с некоторым раздражением.— Это, надо полагать, часто бывает со сборными экземплярами.

— С ребрами всегда так, это верно. Но не с другими костями. Когда я берусь за сборку, то наперед знаю, что в отношении ребер никак нельзя следовать природе, если давать разные ребра; у каждого человека свои ребра, и ничьи

чужие ему не подойдут; а все остальное я могу брать откуда угодно. Вот только что я отослал один заказ в художественное училище — ну, красавец, совершенный красавец. Одна нога от бельгийца, другая от англичанина, а остальное — еще от восьмерых человек. Вот и говори после этого, что нельзя делать сборные скелеты! И вы в конце концов должны куда-нибудь пригодиться, мистер Вегг!

Сайлас разглядывает свою единственную ногу настолько пристально, насколько это возможно при таком тусклом освещении, и, после некоторого молчания, брюзгливо замечает, что «надо полагать, у других тоже что-нибудь неладно. А почему же это происходит, как вы думаете?»

— Не знаю почему. Встаньте-ка на минуту! Подержите свечу.

Мистер Венус берет из угла рядом со своим стулом кость ноги, прекрасно отчищенную и на диво искусно соединенную со стопой. Эти кости он сравнивает с ногой мистера Вегга, а тот глядит на них так, словно ему примеряют ботфорты для верховой езды.

— Нет, не знаю, отчего так выходит, а все же оно так. У вас кривизна в этой кости, сколько могу судить. Других таких, как вы, мне еще никогда не попадалось.

Мистер Вегг, недоверчиво взглянув на свою ногу и подозрительно на тот образец, с которым ее сравнивали, делает вывод:

— Ставлю фунт, что нога не английская!

— Нетрудно и выиграть, когда у нас помешаны на всем иностранном! Конечно, не английская: нога принадлежит вот этому французскому джентльмену.

Он кивает на темный угол за спиной мистера Вегга, и тот, слегка вздрогнув, оглядывается на «французского джентльмена» и в конце концов различает в темноте на полке одни только его ребра, собранные очень искусно, словно панцирь или корсет.

— Гм! — произносит мистер Вегг, испытывая такое чувство, будто ему кого-то представляют,— там у себя, во Франции, ты, верно, был не хуже других, но никто не будет возражать, надеюсь, если я скажу, что не родился еще тот француз, на которого мне хотелось бы походить!

В эту минуту грязную дверь сильно толкают снаружи, и в мастерскую вваливается мальчуган, который говорит, дав сначала двери захлопнуться:

— Я за чучелом канарейки.

— Три шиллинга девять пенсов,— отвечает Венус.— Деньги принес?

Мальчик подает ему четыре шиллинга.

Мистер Венус, как всегда уныло, со вздохами и хныканьем, заглядывает то туда, то сюда в поисках чучела; когда он берет свечу для того, чтобы легче было искать, мистер Вегг замечает возле его колен очень удобную маленькую полочку, приспособленную специально под руки скелетов, и очень похоже, что они тянутся к мистеру Веггу, словно хотят его зацапать. Из этих рук мистер Венус выхватывает канарейку в стеклянной клетке и показывает ее мальчику.

— Вот она! — хнычет он.— Как живая! На ветке, вот-вот вспорхнет! Обращайся с ней поосторожнее: замечательный экземпляр. Да три пенса — это будет четыре.

Мальчик забирает сдачу и уже открывает дверь, потянув ее к себе за кожаный ремень, прибитый для этой цели, как вдруг Венус вскрикивает:

— Держи его! Вернись, негодяй! У тебя там зуб среди мелочи!

— Почем же я знал? Вы сами мне его дали. Не надо мне ваших зубов, у меня свои есть,— пищит мальчик, копаясь в мелочи, и бросает зуб на прилавок.

— Не дерзи, молодой человек, не гордись своей молодостью! — с чувством отвечает мистер Венус.— Не бей лежачего; я и без того наказан судьбой. Должно быть, зуб как-нибудь случайно попал в кассу. Они везде попадаются. В кофейнике нынче утром было два зуба. Коренных.

— Ну и ладно,— огрызается мальчишка,— а чего же вы ругаетесь?

На это мистер Венус отвечает только, встряхивая пыльными волосами и мигая подслеповатыми глазками:

— Не бей лежачего, не гордись своей молодостью — я и без того наказан судьбой. Ты и понятия не имеешь, какое из тебя получится убожество, если я тебя препарирую!



Этот довод, видимо, производит впечатление на мальчишку, и он убегает, что-то бормоча.

— О боже мой, боже мой! — тяжело вздыхает мистер Венус, снимая нагар со свечи,— тот мир, который казался таким цветущим, засох и увял. Вы хотите осмотреть мастерскую, мистер Вегг? Позвольте, я вам посвечу. Мой верстак; верстак моего подручного. Тиски. Инструмент. Кости разные. Черепа разные. Индийский младенец в спирту. То же, африканский. Препараты в банках, разные. Те, которые вы можете достать рукой, в отличной сохранности. Все попорченные — наверху. Что лежит в тех корзинках над нами, я и сам не помню. Скажем, человеческие кости. Кошки. Английский младенец в разобранном виде. Собаки. Утки. Стеклянные глаза, разные. Чучела птиц. Сушеные шкурки. О боже мой! Вот это общий вид, так сказать — панорама.

Он водил свечой таким образом, что все эти разнородные предметы то послушно выступали на свет, будучи названы, то снова исчезали во тьме.

Мистер Венус в приступе тоски повторяет: «О боже мой, боже мой!» — садится на место и уже в полном унынии опять наливает себе чая.

— А где же тут я? — спрашивает мистер Вегг.

— Где-то в сарае, на дворе, мистер Вегг... сказать по совести, я жалею, что дал маху и купил вас у больничного сторожа.

— Слушайте, а сколько вы за меня дали?

— Да что ж,— отвечает Венус, дуя на блюдечко; его голова при этом выступает из мрака над облаком пара, словно он воскрешает миф о происхождении своей фамилии *,— вы были среди разной смеси, так что наверно я не знаю.

Сайлас задает вопрос в новой редакции:

— А что вы за меня возьмете?

— Ну,— отвечает Венус, все так же дуя на чай,— этого я не могу так сразу вам сказать.

— Да будет вам, вы же сами говорили, что от меня вам толку мало,— убеждает его Вегг.

— Для сборной работы, это верно, мистер Вегг; но вы можете оказаться очень ценным экземпляром, в качестве...— тут мистер Венус обжигается глотком чаю, такого

горячего, что дух захватывает, и слезы выступают у него на глазах,— в качестве, извините,— монстра.

Отведя в сторону негодующий взгляд, который выражает все, кроме готовности извинить, Сайлас упорно идет к своей цели:

— Вы меня, кажется, знаете, мистер Венус; кажется, вам известно, что я никогда не торгуюсь.

Мистер Венус глотает горячий чай, закрывая глаза при каждом глотке и снова открывая их с судорожным усилием, однако ничем не выражает согласия.

— У меня имеется план преуспеть в жизни и возвыситься своими собственными трудами,— говорит Вегг с чувством,— мне бы не хотелось, признаюсь вам откровенно,— не хотелось бы при таких обстоятельствах разбрасываться, так сказать,— наполовину здесь, наполовину там,— а хотелось бы находиться в одном месте, как оно и следует порядочному человеку.

— Так это еще только план, мистер Вегг? Значит, и денег сейчас с вами нет? Ну так я вам скажу, что я с вами сделаю: я вас придержу. Я человек своего слова, и вам нечего беспокоиться, что я вас продам. Я вас придержу! Это я вам обещаю. О боже мой, боже мой!

Мистер Вегг, вынужденный положиться на это обещание и желая угодить Венусу, смотрит, как тот со вздохом наливает себе еще чая, затем говорит, стараясь, чтобы его голос звучал сочувственно:

— Вы что-то невеселы, мистер Венус. Разве дела плохи?

— Никогда не шли так хорошо.

— Может, работа из рук валится?

— Никогда не валилась, а сейчас и подавно, мистер Вегг. Я не только первый в своем ремесле: я сам и есть это ремесло. Если вам угодно, можете купить скелет в Вест-Энде * и заплатить сколько платят в Вест-Энде, все равно это будет моя работа. Я завален заказами: их у меня столько, сколько я могу сделать с помощью моего молодого человека, я своей работой горжусь и делаю ее с удовольствием.

Мистер Венус разглагольствует, простирая вперед правую руку, а блюдечко держа в левой, и голос его звучит так, словно он вот-вот разрыдается.

— Положение дел не такое, чтобы горевать, мистер Венус.

— Мистер Вегг, я и сам знаю, что не такое. Мистер Вегг, я не стану утверждать, будто в нашем ремесле мне совсем не найдется равного, но я стараюсь совершенствоваться, занимаюсь анатомией, так что у меня есть имя: меня знают. Мистер Вегг, если бы мне вас принесли в разобранном виде, в мешке с костями, я бы с закрытыми глазами рассортировал все ваши косточки — и мелкие и крупные — и снова собрал бы их в два счета, а уж позвонки подобрал бы так, что вы сами удивились бы и пришли в восторг.

— Ну, хорошо,— замечает Сайлас вежливо, хотя вовсе не таким угодливым тоном, как раньше,— опять-таки скажу, горевать не о чем. По крайней мере вам лично горевать не о чем.

— Мистер Вегг, я знаю, что не о чем; сам знаю, что не о чем. Сердце у меня болит, вот почему я горюю. Будьте так любезны, возьмите эту карточку и прочтите ее вслух.

Сайлас берет в руки карточку, извлеченную Венусом из ящика, где навален всякий хлам, и, надев очки, читает:

— Мистер Венус.

— Да. Продолжайте.

— Набивает чучела животных и птиц.

— Да. Продолжайте.

— Препарирует и собирает скелеты.

— Вот оно! (Со стоном.) Вот оно! Мистер Вегг, мне тридцать два года, а я холостяк. Мистер Вегг, я люблю ее. Мистер Вегг, она достойна любви короля.

Сайлас несколько струхнул, когда мистер Венус вскочил с места и в своем увлечении схватил его за воротник; но мистер Венус тут же, попросив извинения, садится снова и произносит со спокойствием отчаяния:

— Она против моего ремесла.

— А она знает, что это выгодно?

— Знает, что выгодно, и все-таки она против, и нисколько не ценит моего искусства. «Не желаю,— пишет она своей собственной рукой,— чтобы меня равняли с каким-нибудь скелетом».

Мистер Венус наливает себе еще чая, с выражением самой глубокой скорби во взгляде и даже в позе.

— Вот человек добрался до вершины, мистер Вегг, и только тут увидал, что не для чего было стараться! Сидишь тут ночью, среди самых замечательных трофеев моего искусства, и думаешь: «Что они со мной сделали? Погубили меня. Довели до того, что пришлось от нее услышать: «Не желаю, чтобы меня равняли с каким-нибудь скелетом!»

Повторив это роковое выражение, мистер Венус снова пьет чай большими глотками и объясняет, почему он пьет столько чая:

— Вот что меня печалит. Когда я окончательно опечалюсь, наступает вроде как бы летаргия. А когда я сижу и пью чай часов до двух ночи, то я забываюсь. Не стану вас больше задерживать, мистер Вегг. Я теперь плохая компания.

— Я не потому ухожу,— говорит Вегг, вставая с места,— а потому, что мне уже пора. Мне надо идти к Гармону.

— Куда? — спрашивает мистер Венус.— Это не к тому ли Гармону, что возле Бэтл-Бриджа?

Мистер Вегг подтверждает, что идет именно туда.

— Вам, должно быть, порядочно повезло, что вы туда пролезли. У них там денег куры не клюют.

— Подумать только,— говорит Вегг,— что вам и это известно: очень уж вы скоро догадались. Удивительное дело!

— Ничего нет удивительного, мистер Вегг. Старик всем интересовался, ему всегда хотелось знать цену тому, что он находил в мусоре; мало ли он ко мне перетаскал костей, перьев и всякой всячины.

— Да что вы!

— Да. (О боже мой, боже мой!) И похоронили его здесь по соседству, знаете ли. Вон там.

Мистер Вегг этого не знал, но делает вид, что знает, сочувственно кивая головой. Он переводит взгляд туда, куда указывает кивок Венуса, словно желая уловить направление.

— Я тоже интересовался этой находкой в реке,— говорит Венус. (Она тогда еще не писала мне так язвительно.) У меня там есть... А впрочем, не стоит говорить.

Вытянув руку, он поднял свечу к одной из темных полок, но как только мистер Вегг обернулся, чтобы взглянуть, тут же передумал.

— Старика здесь очень хорошо знали. Рассказывали всякие истории насчет того, что он будто бы прятал ценности в мусорных кучах. Вряд ли там что-нибудь нашли. Вы ничего не слыхали, мистер Вегг?

— Ничего там не нашли,— подтверждает мистер Вегг, который впервые про это слышит.

— Не буду вас больше задерживать. Всего лучшего!

Несчастный мистер Венус пожимает ему руку, качая головой, и, сгорбившись на своем стуле, снова наливает себе чая.

Мистер Вегг, потянув дверь за ремешок, оглядывается через плечо и видит, что это движение сотрясло всю ветхую каморку: колышется пламя свечи, оживают на мгновение все три младенца — английский, индийский и африканский; разные скелеты, французский джентльмен, кошки с зелеными глазами, собаки, утки и вся остальная коллекция дергается словно в параличе, а бедняга Красногрудый Робин у самого локтя мистера Венуса переворачивается на бок. В следующую минуту мистер Вегг уже ковыляет по грязи, при свете газовых фонарей.

ГЛАВА VIII

Мистер Боффин советуется

Тот, кому случалось в описываемое нами время сворачивать с Флит-стрит в Тэмпл *, долго блуждать вокруг Тэмпла, и, наткнувшись, наконец, на угрюмое кладбище, в отчаянии обвести взглядом угрюмые окна окружающих домов, и в самом угрюмом из этих домов заметить угрюмого мальчика, в его лице охватывал единым взглядом старшего клерка, младшего клерка, клерка по гражданским делам, клерка по нотариальным актам, клерка по бракоразводным делам, клерка всех оттенков и разновидностей — словом, всю контору мистера Мортимера Лайтвуда, не так давно названного в газетах «известным адвока-

том». Мистер Боффин, не раз имевший дело с этим экстрактом адвокатской конторы и в той же конторе и у себя в «Приюте», сразу узнал мальчика в лицо, завидев его в этом пыльном гнезде.

На третий этаж, где находилось окно, он поднимался, погруженный в размышления о превратностях, постигших Римскую империю, и весьма сожалея о смерти добродушного Пертинакса *, который пал жертвой разъяренных преторианцев не далее как вчера вечером, оставив государственные дела в крайнем беспорядке.

— Здравствуйте, здравствуйте! — помахивая рукой, воскликнул мистер Боффин, когда угрюмый мальчик, носивший очень ему идущую фамилию Вред, открыл перед ним дверь.— Хозяин дома?

— Мистер Лайтвуд приглашал вас прийти в это время, сэр?

— Если приглашал, так не даром, сами знаете,— возразил мистер Боффин.— Я ему заплачу, любезный.

— Само собой разумеется, сэр. Может, зайдете? Мистера Лайтвуда нет дома, но я жду его с минуты на минуту. Присядьте в кабинете мистера Лайтвуда, сэр, пока я справлюсь в книге консультаций.

И юный Вред весьма торжественно извлек из своей конторки длинную и тощую записную книгу в оберточной бумаге и забормотал, водя пальцем сверху вниз по странице:

— Мистер Агз, мистер Багз, мистер Вагз, мистер Гагз, мистер Дагз, мистер Боффин. Да, сэр, совершенно верно. Вы пришли немножко рано, сэр. Но мистер Лайтвуд скоро вернется.

— Мне не к спеху,— сказал мистер Боффин.

— Благодарю вас, сэр. Если разрешите, я уж кстати занесу вашу фамилию в список посетителей на сегодняшний день.

Юный Вред все так же торжественно достал другую книгу, взял перо, пососал его, обмакнул в чернила и, прежде чем вписать фамилию мистера Боффина, провел пальцем по длинному столбцу имен.

— Мистер Алли, мистер Балли, мистер Валли, мистер Галли, мистер Далли, мистер Жалли, мистер Залли, мистер Илли, мистер Калли. И мистер Боффин.

— А у вас тут строгий порядок, любезный? — сказал мистер Боффин, после того как его записали в книгу.

— Да, сэр, без этого мне бы не справиться,— объяснил мальчик.

Он, вероятно, хотел этим сказать, что окончательно рехнулся бы, если б не придумал себе занятия. Не имея в своем одиночном заключении ни оков, чтобы начищать их до блеска, ни деревянной чашки, чтобы покрывать ее резьбой, он напал на мысль перечитывать вслух фамилии в обеих книгах и выписывать из адрес-календаря имена лиц, якобы имеющих дела с мистером Лайтвудом. Такое занятие тем более способствовало поднятию его духа, что характера он был обидчивого и отсутствие клиентов у хозяина считал позором для себя лично.

— А давно ли ты сделался юристом? — с обычным своим любопытством спросил мистер Боффин.

— Да уж года три, сэр.

— Значит, родился юристом, можно считать! — восхитился мистер Боффин.— А нравится тебе это дело?

— Да так себе,— возразил юный Вред, тяжело вздыхая, словно все профессиональные огорчения остались для него уже позади.

— Сколько же ты получаешь?

— Вдвое меньше, чем мне хотелось бы,— отвечал юный Вред.

— А сколько бы ты хотел получать?

— Пятнадцать шиллингов в неделю.

— Сколько же, к примеру, тебе понадобится времени, чтобы сделаться судьей? — после некоторого молчания спросил мистер Боффин, окинув глазами всю его маленькую фигурку.

Мальчик ответил, что этого как раз он еще не успел высчитать.

— Кто же тебе помешает добиться своего, верно я говорю? — сказал мистер Боффин.

Мальчик ответил, что ему действительно никто не помешает добиваться своей цели, поскольку он имеет честь быть британцем, который никогда, никогда не будет рабом *. Однако мало ли что бывает на свете, может, что-нибудь и помешает ему.

— А не помогут ли тебе в этом деле один-два фунта? — спросил мистер Боффин.

У юного Вреда не имелось никаких сомнений на этот счет, и мистер Боффин подарил ему два фунта в благодарность за внимание к его (мистера Боффина) делам, которые он теперь считал все равно что улаженными.

После этого мистер Боффин уже до самого прихода мистера Лайтвуда сидел смирно, приставив к уху палку и словно слушая домового, сплетничавшего ему про контору. Он разглядывал книжный шкафчик с судебными протоколами и отчетами, окно, пустой синий мешок, палочку сургуча, перо, коробку с облатками, яблоко — все это сильно запыленное,— бювар со множеством чернильных пятен и брызг, ружейный чехол, плохо замаскированный под нечто, имеющее отношение к закону, и железный ящик с надписью «Дело Гармона».

Мистер Лайтвуд объяснил, что был у поверенного, вместе с которым он приглашен вести дело мистера Боффина.

— Оно и видно, что мои дела порядком вас замучили! — сочувственно отозвался мистер Боффин.

Мистер Лайтвуд, не сочтя нужным объяснить, что утомление у него хроническое, сообщил, что, поскольку со всеми формальностями уже покончено, завещание покойного Гармона утверждено, смерть ближайшего наследника Гармона установлена, и прочее, и прочее, и на этот счет уже имеется решение Канцлерского суда, и прочее, и прочее, он, мистер Лайтвуд, к величайшему своему удовлетворению, имеет честь и удовольствие, и прочее, и прочее, поздравить мистера Боффина со вступлением в права наследства, в качестве единственного оставшегося в живых наследника, и теперь мистеру Боффину предстоит получить свыше ста тысяч фунтов, которые лежат на текущем счету в Английском банке, опять-таки и прочее, и прочее.

— И что особенно приятно, мистер Боффин, так это то, что с вашим капиталом никакой возни не будет. Ни имений, которыми надо управлять, ни арендной платы, приносящей столько-то процентов убытку в плохие годы (весьма недешевый способ прославиться через газеты!), ни избирателей, с которыми надо возиться, ни доверенных, которые снимают сливки, прежде чем подать молоко на стол. Вы можете хоть завтра же утром положить весь

капитал в шкатулку и увезти его... ну хотя бы в Скалистые горы. Поскольку всякий, по-видимому, считает своим непременным долгом раньше или позже упомянуть в разговоре Скалистые горы таким тоном, будто он их знает вдоль и поперек, то надеюсь, вы извините, что и я к вам пристаю с этой скучнейшей географией,— заключил мистер Лайтвуд, лениво улыбнувшись.

Мистер Боффин, не вполне уяснив себе последнюю фразу, растерянно посмотрел сначала на потолок, потом на ковер.

— Не знаю, право, что вам и сказать на этот счет,— заметил он.— Мне и без того жилось неплохо. Уж очень много забот прибавится!

— Так не берите на себя этих забот, любезнейший мистер Боффин!

— То есть как это не брать? — вопросил мистер Боффин.

— Говоря теперь со всей безответственностью частного лица, а не с глубокомыслием профессионального советчика,— ответил Мортимер,— я бы сказал: уж если вас так угнетают размеры капитала, вы можете найти утешение в мысли, что его очень легко убавить. А если вам и это покажется затруднительно, можете утешиться еще одним соображением: найдется множество охотников помогать вам.

— Я что-то плохо вас понимаю,— возразил мистер Боффин, по-прежнему в недоумении.— Ничего, знаете ли, не вижу хорошего в том, что вы говорите.

— А разве есть в жизни что-нибудь хорошее? — спросил Мортимер, поднимая брови.

— Да, у меня бывало,— задумчиво глядя на него, отвечал мистер Боффин.— Когда я еще служил десятником в «Приюте» — до того как он стал «Приютом»,— мне это дело очень нравилось. Старик был сущий татарин (не в укор его памяти будь сказано), зато смотреть за работами с раннего утра до позднего вечера было очень приятно. Жалко даже, что он нажил такую уйму денег. Для него же было бы лучше, если б он поменьше о них думал. Будьте уверены, заботы ему и самому были в тягость! — вдруг сделал он открытие.

Мистер Лайтвуд кашлянул, не вполне убежденный.

— А если говорить насчет того, что хорошо, а что нет,— продолжал мистер Боффин,— так, боже милостивый, ежели разобрать все как следует, одно за другим, разве от денег можно ждать добра? Когда старик в конце концов поступил по справедливости с бедным мальчиком, ничего хорошего из этого не вышло. Беднягу убили в ту самую минуту, когда он, можно сказать, подносил чашку с блюдечком к устам. Теперь я могу сказать вам, мистер Лайтвуд, что мы с миссис Боффин всегда заступались за беднягу, и как только старик нас за это не честил! Помню, однажды миссис Боффин высказала ему напрямик свое мнение насчет родственных отношений, а он сорвал с нее шляпку (она почти всегда носила черную соломенную шляпку, для удобства, на самой макушке) и пустил колесом через весь двор. Как не помнить! А в другой раз, когда он, мало того что сорвал шляпку, но и дошел до личностей, я ему чуть было не дал по шее, да миссис Боффин бросилась нас разнимать, и я угодил ей прямо в висок. Она так и повалилась, мистер Лайтвуд. Как подкошенная!

Мистер Лайтвуд пробормотал, что это «делает честь уму и сердцу миссис Боффин».

— Вы понимаете,— продолжал мистер Боффин,— я для того только это говорю теперь, когда все уже позади, чтобы показать вам, что мы с миссис Боффин всегда стояли за детей, как оно и следует по христианству. Мы с миссис Боффин заступались за девочку, заступались и за мальчика; мы с ней шли против старика; а ведь он каждую минуту мог выгнать нас на улицу, не глядя на все наши старания. А миссис Боффин,— продолжал он, понизив голос,— до того дошла, что при мне прямо в лицо назвала его бессердечным негодяем. Теперь, когда она стала модницей, ей, может, неприятно про это вспоминать.

Мистер Лайтвуд пробормотал:

— Доблестный саксонский дух... предки миссис Боффин... стрелки из лука... при Азенкуре и Креси *.

— Мы с ней в последний раз видели бедного мальчика,— продолжал мистер Боффин, мало-помалу расчувствовавшись и начиная таять (что свойственно всякому жиру),— когда ему было всего семь лет от роду. Ведь когда он вернулся, чтобы вступиться за сестру, мы уезжали из города насчет одного контракта — там надо было сна-

чала просеивать, а потом уже возить — а мальчик приехал, да и опять уехал, пробыв дома не больше часу. Так вот, ему было тогда всего семь лет. Он уезжал в эту заграничную школу один-одинехонек, все его забросили, и зашел он в наш домик (во дворе теперешнего «Приюта») погреться у огня. На нем был жиденький такой дорожный костюмчик. За дверями, на пронзительном ветру, стоял его тощий чемоданчик, который я должен был донести до парохода: старик и слышать не хотел о том, чтобы дать ему шесть пенсов на кэб. Миссис Боффин, тогда еще совсем молодая женщина, пышная как роза, стала на колени перед огнем, согрела руки и начала оттирать щеки ребенку: а как увидела, что у него слезы на глазах, то заплакала сама, крепко обняла его за шею, словно хотела защитить, и говорит мне: «Я бы все на свете отдала, лишь бы убежать отсюда вместе с ним!» Не могу сказать, чтоб мне это было приятно, но только после этого я стал еще больше уважать миссис Боффин. Бедняжка прижался к ней, а она к нему, а потом, когда старик позвал мальчика, он сказал: «Пора идти! Благослови вас боже!» — а сам так посмотрел на нас обоих, словно в смертной тоске. Как он посмотрел! Я проводил его на пароход (сначала угостил любимыми его лакомствами), подождал, пока он уснет на своей койке, и только после того вернулся к миссис Боффин. Но сколько я ни рассказывал, как я его оставил, все напрасно, ей казалось, что он смотрит точно тем же взглядом, каким смотрел тогда на нас обоих. Но в одном отношении это пошло нам на пользу. Своих детей у нас не было, и нам всегда хотелось иметь хоть одного. Но только не после этого. «Оба мы могли бы умереть,— говорила миссис Боффин,— и наш мальчик смотрел бы вот так же на чужих». Бывало, по ночам, когда стояли большие холода, или завывал ветер, или дождь лил как из ведра, она просыпалась вся в слезах и вскрикивала: «Неужели ты не видишь его лица? Боже, приюти бедняжку!» А потом, с годами, это у нее прошло, как многое проходит.

— Любезный мистер Боффин, все на свете проходит и обращается в прах и мусор,— вяло улыбаясь, сказал мистер Мортимер.

— Я бы не сказал, что все,— возразил мистер Боффин, которого, видно, сердил скептический тон Лайтвуда,—

много есть такого, чего я никогда не находил среди мусора. Так вот, сэр. Мы с миссис Боффин все старели да старели на службе у хозяина, пока его не нашли мертвым в кровати. Тогда мы с женой запечатали шкатулку, которая всегда стояла на столике рядом с кроватью, и так как мне приходилось слышать, что Тэмпл — это такое место, где берут подряды на всякий адвокатский мусор, то я и отправился сюда искать адвоката, увидел, как ваш молодой человек давит мух на окне перочинным ножиком, окликнул его, не имея тогда еще удовольствия быть с вами знакомым, и таким способом добился этой чести. Потом вы и еще один джентльмен в таком неудобном галстуке под маленькой аркой на подворье святого Павла...

— Докторс-Коммонс *,— заметил Лайтвуд,— в коллегии докторов Гражданского права.

— Мне показалось, будто его звали по-другому,— подумав, сказал мистер Боффин.— Ну, да вам лучше знать.— Потом вы и доктор Скоммонс взялись за дело, написали все это как нужно, приняли меры, чтобы разыскать бедного мальчика, и, наконец, нашли его, а мы с миссис Боффин частенько говорили друг другу: «Вот мы и опять его увидим, при более счастливых обстоятельствах». Но этому не суждено было статься, а печальнее всего то, что деньги в конце концов так ему и не достались.

— Зато они попали в достойные руки,— слегка наклонив голову, заметил Лайтвуд.

— Они достались нам с миссис Боффин только сегодня, только сейчас, к этому-то я и веду; ведь мы столько ждали именно этого дня и этого часа. Мистер Лайтвуд, это было злодейское, жестокое убийство. Оно, неизвестно для чего, обогатило нас с миссис Боффин. За поимку и осуждение убийцы мы предлагаем десятую часть нашего капитала — награду в десять тысяч фунтов.

— Это слишком много, мистер Боффин.

— Мистер Лайтвуд, мы вместе с миссис Боффин назначили эту сумму и на этом стоим.

— Однако позвольте вам заметить,— возразил Лайтвуд, уже не с легкомыслием частного лица, а с глубокомыслием профессионала,— что предлагать такую огромную награду — большой соблазн: это может навести на лож-

ные подозрения; появятся подстроенные улики, фальшивые обвинения. Обещать такую награду — значит играть с огнем.

— Нет, что ж,— сказал несколько озадаченный мистер Боффин,— мы уж решили столько отложить на это дело. А надо ли будет открыто назначать такую сумму в новом объявлении от нашего имени...

— От вашего имени, мистер Боффин, от вашего.

— Ну ладно, пускай от моего, оно ведь у нас с миссис Боффин одно и означает нас обоих,— вот об этом вам самим придется подумать, когда будете составлять бумагу. Но это первое поручение, которое я даю своему адвокату, вступив в права наследства.

— Ваш адвокат, мистер Боффин,— ответил Лайтвуд, делая очень коротенькую заметку очень ржавым пером,— с удовольствием принимает ваше поручение. Будет еще что-нибудь?

— Еще только одно, и ничего больше. Составьте мне завещаньице покороче, но так, чтоб как можно крепче: насчет того, что весь капитал я оставляю «моей возлюбленной жене Генриетте Боффин, единственной душеприказчице». Напишите как можно короче, вот этими самыми словами, но чтобы оно было крепко.

Не зная, как понять слова мистера Боффина насчет крепости завещания, Лайтвуд стал осторожно нащупывать почву:

— Извините, но профессиональное глубокомыслие требует точности. Когда вы говорите «крепко»...

— Я и хочу сказать «крепко»,— объяснил мистер Боффин.

— Совершенно верно. И как нельзя более похвально. Но эта самая крепость должна к чему-нибудь обязывать миссис Боффин?

— Обязывать миссис Боффин? — прервал ее супруг.— Ну нет! С чего это вам вздумалось? Я хочу закрепить все имущество за ней, чтоб его уж никак не могли у нее отнять.

— Закрепить без всяких условий, чтобы она могла с с ним делать все, что хочет? Безусловно?

— Безусловно? — повторил мистер Боффин, отрывисто рассмеявшись.— Еще бы! Хорошенькое было бы дело,

ежели бы я вздумал к чему-нибудь обязывать миссис Боффин. В мои-то годы!

И это поручение было также принято мистером Лайтвудом; приняв его, мистер Лайтвуд пошел проводить мистера Боффина к выходу и чуть было не столкнулся в дверях с мистером Юджином Рэйберном. Свойственным ему невозмутимым тоном Лайтвуд произнес:

— Позвольте познакомить вас,— и объяснил, что мистер Рэйберн весьма сведущий в законах юрист и что он, частью в интересах дела, частью же ради удовольствия, познакомил мистера Рэйберна с некоторыми подробностями биографии мистера Боффина.

— Очень рад познакомиться с мистером Боффином,— сказал Юджин, хотя по его лицу нельзя было заметить никакой радости.

— Спасибо, сэр, спасибо,— ответил мистер Боффин.— Как вам нравится ваша профессия?

— М-м... не особенно,— отвечал Юджин.

— Слишком суха, по-вашему, а? Что ж, мне так кажется, надо несколько лет поработать как следует, чтобы изучить это дело. Самое главное — работать. Воззрите на пчел...

— Извините, пожалуйста,— возразил Юджин, невольно улыбнувшись,— должен вам сказать, что я всегда возражаю против сравнения с пчелой.

— Вот как! — сказал мистер Боффин.

— Я возражаю из принципа, как двуногое.

— Как что? — спросил мистер Боффин.

— Как двуногое животное. Из принципа, в качестве двуногого, я возражаю против того, что меня вечно сравнивают с насекомыми и четвероногими. Я возражаю против того, что в своих действиях я должен сообразоваться с действиями пчелы, собаки, паука или верблюда. Вполне согласен, что верблюд, например, весьма воздержанное животное; но у него несколько желудков, а у меня всего один. Кроме того, у меня нет такого удобного и прохладного погреба для хранения напитков.

— Но я ведь говорил про пчелу,— возразил мистер Боффин, несколько затрудняясь ответом.

— Вот именно. И разрешите вам заметить, что ссылки на пчелу не вполне основательны. Ведь мы рассуждаем

отвлеченно. Допустим на минуту, что между пчелой и человеком в рубашке и брюках существует аналогия (что я отрицаю) и что человеку положено учиться у пчелы (что я также отрицаю); но ведь это еще вопрос, чему он должен учиться? Следовать ее примеру или, наоборот, избегать подражания? Когда ваши друзья-пчелы хлопочут до самозабвения, увиваясь вокруг своей повелительницы, и волнуются от малейшего ее движения, следует ли нам, людям, поучаться величию низкопоклонства перед знатью или же презирать ничтожество «Придворных известий»? Еще вопрос, мистер Боффин, не следует ли разуметь улей в сатирическом смысле?

— Во всяком случае, пчелы работают,— заметил мистер Боффин.

— Д-да, работают больше, чем нужно,— пренебрежительно отозвался Юджин,— они производят больше, чем могут потребить, они неустанно хлопочут и жужжат, одержимые своей единственной мыслью, пока смерть их не настигнет. Уж не пересаливают ли они, как вы думаете? И неужели человеку-труженику нельзя даже и отдохнуть из-за ваших пчел? И неужели мне нельзя переменить обстановку, из-за того что пчелы никуда не ездят? Мистер Боффин, мед очень хорош за завтраком, но если рассматривать его с точки зрения рядового школьного учителя и моралиста, то я буду возражать против деспотического хвастовства ваших друзей-пчел. При всем моем уважении к вам.

— Спасибо,— сказал мистер Боффин.— До свидания, до свидания.

Тем не менее почтенный мистер Боффин поплелся прочь, не в силах отогнать от себя неприятную мысль,— что на свете есть много неладного и помимо того, что связано с имуществом Гармона. И, шагая по Флит-стрит в таком настроении, он заметил, что за ним по пятам идет какой-то очень прилично одетый человек.

— Ну-с,— круто остановившись, сказал мистер Боффин, прерванный на середине своих размышлений,— что же дальше?

— Извините, мистер Боффин.

— И фамилию узнали? Как это вы ухитрились? А я вот вас не знаю.

— Да, сэр, вы меня не знаете.

Мистер Боффин взглянул в упор на незнакомца, а тот — на мистера Боффина.

— Верно, я вас не знаю,— сказал мистер Боффин, глядя на мостовую, как будто она была составлена из лиц, среди которых он рассчитывал найти похожее.

— Я человек неизвестный, и вряд ли меня вообще кто-нибудь знает,— сказал незнакомец,— но богатство мистера Боффина...

— Ах, так об этом уже болтают! — пробормотал мистер Боффин.

— ...и романтические обстоятельства, связанные с получением наследства, сделали его известным. Недавно мне указали вас на улице.

— Что ж,— возразил мистер Боффин,— надо думать, вы были разочарованы, когда вам меня показали, и если б не ваша вежливость, вы бы так и говорили, я и сам знаю, что смотреть тут не на что. А что же вам от меня нужно? Вы ведь не адвокат?

— Нет, сэр.

— Может, хотите мне что-нибудь сообщить за вознаграждение?

— Нет, сэр.

По лицу незнакомца на миг пробежала тень, но тут же исчезла.

— Если не ошибаюсь, вы шли за мной от моего адвоката и пытались привлечь мое внимание. Говорите прямо! Так или нет? — довольно сердито спросил мистер Боффин.

— Да.

— Для чего вы это делали?

— Если вы разрешите мне идти рядом с вами, мистер Боффин, я вам скажу. Не хотите ли вы свернуть вот сюда — кажется, это Клиффордс-Инн * — тут нам легче будет услышать друг друга, чем среди уличного шума.

(«Ну,— подумал мистер Боффин,— если он предложит мне сыграть в кегли, или познакомиться с джентльменом из провинции, недавно получившим наследство, или купить у него случайно найденную золотую цепочку, я ему дам в ухо!» С этой тайной мыслью, держа трость так, как Панч * держит свою дубинку, мистер Боффин свернул в Клиффордс-Инн.)

— Мистер Боффин, проходя нынче утром по Чансери-лейн, я заметил, что вы идете впереди меня. Я позволил себе следовать за вами, но не решился с вами заговорить, пока вы не вошли к своему адвокату. Я ждал вас на улице.

(«Что-то не похоже на кегли или на джентльмена из провинции, и на золотую цепочку тоже не похоже,— подумал мистер Боффин,— а там кто его знает».)

— Боюсь, что вы сочтете мое намерение слишком дерзким, кажется так поступать не принято, но я все-таки отважусь. Если вы зададите мне или скорее самому себе вопрос, что придало мне такую смелость, то я отвечу: мне говорили, что вы человек прямой и честный, что сердце у вас самое доброе и что судьба наградила вас женой, которая отличается теми же качествами.

— Насчет миссис Боффин это вам верно говорили,— ответил мистер Боффин, опять оглядывая своего нового знакомца. Во всей его манере сказывалась какая-то подавленность: он и шел, не поднимая глаз, хотя чувствовал, что мистер Боффин за ним наблюдает, и говорил пониженным голосом. Но тон у него был непринужденный, а голос приятный, хотя и сдержанный.

— Если прибавить, что я и сам вижу то же, о чем говорит молва: что богатство нимало не испортило вас, что вы ничуть не зазнались,— надеюсь, вы, как человек прямодушный, не заподозрите меня в желании польстить вам, наоборот, поверите, что единственной моей целью было оправдаться перед вами, ибо моей навязчивости нет никакого другого оправдания.

(«Сколько? — подумал мистер Боффин.— Должно быть, сейчас начнет о деньгах. Сколько ему надо?»)

— Вы, мистер Боффин, вероятно, перемените образ жизни, поскольку изменились ваши обстоятельства. Вероятно, вы начнете жить более широко, займетесь устройством ваших дел, будете получать много писем. Если бы вы взяли меня секретарем...

— Чем? — переспросил мистер Боффин, широко раскрыв глаза.

— Секретарем.

— Вот это так штука! — произнес мистер Боффин.

— Или сделали меня своим поверенным, как бы ни назвать эту должность,— продолжал незнакомец, удивляясь

удивлению мистера Боффина,— и я докажу вам свою преданность и благодарность и, надеюсь, сумею оказаться вам полезным. Естественно, вы можете подумать, что я гонюсь за деньгами. Это не верно — я готов вам прослужить и год и два,— какой хотите срок, а потом уже договариваться о плате.

— Откуда вы приехали? — спросил мистер Боффин.

— Я побывал во многих странах,— отвечал тот, глядя ему прямо в глаза.

Знакомство мистера Боффина с названиями и местоположением чужих стран было довольно ограничено по объему и весьма смутно по характеру, и потому он придал следующему вопросу уклончивую форму.

— Из какого же, собственно, места?

— Я побывал во многих местах.

— Чем вы там занимались? — спросил мистер Боффин.

Но и тут он немногого добился, получив ответ:

— Я учился и путешествовал.

— Не сочтите за вольность, что я так прямо спрашиваю, но все-таки чем же вы зарабатываете на жизнь?

— Я уже говорил вам, чего добиваюсь,— возразил тот, опять взглянув на него с улыбкой.— Все мои планы потерпели крах, и мне нужно начинать жизнь, можно сказать, заново.

Не зная, как отделаться от просителя, и чувствуя себя тем более неловко, что, судя по манерам и внешности незнакомца, с ним надо было обращаться деликатно, почтенный мистер Боффин в поисках вдохновения обратил взоры на замшелый садик Клиффордс-Инна. Он увидел воробьев, кошек, гниль и плесень, а кроме этого, там решительно нечем было вдохновляться.

— Я до сих пор еще не назвал своего имени,— продолжал незнакомец, доставая визитную карточку из тощего бумажника.— Меня зовут Роксмит. Я живу у некоего мистера Уилфера, в Холлоуэе.

Мистер Боффин еще раз изумился.

— У отца мисс Беллы Уилфер? — спросил он.

— Да, совершенно верно. У моего хозяина есть дочь, которую зовут Белла.

Все утро, и даже не одно утро, а несколько дней подряд это имя не выходило из головы у мистера Боффина, и потому он сказал:

— Однако ж это странно! — И, держа карточку в руке, снова уставился на Роксмита, забыв о всяких приличиях.— А, кстати сказать, верно, кто-нибудь из этого семейства указал вам на меня?

— Нет. Я ни с кем из них не выходил на улицу.

— Так, значит, вы слышали, как они говорили обо мне?

— Нет. Я занимаю отдельное помещение и почти не общаюсь с ними.

— Еще того чудней! — воскликнул мистер Боффин.— Ну, право, сэр, откровенно говоря, не знаю, что вам ответить.

— И не говорите ничего,— возразил мистер Роксмит,— а лучше позвольте мне зайти к вам на днях. Я не настолько самоуверен и вовсе не думал, что вы почувствуете ко мне доверие с первого взгляда и возьмете меня прямо с улицы. Если разрешите, я наведаюсь за ответом как-нибудь после, когда вы надумаете.

— Это правильно, я ничего не имею против,— сказал мистер Боффин,— только давайте уговоримся наперед, чтобы вам было ясно, я ведь и сам не знаю, понадобится ли мне когда-нибудь секретарь — кажется, вы сказали «секретарь», не так ли?

— Да.

Мистер Боффин опять широко раскрыл глаза и, оглядев просителя с головы до ног, повторил:

— Странно! А вы уверены, что это так называется «секретарь»? Верно ли?

— Да, уверен.

— Секретарь,— повторил мистер Боффин, вдумываясь в это слово.— Чтобы мне понадобился секретарь или что-нибудь вроде, мало похоже, разве только если мне вдруг понадобится человек с луны. Мы с миссис Боффин еще не решили, будут ли у нас какие перемены в образе жизни. Миссис Боффин большая охотница до всякой моды, но у нас в «Приюте» она уже все устроила по-модному и, может, не захочет ничего больше менять. Как бы оно ни было, сэр, если у вас дело не к спеху, то лучше бы вы за-

шли в «Приют» недельки через две. Кроме всего прочего, считаю долгом прибавить, что у меня уже нанят литературный человек на деревянной ноге и расставаться с ним я не намерен.

— Очень жаль, что меня уже предупредили,— ответил Роксмит с видимым удивлением,— но, может быть, найдутся и другие обязанности?

— Видите ли,— с достоинством отвечал мистер Боффин,— насчет обязанностей моего литературного человека, так это дело ясное. По долгу службы он разрушается и падает, а по дружбе ударяется в поэзию.

Не заметив, что удивленному мистеру Роксмиту эти обязанности отнюдь не были ясны, мистер Боффин продолжал:

— А теперь, сэр, позвольте пожелать вам всего лучшего. Можете зайти в «Приют» недельки через две, в любое время. От вашей квартиры это не дальше мили, а дорогу вам покажет хозяин. А если он не знает нового названия «Приют Боффина», то, когда будете у него спрашивать дорогу, скажите, что это и есть дом Гармона.

— Гармуна,— повторил мистер Роксмит, по-видимому плохо расслышав.— Гармана. Как это пишется?

— Ну, насчет того, как оно пишется, это ваше дело,— отвечал мистер Боффин весьма сдержанно.— Вам только надо сказать ему, что это дом Гармона. Всего хорошего, всего хорошего.— И, не оглядываясь, он пошел дальше.

ГЛАВА IX

Мистер и миссис Боффин советуются

Отправившись после этого домой, мистер Боффин добрался до «Приюта» уже без всяких помех и доложил миссис Боффин, которая была в туалете черного бархата с перьями, словно лошадь, запряженная в катафалк, обо всем, что он говорил и делал после завтрака.

— А теперь, милая,— продолжал он,— нам надо бы заняться вопросом, которого мы до сих пор еще не решили: именно, не затеять ли нам еще чего-нибудь по части моды?

— Я тебе скажу, Нодди, чего бы мне хотелось,— вся просияв радостью и разглаживая складки на платье, начала миссис Боффин,— мне хочется общества.

— Светского общества, душа моя?

— Да, да! — воскликнула миссис Боффин, смеясь как дитя.— Какой толк, что я сижу тут взаперти, словно восковая фигура, верно?

— Восковые фигуры показывают за деньги,— возразил ее муж,— а тебя соседи могут видеть даром, хоть сам я никаких денег за это не пожалел бы.

— Нет, нет, не в том дело,— возразила жизнерадостная миссис Боффин.— Когда мы работали наравне с соседями, мы друг другу подходили, а теперь, когда мы больше не работаем, мы им не пара.

— Так как же по-твоему, не взяться ли нам опять за работу? — намекнул мистер Боффин.

— Что об этом толковать! Мы получили большое наследство и должны жить, как полагается богачам: надо знать свое место.

Мистер Боффин, питавший глубокое уважение к природному уму своей жены, ответил после некоторого раздумья:

— Да, пожалуй.

— До сих пор мы жили все по-старому, оттого и не видели ничего хорошего от богатства,— продолжала миссис Боффин.

— Правильно, до сих пор не видели,— согласился мистер Боффин все также задумчиво, садясь на свое место.— Надеюсь, в будущем мы увидим от этих денег хоть какой-нибудь прок. Что ты скажешь, старушка?

Миссис Боффин, сложив руки на коленях и с улыбкой на широком лице, простодушная и вся пухленькая, с пухлыми складочками на шее, принялась выкладывать свои планы:

— Я скажу, что нам нужен хороший дом в красивой местности, хорошая обстановка, вкусная еда и хорошее общество. По-моему, надо только не зарываться, не позволять себе ничего лишнего, вот и будешь жить счастливо.

— Да. И по-моему, тоже так,— все так же задумчиво согласился мистер Боффин.

— Господи ты мой боже! — рассмеявшись, воскликнула миссис Боффин и захлопала в ладоши, весело раскачиваясь на диване,— ведь я сплю и вижу, будто катаюсь в светло-желтой карете парой, с серебряными ступицами...

— Вот ты о чем думаешь, милая?

— Да! — радостно откликнулась старушка.— А на запятках лакей и этакая перекладина, чтобы его не задело по ногам. А на козлах кучер, а козлы широкие-широкие, такие, что втроем усесться можно, и обивка на них белая с зеленым! А гнедые знай себе поматывают головами и не столько везут, сколько ногами штуки выкидывают! А мы с тобой расселись в карете, будто важные господа! Ах ты боже мой, ха-ха-ха!

Миссис Боффин опять захлопала в ладоши, затопала ногами и, покачиваясь на диване, утерла выступившие от смеха слезы.

— Как ты полагаешь, старушка, что нам делать с «Приютом»? — спросил мистер Боффин, сочувственно посмеявшись вместе с ней.

— Запереть его. Не продавать, конечно, а поселить кого-нибудь, чтобы сторожил.

— А еще что?

— Нодди,— сказала миссис Боффин, пересаживаясь со своего модного дивана на простую скамью рядом с мужем и уютно просовывая руку под его локоть,— а еще вот что я думаю... право, ни днем, ни ночью не могу забыть ту бедную девушку... ну знаешь, ту, что так жестоко обманулась в своих надеждах на замужество и богатство. Как потвоему, нельзя ли ей чем-нибудь помочь? Взять ее к себе, что ли?

— И в голову никогда не приходило! — воскликнул мистер Боффин, восторженно стукнув кулаком по столу.— Мысли из моей старушки так и прут, словно пар из паровоза! И сама не знает, как это у нее получается. Ни дать ни взять паровоз!

В благодарность за такое мнение миссис Боффин дернула его за ухо, которое было ближе к ней, и продолжала уже другим тоном, ласковым и матерински заботливым:

— Вот еще о чем я мечтаю. Ты помнишь Джона Гармона совсем малышом, когда еще он не ходил в школу? Еще там, по ту сторону двора, куда он прибегал греться

у нашего камина? Теперь ему не поможет больше никакое богатство, да и деньги эти перешли к нам, и вот мне хотелось бы найти какого-нибудь сиротку, взять к себе и усыновить. Мы назвали бы его тоже Джоном, стали бы о нем заботиться. Все-таки мне было бы от этого легче, так мне кажется. Может, ты скажешь, что это просто каприз...

— А я этого не говорю,— прервал ее муж.

— Нет, миленький, да если бы и сказал...

— То был бы просто скотина,— опять прервал ее мистер Боффин.

— Так, значит, ты согласен? Очень мило с твоей стороны, ничего другого я от тебя и не ждала, голубчик. А правда, ведь и теперь уже приятно думать,— продолжала миссис Боффин, снова просияв от радости и с выражением полнейшего удовольствия разглаживая складки на платье,— ведь и сейчас уже приятно думать, что чье-нибудь дитя станет веселее, здоровее и счастливее в память о том несчастном мальчике? И разве не приятно знать, что доброе дело будет сделано на деньги того же несчастного мальчика?

— Да, но еще приятнее знать, что ты моя жена,— отвечал ее муж,— мне всегда было очень приятно это знать!

И, вопреки всем светским стремлениям миссис Боффин, они так и остались сидеть рядышком после этого,— простая, совсем не светская пара.

Эти невежественные и невоспитанные люди на своем жизненном пути всегда руководствовались внушенным религией чувством долга и стремлением делать добро. Тысячу слабостей и смешных черточек можно было сыскать в них обоих; быть может, еще десять тысяч тщеславных мыслей можно было найти в душе жены. Однако даже тот черствый и корыстный человек, который в их лучшие дни выжимал из них все соки, а платил так мало, что они едва сводили концы с концами,— даже он не настолько окаменел, чтобы не признать их нравственного превосходства и не чувствовать к ним уважения. Он уважал их, наперекор своей натуре, в вечном разладе с самим собой и с ними. Таков вечный закон жизни. Ибо зло преходяще и умирает вместе с тем, кто его содеял, а добро живет вечно.

Как ни погряз в корыстных помыслах покойный Тюремщик Гармоновой Тюрьмы, он сознавал всю честность и

преданность этих двух верных слуг. Он бесновался, понося их за правдивые и честные речи, но все же эти речи царапали его черствое сердце, и, наконец, он понял, что все его богатство не в силах купить этих людей, сколько бы он ни старался. И потому, хотя он был для них жестоким господином и ни разу не сказал им доброго слова, он упомянул их в своем завещании. И хотя он твердил чуть ли не каждый день, что ни одному человеку не верит,— действительно, он питал глубокое недоверие к людям хоть сколько-нибудь похожим на него самого,— все же он был твердо уверен, что эти двое людей, пережив его, останутся ему верны во всем, как в великом, так и в малом, уверен так же твердо, как и в том, что он умрет.

Мистер и миссис Боффин сидели рядышком и, удалившись на неизмеримое расстояние от моды, раскидывали умом, где бы им найти подходящего сиротку. Миссис Боффин предлагала дать в газете объявление, которое приглашало бы сирот, соответствующих приложенному описанию, явиться в «Приют» в назначенный день; но так как мистер Боффин по своему благоразумию предсказывал большой наплыв сирот и скопление их в окрестных улицах, то от этой мысли решили отказаться. Затем миссис Боффин предложила обратиться за подходящим сироткой к местному священнику. Мистер Боффин одобрил этот план, и они решили тотчас же сделать визит его преподобию, а заодно уже и познакомиться с мисс Беллой Уилфер, воспользовавшись таким удобным случаем. Для придания вящей парадности этим двум визитам было приказано подать экипаж миссис Боффин.

Выезд миссис Боффин состоял из долгоногой и головастой старой лошади, которая употреблялась прежде для разъездов по делам фирмы, и четырехколесного фаэтона той же эпохи, который давным-давно облюбовали стыдливые куры для несения в нем яиц. Для лошади теперь не жалели овса, а для экипажа не пожалели краски и лака, в результате чего получился, по мнению мистера Боффина, очень приличный выезд, а когда к нему прибавили кучера, в лице долговязого и головастого юнца как раз под стать лошади, то в этом отношении более ничего уже не оставалось желать. Кучер тоже употреблялся ранее для разъездов по делам фирмы, но теперь, усилиями бесхитро-

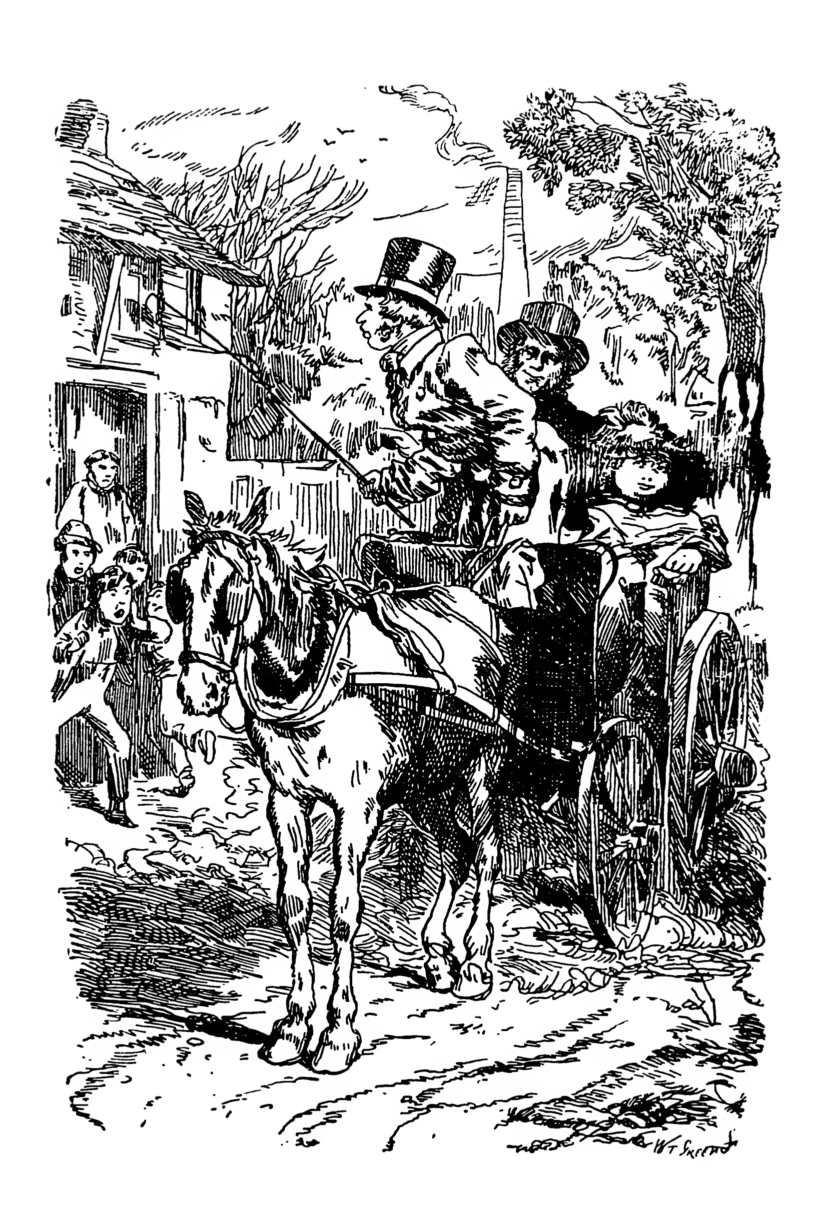
стного местного портняги, он был замурован в долгополый сюртук и гетры, словно в мавзолей, и припечатан огромными пуговицами.

Мистер и миссис Боффин уселись за спиной кучера, в задней части экипажа, которая была довольно просторна и удобна, но имела недостойное и опасное свойство словно икать при каждом сильном толчке, отскакивая от передней половины экипажа. Завидев карету, выезжавшую из ворот «Приюта», соседи высунулись из окон и дверей, кланяясь Боффинам. Среди любопытных, которые бежали за экипажем, глазея на выезд, оказалось много мальчишек, провожавших Боффинов громкими криками:

— Нодди Боффин! Зацапал денежки! Брось возить мусор, Нодди! — и другими приветствиями в том же духе. Эти крики до того оскорбляли головастого юношу, что он то и дело нарушал торжественность выезда, готовясь соскочить с козел и расправиться с обидчиками, и только после долгих и оживленных прений с хозяевами успокаивался, поддавшись на их уговоры.

Наконец район «Приюта» остался позади и показалось мирное жилище его преподобия Фрэнка Милви. Жилище его преподобия Фрэнка было очень скромное жилище, потому что и доход у пастора был тоже очень скромным. По своей должности Фрэнк был обязан принимать каждую бестолковую старуху, тащившуюся к нему со своим вздором, а потому с готовностью принял и Боффинов. Это был совсем еще молодой человек, воспитание которого обошлось очень дорого и которому платили очень дешево, он имел совсем молоденькую жену и целую кучу ребятишек. Чтобы сводить концы с концами, ему приходилось давать уроки древних языков и переводить классиков, а между тем все почему-то думали, что досуга у него больше, чем у последнего лодыря в приходе, а денег — больше чем у первого богача. Он принимал все ненужные трудности и недостатки своей жизни с традиционным, почти рабским терпением, и если бы предприимчивый мирянин захотел распределить такое бремя более достойно и разумно, то он вряд ли пошел бы ему навстречу.

Мистер Милви выслушал просьбу миссис Боффин насчет сироты по привычке внимательно и терпеливо, хотя едва заметная улыбка показывала, что он обратил внима-



ние на туалет просительницы. Он принял их в маленькой компатке, где было так шумно и чадно, что казалось, будто все шестеро детей вот-вот провалятся к ним сквозь потолок детской, а жареная баранья нога вот-вот поднимется из кухни сквозь пол.

— У вас, верно, никогда не было своих детей, мистер и миссис Боффин? — спросил мистер Милви.

— Никогда не было.

— Но, подобно сказочным королю и королеве, вам хотелось бы иметь ребенка?

— Вообще говоря, да.

Мистер Милви опять улыбнулся, заметив как бы про себя, что этим сказочным королям и королевам почему-то всегда хотелось иметь детей. Сам же он думал, что, будь эти короли приходскими священниками, у них, возможно, явилось бы желание противоположного порядка.

— Думаю, что нам лучше пригласить на совет миссис Милви. Я без нее как без рук. Если позволите, я позову ее.

Мистер Милви крикнул: «Маргарита, дорогая моя?» — И миссис Милви сошла вниз. Это была миловидная и живая маленькая женщина, уже истощенная заботами, которые успели заглушить в ней изящные вкусы и жизнерадостные фантазии юности, заменив их школами, супом, фланелью, углем, всеми будничными нуждами бедняка и воскресным кашлем малых и старых прихожан. Мистер Милви не менее мужественно отказался от многого, что было связано с прежними его занятиями и прежними товарищами-студентами, для того чтобы трудиться над черствыми крохами жизни среди бедняков и их детей.

— Это мистер и миссис Боффин, душа моя. Ты ведь слышала, какое счастье выпало на их долю?

Миссис Милви как нельзя более просто и сердечно поздравила Боффинов, сказав при этом, что очень рада их видеть. Однако по ее приветливому лицу, открытому и впечатлительному, скользнула та же неприметная улыбка, что и у мужа.

— Миссис Боффин желает усыновить мальчика, душа моя.

Миссис Милви заметно встревожилась, а потому ее супруг поспешил добавить:

— Сиротку, душа моя.

— Ах, вот как! — произнесла миссис Милви, несколько успокоившись за собственных своих детей.

— Я подумал, Маргарита, что внук старой миссис Гуди, может быть, подойдет им.

— Что ты, Фрэнк! Не думаю, чтобы он подошел.

— Нет?

— Конечно нет!

Миссис Боффин, которая сияла улыбками, очарованная живостью маленькой женщины и ее сочувствием, поняла, что тут следует вмешаться в разговор, и, выразив свою благодарность, спросила, почему же этот мальчик не подойдет!

— Мне кажется,— сказала миссис Милви, взглянув на его преподобие Фрэнка,— и мой муж, верно, согласится со мной, если подумает хорошенько,— что вам трудно будет уберечь его от нюхательного табаку. Его бабушка ужасно много нюхает и совсем засыпала внучка табаком.

— Но ведь бабушка не будет жить с ним, Маргарита,— заметил мистер Милви.

— Да, Фрэнк, но она повадится ходить к миссис Боффин, и чем лучше будут ее угощать, тем чаще она будет наведываться. И с ней очень нелегко иметь дело. Надеюсь, вы не сочтете меня злопамятной, но я не могу забыть, что в прошлый сочельник она выпила у нас одиннадцать чашек чаю и при этом все время ворчала. И она неблагодарная, Фрэнк. Помнишь, как она собрала целую толпу под нашими окнами, поздно вечером, когда мы уже легли, и жаловалась, что ее обидели, показывая всем любопытным подаренную ей новую фланелевую юбку, будто бы слишком короткую.

— Это верно,— сказал мистер Милви.— Пожалуй, ее внук не годится, а вот маленький Гаррисон...

— Что ты, Фрэнк! — энергично запротестовала жена.

— Бабушки у него ведь нет, душа моя?

— Да, но не думаю, чтобы миссис Боффин понравился сиротка, который так страшно косит.

— Опять-таки верно,— сказал мистер Милви, совсем запутавшись.— Если бы их устроила девочка...

— Но, милый мой Фрэнк, миссис Боффин хочет мальчика.

— Опять-таки верно,— задумчиво сказал мистер Милви.— Том Бокер хороший мальчик.

— Сомневаюсь, милый Фрэнк,— после некоторого колебания начала миссис Милви,— захочет ли миссис Боффин взять сироту, которому уже исполнилось девятнадцать лет и который ездит на бочке, поливая улицы.

Мистер Милви вопросительно взглянул на миссис Боффин, и когда та, улыбаясь, закивала всеми перьями на черной бархатной шляпе, он заметил, несколько приуныв:

— Это тоже правда.

— Конечно, если б я знала, что вам будет столько хлопот, сударь, и вам тоже, сударыня, я бы, может, и не пришла к вам,— сказала миссис Боффин.

— Пожалуйста, не говорите этого,— остановила ее миссис Милви.

— Да, прошу вас,— повторил за ней мистер Милви,— мы очень вам обязаны, что вы обратились именно к нам.

Миссис Милви поддержала его; и право, эти добрые, совестливые люди говорили так, будто у них в распоряжении имелся целый склад сироток, а покровительство оказывали им самим.

— Это очень ответственное поручение и очень трудное. Но все-таки нам не хотелось бы от него отказываться,— сказал мистер Милви.— Поэтому не будете ли вы так добры дать нам два дня сроку. Знаешь, Маргарита, мы могли бы поискать в работном доме, в начальной школе и у нас в приходе.

— Ну, разумеется! — подтвердила энергичная маленькая женщина.

— У нас, конечно, имеются сиротки,— продолжал мистер Милви с таким выражением лица, словно он собирался прибавить «в запасе», и так озабоченно, словно боялся упустить выгодный заказ,— но они работают на кирпичных заводах для своих родных, и я боюсь, что их не отдадут даром! И если даже вы получите ребенка в обмен на одеяла, книги или уголь, то эти вещи пропьют наверняка, чему помешать очень трудно.

Наконец решили, что супруги Милви станут искать сироту для Боффинов и сообщат им, когда найдут что-нибудь подходящее. После этого мистер Боффин обратился

к его преподобию Фрэнку с просьбой располагать по своему усмотрению небольшой суммой «этак фунтов в двадцать пять», так сказать, стать его банкиром, и тратить эти деньги на бедных, за что мистер Боффин будет премного ему обязан. Супруги Милви приняли эту просьбу с такой радостью, словно сами никогда не знали нужды и только сочувствовали чужой бедности, и, таким образом, обе стороны расстались, вынеся из разговора самое приятное впечатление друг от друга.

— А теперь, старушка,— сказал мистер Боффин, когда они снова уселись в экипаж за спиной головастых кучера и лошади,— после такого приятного визита попробуем побывать у Уилферов.

Но когда они подъехали к калитке семейного особняка, оказалось, что побывать у Уилферов не так-то легко, наоборот, проникнуть в дом было невозможно: они звонили в колокольчик три раза без всякого результата, хотя каждый раз после звонка за дверью слышались топот и беготня.

На четвертый раз, после того как за ручку звонка мстительно дернул головастый молодой человек, в дверях как бы случайно появилась мисс Лавиния с зонтиком и в шляпке, будто собиралась на прогулку. Эта молодая особа удивилась, увидев перед калиткой гостей, и выразила свое удивление соответствующим жестом.

— Мистер и миссис Боффин! — проворчал головастый юнец, тряся решетчатую калитку, словно зверь, засаженный для обозрения в зверинец.— Они дожидаются уже полчаса!

— Кто, вы говорите? — переспросила мисс Лавиния.

— Мистер и миссис Боффин! — ответил молодой человек, возвышая голос до рева.

Мисс Лавиния, снова поднявшись на крыльцо, подошла к парадной двери, взяла ключ, спустилась по ступенькам в палисадник, пересекла его и отперла калитку.

— Войдите, пожалуйста,— надменно пригласила их мисс Лавиния.— Нашей прислуги нет дома.

Мистер и миссис Боффин приняли приглашение и, остановившись в маленькой прихожей, в ожидании, пока мисс Лавиния поведет их дальше, увидели вверху на лестничной площадке три пары подслушивающих ног: ноги

миссис Уилфер, ноги мисс Беллы, ноги мистера Джорджа Самсона.

— Мистер и миссис Боффин, если не ошибаюсь? — предостерегающим тоном возвестила мисс Лавиния.

Настороженное внимание со стороны ног миссис Уилфер, ног мисс Беллы, ног мистера Джорджа Самсона.

— Да, мисс, совершенно верно.

— Пройдите, пожалуйста, сюда, вниз по лестнице, я доложу маме.

Поспешное бегство ног миссис Уилфер, ног мисс Беллы, ног мистера Джорджа Самсона.

Прождав с четверть часа в общей семейной комнате, являвшей следы такой поспешной уборки после обеда, что было не совсем ясно, что тут происходило,— прибирали комнату для гостей или же играли в жмурки,— мистер и миссис Боффин удостоились, наконец, лицезреть миссис Уилфер, которая вплыла в комнату величественно-томно, снисходительно склонив голову набок — ее обычная манера встречать гостей.

— Простите, но чему я обязана такой чести? — спросила миссис Уилфер после обмена приветствиями, поправив носовой платок на голове и помахав руками, облеченными в перчатки.

— Чтобы сказать покороче, сударыня,— заметил мистер Боффин,— может, вам доводилось слышать нашу фамилию, поскольку мы с миссис Боффин получили наследство?

— Да, сэр, я слышала о таком случае,— отвечала миссис Уилфер, достойно склонив голову.

— И осмелюсь сказать, сударыня,— продолжал мистер Боффин в то время, как миссис Боффин подтверждала его слова кивками и улыбками,— вы не очень к нам расположены?

— Извините меня,— сказала миссис Уилфер.— Было бы несправедливо обвинять мистера и миссис Боффин в несчастье, которое, без сомнения, ниспослано свыше.

И на ее лице отразились героически претерпеваемые страдания, что придало особую значительность этим словам.

— Это, конечно, не в обиду нам сказано,— заметил честный мистер Боффин.— Мы с миссис Боффин люди про-

стые, сударыня, особых претензий не имеем, и ходить вокруг да около не любим; ко всему на свете можно найти прямую дорогу. Вот потому, значит, мы и пришли вам сказать, что очень рады будем познакомиться с вашей дочерью и сочтем за честь для себя, если она будет считать наш дом своим собственным, наравне с родительским. Короче говоря, нам хочется повеселить вашу дочку, дать ей возможность пользоваться всеми удовольствиями, какими мы сами будем пользоваться. Нам хочется, чтобы она переменила обстановку, развлеклась, рассеялась.

— Вот, вот! — подтвердила простосердечная миссис Боффин.— Господи, чего тут стесняться!

Миссис Уилфер с достоинством наклонила голову в сторону гостьи и величаво-монотонно ответила гостю:

— Извините, но у меня не одна дочь. Которой из них мистер Боффин и его супруга намерены оказать свое лестное внимание?

— Как же вы не понимаете? — вмешалась улыбающаяся миссис Боффин.— Само собой, мисс Белле.

— Вот как? — произнесла миссис Уилфер, строго и непреклонно взглянув на нее.— Моя дочь Белла дома и может отвечать за себя сама.— И, слегка приотворив дверь, за которой тут же послышалось шарканье ног, она крикнула: — Попросите ко мне мисс Беллу!

Это официальное приглашение, на слух весьма величественное и можно даже сказать геральдическое, она сделала, упершись в лицо дочери сердитым и укоризненным взглядом и в таком близком соседстве с ней, что мисс Белла едва успела убраться в чуланчик под лестницей, опасаясь появления мистера и миссис Боффин.

— Занятия моего мужа, Р. У.,— объяснила миссис Уилфер,— удерживают его в Сити в это время дня, иначе он тоже имел бы честь принимать вас под нашей скромной кровлей.

— Очень приятная квартирка! — бодро произнес мистер Боффин.

— Извините, сэр,— возразила миссис Уилфер, поправляя его,— это обитель Бедности, которая знает свое место, хотя и независима.

Затрудняясь продолжать разговор в этом направлении, мистер и миссис Боффин до появления мисс Беллы

сидели, уставясь в пространство, а миссис Уилфер без слов давала им понять, что каждый ее вздох требует невиданного в истории самоотвержения; как только появилась мисс Белла, ее представили гостям и объяснили ей цель их визита.

— Я очень вам признательна, разумеется,— сказала мисс Белла, холодно встряхнув кудряшками,— но у меня нет ровно никакого желания выезжать куда бы то ни было.

— Белла! — увещевала ее миссис Уилфер.— Белла, ты должна побороть себя!

— Да, послушайтесь вашей мамы, дорогая,— вторила ей миссис Боффин,— мы будем очень рады вам, да и слишком вы хорошенькая, чтобы сидеть в четырех стенах.

И добрая старушка поцеловала ее, похлопав по наливным плечам, а миссис Уилфер в это время чопорно сидела рядом, точь-в-точь должностное лицо, присутствующее на свидании перед казнью.

— Мы переедем в хороший дом,— говорила миссис Боффин, по свойственному ей женскому лукавству давая обязательство и за мистера Боффина, который не мог протестовать при посторонних,— заведем хорошую карету, будем везде ездить и все осматривать. И прежде всего, душенька, не надо на нас сердиться,— продолжала она, усаживая Беллу рядом с собой и гладя ее по руке,— сами знаете, мы тут ни при чем.

Мисс Белла была так тронута этими простыми словами, что со свойственной ее летам отзывчивостью на доброту и ласку тепло ответила миссис Боффин поцелуем. Однако это вовсе не понравилось почтенной светской даме, ее маменьке; та старалась повернуть дело так, что не Боффины ей делают одолжение, а она — Боффинам.

— Моя младшая дочь Лавиния,— представила миссис Уилфер Лавинию, радуясь случаю переменить разговор, когда Лавви опять вошла в гостиную,— мистер Джордж Самсон, друг нашего семейства.

Друг семейства находился в том периоде влюбленности, когда в каждом человеке видишь врага данного семейства. Усевшись на место, он засунул в рот круглый набалдашник трости, словно пробку, как будто оскорбленные чувства наполняли его до краев. И не сводил с Боффинов неумолимого взгляда.

— Если вам захочется, привозите с собой вашу сестру, когда соберетесь к нам погостить; мы, право, будем очень рады,— сказала миссис Боффин.— Чем меньше вы будете стесняться, тем нам будет приятнее.

— Ах, так моего согласия даже не спрашивают! — воскликнула мисс Лавиния.

— Лавви,— негромко заметила ей Белла,— держи себя потише, будь так добра.

— Нет, этого не будет,— ответила бойкая Лавиния,— я не ребенок, чтобы обо мне так говорили посторонние.

— Да, ты еще ребенок.

— Нет, я не ребенок и не желаю, чтобы обо мне говорили посторонние: «Привозите с собой сестру!» Еще чего!

— Лавиния! — сказала миссис Уилфер.— Замолчи! Я не позволю тебе выражать в моем присутствии вздорное подозрение, будто посторонние — кто бы они ни были,— могут оказывать покровительство моей дочери. Неужели ты воображаешь, глупая девочка, что мистер и миссис Боффин переступили бы наш порог, если б думали оказывать нам покровительство; или пробыли бы в таком случае хоть одну минуту под моей кровлей, пока у твоей матери хватит еще сил попросить их о выходе? Плохо же ты знаешь свою мать, если тебе так кажется!

— Все это очень мило...— начала было ворчать Лавиния, но миссис Уилфер оборвала ее:

— Замолчи! Я этого не позволю! Неужели ты не знаешь, как надо себя держать с гостями? Разве тебе не понятно, что, позволив себе намекнуть, будто эта леди и этот джентльмен собираются покровительствовать кому бы то ни было из твоих родных — все равно кому,— ты обвиняешь их в наглости и даже сумасбродстве?

— Не беспокойтесь, сударыня,— усмехнувшись, заметил мистер Боффин,— нас это мало беспокоит.

— Извините, но меня беспокоит,— возразила миссис Уилфер.

Мисс Лавиния отрывисто засмеялась и буркнула:

— Еще бы!

— И я требую, чтобы моя дерзкая дочь,— продолжала миссис Уилфер, буравя свое младшее детище уничтожающим взглядом, что нисколько не подействовало на Лавинию,— относилась справедливо к своей сестре Белле, пом-

нила бы, что Белла везде пользуется вниманием и что если Белла принимает знаки этого внимания, то с ее стороны это соверше-енно такое же (с негодующей дрожью в голосе) — совершенно такое же одолжение.

Но тут взбунтовалась мисс Белла и спокойно заметила:

— Знаете ли, мама, я и сама могу говорить за себя. И, пожалуйста, оставьте меня в покое.

— Очень удобно замахиваться на других, когда под рукой имеется такое удобное орудие — моя особа,— язвительно ввернула неукротимая Лавиния,— но мне хотелось бы знать, что на это скажет Джордж Самсон.

— Мистер Самсон,— начала миссис Уилфер, заметив, что молодой человек вынул было затычку изо рта, и метнула на него такой мрачный взгляд, что он снова засунул ее в рот.— Я уверена, что мистер Самсон, как друг нашей семьи и частый гость в нашем доме, слишком хорошо воспитан, чтобы вмешиваться не в свое дело.

Эта похвала молодому человеку заставила совестливую миссис Боффин раскаяться в том, что мысленно она была к нему несправедлива, и сказать, что они с мистером Боффином всегда будут рады его видеть — на что он великодушно ответил, не вынимая затычки изо рта:

— Очень вам благодарен, но только я всегда занят, и днем и вечером.

Тем не менее Белла вознаградила их за все неприятности, очень мило ответив на их авансы, так что добродушные супруги остались, в общем, очень довольны и сказали, что миссис Боффин заедет сообщить Белле, как только у них все будет готово к ее приему. Миссис Уилфер санкционировала это предложение величавым кивком головы и мановением перчаток, словно говоря: «К вашим недостаткам отнесутся снисходительно и милостиво, жалкие люди».

— Кстати, сударыня,— сказал мистер Боффин, оборачиваясь по дороге к двери.— У вас, кажется, есть жилец?

— Один джентльмен действительно занимает у нас верхний этаж,— отвечала миссис Уилфер, заменив грубое слово более деликатным.

— Можно сказать, «наш общий друг»,— заметил мистер Боффин.— А что за человек наш общий друг? Нравится ли он вам?

— Мистер Роксмит очень пунктуальный, очень спокойный и очень приемлемый в общежитии человек.

— Надо вам знать, что я не так-то близко знаком с нашим общим другом,— я видел его всего один раз. Вы о нем хорошо отзываетесь. А сейчас он дома?

— Мистер Роксмит дома,— ответила миссис Уилфер, указывая в окно,— вон он стоит у садовой калитки. Может быть, он дожидается вас?

— Может быть,— согласился мистер Боффин.— Видел, должно быть, как мы сюда входили.

Белла внимательно прислушивалась к этому краткому диалогу. Потом, провожая миссис Боффин до калитки, она так же внимательно наблюдала за всем происходящим.

— Здравствуйте, сэр, как поживаете? — сказал мистер Боффин.— Это миссис Боффин. А это мистер Роксмит, о котором я тебе рассказывал, душа моя.

Она поздоровалась с молодым человеком, который очень вежливо подсадил ее в коляску.

— До свидания пока что, мисс Белла,— сказала миссис Боффин, сердечно прощаясь с нею.— Скоро увидимся! И тогда я надеюсь показать вам моего маленького Джона Гармона.

Мистер Роксмит, который стоял у колеса, расправляя складки ее платья, вдруг оглянулся назад, посмотрел по сторонам, потом взглянул на миссис Боффин и при этом так побледнел, что миссис Боффин воскликнула:

— Боже мой! — И сейчас же вслед за этим: — Что с вами, сэр?

— Как вы можете показать ей мертвеца?

— Да нет, это приемный сын. Тот, о котором я ей рассказывала. Тот, которому я хочу дать это имя.

— Вы меня удивили,— сказал Джон Роксмит,— и мне показалось, что это дурной знак — говорить о мертвецах такой юной и цветущей девушке.

С некоторых пор Белла стала подозревать, что мистер Роксмит к ней неравнодушен. Эта ли уверенность (скорее уверенность, чем подозрение) привлекала ее к нему несколько сильнее, чем вначале. Хотелось ли ей узнать о нем побольше, чтобы оправдать свое недоверие к нему, или же найти ему оправдание — было покамест неясно ей самой.

Но почти все время он сильно занимал ее воображение, и сейчас она тоже заинтересовалась его словами.

Он отлично ее понимал, и она поняла это не хуже него, когда они остались вдвоем на садовой дорожке.

— Очень достойные люди, мисс Уилфер.

— Вы хорошо их знаете? — спросила Белла.

Он улыбнулся и взглянул на нее с упреком, а она покраснела, упрекая себя за то, что хотела поймать его на слове, когда он ответил:

— Я много слышал о них.

— Правда; он сказал, что видел вас всего один раз.

— Да, так оно и было.

Белла взволновалась и была бы рада взять свои слова обратно.

— Вам показалось странным, что, интересуясь вами, я невольно вздрогнул, услыхав, что вам хотят показать человека, который погиб от руки убийцы и лежит в могиле. Я мог бы понять, а спустя минуту и понял, что речь идет не о том. Но мое чувство не изменилось.

Глубоко задумавшись, Белла вернулась в гостиную, где неукротимая Лавиния встретила ее словами:

— Ну вот, Белла! Наконец-то все твои желания исполнятся — с помощью твоих Боффинов. Ты теперь вот как разбогатеешь — с твоими Боффинами. Можешь кокетничать сколько тебе вздумается,— у твоих Боффинов. Но только я к твоим Боффинам с тобой не поеду, прямо говорю — и тебе и твоим Боффинам!

— Мисс Белла,— мрачно изрек Джордж Самсон, извлекая затычку изо рта,— если ваш мистер Боффин опять пристанет ко мне со всякой этакой чепухой, то я дам ему понять, как мужчина мужчине, что ему не по...

Он хотел сказать «не поздоровится», но мисс Лавиния, которая держалась самого невыгодного мнения об умственных способностях мистера Джорджа Самсона и чувствуя, что его речь ни к чему прямого отношения не имеет, опять впихнула затычку ему в рот, и с такой силой, что на глазах у него выступили слезы.

Но тут достойная миссис Уилфер, только что избравшая Лавви мишенью для упреков в назидание этим Боффинам, вдруг сделалась необычайно ласкова с ней и пустила в ход последнее доказательство силы характера,

оставшееся до сих пор в резерве. Она выказала недюжинную наблюдательность как знаток людей,— способность, всегда ужасавшую Р. Уилфера, поскольку она постоянно подмечала у других такие дурные и мрачные черты, каких не замечали менее проницательные психологи. Надо заметить, что так и поступила сейчас миссис Уилфер из зависти к этим Боффинам, в то же время предвкушая, как она будет хвастать этими же Боффинами и их богатством перед друзьями, лишенными такой возможности.

— Об их манерах,— начала миссис Уилфер,— я говорить не стану. Об их наружности — я говорить не стану. О бескорыстии их видов на Беллу — я говорить не стану. Но хитрость, но коварство, но скрытность, написанные на лице этой низкой интриганки миссис Боффин,— просто бросают меня в дрожь!

И в доказательство того, что все эти зловредные качества имеются у той налицо, миссис Уилфер и в самом деле вздрогнула.

ГЛАВА X

Брачный договор

В особняке Венирингов волнение. Пожилую молодую особу выдают замуж (с пудрой и со всем прочим) за пожилого молодого человека, выдают замуж из дома Венирингов, и Вениринги устраивают у себя свадебный завтрак. Химик, который из принципа не одобряет всего, что делается в доме, не одобряет, разумеется, и этого брака, но без его согласия как-то обходятся, и рессорный фургон выгружает у подъезда целый лес оранжерейных растений, для того чтобы завтрашнее торжество могло быть увенчано цветами.

У пожилой молодой особы имеется состояние. У пожилого молодого человека тоже имеется состояние. Он держит свой капитал в бумагах. Относясь к этому занятию снисходительно, по-любительски, он ездит в Сити, бывает на собраниях директоров, покупает и продает акции. Как хорошо известно мудрецам нашего времени, покупка и

продажа акций — единственное, чем стоит заниматься на этом свете. Не нужно ни предков, ни доброго имени, ни образования, ни идей, ни уменья держать себя в обществе: нужно только иметь акции. Имейте довольно акций, чтобы состоять в Совете Директоров (с прописной буквы), разъезжайте по каким-то таинственным делам между Лондоном и Парижем, и вас заметят. Откуда он явился? Куда он направляется? Акции. Какие у него вкусы? Акции. Есть ли у него принципы? Акции. Кто протаскивает его в парламент? Акции. Быть может, сам он никогда и нигде не мог добиться успеха, ни в чем не проявил инициативы, ничего ровно не сделал! Достаточно одного ответа на все: Акции. О могущественные Акции! Вознести эти дутые величины на такую высоту, заставить нас, ничтожных червей, вопить день и ночь, словно объевшись белены: «Возьмите наши деньги, растратьте их за нас, покупайте и продавайте нас, разорите нас, но только, бога ради, богатейте за наш счет и займите место среди сильных мира!»

Покуда Амуры и Грации готовили факел Гименея, который предстояло возжечь завтра, мистер Твемлоу пережил немало душевных терзаний. Казалось несомненным, что и пожилая особа и пожилой молодой человек были старейшими друзьями Вениринга. Быть может, он их опекун? Однако это вряд ли возможно, потому что оба они старше Вениринга. Он с самого начала пользовался их доверием и много сделал для того, чтобы завлечь эту пару к алтарю. В разговоре с Твемлоу он сообщил, что это он посоветовал миссис Вениринг: «Анастазия, их надо поженить». Кроме того, он сообщил Твемлоу, что смотрит на Софронию Экершем (пожилую девицу) как на сестру, а на Альфреда Лэмла (пожилого молодого человека) как на брата. Твемлоу спросил у Вениринга, не учился ли он в одной школе с Альфредом? Вениринг ответил: «Это не совсем так». Не была ли Софрония воспитанницей его матери? Вениринг ответил: «Это не вполне точно». Рука Твемлоу растерянно потянулась ко лбу.

Но две-три недели назад Твемлоу, сидя с газетой в руках за жидким чаем с черствыми гренками в своей квартире над конюшней на Дьюк-стрит, получил раздушенную записочку в виде треуголки с монограммой миссис Вениринг, которая умоляла дражайшего мистера Т., если он не

особенно занят сегодня, оказать ей любезность, приехать к ним отобедать, вместе с милым мистером Подснепом, для обсуждения очень интересного семейного дела; последние четыре слова были дважды подчеркнуты и отмечены восклицательным знаком. И Твемлоу, ответив, что «не занят и более чем в восторге», едет на обед, где происходит следующее.

— Дорогой Твемлоу,— говорит Вениринг,— откликнувшись с такой готовностью на приглашение Анастазии, вы были очень любезны и поступили поистине как самый старый наш друг. Вы знакомы с нашим дорогим другом Подснепом?

Как Твемлоу не знать дорогого друга Подснепа, который так его сконфузил в обществе? Он говорит, что, конечно, знаком, и Подснеп отвечает тем же. Видимо, Подснепа так обработали за это короткое время, что теперь он уже и сам верит, будто давным-давно состоит в близких друзьях семейства. Настроенный самым дружеским образом, он чувствует себя совсем как дома и стоит у камина задом к огню в позе Колосса Родосского *. Как ни плохо соображает Твемлоу, все же он и раньше замечал, что все гости Венирингов очень скоро заражаются их выдумкой. Он, однако, не подозревал, что и с ним произошло то же самое.

— Наши друзья, Альфред и Софрония,— вещает хозяин дома тоном оракула,— наши друзья, Альфред и Софрония, как вам приятно будет услышать, собираются пожениться. Так как мы с женой считаем это нашим семейным делом, руководство которым мы берем всецело на себя, то, разумеется, прежде всего мы сочли своим долгом сообщить об этом близким своим друзьям.

(«Ах, значит, нас только двое? — думает Твемлоу. глядя на Подснепа.— И он второй!»)

— Я надеялся,— продолжает Вениринг,— что будет и леди Типпинз, но ее приглашают наперебой, и, к сожалению, она уже занята.

(«Ах, так, значит, нас трое,— думает Твемлоу, растерянно озираясь по сторонам,— и она третья».)

— Мортимер Лайтвуд,— продолжает Вениринг,— которого вы оба знаете, уехал за город, но он пишет, как всегда эксцентрично, что если мы его просим быть шафе-

ром жениха во время церемонии, то он не отказывается, хотя и не понимает, при чем тут он.

(«Ах, так нас четверо,— думает Твемлоу, вращая глазами,— и он четвертый».)

— Бутса и Бруэра, которых вы тоже знаете, я не приглашал сегодня,— замечает Вениринг,— но я держу их в резерве на этот случай.

(«Так значит, нас шесте...— думает Твемлоу, закрывая глаза,— нас шесте...» — Но тут он теряет сознание и окончательно приходит в себя только после обеда, когда Химика уже попросили удалиться.)

— Теперь мы подходим к цели,— говорит Вениринг,— к истинной цели нашего маленького семейного совета. Софрония — круглая сирота, и нет никого, кто мог бы выдать ее замуж.

— Выдайте ее сами,— советует Подснеп.

— Не могу, дорогой Подснеп. По трем причинам. Вопервых, зачем же я возьму на себя такую ответственную роль, когда у нас есть уважаемые друзья семейства. Вовторых, я не так тщеславен и не думаю, что я гожусь для этой роли. В-третьих, Анастазия немножко суеверна на этот счет: она не хочет, чтобы я был у кого-нибудь посаженым отцом, пока мы не выдали замуж нашу дочку.

— А что от этого может случиться? — спрашивает Подснеп у миссис Вениринг.

— Дорогой мистер Подснеп, это очень неразумно, я знаю, но у меня есть какое-то предчувствие, что, если Гамильтон будет раньше посаженым отцом у кого-нибудь другого, ему никогда не выдать замуж нашу девочку.

Так говорит миссис Вениринг, складывая вместе кончики пальцев, причем каждый из восьми орлиных пальцев становится так похож на ее орлиный нос, что без новеньких перстней между ними не было бы никакой разницы.

— Но, дорогой мой Подснеп,— говорит Вениринг,— у нас есть испытанный друг семейства, и я надеюсь, вы согласитесь, что именно к нему эта приятная обязанность переходит почти естественно. Этот друг сейчас находится среди нас (таким тоном, как будто в комнате собралось человек полтораста), этот друг — Твемлоу.

— Ну, разумеется! — говорит Подснеп.

— Этот друг — наш милый и дорогой Твемлоу,— повторяет Вениринг еще более твердо и решительно.— И я не могу выразить, дорогой Подснеп, как мне приятно слышать, что наше общее мнение,— мое и Анастазии,— разделяете и вы, не менее близкий и испытанный наш друг, занимающий почетное положение... я хочу сказать, с почетом занимающий положение... или лучше сказать, который почтил нас с Анастазией своим согласием занять скромное положение крестного отца нашей малютки.— И в самом деле, Вениринг облегченно вздыхает, видя, что Подснеп нисколько не завидует возвышению Твемлоу.

Вот таким образом происходит, что рессорный фургон цветами сыплет на заре и на лестнице и что Твемлоу осматривает места, где ему предстоит завтра сыграть такую видную роль. Он уже побывал в церкви и отметил все камни преткновения в проходе между скамьями, под руководством унылой до крайности вдовы-сторожихи, у которой левая рука скрючена словно от ревматизма,— а на самом деле складывается так сама собой, заменяя копилку.

А вот и Вениринг выбегает из кабинета, где привык в часы задумчивости созерцать резьбу и позолоту пилигримов, шествующих в Кентербери, и показывает Твемлоу маленький шедевр, сочиненный им для глашатаев светской молвы, в котором значится, что семнадцатого числа сего месяца в церкви св. Иакова его преподобие Икс, в сослужении с его преподобием Игреком, соединил узами брака Альфреда Лэмла, эсквайра, Сэквил-стрит, Пикадилли, и Софронию Экершем, единственную дочь покойного Горацио Экершема, эсквайра, из Йоркшира. А также, что прелестная невеста была выдана замуж из дома Гамильтона Вениринга, эсквайра, Фальшония, причем посаженым отцом был Мелвин Твемлоу, эсквайр, из Дьюк-стрит, Сент-Джеймс-сквер, троюродный брат лорда Снигсворта, из Снигсворти-парка. Читая это произведение, Твемлоу каким-то смутным путем приходит к мысли, что если его преподобие Икс и его преподобие Игрек не попадут после такого начала в число самых близких и самых старых друзей Вениринга, то виноваты в этом будут только они сами.

После чего является Софрония (которую Твемлоу видел дважды в жизни) благодарить Твемлоу за то, что он

согласился подменить собой покойного Горацио Экершема, эсквайра, из Йоркшира вообще. После нее с той же целью является Альфред (которого Твемлоу видел единожды в жизни), искрясь фальшивым блеском, словно он создан исключительно для жизни при свечах, а на дневной свет его выпустили по чьей-то грубой ошибке. После чего выходит миссис Вениринг, с явно проступающими неровностями настроения, такой же явной горбинкой на носу и с чем-то орлиным во всем облике, «едва живая от волнений и забот», как она сообщает своему милому мистеру Твемлоу, и Химик очень неохотно восстанавливает ее силы рюмкой кюрасо. После чего со всех концов страны начинают прибывать по железной дороге подружки невесты, словно прелестные новобранцы, завербованные отсутствующим сержантом, так как, прибыв в штаб-квартиру Венирингов, они чувствуют себя словно в казарме.

Итак, Твемлоу отправляется домой на Дьюк-стрит, Сент-Джеймс-сквер, съесть тарелку бараньего бульона с плавающей в нем отбивной котлеткой и просмотреть свадебную службу, с тем чтобы завтра подавать реплики вовремя; он чувствует себя неважно и скучает в своей квартирке над конюшней; ему делается ясно, что сердце его ранено самой прелестной из прелестных подружек. Ведь у безобидного маленького джентльмена, как и у всех нас, была когда-то своя мечта, и она не отвечала ему взаимностью (что бывает довольно часто), и ему кажется, что прелестная подружка похожа на его мечту, какой она была в то время (что вовсе не соответствует действительности), и что если бы эта мечта не вышла за другого по расчету, а вышла бы за Твемлоу по любви, то они были бы счастливы вдвоем (чего никогда быть не могло), и что она до сих пор питает к нему сердечную слабость (тогда как она славится своим бессердечием). Задумавшись у камина, Твемлоу предается грусти, склонив высохшую голову на высохшие ручки и опершись высохшими локотками на сухие коленки. «Нет здесь Любимой, и не с кем мне разделить мое одиночество! Нет Любимой и в клубе! Пустыня, пустыня; пустыня кругом, любезный мой Твемлоу!» И он засыпает, весь вздрагивая, словно по нему пробегает ток.

На другое утро спозаранку эту ужасную Типпинз — вдову покойного сэра Томаса Типпинза, по ошибке пожа-

лованного титулом вместо кого-то другого (причем его величество Георг III соизволил милостиво заметить во время церемонии: «Что, что? Кого, кого? Зачем, зачем?»*),— начинают красить и лакировать для предстоящей интересной церемонии. Она пользуется репутацией остроумной рассказчицы, и ей нужно поспеть к этим людям пораньше, милые мои, чтобы не упустить чего-нибудь смешного. Где именно под модной шляпкой и модными материями скрывается настоящая леди Типпинз, известно разве только ее горничной: все, что видимо глазу, можно купить на Бонд-стрит *, а там скребите ее сколько угодно, скальпируйте, сдирайте с нее кожу, сделайте из одной хоть двух леди Типпинз, все равно никогда не доберетесь до сути. Чтобы лучше разглядеть все происходящее, у нее, у этой леди Типпинз, имеется большой золотой монокль. Если бы она вставляла в каждый глаз по моноклю, то другое веко не нависало бы так страшно, и в лице была бы хоть какая-то симметрия. Однако эта вечно юная особа до сих пор цветет искусственным цветом и поклонников у нее целый хвост.

— Мортимер, негодный,— говорит леди Типпинз, разглядывая в монокль всех приглашенных по очереди,— где же ваш подопечный, где жених?

— Даю вам честное слово,— отвечает Мортимер,— что знать не знаю и даже не интересуюсь.

— Несчастный! Так-то вы исполняете свой долг?

— Уверяю вас, я и понятия не имею, в чем состоит мой долг, разве только смутно представляю, что мне надо с ним нянчиться во все время торжества, как с борцом на состязании,— отвечает Мортимер.

Присутствует здесь и Юджин, с таким разочарованным видом, будто он собирался на похороны и очень недоволен, что попал на свадьбу. Место действия — ризница церкви св. Иакова, на полках много старых метрических книг, переплетенных, по-видимому, в кожу многих леди Типпинз.

Но, чу! К церкви подъезжает карета, и появляется жених, явно напоминающий подделку под Мефистофеля и, несомненно, близкий родственник этому господину. Леди Типпинз, наведя на него монокль, находит, что он красивый мужчина и сущая находка для невесты, а Мортимер,

когда тот подходит ближе, бормочет, окончательно помрачнев: «Кажется, это и есть мой подопечный, черт бы его побрал!» Еще карета — появляются остальные действующие лица, коих леди Типпинз, став на подушку и наведя на них монокль, аттестует следующим образом: «Невеста: сорок пять лет, никак не моложе, платье по тридцать шиллингов ярд, вуаль пятнадцать фунтов, носовой платок дареный. Подружкам не дали развернуться, чтоб не затмили невесту, для того и набрали перестарков; платья по двенадцать с половиной шиллингов ярд, цветы от Вениринга; та, что со вздернутым носом, недурна, только никак не может забыть про свои чулки; шляпки по три фунта десять шиллингов. Твемлоу. Счастье, что невеста ему не родная дочь; волнуется, бедняга, хоть он всего-навсего подставной отец; да оно и не удивительно. Миссис Вениринг: в жизни не видала такого бархата, всего на ней наверчено тысячи на две, сущая ювелирная выставка, папаша, верно, закладчик, а то откуда же у этих людей что берется? Незнакомые гости: все какие-то убожества».

Церемония окончена, гости расписались в книге, Вениринг выводит из церкви леди Типпинз, кареты катятся обратно в Фальшонию; вот, наконец, и дом Вениринга; вся прислуга в цветах и бантах; в гостиных сплошное великолепие. Подснепы ожидают здесь счастливую чету; у мистера Подснепа бакенбарды в виде щеток расчесаны на диво; величественная лошадь-качалка, миссис Подснеп, царственно игрива. Здесь также Бутс и Бруэр, и остальные два Буфера; каждый из Буферов, завитой и в застегнутых на все пуговицы перчатках, с цветком в петлице, явно готов хоть сейчас под венец, если с женихом что-нибудь случится. Здесь же тетушка невесты, ее ближайшая родственница: вдовствующая особа из породы Медуз, в каменном чепце, готовая взглядом превратить в камень всех своих ближних. Здесь также опекун невесты: предмет всеобщего внимания, делец, словно раскормленный жмыхами, в круглых, как луна, очках. Вениринг набрасывается на опекуна как на своего старейшего друга («это уже седьмой»,— думает Твемлоу) и удаляется с ним в оранжерею для секретной беседы: само собой понятно, что Вениринг тоже состоит вместе с ним в опеке и теперь они совещаются насчет капитала. Кому-то даже удается под-

слушать, как Буферы повторяют шепотом: «Трид-цать тысяч фунтов!» — причмокивая с наслаждением, словно после самых свежих устриц. Убогие незнакомцы, никак не ожидавшие, что они такие близкие друзья Вениринга, воспаряют духом и, скрестив руки на груди, начинают грубить хозяину еще до завтрака. Тем временем миссис Вениринг с малюткой на руках в наряде подружки порхает среди собравшихся, сыпля искрами разноцветных молний от брильянтов, изумрудов и рубинов.

Химик, который не торопится, считая долгом прежде всего заняться своими личными делами и довести до конца несколько свар с подручными кондитера, наконец с честью выходит из положения и докладывает о завтраке. В столовой такое же великолепие, как и в гостиной: на столах полный парад, все верблюды налицо, и все нагружены до предела. Богатый свадебный пирог украшен купидонами, бантами и серебром. Богатый браслет преподнесен Венирингом перед тем как спуститься в столовую и уже надет на руку невесты. И все же до Венирингов никому нет дела, о них думают не больше, чем о хозяевах приличной гостиницы, которые хлопочут ради прибыли по стольку-то с персоны. Новобрачный и новобрачная, по всегдашней своей привычке, беседуют и смеются порознь, Буферы, по всегдашней своей привычке, последовательно и усердно обрабатывают блюдо за блюдом; убогие незнакомцы весьма благосклонно потчуют друг друга шампанским; миссис Подснеп ораторствует, изогнув дугой шею и покачиваясь самым величественным образом, и ее слушают куда более почтительно, чем миссис Вениринг, а Подснеп держится с гостями почти как хозяин дома.

Другое печальное обстоятельство то, что Венирингу, справа от которого сидит пленительная Типпинз, а слева — тетушка новобрачной, крайне трудно поддерживать мирные отношения между ними обеими. Медуза мало того что старается своим взглядом превратить в камень очаровательную Типпинз, она еще сопровождает каждое слово этого милого существа громким фырканьем, которое можно объяснить и хроническим насморком, и чувством презренья и негодования. А так как это фырканье повторяется регулярно, то его начинают предвкушать все сидящие за столом, и разговор прерывается весьма неловкими

паузами, когда все умолкают в ожидании, отчего фырканье звучит еще более выразительно. Кроме того, твердокаменная тетушка очень обидным тоном отказывается от подносимых ей блюд, если их берет леди Типпинз, говоря во всеуслышание: «Нет, нет, нет, этого я есть не стану! Уберите прочь!» — словно намекая, что боится уподобиться этой сирене, если будет питаться тем же, чем она, и что такой исход был бы для нее роковым. Леди Типпинз чует в ней врага и пытается отразить атаку девически юным остроумием, пускает в ход и монокль, но всякое оружие отскакивает в бессилии от неуязвимого фыркающего чепца.

Третье неприятное обстоятельство то, что убогие незнакомцы словно сговорились ничему не удивляться. Они упорно не желают замечать золотых и серебряных верблюдов и составили между собой заговор — не обращать внимания на изысканную чеканку ведерок со льдом. Они настолько спелись, что осмеливаются даже намекнуть, будто хозяин с хозяйкой порядком наживутся на этом деле; и вообще ведут себя как завсегдатаи в трактире. Присутствие очаровательных подружек тоже не оказывает смягчающего влияния; ибо, не чувствуя почти никакого интереса к новобрачной и ровно никакого друг к другу, прелестные создания начинают, каждая на свой лад, критически разглядывать имеющиеся налицо модные уборы. Тем временем шафер жениха, в изнеможении откинувшись на спинку стула, по-видимому, пользуется случаем, чтобы окинуть мысленным взором все то зло, которое он причинил своим ближним, и покаяться в нем; разница между ним и его другом Юджином заключается в том, что последний, тоже откинувшись на спинку стула, по-видимому, подсчитывает мысленно, сколько зла ему хотелось бы причинить своим ближним, и особенно всем присутствующим.

При таком положении дел обычные церемонии проходят довольно вяло и без всякого одушевления, и даже великолепный свадебный пирог, разрезанный прелестными ручками невесты, кажется неудобоваримым. Тем не менее уже сказано все, что полагается говорить, и проделано все, что полагается проделать (сюда же относятся зевки, неожиданное погружение в сон и пробуждение леди Типпинз); теперь идут спешные приготовления к свадебной

поездке на остров Уайт *, и под окнами сотрясают воздух духовые оркестры и крики собравшихся зрителей. Но так уже было предназначено злою судьбой Химика, чтобы на глазах этих зрителей ему довелось претерпеть осмеяние и муки. Ибо, выйдя на порог, чтобы оказать честь отъезжающим, он вдруг получает препорядочный гостинец в висок — это Буфер, подогревшись шампанским и целясь наугад, запустил, как полагается, на счастье, вслед новобрачным тяжелым башмаком, взятым у рассыльного из кондитерской.

Итак, все снова идут наверх, в пышно убранные гостиные; все раскраснелись после завтрака, как будто все сообща схватили скарлатину, и там убогие незнакомцы вытирают сапоги о турецкие диваны и соединенными силами стараются нанести как можно больше урона великолепной хозяйской обстановке. За сим леди Типпинз, будучи не в состоянии разобраться, что именно сегодня: позавчера, послезавтра или какой-то день на будущей неделе, исчезает незаметно; исчезают и Мортимер Лайтвуд вместе с Юджином; исчезает и Твемлоу, уезжает домой и твердокаменная тетушка — она отказывается незаметно исчезнуть, оставаясь твердокаменной до самого конца,— даже убогих незнакомцев удается мало-помалу выжить из дома,— и все кончено.

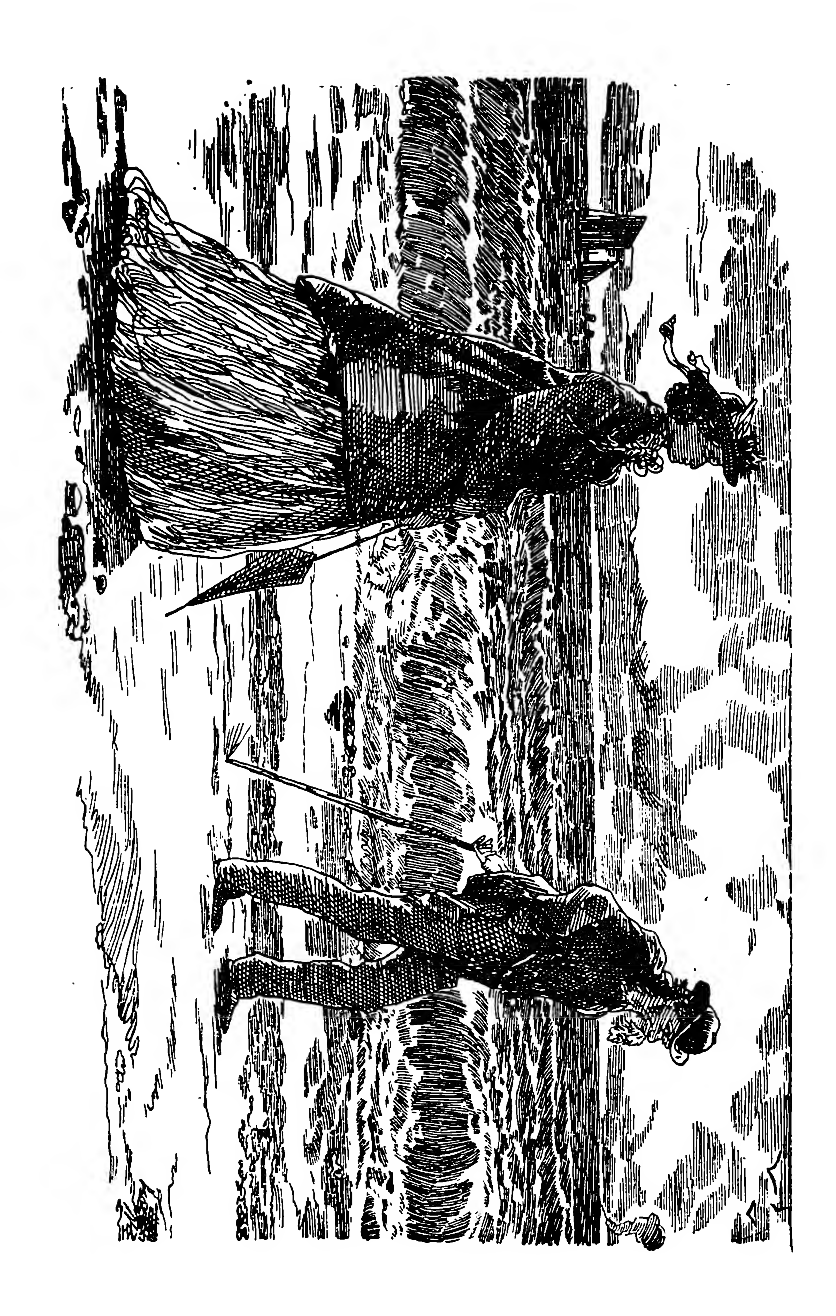
Все кончено; то есть на данное время. Но должно наступить и другое время — оно наступает недели через две, и для супругов Лэмл это время наступает на острове Уайт, на песчаном пляже у Шэнклина *.

Мистер и миссис Лэмл довольно давно прогуливаются по пляжу Шэнклина, и по их следам можно видеть, что они гуляют не под руку, и что идут они не по прямой линии, и что оба они не в духе, потому что жена, тыча перед собой зонтиком, оставляет в сыром песке полные воды ямки, а муж волочит за собой трость. Словно он и в самом деле родственник Мефистофелю и гуляет, волоча по песку хвост.

— Не хотите ли вы сказать мне, Софрония...

Так начинает он после долгого молчания, и Софрония, сверкнув глазами, круто поворачивается к нему.

— Не сваливайте на меня, сударь. Это я вас должна спросить, не хотите ли вы сказать мне?..



Мистер Лэмл снова умолкает, и они идут дальше тем же порядком. Миссис Лэмл, прикусив нижнюю губу, раздувает ноздри. Мистер Лэмл забирает в левую руку обе рыжеватые бакенбарды и, соединив их вместе, бросает на свою возлюбленную косой взгляд из-за рыжих зарослей.

— Не хочу ли я? — негодующе повторяет миссис Лэмл после некоторого молчания.— Сваливать все на меня! Какая трусость, какая низость!

Мистер Лэмл останавливается, расправляет бакенбарды и вопросительно смотрит на нее.

— Какая... что?

Не останавливаясь и не оглядываясь на него, миссис Лэмл высокомерно повторяет:

— Какая... нечестность!

Догнав ее в два шага, он резко возражает:

— Вы не то сказали. Вы сказали «низость».

— Что же, если и сказала?

— Никакого «если» тут нет. Вы это сказали!

— Да, сказала. Так что же из этого?

— Что из этого? — повторяет мистер Лэмл.— Вы посмели бросить мне в лицо такое слово?

— Еще бы не посмела! — отвечает миссис Лэмл, глядя на него с холодным презрением.— Нет, как вы смеете говорить мне такие слова?

— Я никаких не говорил.

Это правда, и миссис Лэмл остается только прибегнуть к вечному женскому ресурсу, сказав:

— Какое мне дело, говорили вы или нет!

Прогулка возобновляется; некоторое время они идут молча, затем мистер Лэмл нарушает молчание.

— Пускай будет как вам угодно. Вы считаете себя вправе спрашивать, не хочу ли я сказать вам. Что именно я должен был сказать?

— Что вы человек с состоянием.

— Нет.

— Значит, вы женились на мне обманом?

— Пусть будет так. Теперь ваша очередь. Уж не хотите ли вы сказать, что вы состоятельная женщина?

— Нет, не хочу.

— Значит, вы обманом вышли за меня замуж.

— Если вы так неудачно охотились за приданым и

сами себя обманули; если по своей алчности вы слишком легко поверили внешнему блеску, то чем же я виновата,— вы, авантюрист? — очень резким тоном говорит жена.

— Я спросил Вениринга, и он сказал мне, что вы богаты.

— Вениринга! (очень презрительно).— А что знает обо мне Вениринг?

— Разве он не опекун ваш?

— Нет. Моего опекуна вы видели в тот день, когда обманом женились на мне, и никакого другого опекуна у меня нет. И денег у него немного — это всего-навсего рента, сто пятнадцать фунтов в год. Есть еще сколько-то шиллингов и пенсов, если вы гонитесь за точностью.

Мистер Лэмл бросает отнюдь не любящий взгляд на подругу своих радостей и печалей и что-то ворчит сквозь зубы, но тут же спохватывается.

— Вопрос за вопрос. Теперь опять моя очередь, миссис Лэмл. Кто это вам внушил мысль, что я человек состоятельный?

— Вы сами. Не станете же вы отрицать, что всегда выступали передо мной в этой роли.

— Но вы тоже кого-нибудь спрашивали. Ну, миссис Лэмл, откровенность за откровенность. Кого вы спрашивали?

— Я спросила Вениринга.

— А Вениринг знает обо мне не больше, чем о вас, и не больше, чем другие знают о нем.

Прогулка снова продолжается в молчании, затем новобрачная резко останавливается и гневно восклицает:

— Никогда не прощу этого Венирингу!

— Я тоже,— отзывается новобрачный.

После этого они опять гуляют: она все так же сердито тычет зонтиком в песок, оставляя в нем ямки, он все так же волочит за собой уныло опущенный хвост. Наступил отлив, и кажется, что море оставило их вдвоем на оголенном берегу. Чайка проносится над самыми их головами и хохочет над ними. Только что эти темные валуны покрывала золотистая гладь, а теперь они всего-навсего скользкие камни. Насмешливый рев доносится с моря, и волны вдали громоздятся одна на другую, спеша взглянуть на

попавшихся в ловушку обманщиков, и снова пуститься плясать в дьявольски-злобном веселье.

— Когда вы говорите, что я вышла за вас по расчету,— сурово начинает миссис Лэмл,— для чего вы делаете вид, будто была какая-нибудь возможность выйти за вас по любви?

— И опять-таки этот вопрос можно рассматривать с двух сторон, миссис Лэмл. А для чего притворяетесь вы?

— Сначала вы обманули меня, а теперь оскорбляете! — восклицает миссис Лэмл, и грудь ее волнуется.

— Вовсе нет! Начал не я. Вы сами задали такой двусмысленный вопрос.

— Я сама! — повторяет новобрачная, и зонтик ломается в ее разгневанной руке.

Его лицо становится мертвенно-бледным, на носу проступают зловещие пятна, словно пальцы самого дьявола касаются его то тут, то там. Но он умеет сдерживаться, а она нет.

— Бросьте зонтик,— советует он спокойно,— он больше никуда не годится и только делает вас смешной.

Тогда она в ярости называет мистера Лэмла «наглым негодяем» и с такой силой отшвыривает обломки зонтика, что они попадают в Лэмла. Следы пальцев на мгновение проступают сильней, но он по-прежнему идет рядом с ней.

Миссис Лэмл разражается слезами и говорит, что она самая несчастная женщина, обманутая и обиженная, как никто на свете. Потом говорит, что покончила бы с собой, если б у нее хватило на это духу. Потом называет его низким обманщиком. Потом спрашивает, почему, если эта гнусная авантюра не удалась, он не убьет ее своими руками теперь, когда все обстоятельства ему благоприятствуют? Потом снова плачет. Потом снова приходит в ярость и поминает каких-то мошенников. В конце концов она садится на камень, обуреваемая всеми страстями, ведомыми и неведомыми женскому полу. В то время как с ней происходят такие перемены, на его носу то выступают, то пропадают белые пятна, словно клапаны флейты, на которой играет дьявольская рука. И под конец его бледные губы слегка раскрываются, словно ему не хватает дыхания после быстрого бега. Но он стоит неподвижно.

— Вставайте же, миссис Лэмл, и давайте поговорим разумно.

Она, не обращая на него внимания, сидит на своем камне.

— Вставайте, я вам говорю!

Подняв голову, она презрительно смотрит ему прямо в глаза и повторяет:

— Вы мне говорите! Вы?

Она снова опускает голову, будто не замечая, что он пристально смотрит на нее, но по всей ее позе видно, что она это чувствует и что ей не по себе.

— Довольно, идемте! Вы слышите меня? Вставайте!

Она встает, повинуясь ему, и они снова идут, но теперь уже к дому.

— Миссис Лэмл, оба мы обманывали, и оба обманулись. Оба кусались, и оба попались в ловушку. Таково в двух словах положение дел.

— Вы сами искали моей руки...

— Тс! Довольно об этом! Мы оба очень хорошо знаем, как было дело. Что толку разговаривать, когда истины все равно не скроешь. Дальше! Я обманулся в своих надеждах и сыграл жалкую роль.

— Разве я ничего не значу?

— Кое-что значите... речь зашла бы и о вас, если б вы подождали минутку. Вы тоже обманулись в своих надеждах и сыграли жалкую роль.

— Роль обиженной!

— Теперь вы достаточно успокоились, Софрония, и сами можете видеть, что если вы обижены, то и я обижен не меньше, и потому одни слова здесь не годятся. Когда я думаю о прошлом, мне удивительно, как я мог быть таким дураком, что поверил вам на слово.

— А когда я думаю о прошлом...— прерывая его, вскрикивает новобрачная.

— А когда вы думаете о прошлом, вам удивительно, как вы могли быть... вы извините меня за слово?

— Конечно, если это за дело.

— ...такой дурой, чтобы поверить мне на слово. Но глупость уже сделана и мной и вами. Я не могу избавиться от вас, вы не можете избавиться от меня. Что же из этого следует?

— Позор и нищета,— горько отвечает новобрачная.

— Не думаю. Следует взаимное понимание, и, по-моему, оно может нас вывезти. Тут я разделяю мою речь (дайте мне вашу руку, Софрония) на три пункта, для краткости и ясности. Во-первых, довольно с нас и того, что произошло; к чему еще унижать себя оглаской? Так что давайте условимся молчать на этот счет. Хорошо?

— Хорошо, если это возможно.

— Почему же нет? Ведь мы отлично притворялись друг перед другом. Неужели же мы, сговорившись между собой, не сможем притворяться перед обществом? Решено. Во-вторых, нам надо отплатить Венирингам, нам надо отплатить и всем другим; пускай они обманутся так же, как обманулись мы. Вы согласны?

— Да. Согласна.

— Вот мы, не споря, дошли и до третьего. Софрония, вы назвали меня авантюристом. Да, я авантюрист. Говоря прямо, без комплиментов, я авантюрист. И вы авантюристка, дорогая моя. И многие другие. Условимся не выдавать нашей тайны и действовать заодно для осуществления наших планов.

— Каких планов?

— Любых, какие могут принести нам деньги. Под нашими планами я подразумеваю наши общие интересы. Вы согласны?

После недолгого колебания она отвечает:

— Пожалуй, да. Согласна.

— Вот видите, мы сразу договорились. Теперь, Софрония, еще два слова. Мы прекрасно знаем друг друга. Не поддавайтесь искушению попрекать меня тем, что вы обо мне знаете, потому что и я знаю о вас не меньше, и вы, попрекая меня, будете попрекать самое себя, а я не желаю этого слышать. Теперь, когда между нами установилось взаимное понимание, лучше этого не делать. В заключение скажу: вы сегодня показали ваш характер, Софрония. Постарайтесь на будущее время держать себя в руках, потому что у меня самого дьявольский характер.

Таким образом, многообещающий брачный договор заключен и подписан, и счастливая чета отправляется домой. Если следы дьявольских пальцев на бледной, лишенной дыхания физиономии Альфреда Лэмла, эсквайра, были

указанием на то, что он поставил себе целью укротить свою любезную супругу, миссис Лэмл, раз навсегда отняв у нее возможность уважать самое себя, то этой цели ему удалось достичь очень скоро. Сейчас, когда супруг, при свете заходящего солнца, ведет ее под руку к чертогу блаженства, пожилой молодой особе совсем не нужно пудрить свое склоненное лицо — оно бледно и без пудры.

ГЛАВА XI

Подснепы

Мистер Подснеп был человек состоятельный и пользовался большим уважением со стороны мистера Подснепа. Он начал с того, что получил большое наследство, потом взял большое наследство жены в виде приданого, потом весьма удачно занимался страхованием судов — и был как нельзя более доволен всем на свете. Он не мог понять, почему бы и остальным лицам не быть совершенно довольными всем на свете, зато прекрасно понимал, что подает блестящий пример обществу, будучи совершенно доволен всем на свете, а всего более — самим собой.

Вполне отдавая себе отчет в собственных заслугах и значении, мистер Подснеп решил считать как бы несуществующим все то, к чему он повернется спиной. В такой манере отделываться от неприятностей была особая внушительность (не говоря уже о большом удобстве), которая много способствовала возвышению мистера Подснепа в его собственных глазах. «Я не желаю об этом знать; не считаю нужным обсуждать это; я этого просто не допускаю!» Мистер Подснеп даже выработал себе особый жест: правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов (и тем совершенно их устранял) — с этими самыми словами и краской возмущения в лице. Ибо все это его оскорбляло.

Мир мистера Подснепа был не слишком обширен в моральном отношении и даже в географическом; и хотя его фирма существовала торговлей с другими странами, он считал все другие страны, с одной только немаловажной

оговоркой насчет торговли, просто недоразумением, а по поводу их обычаев и нравов замечал внушительно, с краской в лице: «Все это — не наше!», и — фьюить! — прочие страны уничтожались одним мановением руки. Кроме них, весь мир вставал в восемь, брился начисто в четверть девятого, завтракал в девять часов, уезжал в Сити в десять, возвращался домой в половине шестого и обедал в семь. Понятия мистера Подснепа об искусстве можно изложить следующим образом. Литература: крупная печать, соответственным манером описывающая вставание в восемь, бритье начисто в четверть девятого, завтрак в девять, отъезд в Сити в десять часов, возвращение домой в половине шестого и обед в семь. Живопись и скульптура: статуи и портреты приверженцев вставания в восемь, бритья в четверть девятого, завтрака в девять часов, отъезда в Сити в десять, возвращения домой в половине шестого и обеда в семь. Музыка: пристойное исполнение (без вариаций) на струнных и духовых инструментах, успокоительным образом изображающее вставание в восемь, бритье в четверть девятого, отъезд на биржу в десять, возвращение домой в половине шестого и обед в семь. Ничего другого не дозволялось этим праздношатающимся Искусствам под страхом отлучения. Ничему другому не должно быть места под луной!

Будучи столь выдающимся человеком по своей респектабельности, мистер Подснеп сознавал, что на него возложена обязанность покровительствовать и самому Провидению. Поэтому ему всегда было точно известно, чего именно хочет Провидение. Другие, ниже стоящие по общественной лестнице и менее респектабельные люди, возможно, не справились бы с этой задачей, но мистер Подснеп всегда был на высоте. И весьма замечательно (а также, должно быть, весьма удобно) было то, что Провидению неизменно хотелось того же, чего хотелось и самому мистеру Подснепу!

Это были, если можно так выразиться, догматы веры и основы того учения, которое мы в настоящей главе позволим себе назвать подснепизмом, по имени их представителя. Они были втиснуты в узкие рамки, как голова самого мистера Подснепа — в узкие воротнички, и провозглашались торжественно и звучно, напоминая скрип сапог мистера Подснепа.

Существовала также и мисс Подснеп. Эта молодая лошадка-качалка уже обучалась искусству своей матушки: величественно галопировать, не подвигаясь ни на шаг вперед. Но высокое мастерство родительницы еще не передалось ей, и, сказать по правде, это была пока что худосочная барышня, всегда унылая, узкоплечая, с гусиной кожей на локтях и шероховатым носом, который время от времени робко высовывался из детства в девичество и снова прятался, пасуя перед грандиозной прической мамаши и величественной позой отца, придавленный не чем иным, как мертвым грузом подснеповских традиций.

Надо полагать, что в лице мисс Подснеп, дочери мистера Подснепа, воплощалось некое явление, именуемое «молодой особой» и существовавшее в уме мистера Подснепа. Это было весьма неудобное и негибкое установление, поскольку оно требовало, чтобы все на свете к нему подгонялось и приспосабливалось. О чем бы ни говорили, всегда возникал вопрос: не вызовет ли это краску на щеках молодой особы? А неудобство, по мнению мистера Подснепа, состояло в том, что молодая особа была готова краснеть ежеминутно и без всякой видимой причины. Повидимому, не было никакой возможности провести границу между крайней невинностью молодой особы и греховной осведомленностью всех прочих. Если верить на слово мистеру Подснепу, самые тусклые оттенки бурого, лилового, серого и белого цветов представлялись молодой особе огненно-красными, точно так же как бешеному быку.

Подснепы жили на теневой стороне улицы, на углу Портмен-сквера. Это были такого сорта люди, которые всегда живут в тени, где бы ни поселились. С минуты вступления на нашу планету, жизнь мисс Подснеп была отнюдь не из светлых, так как «молодой особе» мистера Подснепа вряд ли могло оказаться полезным общение с другими молодыми особами, а потому она всегда находилась среди мало для нее подходящих пожилых людей и тяжеловесной, строгой мебели. Первые представления о жизни, составленные мисс Подснеп по отражениям в лаковых сапогах мистера Подснепа и в ореховых и палисандровых столах гостиных миссис Подснеп и в гигантских темных зеркалах, были довольно мрачного свойства, и потому не удивительно, что теперь, когда ее почти каждый день

видели в парке рядом с мамашей в высоком фаэтоне кремового цвета, она в испуге поглядывала на все окружающее из-под кожаного фартука, словно из-под одеяла, видимо испытывая сильнейшее желание снова закутаться с головой.

Однажды мистер Подснеп сообщил миссис Подснеп:

— Джорджиане скоро исполнится восемнадцать.

— Да, скоро,— согласилась с ним миссис Подснеп.

Тогда мистер Подснеп сказал миссис Подснеп:

— Право, надо бы позвать кое-кого на день рождения Джорджианы.

На что миссис Подснеп ответила ему:

— Это нам поможет разделаться со всеми, кого давно пора было бы пригласить.

Вот каким образом произошло, что мистер и миссис Подснеп имели честь пригласить на обед семнадцать человек своих самых близких друзей и что вторая партия близких людей заменила тех из первых семнадцати, которые выразили свое глубокое сожаление по поводу того, что они не могут воспользоваться любезным приглашением мистера и миссис Подснеп, будучи уже приглашены в другое место; обо всех этих глубоко огорченных личностях миссис Подснеп выразилась следующим образом, вычеркивая их золотым карандашиком из списка:

— Во всяком случае, мы их приглашали, значит с рук долой.— Так Подснепы весьма удачно распорядились очень многими из самых близких своих друзей, после чего почувствовали себя значительно легче.

Были у них и еще близкие друзья, которые не заслуживали приглашения к обеду, но имели право быть приглашенными к половине десятого дышать парами бараньей ноги. Чтобы разделаться с этими достойными людьми, миссис Подснеп добавила к обеду небольшой семейный вечерок и, заехав в нотный магазин, заказала автомат с приличными манерами, который играл бы танцы на семейных вечерах.

Вениринги вместе со своими протеже — молодоженами Лэмлами — были тоже приглашены к обеду, но порядки в доме Подснепов были совершенно иные, чем у Венирингов. Мистер Подснеп мог еще терпеть вкус у выскочки, которому нельзя без этого обойтись, но сам был выше того,

чтобы иметь какой-нибудь вкус. Серебро Подснепов отличалось своим массивным безобразием. Все было сработано так, чтобы казаться как можно тяжеловеснее и занимать как можно больше места. Каждая вещь говорила хвастливо: «Вот она я, такая громоздкая и безобразная, словно вылита просто из свинца, а ведь во мне столько-то унций драгоценного металла, по столько-то за унцию; не угодно ли сделать из меня слиток?» А толстая, растопыренная ваза посредине стола, вся покрытая какими-то болячками вместо резьбы, произносила эту речь с весьма неказистой серебряной подставки. Четыре серебряных ведерка для шампанского, украшенные четырьмя пучеглазыми головами с толстыми серебряными кольцами, назойливо торчащими в каждом ухе, передавали эту мысль на оба конца обеденного стола, делясь ею с пузатыми серебряными солонками. Большие серебряные ложки и вилки будто нарочно раздирали рты гостям, с каждым куском пропихивая эту мысль им в горло.

Большинство гостей было сродни хозяйскому серебру и насчитывало между собою несколько предметов с весом, ценившихся во столько-то и столько-то фунтов. Кроме того, среди них находился один иностранец, которого мистер Подснеп пригласил после долгих дебатов с самим собой (полагая, что весь европейский материк состоит в заговоре против молодой особы); и не только сам мистер Подснеп, но и все присутствующие проявляли забавную склонность разговаривать с этим иностранцем так, как будто он ребенок, и притом тугой на ухо.

Деликатно снисходя к гостю, имевшему несчастье родиться иностранцем, мистер Подснеп представил ему свою супругу, как «мадам Подснеп», а дочь — как «мадемуазель Подснеп», причем ему очень хотелось добавить «ma fille», но он все же воздержался от такой рискованной попытки. Из гостей в это время приехали одни только Вениринги, и потому он прибавил снисходительно-поясняющим тоном: «М-сье Вей-не-ринг» — и только после этого перешел уже исключительно на английский язык.

— Как вам нравится Лондон? — осведомился мистер Подснеп со своего хозяйского места, словно потчуя тугоухого младенца лекарством — каким-нибудь порошком или микстурой.— Лондон, Londres, Лондон?

Иностранный гость был в восторге от Лондона.

— Не находите ли вы, что он очень велик? — с расстановкой продолжал мистер Подснеп.

Иностранный гость согласился, что Лондон очень велик.

— И очень богат?

Иностранный гость согласился, что он очень богат, без сомнения, énormément riche.

— Мы говорим по-другому,— пояснил мистер Подснеп снисходительным тоном.— Наши наречия не оканчиваются на «ман», и произносим мы не так, как французы. Мы говорим: «богат».

— Бо-га-атт,— повторил за ним иностранный гость.

— А как вам нравятся, сэр,— с достоинством продолжал мистер Подснеп,— те черты нашей британской конституции, которые поражают ваше внимание на улицах мировой столицы — Лондона, Londres, Лондона?

Иностранный гость попросил извинения — вопрос ему не совсем понятен.

— Британская конституция,— втолковывал ему мистер Подснеп, словно наставляя целый класс малолетних учеников.— Мы говорим, британская, а вы — «britannique», знаете ли,— снисходительно разъяснил он — ведь не гость же в этом виноват.— Конституция, сэр.

Иностранный гость ответил:

— Mais oui. Я его знает.

Моложавый джентльмен в очках, с шишковатым лбом и желтым цветом лица, сидевший на дополнительном стуле на углу стола, произвел немалую сенсацию: он начал было, повысив голос: «Эс-ке»...— но тут же осекся.

— Mais oui,— сказал иностранный гость, оборачиваясь к нему.— Est ce que? Qui donc?

Но джентльмен с шишковатым лбом, очевидно выложив в данную минуту все, что скрывалось за этими шишками, не произнес больше ни слова.

— Я спрашивал вас,— продолжал мистер Подснеп, перехватив нить разговора,— не заметили ли вы на наших улицах, как говорят у нас, или на нашем «pavé», как сказали бы у вас, каких-либо признаков...

Иностранный гость, вооружившись терпением, вежливо извинился:

— Но что такое «признаки»?

— Знаки,— объяснил мистер Подснеп.— Указания, понимаете ли. Видимые следы.

— Ах, так! Следи уошади? — осведомился иностранный гость.

— Мы произносим «лошадь»,— снисходительно сказал мистер Подснеп.— У нас в Англии, в Angleterre, в Англии, мы произносим «л» и говорим «лошадь». Одни только низшие классы произносят неправильно.

— Pardon,— сказал иностранный гость,— я всегда ошибаюсь.

— Наш язык,— милостиво произнес мистер Подснеп, сознавая, что сам он никогда не ошибается,— очень сложен. У нас богатый язык, он очень труден для иностранцев. Я не настаиваю на своем вопросе.

Но тут джентльмен с шишковатым лбом, желая довести дело до конца, опять начал, словно одержимый: «Эске?..» — и опять замолчал.

— Мой вопрос относится к нашей конституции, сэр,— объяснил мистер Подснеп с достоинством, подобающим хозяину страны.— Мы, англичане, гордимся нашей конституцией, сэр. Конституция нам дана самим Провидением. Ни одна страна не пользуется таким покровительством свыше, как Англия.

— А как же други стран? — начал было гость, но тут мистер Подснеп опять его поправил.

— Мы не говорим «други», мы говорим «другие»; буква «е» у нас произносится, знаете ли (все еще благосклонно). И не «стран», а «страны».

— А други... а другие страны? — спросил гость.— Как же они?

— Они устраиваются как могут,— возразил мистер Подснеп, важно качая головой,— устраиваются как могут, должен вам заметить, к величайшему моему прискорбию.

— Провидение поступило довольно пристрастно,— с улыбкой заметил иностранный гость,— ведь расстояние между нашими странами совсем не так велико.

— Без сомнения,— согласился мистер Подснеп.— Но что делать. Такова Судьба Страны. Этот остров благословен свыше, сэр; он составляет исключение среди других

стран, как, например... ну, мало ли какие есть страны. Если бы тут присутствовали одни только англичане,— прибавил мистер Подснеп и, оглянувшись на своих компатриотов, продолжал торжественно развивать свою мысль насчет того, что «в характере англичанина скромность, независимость, чувство ответственности, невозмутимость сочетаются с отсутствием всего того, что могло бы вызвать краску на щеках молодой особы, и что такого сочетания мы напрасно будем искать у других народов земного шара».

После этого коротенького резюме краска бросилась в лицо мистеру Подснепу при одной мысли об отдаленной возможности, что в какой бы то ни было стране может найтись гражданин, претендующий на все эти достоинства,— и привычным взмахом правой руки он отбросил в небытие всю остальную Европу, а за нею и всю Азию, Африку и Америку.

Для слушателей был весьма поучителен этот словесный поединок, а мистер Подснеп, почувствовав, что он сегодня в ударе, как никогда, просиял улыбкой и сделался крайне словоохотлив.

— Вениринг, не слыхали ли вы чего-нибудь новенького о счастливом наследнике? — спросил он.

— Только то, что он уже вступил во владение наследством,— ответил Вениринг.— Я слышал, что теперь его называют «Золотым Мусорщиком». Кажется, я уже говорил вам, что та молодая особа, жених которой погиб, приходится дочерью одному из моих служащих?

— Да, говорили,— и, кстати, я был бы вам весьма признателен, если бы вы нам еще раз все это рассказали; это очень и очень любопытное совпадение: любопытно то, что первое сообщение о мертвом теле было принесено прямо к вашему столу (за которым сидел и я), но любопытно и то, что ваш служащий имеет к этому такое близкое отношение. Просто расскажите нам, что знаете, вот и все!

Вениринг не только согласен, но даже рад,— он так преуспел и возвысился в общественном мнении благодаря делу об убийстве Гармона, что приобрел себе не менее десятка новых закадычных друзей. Действительно, еще одна такая удача — и ему, пожалуй, не останется ничего

более желать в этом отношении. И вот, обращаясь к тому из соседей по столу, которого наиболее желательно завербовать, в то время как миссис Вениринг старается около следующего по порядку, Вениринг нырнул в воды повествования и минут через двадцать вынырнул на поверхность, держа в объятиях директора банка. Миссис Вениринг тоже успела нырнуть, охотясь за богатым судовым маклером, и благополучно вытащила его на берег за волосы. После чего миссис Вениринг пришлось рассказать более широкому кругу слушателей, что она виделась с этой девушкой и что девушка, в самом деле, недурна собой и даже вполне презентабельна (если, конечно, принять во внимание, из какого она круга). Миссис Вениринг, рассказывая, так успешно манипулирует всеми восемью орлиными пальцами и всеми надетыми на них перстнями, что подцепляет плывущего по течению генерала с семейством (женой и дочерью) и не только успевает разжечь угасшее в них оживление, но и завязать с ними тесную дружбу — и все это за один только час.

Хотя мистер Подснеп, вообще говоря, отнесся бы весьма неодобрительно к разговорам о выловленных из реки трупах, как совершенно неподходящим для ушей «молодой особы», на этот раз он, если можно так выразиться, участвует в деле и пользуется прибылью на правах пайщика. А так как дивиденды выплачиваются немедленно,— иными словами, гости уже не взирают уныло и безмолвно на ведерки с шампанским,— то мистер Подснеп совершенно доволен.

И вот, паровая ванна из бараньей ноги совсем готова и отзывается слегка дичью, и кофе и даже пирожным, а там являются и купальщики, однако не прежде, чем за нотным пюпитром утверждается почти незаметный автомат, весьма похожий на узника, заключенного в темницу розового дерева. И кто еще так очарователен и больше подходит друг к другу, как не супруги Лэмл: он — сплошной блеск, она — сплошная грация и томность,— оба блистают в разговоре, время от времени обмениваясь взглядами, словно партнеры за карточным столом, вдвоем ведущие игру против всей Англии.

Среди купальщиков очень немного молодежи, но ее совсем нет (за исключением молодой особы) в ассортименте

Подснепов. Лысые купальщики, скрестив руки, беседуют с мистером Подснепом на предкаминном ковре; купальщики с бакенбардами, держа шляпу в руке, гоняют на корде вокруг миссис Подснеп, после чего удаляются вспять; бродячие купальщики разгуливают по комнатам, заглядывая в декоративные шкатулки и вазы, словно подозревают Подснепов в воровстве и надеются найти свою пропажу на дне какой-нибудь вазы; прекрасные купальщицы сидят по стенам, поглядывая одна на другую и демонстрируя мраморные плечи.

Все это время (как и всегда) бедняжка мисс Подснеп, робкие попытки которой (если были такие попытки) совершенно затмеваются великолепно галопирующей матушкой, старается держаться в тени и, видимо, подсчитывает с грустью, сколько раз ей придется еще праздновать таким образом свой день рождения.

В одной из статей подснеповского кодекса приличий установлено, что об этом дне вообще не следует говорить. Поэтому день рождения молодой особы замалчивают и обходят вниманием, словно всеми участвующими решено, что ей было бы лучше вовсе не родиться на свет.

Супруги Лэмл до того любят своих милых Вenирингов, что ни минуты не могут обойтись без этих превосходных друзей; но, наконец, то ли очень открытая улыбка мистера Лэмла, то ли почти незаметное движение одной из его рыжеватых бровей, но уж верно либо то, либо другое — говорит миссис Лэмл: «Почему же вы не начинаете игру?» И та, оглянувшись по сторонам, замечает мисс Подснеп, по-видимому, спрашивает: «С этой карты?» — и, получив утвердительный ответ, идет и садится рядом с мисс Подснеп.

Миссис Лэмл так рада посидеть в уголке и поговорить спокойно.

Разговор обещает быть уж чересчур спокойным, ибо мисс Подснеп отвечает испуганно:

— О, право. Вы очень любезны, боюсь только, что я не умею разговаривать.

— Попробуем для начала,— вкрадчиво говорит миссис Лэмл с самой милой из своих улыбок.

— О! Боюсь, что вы найдете меня очень скучной. Вот мама так разговаривает!

Это и так видно, потому что мама разговаривает, как обычно, галопом, изогнув шею и потряхивая гривой, сверкая глазами и раздувая ноздри.

— Может быть, вы любите чтение?

— Да. По крайней мере оно мне не так надоело,— отвечает мисс Подснеп.

— И м-м-музыку? — Миссис Лэмл так вкрадчива, что влепляет в это слово не менее полдюжины «м».

— Даже если б я умела играть, так у меня не хватит па это духу. Вот мама так играет! — Со свойственным ей размахом мама и в самом деле иной раз пробегает рысцой по клавишам, с таким выражением, будто совершает нечто выдающееся.

— Вы, конечно, любите танцы?

— Ох, нет, не люблю,— отвечает мисс Подснеп.

— Как? В ваши годы, с вашей наружностью? Право, милочка, вы меня удивляете!

— Не знаю,— после долгого колебания начинает мисс Подснеп, бросая робкие взгляды на тщательно подкрашенное лицо миссис Лэмл,— может, я и любила бы танцевать, если бы... ведь вы никому не расскажете, нет?

— Дорогая моя! Никому на свете!

— Да, я верю, что вы не расскажете. Может, я и любила бы танцы, будь я трубочистом на майском празднике *.

— Бог мой! — в изумлении восклицает миссис Лэмл.

— Ну вот! Я так и знала, что вы удивитесь. Но вы ведь никому не скажете, нет?

— Право, душенька,— отвечает миссис Лэмл,— теперь, когда я с вами разговариваю, мне еще больше захотелось познакомиться с вами поближе, чем прежде, когда я только смотрела на вас издали. Как мне хочется, чтобы мы с вами стали настоящими друзьями! Попробуйте подружиться со мной. Право! Вы не думайте, что я такая уж старозаветная матрона,— я ведь, знаете ли, совсем недавно вышла замуж; вы видите, я и сейчас одета как полагается новобрачной. Ну, так что же трубочисты?

— Т-сс! Ма услышит.

— Она ничего не может услышать оттуда, где теперь сидит.

— Напрасно вы так думаете,— говорит Джорджиана,

понизив голос.— Я хотела сказать только одно: что трубочистам, должно быть, очень весело танцевать.

— И что вам тоже было бы весело, будь вы трубочистом?

Мисс Подснеп многозначительно кивает.

— Так, значит, сейчас вам не весело?

— Что вы! — говорит мисс Подснеп.— Это такой ужас! Если б у меня хватило злости и сил убить кого-нибудь, я бы убила своего кавалера!

Эта точка зрения на искусство Терпсихоры, практикуемое в обществе, настолько нова, что миссис Лэмл в немом изумлении взглядывает на своего юного друга. Та сидит в принужденной позе, нервно перебирая пальцами и тщетно стараясь спрятать свои локти. К этой недостижимой при открытом бальном платье цели, казалось, постоянно направлено все ее существование — и безрезультатно.

— Это очень дурно, не правда ли? — спрашивает мисс Подснеп с покаянным выражением лица.

Миссис Лэмл, не зная хорошенько, что ей ответить, ограничивается поощрительной улыбкой.

— Нет, танцы просто мука для меня,— продолжает мисс Подснеп,— и всегда были мукой! Я так боюсь опозориться. И это до того стыдно! Никто не знает, что я выстрадала у мадам Сотез, где меня учили танцам, придворным реверансам и прочим ужасам, то есть пытались научить. Мама все это умеет.

— Во всяком случае, это дело прошлое, милочка,— соболезнующим тоном замечает миссис Лэмл.

— Да, конечно,— возражает мисс Подснеп,— но только от этого мне не легче. Здесь еще хуже, чем у мадам Сотез... Ма была и там, она и сейчас тут, только па тогда не было, и гостей не было, и настоящих кавалеров там тоже не было. О боже мой, ма говорит с тапером у рояля! Она подходит к этому гостю! Ох, я знаю, она сейчас подведет его ко мне! Ой, не надо, не надо! Не подходите, не подходите ко мне! — Мисс Подснеп испускала жалостные вопли, зажмурясь и прислонившись затылком к стене.

Но Людоед, ведомый ма, уже подходит к ней, и ма представляет его:

— Джорджиана, это мистер Грампус! — Людоед хватает свою жертву и в передней паре тащит ее к своему замку. Засим незаметный автомат, следивший за полем действия, начинает играть бесцветную и вялую кадриль, и шестнадцать учеников Подснепа пускаются отплясывать фигуры. Первая: Вставание в восемь и бритье в четверть девятого; Вторая: Завтрак в девять; Третья: Отъезд в Сити в десять; Четвертая: Возвращение домой в половине шестого; Пятая: Обед в семь — и «грандшен» — общий хоровод.

Пока торжественно совершались эти танцевальные обряды, мистер Альфред Лэмл (нежнейший из супругов), подошел к стулу миссис Лэмл (нежнейшей из жен) и, опершись на его спинку, стал играть браслетом своей супруги. С этой легкою и небрежною игрой, как можно было бы заметить, отчасти не вязалось мрачное выражение лица миссис Лэмл, которая прошептала несколько слов в жилетку мистера Лэмла и в ответ, видимо, получила какое-то наставление. Но все это прошло легко и мимолетно и растаяло, словно дыхание на зеркале.

Как только было выковано последнее звено цепи — грандшен, незаметный автомат умолк, и все шестнадцать танцоров, пара за парой, стали прохаживаться среди мебели. Тупость Людоеда просто бросалась в глаза, ибо это благодушное чудовище, полагая, что доставляет удовольствие мисс Подснеп, без конца водило ее по комнате, рассказывая о каком-то состоянии стрелков из лука; а его жертва, возглавляя медленно движущуюся по кругу процессию из шестнадцати человек — нечто вроде похоронной карусели — шла, не поднимая глаз, и только однажды украдкой бросила на миссис Лэмл взгляд, полный глубокого отчаяния.

Наконец процессию разогнал сильный запах мускатного ореха, влетевший в двери гостиной наподобие выстрела; и в то время, как гостей обносили этой душистой пряностью, разведенной несколькими стаканами подкрашенного кипятку, мисс Подснеп вернулась на свое место рядом с новой подругой.

— О господи! — сказала мисс Подснеп.— Слава богу, кончилось! Надеюсь, вы на меня не смотрели?

— А почему бы не смотреть на вас, душенька?

— Ну, я ведь себя хорошо знаю,— сказала мисс Подснеп.

— Я вам скажу, что я о вас знаю,— возразила миссис Лэмл с самой обаятельной улыбкой,— вы застенчивы, и совсем напрасно, ведь вам нечего стесняться.

— Вот ма не стесняется,— отвечала мисс Подснеп.— У, ненавижу! Убирайся отсюда вон!

Эти слова были сказаны шепотом и относились к галантному Грампусу, который любезно и вкрадчиво улыбнулся Джорджиане, проходя мимо.

— Извините, милая мисс Подснеп, но я, право, не вижу...— начала было миссис Лэмл, но Джорджиана прервала ее.

— Если мы будем дружить по-настоящему (а я думаю, что да, ведь из всех только вы одна захотели подружиться со мной), то для чего нам все эти ужасы? Ведь это ужасно — быть мисс Подснеп, да еще и называться так. Зовите меня Джорджианой.

— Милая Джорджиана...— снова начала миссис Лэмл.

— Вот спасибо,— сказала мисс Подснеп.

— Простите, милая Джорджиана, я все-таки не понимаю, зачем же вам стесняться, душенька, только из-за того, что ваша матушка не застенчива.

— Неужели правда не понимаете? — спросила мисс Подснеп, в волнении перебирая пальцами и то робко поглядывая на миссис Лэмл, то снова опуская глаза.— Так, может, мне нечего бояться?

— Милая моя Джорджиана, напрасно вы так полагаетесь на мое скромное мнение. Ведь это даже и не мнение, душенька, я просто сознаюсь в своей глупости.

— Нет, вы не глупы,— возразила мисс Подснеп.— Вот я так вправду глупа, и как бы вам удалось со мной разговаривать, если бы вы сами были такая?

Совесть слегка кольнула миссис Лэмл, и она слегка покраснела при мысли, что сумела добиться своего; она послала милой Джорджиане самую обворожительную улыбку и игриво-ласково покачала головой. Не то чтоб это что-нибудь значило, но Джорджиане, как видно, пришлось по душе.

— Я хочу сказать,— продолжала Джорджиана, что маме так легко даются все эти ужасы, и папе тоже они

легко даются, да и везде столько всяких ужасов, то есть везде, где мне приходится бывать,— им легко, а мне как раз этого не хватает, я этих ужасов просто боюсь, так, может, я оттого и... я очень плохо говорю, даже не знаю, поймете ли вы меня?

— Отлично понимаю, милочка Джорджиана! — начала миссис Лэмл, пуская в ход всякие ободряющие ужимки, как вдруг молодая особа опять откинула голову к стене и зажмурилась.

— Ох, опять ма подцепила какого-то с моноклем в глазу! Я знаю, она хочет вести его сюда! Ох, не надо, не надо! Он будет моим кавалером, этот, с моноклем в глазу! Ох, что мне делать, что мне делать!

На этот раз восклицания Джорджианы сопровождались топаньем по паркету, что выражало полное отчаяние. Но не было спасения от величественной миссис Подснеп, за которой выступал легкой иноходью незнакомец, прищурив один глаз до полного отсутствия, а другим, застекленным и обрамленным, засматривая сверху на мисс Подснеп; и, словно различив ее на дне колодца, он извлек ее оттуда и удалился иноходью вместе с ней. И тут узник за фортепьяно заиграл что-то тоскливое, выражавшее его порывания на свободу, шестнадцать пар проделали те же меланхолические движения, и иноходец повел мисс Подснеп на прогулку среди мебели, словно выдумав что-то совершенно новое и оригинальное.

Тем временем какой-то господин с очень скромными манерами нечаянно забрел к камину, где старейшины племен совещались с мистером Подснепом, и сделал в высшей степени бестактное замечание: не более и не менее как упомянул о том обстоятельстве, что за последнее время на улицах Лондона умерло от голода десять человек. После обеда это было совершенно некстати. И для ушей молодой особы совсем не годилось. Просто неприлично было об этом говорить.

— Я этому не верю,— сказал мистер Подснеп, правой рукой отбрасывая это сообщение за спину.

Скромный господин выразил опасение, что факт следует считать доказанным, поскольку существуют протоколы следствия и полицейские ведомости.

— Значит, сами они и виноваты,— решил мистер Подснеп.

Вениринг и прочие старейшины одобрили такой выход из положения. Он разом положил конец спорам и открыл широкий простор для выводов.

Человек с очень скромными манерами доложил, что если судить по фактам, то голодная смерть, кажется, была навязана виновникам,— они, по своей дурной привычке, делали жалкие попытки бороться, позволили бы себе даже отдалить конец, если б могли,— в общем, не соглашались умереть с голоду и не умерли бы, если б это было приемлемо для всех сторон.

— Нет ни одной страны на свете,— багровея от гнева, сказал мистер Подснеп,— где о бедных заботились бы с такой предусмотрительностью, как у нас.

Скромный человек был готов с этим согласиться, но, быть может, дело от этого только становится хуже, поскольку это показывает, что где-то и в чем-то делаются ужасные ошибки.

— Где же? — спросил мистер Подснеп.

Скромный человек намекнул, что не лучше ли будет постараться, и очень серьезно, отыскать, где именно.

— Да! — сказал мистер Подснеп.— Легко сказать «где-то», но не так легко сказать «где»! Но я вижу, к чему вы клоните. Я с первых слов это понял. К централизации. Нет! Никогда на это не соглашусь. Это не по-английски.

Одобрительный шепот поднялся среди старейшин, словно они говорили: «Тут вы его прижали! Держите его!»

Насколько ему известно (скромный человек даже не стал спорить), он не имел в виду никакой «изации». У него нет и не было излюбленной «изации». Но его больше волнуют такие страшные случаи, чем слова, сколько бы слогов в них ни заключалось. Разрешено ли ему будет спросить, неужели смерть в нищете и забросе чисто английское явление?

— Вам, я полагаю, известно, сколько в Лондоне населения? — спросил мистер Подснеп.

Скромный человек полагал, что это ему известно, но он полагал также, что это не имело бы никакого значения, если бы законы исполнялись как следует.

— И вам известно, то есть по крайней мере я на это надеюсь, что по воле Провидения бедные всегда должны быть с нами? — строго спросил мистер Подснеп.

Скромный человек тоже выразил надежду, что ему это известно.

— Рад это слышать,— значительно произнес мистер Подснеп.— Рад это слышать. Это вас научит быть осмотрительнее и не идти против бога.

В ответ на эту неумную и богохульную, при всей ее избитости фразу, скромный человек сказал — в чем мистер Подснеп был не виноват,— что он, скромный человек, такого невероятного поступка не сделает и даже не боится этого, но...

Но мистер Подснеп почувствовал, что настало время вспугнуть кроткого человека и добить его окончательно.

— Я должен отказаться от этого тягостного разговора. Мне он неприятен. Меня он возмущает. Я уже говорил, что не допускаю таких случаев. Я говорил также, что если и бывают такие случаи, то виноваты сами пострадавшие. Не *мне,*— мистер Подснеп подчеркнул это «мне», словно намекая, что *вы* на это, может быть, и способны,— не *мне* отрицать то, что сделано богом. Полагаю, я не так самонадеян, и я уже говорил вам, в чем заключается воля Провидения. Кроме того,— продолжал мистер Подснеп, краснея до корней волос и с живейшим чувством личной обиды,— предмет разговора весьма неприятен. Я пойду дальше — скажу даже, что он омерзителен. Не такой предмет, о котором можно упоминать в присутствии наших жен и молодых особ, и я...— он закончил фразу взмахом руки, который говорил яснее всяких слов: «И я его стираю с лица земли».

В то самое время, когда тушили несостоявшийся пожар, затеянный скромным господином, Джорджиана бросила иноходца по дороге к дивану, в тупике задней гостиной, чтобы сам выбирался как знает, и вернулась к миссис Лэмл. И кто же был с миссис Лэмл, как не мистер Лэмл. Такой любящий муж!

— Альфред, милый, это мой друг. Джоржиана, душенька, вы должны полюбить моего мужа не меньше, чем меня самое.

Мистер Лэмл гордился тем, что эта особая рекомендация позволит ему скорее заслужить внимание мисс Подснеп. Но если бы мистер Лэмл был склонен ревновать милую Софронию к ее друзьям, то уж, конечно, ревновал бы ее к мисс Подснеп.

— Скажи, к Джорджиане, дорогой мой,— вмешалась его жена.

— Ревновал бы... вы позволите?.. к Джорджиане.— Мистер Лэмл произнес это имя, округленным жестом поднося правую руку к губам и посылая кверху воздушный поцелуй.— Я никогда не видел, чтобы Софрония (вообще очень сдержанная в проявлении симпатии) была так очарована и увлечена, как она увлеклась... вы позволите?.. Джорджианой.

Предмет этих похвал выслушал их, сидя как на иголках, и, наконец, очень смущенно сказал, обращаясь к Софронии:

— Удивляюсь, за что вы меня полюбили! Просто не могу этого понять!

— Дорогая Джорджиана! За вас самое. За то, что вы не такая, как все другие вокруг вас.

— Что ж! Это может быть. Думаю, что я и сама полюбила вас за то, что вы не такая, как все другие вокруг меня,— со вздохом облегчения сказала Джорджиана.

— Нам пора уезжать вместе с другими,— заметила миссис Лэмл, как бы нехотя вставая с места в минуту общего разъезда.— Ведь мы с вами настоящие друзья, милая Джорджиана?

— Да, настоящие.

— Спокойной ночи, милая девочка!

Она смотрела на Джорджиану смеющимися глазами, уже добившись какой-то власти над этой робкой натурой, потому что та, уцепившись за ее руку, отвечала ей боязливым, таинственным шепотом:

— Не забывайте меня в разлуке. И поскорее приезжайте опять. До свидания!

Приятно было смотреть, как грациозно супруги Лэмл прощались с хозяевами и как нежно и любовно они поддерживали друг друга, спускаясь с лестницы. Менее приятно было видеть, как их улыбающиеся лица вытянулись и нахмурились, когда супруги угрюмо расселись по

углам своей кареты. Но это зрелище, разумеется, было уже за кулисами; его никто не видел, и оно не предназначалось ни для чьих глаз.

Большие, тяжелые экипажи, сработанные по образцу подснеповского серебра, увезли тех из гостей, которые были потяжелее и подороже; менее ценные гости убрались восвояси как кому вздумалось; подснеповское серебро тоже убрали на покой. Мистер Подснеп стоял, грея спину у огня в гостиной и подтягивая кверху уголки воротничка, как истинный герой дня, охорашиваясь, точно петух в курятнике, посреди своих владений и был бы крайне удивлен, если б ему сказали, что мисс Подснеп, да и всякую другую молодую особу надлежащего происхождения и воспитания, нельзя укладывать и убирать, как серебро, выставлять напоказ, как серебро, шлифовать, как серебро, подсчитывать, взвешивать и оценивать, как серебро. Что такая молодая особа, возможно, чувствует щемящую пустоту в сердце, которую не заполнить серебром, ей нужно что-то помоложе серебра, не столь однообразное, как серебро; или что мысли такой молодой особы могут устремиться за пределы, ограниченные серебром с севера, юга, востока и запада — все это для него было чудовищной фантазией, которую он одним взмахом руки немедленно перебросил бы в пространство. Это происходило, быть может, оттого, что краснеющая молодая особа мистера Подснепа состояла, так сказать, из одних щек, а ведь есть возможность, что существуют молодые особы и более сложной организации.

Если бы только мистер Подснеп, подтягивая кверху уголки воротничков, мог слышать, как супруги Лэмл в некотором кратком диалоге именовали его «этим типом» по пути домой, сидя в противоположных углах своей кареты!

— Вы спите, Софрония?

— Разве я могу уснуть, сэр?

— Очень можете, просидев целый вечер у этого типа. Слушайте внимательно, что я вам сейчас скажу.

— Я, кажется, слушала внимательно все, что вы мне говорили. Чем же иным я была занята весь вечер?

— Говорят вам,— он повысил голос,— слушайте то, что я вам сейчас скажу. Не отходите от этой идиотки. За-

берите ее в руки. Держите ее крепко и не выпускайте. Вы слышите меня?

— Слышу.

— Я чувствую, что тут пахнет деньгами, отчего же и не поживиться, а кроме того, надо сбить спесь с этого Подснепа. Мы с вами друг другу должны, вы это знаете.

Миссис Лэмл слегка поморщилась при этом напоминании, но тут же уселась поудобнее в своем темном углу, расправив платье, так что вся карета снова наполнилась благоуханием ее духов и эссенций.

ГЛАВА XII

Честный человек в поте лица

Мортимер Лайтвуд и Юджин Рэйберн обедали в конторе мистера Лайтвуда, взяв обед из кофейни. Не так давно они решили вести хозяйство сообща, на холостую ногу. Сняли коттедж близ Хэмптона, на берегу Темзы, с лужайкой, сараем для лодки и прочими угодьями и собирались провести на реке все летние каникулы, как полагается.

Лето еще не настало, была весна; но не мягкая весна с нежными зефирами, как во «Временах года» * Томсона, а суровая весна с восточным ветром, как во временах года Джонсона, Джексона, Диксона, Смита и Джонса. Резкий ветер скорее пилил, чем дул, а когда он пилил, опилки вихрем крутились по пильне. Каждая улица превращалась в пильню, но верхних пильщиков там не было; каждый прохожий был подручным, и в глаза и в нос ему летели опилки.

Повсюду носилась загадочного происхождения бумажная валюта, циркулирующая по Лондону в ветреную погоду. Откуда она берется и куда девается? Она виснет на каждом кусте, трепещет на каждом дереве, застревает в электрических проводах, льнет ко всем заборам, мокнет у каждого колодца, жмется к каждой решетке, дрожит на каждой лужайке, напрасно ищет приюта за легионами чугунных перил. Этого нет в Париже, где ничего не пропа-

дает даром, хотя город богат и полон роскоши: там из нор выползают удивительные человеческие мураши и подбирают каждый клочок. Там ветер поднимает одну только пыль. Там зоркие глаза и голодные желудки собирают урожай даже с восточного ветра,— даже он приносит им какую-то прибыль.

Ветер пилил, и опилки кружились вихрем. Кусты заламывали руки, горько жалуясь на солнце, соблазнившее их цвести, молодая листва чахла, воробьи, как и люди, раскаивались в своих ранних браках, все цвета радуги можно было видеть не среди весенней флоры, а на лицах людей, которых пощипывала и покусывала весна. А ветер все пилил, и опилки все кружились.

Когда стоит такая погода и весенние вечера слишком долги и светлы, чтобы можно было запереться от них, город, который мистер Подснеп так вразумительно именовал Лондоном, Londres, Лондоном, выглядит всего хуже. Черный крикливый город, сочетающий в себе все свойства коптильни и сварливой жены; пыльный город, унылый город, без единого просвета в свинцовом своде небес; город, осажденный подступившими к нему болотными ратями Эссекса и Кента. Таким представлялся он двум школьным товарищам, когда, покончив с обедом, они уселись курить перед камином. Юный Вред ушел, слуга из кофейни ушел тоже, исчезли тарелки и блюда, уходило и вино — но по другому направлению.

— Ветер здесь воет, словно на маяке,— произнес Юджин, мешая в камине.— Да и то на маяке, верно, было бы лучше.

— Ты думаешь, нам не надоело бы? — спросил Лайтвуд.

— Не больше, чем во всяком другом месте. И там не пришлось бы тащиться на выездную сессию. Впрочем, это уже личное соображение, чистый эгоизм с моей стороны.

— И клиенты не приходили бы,— добавил Лайтвуд.— В этом соображении нет ничего личного, никакого эгоизма с моей стороны.

— Если бы маяк стоял на необитаемом острове среди бурного моря,— продолжал Юджин, покуривая и глядя на огонь,— леди Типпинз не могла бы добраться до нас, или, еще того лучше, попробовала бы добраться и утонула. Не

было бы приглашений на свадебные завтраки. Не было бы возни с прецедентами *, кроме одного самого нехитрого прецедента: поддерживать свет. Любопытно было бы наблюдать крушения.

— Но, с другой стороны,— намекнул Лайтвуд,— такая жизнь могла бы показаться несколько однообразной.

— Я уже об этом думал,— отвечал Юджин, словно он и вправду рассматривал предмет по-деловому, со всех точек зрения,— но это было бы определенное и ограниченное однообразие. Оно не шло бы дальше нас двоих. А для меня еще вопрос, Мортимер, не легче ли вытерпеть настолько определенное и настолько ограниченное однообразие, чем безграничное однообразие наших ближних.

Лайтвуд засмеялся и заметил, передавая другу бутылку:

— У нас будет случай проверить это летом, катаясь на лодке.

— Не совсем подходящий,— со вздохом согласился Юджин,— но мы попробуем. Надеюсь, мы сможем терпеть друг друга.

— Так вот, насчет твоего почтенного родителя,— сказал Лайтвуд, возвращаясь к тому предмету разговора, который они хотели обсудить особо: всегда самая скользкая тема, уходящая из рук, словно угорь.

— Да, насчет моего почтенного родителя,— согласился Юджин, усаживаясь глубже в кресло.— Мне лучше было бы говорить о моем почтенном родителе при свечах, поскольку эта тема нуждается в искусственном блеске; но мы поговорим о нем в сумерках, согретых жаром уоллзендского * угля.

Он опять помешал в камине и, когда угли разгорелись, продолжал:

— Мой почтенный родитель нашел где-то в соседнем поместье жену для своего мало почтенного сына.

— С деньгами, конечно?

— С деньгами, конечно, иначе и искать не стоило. Мой почтенный родитель — позволь мне на будущее время заменить эту почтительную тавтологию сокращением М. П. Р., что звучит по-военному и отчасти напоминает о герцоге Веллингтоне *.

— Какой ты чудак, Юджин!

— Вовсе нет, уверяю тебя. Так как М. П. Р. всегда весьма решительно устраивал (как это у него называется) судьбу своих детей, определяя профессию и жизненный путь обреченной на заклание жертвы с часа рождения, а иногда и раньше, то и мне он предназначил стать адвокатом, чего я уже достиг (хотя и без огромной практики, которая мне полагалась), и жениться, чего я еще не сделал.

— О первом ты мне не раз говорил.

— О первом я тебе не раз говорил. Считая себя не совсем на месте в роли юридического светила, я пока что воздерживался от семейных уз. Ты знаешь М. П. Р., но не так хорошо, как я. Если бы ты знал его не хуже, он бы тебя позабавил.

— Почтительно сказано, Юджин!

— Как нельзя более, можешь мне поверить, и со всеми чувствами преданного сына по отношению к М. П. Р. Но он меня смешит, тут уж ничего не поделаешь. Когда родился мой старший брат, всем нам было, разумеется, известно (то есть было бы известно, если б мы существовали на свете), что он унаследует фамильные дрязги — при гостях это называется фамильным достоянием. Но перед рождением второго брата М. П. Р. сказал, что «это будет столп церкви». Он действительно родился и сделался столпом церкви, довольно-таки шатким столпом. Появился на свет третий брат, гораздо раньше того времени, какое он назначил моей матушке, но М. П. Р., нисколько не растерявшись, тут же объявил его кругосветным мореплавателем. Его сунули во флот, но кругом света он так и не плавал. Я дал знать о себе, и моя судьба была тоже устроена, блистательные результаты чего ты видишь своими глазами. Моему младшему брату исполнилось всего полчаса от роду, когда М. П. Р. решил, что ему суждено быть гением механики, и так далее. Потому я и говорю, что М. П. Р. меня забавляет.

— А касательно этой леди, Юджин?

— Тут М. П. Р. уже не забавляет меня, потому что я отнюдь не намерен касаться этой леди, скорее напротив.

— Ты ее знаешь?

— Вовсе не знаю.

— Может быть, тебе лучше повидаться с ней?

— Любезный Мортимер, ты изучил мой характер. Разве я могу поехать к ним с таким ярлыком: «Жених. Выставлен для обозрения», и встретить там девушку с ярлыком в том же роде? Я готов на все, что угодно М. П. Р., и даже с величайшим удовольствием, но только не жениться. Да разве я смогу это вытерпеть? Я, которому все так скоро приедается, постоянно и неизбежно?

— Ты вовсе не так последователен, Юджин.

— В отношении скуки я самый последовательный из людей, уверяю тебя,— отвечал его достойный друг.

— Да ведь ты только что распространялся о преимуществах однообразной жизни вдвоем.

— На маяке. Сделай милость, не забывай условия. На маяке.

Мортимер опять засмеялся, и Юджин, улыбнувшись впервые за все время разговора, словно найдя в себе что-то забавное, стал опять мрачен, как всегда, и, раскурив сигару, сказал сонным голосом:

— Нет, ничего не поделаешь: одно из пророчеств М. П. Р. должно остаться неисполненным. Несмотря на все мое желание угодить родителю, ему суждено потерпеть фиаско.

Пока они разговаривали, за потускневшими окнами стемнело, а ветер все пилил, и опилки все крутились. Кладбище внизу погружалось в глубокую смутную тень, и тень эта уже подползала к верхним этажам домов, туда, где сидели оба друга.

— Словно призраки встают из могил,— сказал Юджин.

Он постоял у окна, раскуривая сигару, чтобы ее аромат показался ему еще приятней в тепле и уюте, по сравнению с уличным холодом, и уже возвращался к своему креслу, как вдруг остановился на полдороге и сказал:

— Видимо, один из призраков заблудился и идет к нам узнать дорогу. Взгляни на это привидение!

Лайтвуд, сидевший спиной к дверям, повернул голову: там, в темноте, сгустившейся у входа, стояло нечто в образе человека, которому он и адресовал весьма уместный вопрос:

— Это что еще за черт?

— Прошу прощения, хозяева,— отвечал призрак хрип-

лым невнятным шепотом,— может, который-нибудь из вас и есть адвокат Лайтвуд?

— Чего ради вы не стучались в дверь? — спросил Мортимер.

— Прошу прощения, хозяева,— отвечал призрак так же хрипло,— вы, верно, не заметили, что дверь у вас стоит настежь.

— Что вам нужно?

На это призрак ответил так же хрипло и так же невнятно:

— Прошу прощения, хозяева, может, один из вас будет адвокат Лайтвуд?

— Один из нас будет,— отвечал обладатель этого имени.

— Тогда все в порядке, оба-два хозяина,— возразил призрак, старательно прикрывая за собой дверь,— дело-то деликатное.

Мортимер зажег свечи. При их свете гость оказался весьма неприятным гостем, который глядел исподлобья и, разговаривая, мял в руках старую, насквозь мокрую меховую шапку, облезлую и бесформенную, похожую на труп какого-то животного, собаки или кошки, щенка или котенка, которое не только утонуло, но и разложилось в воде.

— Ну, так в чем же дело? — сказал Мортимер.

— Оба-два хозяина, который из вас будет адвокат Лайтвуд? — спросил гость льстивым тоном.

— Это я.

— Адвокат Лайтвуд,— с раболепным поклоном,— я человек, который добывает себе пропитание в поте лица. Хотелось бы мне прежде всего прочего, чтобы вы привели меня к присяге, а то как бы мне случайно не лишиться того, что я зарабатываю в поте лица.

— Я этим не занимаюсь, любезный.

Посетитель, явно не доверяя этому заявлению, упрямо пробормотал:

— Альфред Дэвид.

— Это вас так зовут? — спросил Лайтвуд.

— Меня? — переспросил гость.— Нет, мне надо, сами знаете: «Альфред Дэвид» *.

Юджин, который курил, разглядывая гостя, объяснил, что тот желает дать присягу.

— Я же вам говорю, мой любезный, что не имею никакого отношения к присяге и клятве,— лениво усмехнувшись, сказал ему Лайтвуд.

— Он может вас проклясть,— объяснил Юджин,— и я тоже. А больше мы ничего для вас сделать не можем.

Сильно обескураженный этим разъяснением, гость вертел в руках дохлую собаку или кошку, щенка или котенка, переводя взгляд с одного из «обоих-двух хозяев» на другого, и что-то обдумывал про себя. Наконец он решился.

— Тогда снимите с меня и запишите показание.

— Что снять? — спросил Лайтвуд.

— Показание,— ответил гость.— Пером и чернилами.

— Сначала скажите нам, о чем идет речь.

— О чем, о чем,— сказал человек, делая шаг вперед, и, понизив голос, прикрыл рукой рот.— О пяти, а то и десяти тысячах награды. Вот о чем. Насчет убийства. Вот насчет чего.

— Подойдите ближе к столу. Сядьте. Не хотите ли выпить стакан вина?

— Да, хочу,— сказал гость,— не стану вас обманывать, хозяева.

Вина ему налили. Он вылил вино в рот, пропустил его за правую щеку, словно спрашивая: «Как это вам нравится?», потом за левую щеку, словно спрашивая: «Как это вам нравится?», потом переправил в желудок, словно спрашивая: «Как это вам нравится?» И в заключение облизал губы, словно ему три раза подряд ответили: «Очень нравится».

— Не хотите ли еще стакан?

— Да, хочу,— повторил он,— не стану вас обманывать, хозяева.

И он повторил все прочие операции.

— Ну, так как же вас зовут? — начал Лайтвуд.

— Вот это вы что-то спешите, адвокат Лайтвуд,— ответил гость протестующе.— Как же вы не понимаете, адвокат Лайтвуд? С этим вы немножко поторопились. Я собираюсь заработать от пяти до десяти тысяч в поте лица; а ведь я человек бедный, мне этот самый пот лица нелегко дается, так разве я могу назвать хотя бы свое имя, пока его не записывают?

Уступая его вере в обязывающую силу пера, чернил и

бумаги, Лайтвуд кивком выразил согласие на кивок Юджина, означавший, что он берется орудовать этими магическими средствами.

Юджин принес перо, чернила и бумагу и уселся за стол в роли письмоводителя и нотариуса.

— Ну,— сказал Лайтвуд,— так как же вас зовут?

Но честному человеку в поте лица потребовались еще новые предосторожности.

— Мне бы желалось, адвокат Лайтвуд, чтобы тот, другой хозяин, был моим свидетелем насчет того, что я скажу,— потребовал он.— А потому, не будет ли с его стороны любезностью сказать мне свою фамилию и где он живет?

Юджин, с сигарой во рту и пером в руке, перебросил ему свою карточку. Медленно прочитав ее по слогам, гость скатал ее в трубку и еще медленнее завязал в уголок шейного платка.

— Ну, любезный,— в третий раз начал Лайтвуд,— если вы уже покончили со всеми вашими приготовлениями, вполне успокоились и уверились, что вас никто не торопит, скажите, как вас зовут?

— Роджер Райдергуд.

— Место жительства?

— Известковая Яма.

— Занятие или профессия?

На этот вопрос мистер Райдергуд отвечал далеко не так скоро, как на первые два, и, наконец, объяснил:

— Кое-чем промышляю на реке.

— За вами что-нибудь имеется? — спокойно вмешался Юджин, записывая его слова.

Несколько сбитый с толку, мистер Райдергуд уклончиво и с невинным видом заметил, что тот, другой хозяин, кажется, о чем-то его спросил.

— Имели когда-нибудь неприятности? — сказал Юджин.

— Один раз. (Со всяким могло случиться, как бы между прочим заметил мистер Райдергуд.)

— По подозрению в?..

— В матросском кармане,— отвечал мистер Райдергуд.— А ведь на самом деле я был этому матросу первый друг и старался его уберечь.

— В поте лица, конечно? — спросил Юджин.

— Так, что с меня градом катилось,— ответил мистер Райдергуд.

Юджин курил, откинувшись на спинку кресла и равнодушно глядя на доносчика; перо он держал наготове, собираясь опять записывать. Лайтвуд тоже курил, равнодушно глядя на доносчика.

— А теперь надо бы опять записать,— сказал Райдергуд, повертев мокрую шапку и так и этак и пригладив ее рукавом против шерсти (вряд ли можно было пригладить ее по шерсти).— Я даю показание, что тот, кто убил Гармона, и есть Старик Хэксем, который нашел тело. Рука Джесса Хэксема, того, что на реке и на берегу все зовут Стариком, и есть та рука, которая совершила это дело. Его рука, и ничья другая.

Оба друга переглянулись, и сразу стали гораздо серьезнее, чем прежде.

— Скажите мне, на каком основании вы его обвиняете,— сказал Мортимер Лайтвуд.

— На том основании,— отвечал Райдергуд, утирая лицо рукавом,— что я был компаньоном Старика и подозревал его не один долгий день и не одну темную ночь. На том основании, что я знал его повадки. На том основании, что я отказался с ним работать, когда понял, чем это грозит; и, предупреждаю вас, его дочка будет вам рассказывать другое, так чтобы вы знали, чего ее слова стоят, ведь она готова бог весть чего наплести, нагородить турусов на колесах, лишь бы спасти отца. На том основании, что на плотинах и на пристани всем хорошо известно, что это его рук дело. На том основании, что его никто знать не хочет, потому что это его рук дело. На том основании, что ведите меня куда хотите, и я там приму присягу. Я не собираюсь отпираться от своих слов. Я на все готов. Ведите меня куда угодно.

— Все это пустяки,— сказал Лайтвуд.

— Пустяки? — негодующе и удивленно повторил Райдергуд.

— Совершенные пустяки. Это значит только то, что вы подозреваете этого человека в преступлении, не больше. У вас, может быть, есть для этого повод, а может

и не быть никакого повода, но нельзя же его осудить по одному вашему подозрению.

— Разве я не сказал,— сошлюсь на того, другого хозяина, как на свидетеля,— разве я не сказал в первую же минуту, как только раскрыл рот, сидя на этом самом стуле и ныне и присно и во веки веков (он, видимо, считал эту формулу чуть ли не равносильной присяге), что я согласен поклясться на библии, что это его дело? Разве я не сказал «ведите меня, и я приму присягу»? А сейчас я что говорю? Вы же не станете это отрицать, адвокат Лайтвуд?

— Конечно, не стану; но вы беретесь присягать только в том, что у вас есть подозрения, а я вам говорю, что этого мало.

— Так, по-вашему, этого мало, адвокат Лайтвуд? — недоверчиво спросил Райдергуд.

— Разумеется, мало.

— А разве я говорил, что этого довольно? Сошлюсь на другого хозяина. Ну, по-честному? Разве я это говорил?

— Что бы он ни имел в виду, он, конечно, не говорил, что ему больше нечего сказать,— негромко заметил Юджин, не глядя на Райдергуда.

— Ага! — торжествующе воскликнул доносчик, уразумев, что это замечание, хотя и не совсем ему понятное, было, в общем, ему на пользу.— Мое счастье, что у меня был свидетель!

— В таком случае, продолжайте,— сказал Лайтвуд.— Говорите все, что вы имеете сказать. Чтобы потом не придумывать.

— Тогда записывайте мои слова! — нетерпеливо и тревожно воскликнул доносчик.— Записывайте мои слова, потому что теперь пойдет самая суть, клянусь Георгием и Драконом! * Только не мешайте честному человеку пожать то, что он посеял в поте лица! Так вот, я даю показание; он сам мне сказал, что это его рук дело. Разве этого мало!

— Следите за своими словами, любезный,— возразил Мортимер.

— Это вам надо следить за моими словами, адвокат Лайтвуд: я так сужу, что вы будете отвечать за последствия! — Потом, медленно и торжественно отбивая такт правой рукой по ладони левой, он начал: — Я, Роджер Райдергуд, из Известковой Ямы, промышляющий на реке,

сообщаю вам, адвокат Лайтвуд, что Джесс Хэксем, обыкновенно прозываемый на реке и на берегу Стариком, сам сказал мне, что это его рук дело. Мало того, я слышал из его собственных уст, что это его рук дело. Мало того, он сам сказал, что это его рук дело. И в том я присягну!

— Где же он вам это сказал?

— На улице,— отвечал Райдергуд, по-прежнему отбивая такт; голову он держал упрямо набок, а глазами зорко следил за своими слушателями, уделяя равное внимание и тому и другому,— на улице, перед дверями «Шести Веселых Грузчиков», около четверти первого ночи — только я не возьму греха на душу, не стану присягать из-за каких-нибудь пяти минут разницы — в ту ночь, когда он выудил тело. «Шесть Веселых Грузчиков» все так же стоят на своем месте. «Шесть Веселых Грузчиков» никуда не убегут. Если окажется, что его не было в ту полночь у «Шести Веселых Грузчиков», значит я соврал.

— Что же он говорил?

— Я вам скажу (записывайте, другой хозяин, больше я ни о чем не прошу). Сначала вышел он, потом вышел я. Может, через минуту после него, может, через полминуты, может, через четверть минуты; присягнуть в этом не могу и потому не стану. Знаю, что значит давать показание под присягой, правильно?

— Продолжайте.

— Вижу, он меня дожидается, хочет что-то сказать. Говорит: «Плут Райдергуд»,— меня обыкновенно так зовут,— не потому, чтобы оно что-нибудь значило, оно ничего не значит, а так, больше для складу.

— Оставьте это в стороне.

— Извините меня, адвокат Лайтвуд, это все правда, а правду я в стороне не могу оставить, никак не могу и ни за что не оставлю. «Плут Райдергуд, говорит, мы нынче вечером повздорили с тобой на реке». Так оно и было: спросите его дочку. «Я пригрозил, говорит, отшибить тебе пальцы перекладиной, а не то так и мозги выбить багром. Потому я тебе грозил, что ты уж очень разглядывал то, что у меня было на буксире, а еще и потому, что ты уцепился за планшир моей лодки». Я ему говорю: «Старик, это мне понятно». А он мне говорит: «Райдергуд, таких людей, как ты, на десяток один прихо-

дится»,— может, он сказал и на два десятка один, наверно не помню, потому и беру цифру поменьше,— я знаю, что значит давать показание под присягой. «А когда, говорит, люди дорожат жизнью или часами, тогда надо глядеть в оба. Были у тебя подозрения?» Я говорю: «Были, Старик; мало того, и сейчас есть». Он весь задрожал и говорит: «Насчет чего?» Я говорю: «Дело нечисто». Он еще сильней затрясся и говорит: «Оно и было нечисто. Я на это пошел из-за денег. Не выдавай меня!» Вот этими самыми словами он и выразился.

Наступило молчание, нарушаемое только падением углей сквозь решетку. Доносчик воспользовался паузой и утерся своей мокрой шапкой, размазав грязь по лицу и шее, что отнюдь его не украсило.

— Еще что? — спросил Лайтвуд.

— Это вы насчет чего, адвокат Лайтвуд?

— Насчет всего, что идет к делу.

— Ну, ей-богу, я вас не понимаю, хозяин,— сказал доносчик льстивым тоном, заискивая перед обоими, хотя с ним говорил только один.— Чего же еще? Разве этого мало?

— Спросили вы его, как он это сделал, где он это сделал, когда он это сделал?

— До того ли мне было, адвокат Лайтвуд! Я был не в себе, да так, что не мог ни о чем больше спрашивать, хотя бы мне заплатили вдвое против того, что я надеюсь заработать в поте лица! Я бросил с ним работать. Расплевался с ним окончательно. Не мог же я переменить того, что было сделано, а как стал он просить и молить: «На коленях тебя прошу, не выдавай меня, старый товарищ!» — я одно только ответил: «Не говори со мной больше, даже не гляди на меня!» — и теперь я его чураюсь.

Произнеся эти слова с особым нажимом, чтобы придать им больше веса и значения, мистер Райдергуд без спросу налил себе еще вина и, словно прожевывая его, уставился на свечу, держа стакан в руке.

Мортимер взглянул на Юджина, но тот мрачно смотрел на бумагу и не ответил ему взглядом. Мортимер опять повернулся к доносчику и спросил:

— И долго вы были не в себе, любезный?

Прожевав, наконец, вино, доносчик проглотил его и ответил кратко:

— Целый век!

— Это когда поднялся такой шум, когда правительство назначило награду, когда вся полиция была на ногах и по всей стране только и было разговоров, что об этом преступлении,— с раздражением сказал Мортимер.

— Ага! — очень не скоро и хрипло отозвался мистер Райдергуд, несколько раз подряд кивнул головой в знак того, что помнит.— И был же я не в себе тогда!

— Это когда в ходу были самые дикие подозрения, когда все ломали голову, строя догадки, когда с часу на час могли арестовать десятерых невинных! — почти с горячностью произнес Мортимер.

— Ага! — отозвался Райдергуд тем же тоном.— И был же я не в себе все это время!

— Но тогда, видишь ли, он еще не видел возможности заработать столько денег,— сказал Юджин, начертив на бумаге женскую головку и время от времени подправляя ее пером.

— Тут другой хозяин попал в самую точку, адвокат Лайтвуд! Вот это меня и подтолкнуло. Сколько раз я, бывало, ни старался облегчить свою душу, а все не мог. Один раз чуть было не сознался мисс Аби Поттерсон, да так и не мог — вон ее дом, он никуда не денется, да и сама она не помрет скоропостижно, пока вы до нее доберетесь,— спросите у нее! Наконец того, пропечатали новое объявление, а подписано оно было вашей собственной фамилией, адвокат Лайтвуд, вот тогда я и раскинул умом и спросил себя, неужели мне целый век с этим мучиться? Неужели так-таки никогда не избавиться? Неужели все так и думать больше о Старике, чем о себе самом? Что же, что у него дочь, а у меня разве нет дочери?

— И эхо отозвалось?..— подсказал Юджин.

— У тебя есть дочь,— твердо ответил мистер Райдергуд.

— Кстати упомянув при этом, каких она лет? — спросил Юджин.

— Да, хозяин. В октябре исполнилось двадцать два. А потом я подумал: «В рассуждении денег. Денег целая куча». Ведь так оно и есть! — к чему это отрицать? — со всей прямотой заявил мистер Райдергуд.

— Браво! — произнес Юджин, тушуя нарисованную им женскую головку.

— Денег там куча: но разве грех рабочему человеку, который каждую корку хлеба, добытую в поте лица, поливает своими слезами,— разве грех такому человеку заработать их? Разве есть какой запрет насчет этого? Вот я и рассудил по совести, как долг велит: «Можно ли так говорить, не осуждая адвоката Лайтвуда за то, что он предлагает такие деньги?» А разве мне полагается осуждать адвоката Лайтвуда? Нет, не полагается.

— Да,— сказал Юджин.

— Разумеется, хозяин,— согласился мистер Райдергуд.— Так вот я и решил облегчить свою совесть и заработать в поте лица то, что мне предлагают. И мало того,— прибавил он, вдруг разъярившись,— я намерен получить эти деньги! А теперь я говорю вам, адвокат Лайтвуд, раз и навсегда, что Джесс Хэксем, по прозванию Старик, совершил это дело, тут его рука, и ничья другая, он сам мне в этом сознался. А я передаю его вам и хочу, чтобы его забрали. Нынче же ночью.

После новой паузы, нарушаемой только падением угольев сквозь решетку, которое привлекало к себе внимание доносчика, словно звон денег, Мортимер наклонился к своему другу и шепнул:

— Полагаю, мне придется идти с ним в полицию к нашему невозмутимому другу.

— Да, ничего не поделаешь,— отвечал Юджин.

— Ты ему веришь?

— Верю, что он сущий мошенник. Но, может быть, он и правду говорит, на сей только раз и в своих целях.

— Что-то не верится.

— Это ему не верится,— сказал Юджин.— Но и его бывший компаньон, которого он обличает, тоже не внушает доверия. Оба они, видно, одного поля ягоды. Мне хотелось бы спросить у него одну вещь.

Предмет этого совещания, косясь на угли в камине, силился подслушать, что говорят, но прикидывался равнодушным, как только один из «хозяев» взглядывал на него.

— Вы упомянули дочь этого Хэксема (дважды, мне кажется),— сказал Юджин вслух.— Быть может, вы хотели намекнуть, что она знала о преступлении?

Честный человек, подумав сначала,— возможно подумав о том, как его ответ повлияет на заработок в поте лица,— безоговорочно ответил:

— Нет, не хотел.

— И вы не имеете в виду никого другого?

— Не во мне суть, важно, кого Старик имел в виду,— упрямо и решительно ответил тот.— Я знаю только, что он сам мне сказал: «Мое дело». Это были его слова.

— Я хочу знать правду, Мортимер,— прошептал Юджин, вставая.— Как мы отправимся?

— Пешком,— шепнул Мортимер,— надо дать ему время умом раскинуть.

Перекинувшись этими репликами, они собрались уходить, и мистер Райдергуд встал со стула. Погасив свечи, Лайтвуд, словно так и следовало, взял стакан, из которого пил честный человек, и хладнокровно швырнул его в камин, где он и разбился вдребезги.

— Теперь, если вы пойдете вперед, мы с мистером Рэйберном пойдем за вами,— сказал Лайтвуд.— Вы, я думаю, знаете, куда идти?

— Думаю, что знаю, адвокат Лайтвуд.

— Тогда идите вперед.

Человек, промышляющий на реке, обеими руками натянул на уши намокшую шапку, спустился с лестницы, по привычке угрюмо горбясь на ходу и от того сделавшись еще сутулее, чем от природы, обогнул церковь Тэмпла, прошел через Тэмпл в Уайтфрайерс * и двинулся дальше по приречным улицам.

— Погляди, сущий висельник,— сказал Лайтвуд, идя за ним следом.

— А по-моему, сущий палач,— возразил Юджин.— Он явно кого-то задумал повесить.

Дорогой они больше не разговаривали. Райдергуд шел впереди, подобный безобразной Парке, и они не теряли его из виду, хотя были бы очень рады потерять. Но он шел впереди, все на том же расстоянии и все тем же шагом. Наперекор бурной погоде и резкому ветру, он упорно шел вперед, словно Рок, и шаг его нельзя было ни задержать, ни ускорить. Когда они были уже на полдороге, налетел шквал с сильным градом, который в несколько минут сплошь засыпал и выбелил улицы. Райдергуд этого словно

не заметил. Он стремился отнять жизнь у человека и получить за это деньги, и не такому граду было под силу остановить его. Пробиваясь вперед, он оставлял в ледяной, быстро тающей каше бесформенные ямы вместо следов: тому, кто шел за ним, могло показаться, что в нем не осталось даже подобия человеческого.

Шквал пронесся мимо, луна вступила в состязание с быстро летящими тучами, и по сравнению с необузданным буйством в небесах казалось ничтожным и мелким все, что творилось на улицах. Не потому, что ветер загнал всех гуляк в укромные места так же, как он смел под укрытие весь град, до сих пор еще не растаявший, но потому, что небо словно поглотило улицы и ночь разлилась в воздухе.

— Если у него и было время подумать,— сказал Юджин,— то ничего лучше он не придумал, и не передумал, если это лучше. Не заметно, чтобы он собирался отступать; а насколько я помню это место, мы уже близко от того угла, где вышли из кэба прошлый раз.

В самом деле, несколько крутых поворотов привели их на берег реки, где в тот раз были такие скользкие камни и где теперь стало еще более скользко; ветер бешеными порывами дул им прямо в лицо, налетал с моря, донося брызги воды. Верный привычке всех промышляющих на реке везде искать защиты от ветра, интересующий нас промышленник подвел друзей к «Шести Веселым Грузчикам» с подветренной стороны и только после этого заговорил с ними:

— Взгляните вот сюда, на эти красные занавески, адвокат Лайтвуд. Это «Грузчики», тот самый дом, я же вам говорил, что он не убежит. Ну что, разве он убежал?

По-видимому, это явное подтверждение слов доносчика не очень-то убедило Лайтвуда, и он спросил, для чего еще они сюда пришли?

— Я хотел, чтобы вы сами увидели «Грузчиков» и проверили, соврал я вам или нет; а теперь я один загляну в окно к Старику, и тогда мы узнаем, дома ли он.

С этими словами он крадучись скрылся в темноте.

— Я думаю, он вернется? — прошептал Лайтвуд.

— Да! И доведет свое дело до конца,— прошептал Юджин.

И в самом деле, он вернулся очень скоро.

— Старика нет, и его лодки тоже нет. Дочка дома, сидит и смотрит на огонь. На столе стоит ужин, значит Старика ждут. Я узнаю, куда он отправился, это мне нетрудно.

Кивнув им, он опять пошел вперед, и скоро они добрались до полицейского участка, где все было так же чинно, тихо и в полном порядке, как прежде, и только фонарь, будучи простым фонарем, прикомандированным к полиции вне штатов, мигал на ветру.

В самом помещении инспектор все так же сидел над своими бумагами, как и во время оно. Он сразу узнал обоих друзей, но их появление нисколько его не взволновало. Даже то обстоятельство, что их проводником оказался Райдергуд, ничуть не отразилось на нем, разве только в том, что, умокнув перо в чернильницу, он глубже спрятал подбородок в шейный платок, словно вопрошая без слов: «Ну, что еще ты там выкинул?»

Мортимер Лайтвуд, вручив инспектору записи Юджина, спросил его, не будет ли он так любезен просмотреть эти записи?

Прочитав первые несколько строк, господин инспектор взволновался до такой (для него необыкновенной) степени, что спросил, нет ли у кого-нибудь из джентльменов табачку на понюшку? Но когда оказалось, что понюшки ни у того, ни у другого нет, он прекрасно обошелся без этого и дочитал до конца.

— Тебе это прочитали? — спросил он честного человека.

— Нет,— отвечал Райдергуд.

— Тогда тебе не мешает послушать.— И он прочел записи вслух, официальным тоном.

— Правильно ли тут записано все то, что ты сообщил и собираешься показывать под присягой? — спросил он, окончив чтение.

— Правильно,— отвечал мистер Райдергуд.— Все правильно, все так, как я говорил. Что и толковать.

— Я сам допрошу этого человека, сударь,— сказал инспектор Лайтвуду. Потом обратился к Райдергуду: — Он дома? Где он? Что делает? Уж верно, ты счел своим долгом разузнать о нем решительно все.

Райдергуд сообщил то, что было ему известно, и обещал узнать остальное через несколько минут.

— Погоди, пока я тебе не скажу,— остановил его инспектор.— Пускай будет незаметно, что мы по делу. Надеюсь, господа, для видимости вы не откажетесь выпить вместе со мной по стаканчику чего-нибудь у «Грузчиков»? Хорошо поставленное заведение, и хозяйка в высшей степени почтенная.

Они ответили, что будут очень рады выпить, не только для видимости, а и на самом деле, к чему, в общем, и клонилось предложение инспектора.

— Очень хорошо,— сказал он, снимая шляпу с гвоздя и засовывая в карман пару наручников, словно свои перчатки.— Дежурный! — Дежурный откозырял.— Знаете, где меня найти? — Дежурный опять откозырял.

— Райдергуд, когда увидишь, что он вернулся домой, подойди к Уголку, стукни в окно два раза и жди меня. Ну, господа!

Когда все трое вышли на улицу и Райдергуд, сгорбившись, заковылял своей дорогой в дрожащем свете фонаря, Лайтвуд спросил полицейского, что он об этом думает?

Инспектор отвечал весьма сдержанно и уклончиво, что от человека всего скорее следует ожидать дурного, чем хорошего. Что он сам несколько раз собирался свести счеты со Стариком, но ни разу не мог поймать его с поличным. Что если в этой истории есть правда, то только отчасти. Что оба эти человека, очень подозрительные личности, наверное сообщники, действовали вместе и в равной степени замешаны; но один из них выследил на этом деле другого, для того чтобы выгородить себя и получить деньги.

— И я думаю,— в заключение прибавил инспектор,— что если сам он выйдет сух из воды, то, вероятно, получит награду. Но вот и «Грузчики», господа, вон там, где горит огонь, и потому я советую оставить этот разговор. Всего лучше вам будет интересоваться известковыми разработками где-нибудь около Норт-флита и выражать опасения, как бы с вашей известью не случилось чего-нибудь, поскольку она идет на баржах.

— Слышишь, Юджин? — сказал Мортимер, обернувшись через плечо.— Ты очень интересуешься известью.

— Без извести моя жизнь лишилась бы последнего проблеска надежды,— отвечал ко всему равнодушный и невозмутимый адвокат.

ГЛАВА XIII

По следам стервятника

Оба торговца известью вступили во владения мисс Аби Поттерсон вместе со своим провожатым, который обратился к хозяйке через дверцу бара с образной просьбой «капельку согреть» Уголок, наперед сообщив ей по секрету имена гостей и их вымышленные дела. Мисс Аби, всегда готовая оказать услугу властям, велела Бобу Глиддери проводить джентльменов в Уголок и поскорей затопить там камин и зажечь газ. Голорукий Боб показал им дорогу, идя впереди с горящей бумажкой в руке, и так проворно выполнил приказание, что, не успели они переступить порог, как Уголок вынырнул из темных глубин сна и принял гостей в свои теплые объятия.

— Здесь очень недурен подогретый херес,— сообщил им инспектор, знакомя их с местными особенностями.— Может быть, разопьем бутылочку, господа?

Ответ был утвердительный, и Боб Глиддери, получив наказ от инспектора, отправился его выполнять со всем усердием, какое проистекало из уважения к закону.

— Установлено, что человек, от которого мы получили информацию,— начал инспектор и ткнул большим пальцем через плечо, имея в виду Райдергуда,— не так давно очернил перед всем светом своего приятеля из-за вашей извести, и люди начали его сторониться. Не говорю о том, что это значит или что это доказывает, но факт установлен. Я узнал об этом от одной моей знакомой, а живет она далеко отсюда, вон там,— и он неопределенно ткнул пальцем через плечо, имея в виду мисс Аби.

— В таком случае наш приход нынче вечером не был неожиданностью для господина инспектора? — намекнул Лайтвуд.

— Видите ли, весь вопрос был в том, с чего начать,— отвечал инспектор.— Не стоит и начинать, если вы не знаете, как начать. Лучше уж ничего не делать. Насчет этой самой извести у меня была мысль, что они оба тут замешаны,— я всегда так думал. И все-таки мне пришлось выждать, да и то не повезло — не я начал. Вот этот самый человек, от которого мы получили сведения, он то и

опередил всех, а если ему ничто не помешает, он прибавит скорости и к финишу придет первым. Тот, кто придет вторым, может тоже оказаться в большом выигрыше,— не стану говорить, кто именно претендует на второе место. Надо выполнять свой долг, и я его выполню при любых обстоятельствах, по мере своих сил и способностей.

— Говоря как торговец известью...— начал Юджин.

— На что, как вам известно, вы имеете право больше всякого другого,— подхватил инспектор.

— Надеюсь, что так,— сказал Юджин,— мой отец торговал известью раньше меня, а дед и того раньше; в сущности, уже несколько поколений нашей семьи сидит по уши в извести,— но если эту пропавшую известь разыскать, не припутывая к делу молодую родственницу знакомого вам господина, торгующего известью (которая мне дороже жизни), то это, мне кажется, будет более приемлемым для всех участвующих в деле, то есть для всех предпринимателей.

— Мне тоже это было бы гораздо приятнее,— сказал Лайтвуд, со смехом отталкивая своего приятеля в сторону.

— Будет сделано, господа, если только это возможно,— невозмутимо отвечал инспектор.— С моей стороны, нет никакого желания причинить горе этой особе. Право, я ей даже сочувствую.

— Там был еще и мальчик,— заметил Юджин.— Он все еще здесь?

— Нет,— отвечал инспектор.— Он ушел с разработок. Насчет него распорядились иначе.

— Значит, она останется одна? — спросил Юджин.

— Она останется одна,— ответил инспектор.

Появился Боб с дымящимся кувшином в руках, и это положило конец разговору. Но, хотя от кувшина исходил восхитительный аромат, его содержимое не получило еще той окончательной отделки, которой у «Шести Веселых Грузчиков» весьма удачно завершалось приготовление хереса при такой оказии. В левой руке Боб нес что-то вроде жестяной модели сахарной головы, куда он и вылил кувшин, после чего воткнул модель острым концом глубоко в горящие уголья и оставил ее там на несколько секунд, пока бегал за тремя сверкающими чистотой стаканами. Поставив стаканы на стол и наклонившись над

огнем, он следил за облачками пара, полный сознания трудности своей задачи, и, наконец, в надлежащий момент схватил сосуд и осторожно взболтал жидкость, так что послышалось легкое шипение. После чего он снова перелил херес в кувшин, подержал над паром каждый из трех сверкающих стаканов по очереди, налил их доверху и с чистой совестью стал ожидать похвалы своих ближних.

Его похвалили (причем инспектор предложил приличный случаю тост «За торговлю известью!»), и Боб ушел в распивочную, чтобы передать мисс Аби комплименты гостей. Двери заперли накрепко. Сказать по секрету, после его ухода поддерживать фикцию насчет извести не было ни малейшей нужды. Но инспектору эта версия казалась необыкновенно удачной и наделенной такими таинственными достоинствами, что ни один из его клиентов не решился с ним спорить.

Тут с улицы послышались два стука в окно. Инспектор, наскоро подкрепившись вторым стаканом хереса, вышел из комнаты неспешными шагами и с равнодушным лицом. Так обычно выходят поглядеть, какая на дворе погода, или полюбоваться на звезды небесные.

— Что-то становится страшно, Мортимер,— понизив голос, сказал Юджин.— Мне это не по душе.

— Мне тоже,— ответил Лайтвуд.— Уйти, что ли?

— Раз мы уже здесь, давай останемся. Тебе нужно видеть, чем кончится, а я тебя не оставлю. Кроме того, эта одинокая темноволосая девушка не выходит у меня из головы. В тот раз мы видели ее лишь мельком, но она так и стоит у меня в глазах — я все вижу ее перед огнем. Чувствуешь ли ты себя и вором и предателем вместе при мысли об этой девушке?

— Пожалуй, чувствую,— отвечал Лайтвуд.— А ты?

— Очень даже.

Их провожатый вернулся с докладом. Лишенный искусственного блеска и сгущенной тени, его доклад сводился к тому, что Старик уехал на своей лодке, как полагают, все по тем же своим делам, что его ждали обратно с последним приливом; что, упустив этот прилив по неизвестной причине, он, судя по всем его ночным повадкам, вряд ли вернется раньше следующего прилива, а не то и часом-двумя позже; что его дочь, за которой следили через

окно, как видно, тоже его поджидает, потому что ужин хотя еще не стоит на огне, но уже приготовлен; что прилив начнется к часу ночи, а теперь еще нет и десяти; что делать больше нечего, как только стеречь и ждать; что доносчик в эту самую минуту уже стоит на карауле, а все-таки один ум хорошо, а два лучше, особенно если второй принадлежит инспектору, и что сам докладчик тоже намерен стоять на страже. А поскольку для любителей может показаться утомительным лежанье под перевернутой лодкой в такую ветреную и холодную ночь временами с градом, то в заключение он посоветовал им обоим остаться здесь, где они в тепле и укрыты от непогоды, хотя бы на время.

Приятели не собирались действовать вопреки этому совету, однако спросили, где им искать наблюдателей, если они вздумают к ним присоединиться.

Не полагаясь на словесное описание места, что могло и подвести, Юджин (гораздо менее обыкновенного удрученный мыслями о своих личных делах) решил выйти вместе с инспектором, заметить место и вернуться.

На отлогом берегу реки, на скользких камнях мощеной дорожки — не той, которая вела к «Шести Веселым Грузчикам» и где имелась собственная пристань, а другой, несколько далее от харчевни и очень близко от старой мельницы, где жил человек, изобличенный Райдергудом,— лежало несколько лодок: одни держались на причале и под ними уже плескалась вода, другие лежали гораздо выше, на сухом берегу. Под одну из них и забрался спутник Юджина. Заметив ее положение среди других лодок и уверившись, что он запомнил место, Юджин перевел глаза на тот дом, где, как ему сказали, темноволосая девушка сидела в одиночестве перед огнем.

Ему был виден огонь очага, светивший в окне. Быть может, этот свет привлек его к себе. Быть может, он только для этого и вышел на улицу. Берег в этом месте порос густой травой, и ему легко было подойти ближе, не делая шума: стоило только взобраться на гряду засохшего ила высотой в три-четыре фута, а там по траве можно было подойти вплотную к окну. Так он и сделал.

В комнате не было другого света, кроме света очага. Незажженная лампа стояла на столе. Девушка сидела на полу, опустив голову на руки и глядя на жаровню. Ее лицо



блестело каким-то странным блеском или отсветом — сначала он принял этот отсвет за игру огня, но, приглядевшись, понял, что она плачет. Печаль и одиночество — вот что увидел он в свете то угасавшего, то разгоравшегося огня.

Окошечко было маленькое, всего из четырех кусочков стекла, и без занавески; он и подошел к нему оттого, что большое окно рядом было занавешено. В окошечко видна была комната, на стене висели объявления насчет утопленников и то вспыхивали, то исчезали из виду. Но он взглянул на них лишь мельком, хотя долго и пристально смотрел на девушку. Смуглый румянец на щеках, блестящие темные волосы — какое богатство колорита в этой картине — одинокая, печальная девушка плачет перед то вспыхивающим, то угасающим огнем.

Она вскочила на ноги. Он стоял очень тихо и только отодвинулся дальше в тень стены, будучи уверен, что не он ее потревожил. Она отворила дверь и крикнула встревоженно:

— Отец, это ты меня звал? — И снова: — Отец! — И еще раз, прислушавшись: — Отец! Мне показалось, что ты уже третий раз зовешь меня!

Ответа не было. Когда она вошла в дом, Юджин спрыгнул вниз и, шагая по грязи мимо того места, где прятался инспектор, вернулся к Мортимеру, которому и сообщил, что он видел девушку, а также о том, что все это становится страшновато.

— Если настоящий преступник чувствует себя так же, как я, то ему очень не по себе,— сказал Юджин.

— Влияние тайны,— заметил Лайтвуд.

— Я отнюдь не чувствую благодарности за то, что эта тайна сделала меня не то Гай Фоксом в подвале *, не то каким-то шпионом,— сказал Юджин.— Налей-ка мне еще этой штуки.

Лайтвуд налил ему этой штуки, но она уже остыла, выдохлась и потеряла вкус.

— Тьфу! — сказал Юджин, сплевывая в золу.— Похоже на речную тину.

— А ты ее часто пробовал, речную тину?

— Сегодня, кажется, попробовал. Чувствую себя так, как будто наполовину утонул и проглотил с галлон тины.

— Влияние местности,— заметил Лайтвуд.

— Поди ты с твоими влияниями, что ты сегодня корчишь профессора,— возразил ему Юджин.— Долго мы тут еще пробудем?

— А как по-твоему?

— По-моему, я бы и минуты не остался,— отвечал Юджин,— эти «Веселые Грузчики» вовсе не так уж веселы. Думаю все же, что нам лучше сидеть здесь, пока нас не погонят вон вместе с другими подозрительными личностями ровно в полночь.

Он помешал в камине и уселся по одну его сторону. Пробило одиннадцать, и он попытался сам себя уверить, что успокаивается. Но тут у него заползали мурашки, сначала по одной ноге, потом по другой, потом по руке, по другой руке, по подбородку, по спине, по лбу, потом по волосам, потом по носу; потом он попробовал устроиться полулежа на двух стульях и застонал, а потом вскочил на ноги.

— Здесь кишмя кишат какие-то невидимые глазу и дьявольски проворные насекомые. У меня все тело колет, щекочет и дергает. В душе я уже кого-то ограбил при самых подозрительных обстоятельствах, и полиция гонится за мной по пятам.

— И со мной не лучше,— сказал Лайтвуд и сел напротив Юджина, совершив несколько эволюций, во время которых его взлохмаченная голова неизменно оказывалась самой нижней частью тела.— Я уже давно не нахожу себе покоя. Все время, пока тебя здесь не было, я чувствовал себя как Гулливер, в которого стреляют лилипуты.

— Так не годится, Мортимер. Нам надо на воздух, надо разыскать нашего любезного друга и брата, мистера Райдергуда. И давай успокоимся на том, что заключим договор. В следующий раз, душевного спокойствия ради, мы сами совершим преступление, вместо того чтобы ловить преступника. Даешь слово?

— Ну еще бы.

— Решено! Пускай Типпинз побережется. Ее жизнь в опасности.

Мортимер позвонил, чтобы заплатить по счету: на звонок явился Боб, и Юджин, со свойственным ему небреж-

ным сумасбродством, вдруг спросил его, не хочет ли он получить место у торговца известью?

— Благодарю вас, сэр, не хочу,— ответил Боб.— У меня и тут место хорошее, сэр.

— Если вы когда-нибудь передумаете,— возразил Юджин,— приходите ко мне на разработки, для вас всегда найдется что-нибудь подходящее.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Боб.

— А вот это мой компаньон,— продолжал Юджин,— он ведет все книги и платит рабочим. Хорошая плата за хорошую работу — вот какой у него девиз.

— Лучше и не придумаешь, джентльмены,— заметил Боб, получив на чай и правой рукой извлекая поклон из своей головы точно таким же образом, как накачивал пиво насосом.

— Юджин,— смеясь от всей души, обратился к нему Лайтвуд, когда они остались вдвоем,— как ты можешь говорить такие нелепости?

— Я в нелепом настроении,— изрек Юджин.— И сам я человек нелепый. Все вообще нелепо. Идем отсюда!

Мортимеру пришло в голову, что некая перемена, словно подчеркнувшая все, что было в Юджине своевольного, безрассудного и беззаконного, произошла с его другом за последние полчаса. Зная наизусть все его причуды, Мортимер заметил в нем что-то новое, какую-то натянутость, которая в то время вызвала в нем недоумение. Эта мысль мелькнула у него в уме и забылась; но много спустя ему пришлось вспомнить о ней.

— Вон где она сидит, видишь? — сказал Юджин, когда они остановились на берегу под откосом, где свистал и рвал ветер.— Это у нее светится огонь.

— Я загляну в окошко,— сказал Мортимер.

— Нет, не надо! — Юджин схватил его за плечи.— Незачем глазеть на нее. Пойдем к нашему почтенному другу.

Он повел Мортимера к сторожевому посту, и оба они, став на четвереньки, заползли под лодку; после воющего ветра и неприютной тьмы там оказалось гораздо уютнее, чем они думали.

— Господин инспектор дома? — прошептал Юджин.

— Я здесь, сэр.

— А наш приятель трудится в поте лица вон на том углу? Отлично. Что у вас было?

— Его дочь выходила на улицу: ей показалось, будто отец ее зовет; а может, это был просто знак, чтобы он держался подальше. Может быть и так.

— Могло быть и «Правь, Британия», да только не было,— пробормотал Юджин.— Мортимер!

— Я здесь! (Он лежал по другую сторону инспектора.)

— Теперь уже два грабежа и один подлог!

И, сообщив таким образом о своем угнетенном настроении, Юджин умолк.

Долгое время все молчали. Когда начался прилив и вода подошла к ним ближе, шумы на реке стали чаще, и все трое стали прислушиваться внимательнее. К хлопанью пароходных колес, к звяканью железной цепи, к визгу блоков, к мерной работе весел, а иногда к лаю собаки на борту парохода, словно почуявшей людей в их засаде. Ночь была не так темна, и, кроме скользящих взад и вперед фонарей на корме и мачтах, они могли различить и неясные очертания корпуса; а время от времени близко от них возникал призрачный лихтер с большим темным парусом, подъятым, словно грозящая рука, проносился мимо и пропадал во тьме. Во время их вахты вода не раз подходила совсем близко, взволнованная каким-то толчком издалека. Часто им казалось, что эти всплески и толчки идут от лодки, которую они подстерегают, и что эта лодка подходит к берегу; не раз они были готовы уже вскочить на ноги, если бы не доносчик, который знал реку наизусть и по-прежнему стоял спокойно, даже не пошевельнувшись, на своем месте.

Ветром относило звон колоколов на городских колокольнях, которые были с подветренной стороны; зато с наветренной стороны до них донесся звон других колоколов, которые пробили один, два, три часа. И без этого звона они узнали бы, что ночь проходит, по спаду воды в реке, по тому, как все больше расширялась мокрая черная полоса берега и камни мостовой выходили из реки один за другим.

Время шло, и прятаться больше было уже ни к чему. Казалось, этот человек откуда-то узнал, что затевается против него, а может быть, и струсил. Быть может, он так

обдумал свои маневры, чтобы выгадать против своих преследователей часов двенадцать и оказаться вне пределов досягаемости. Честный человек, напрасно трудившийся в поте лица, встревожился и начал горько жаловаться на людей, норовящих его обставить,— его, возведенного трудом в высокое достоинство!

Их убежище было выбрано с таким расчетом, что они могли наблюдать и за рекой и за домом. Никто не входил в дом и не выходил из него, с тех пор как дочери послышался голос отца. Никто не мог ни войти, ни выйти, не будучи замеченным.

— А в пять рассветет, и тогда нас будет видно,— сказал инспектор.

— Послушайте-ка,— сказал Райдергуд,— что вы на это скажете? Он, может, не один час прячется от нас, снует между двумя-тремя мостами.

— Ну и что же из этого? — сказал инспектор сурово и, по-видимому, не соглашаясь с ним.

— Да, может, он и сейчас там прячется.

— Ну и что же из этого? — повторил инспектор.

— Моя лодка вон там, где и все остальные, на берегу.

— Ну так что же с твоей лодкой? — спросил инспектор.

— А если мне поехать и поискать его? Я знаю его повадки, знаю все уголки, какие он облюбовал. Знаю, где он будет во время прилива и во всякое другое время. Разве я с ним не работал? А вам всем незачем показываться. И с места трогаться не надо. Я и без вашей помощи сдвину лодку; а если меня кто-нибудь увидит, так я на реке бываю в любое время.

— Мысль не так уж плоха,— сказал инспектор после некоторого раздумья.— Попробуй.

— Погодите немного. Давайте все обдумаем. Если вы мне понадобитесь, так я подъеду к «Грузчикам» и свистну.

— Если мне будет дозволено сделать замечание моему почтенному и доблестному другу, глубокие познания коего в навигации я отнюдь не намерен оспаривать,— неторопливо вмешался Юджин,— то оно вот какого рода: свистнуть — это значит разоблачить тайну и привлечь подозрения. Надеюсь, мой почтенный и доблестный друг извинит меня как человека постороннего за такое замеча-

ние, но я был обязан его сделать для блага всей страны и этого дома.

— Это другой хозяин или адвокат Лайтвуд? — спросил Райдергуд; они разговаривали, не видя в лицо друг друга, лежа или скорчившись в три погибели.

— На вопрос, заданный моим почтенным и доблестным другом,— отвечал Юджин, лежавший на спине с надвинутой на лицо шляпой,— словно эта поза как нельзя более подходила для наблюдателя,— я отвечу без всякого колебания (если это дозволяется законом), что голос, который он слышит, принадлежит другому хозяину.

— Вы ведь хорошо видите, хозяин? Ведь вы все хорошо видите? — спросил доносчик.

— Да, все.

— Тогда если я подъеду к «Грузчикам» и остановлюсь там, то незачем и свистеть. Вы увидите темное пятно или что-нибудь в этом роде, поймете, что это я, и подойдете ко мне по дамбе. Все поняли? Тогда я поехал!

В одну минуту, борясь с напором ветра, дувшего сбоку, он спустился к лодке; еще минута — и он отчалил и уже крался вверх по течению, держась под самым берегом.

Юджин приподнялся на локте, вглядываясь в поглотившую его темноту.

— Хотелось бы мне, чтобы лодка моего почтенного и доблестного друга прониклась человеколюбием настолько, чтобы перевернуться кверху дном и потопить его,— пробормотал он себе в шляпу, снова ложась.— Мортимер!

— Мой почтенный друг?

— Три грабежа, два подлога и полночное убийство!

Однако, несмотря на отягченную всем этим совесть, Юджин несколько оживился благодаря небольшой перемене в положении дел. Оба его спутника тоже. Положение изменилось — это главное. Ожидание, казалось, вступило в другую фазу и с недавних пор словно началось заново. Появилось еще что-то, за чем нужно было следить. Все трое подтянулись и насторожились еще больше и уже не так поддавались тягостному влиянию обстановки.

Прошло больше часа; они даже задремали, когда кто-то один из троих — каждый говорил, что это он первый заметил, что он и не думал дремать,— увидел Райдергуда на условленном месте. Они вскочили и, выбравшись из-под

лодки, подошли к нему. Завидев их, он подъехал ближе к дамбе, так что они могли переговариваться с ним шепотом, стоя в тени «Шести Веселых Грузчиков», погруженных в глубокий сон.

— Хоть убей, ничего не разберу! — сказал Райдергуд, глядя на инспектора.

— Чего не разберешь? Ты его видел?

— Видел его лодку.

— Не пустую же?

— Вот именно пустую. Да мало того — она плыла по течению. Мало того — без одного весла. Мало того — второе весло застряло и сломалось. Мало того — еще и лодку втиснуло течением между двумя рядами барок. Мало того — ему опять повезло, ей-богу так!

ГЛАВА XIV

Стервятник пойман

Продрогнув на берегу, в сыром и свинцовом холоде того часа суток, когда силы всего благородного и нежного, что живет на свете, идут на убыль, три стража посмотрели друг другу в застывшие лица, и все трое — в застывшее лицо Райдергуда.

— Лодка Старикова, Старику опять повезло,— а самого Старика нету! — Так говорил Райдергуд, тревожно озираясь по сторонам.

Словно сговорившись, все они разом перевели глаза на свет очага, падавший в окно. Свет стал слабым и тусклым. Быть может, огонь, подобно высшим формам животной и растительной жизни, которые он поддерживает, бывает всего ближе к смерти тогда, когда ночь уже на исходе, а день еще не родился.

— Если б я командовал этим самым делом,— проворчал Райдергуд, угрожающе мотнув головой,— уж я бы эту Лиззи не упустил, черт возьми, это уж во всяком случае!

— Да, но вы тут не командуете,— заметил Юджин, и так неожиданно резко, что доносчик покорно отозвался:

— Ну-ну-ну, другой хозяин, я же не говорил, что командую. Может ведь человек сказать слово?

— А гад должен молчать,— оборвал Юджин.— Придержи язык, водяная крыса!

Изумившись непривычной горячности своего друга, Лайтвуд внимательно посмотрел на него и сказал:

— Что могло случиться с этим человеком?

— А кто знает. Разве только нырнул за борт.— Доносчик беспокойно вытер лоб, не вылезая из лодки и все так же тревожно озираясь по сторонам.

— Вы привязали его лодку?

— Она будет стоять на месте, пока не начнется прилив. Крепче ее и не привяжешь. Садитесь ко мне в лодку, там сами увидите.

Произошла небольшая заминка — они согласились не сразу, считая, что груз будет слишком велик для его лодки. Но когда Райдергуд возразил, что «у него бывает в лодке до полдюжины, и живых и мертвых, да и тогда осадка небольшая, даже и говорить не о чем», они осторожно заняли свои места, стараясь не перевернуть шаткую лодку. Пока они усаживались, Райдергуд все так же беспокойно озирался по сторонам, не вставая со скамьи.

— Все в порядке. Отдай концы! — сказал Лайтвуд.

— Отдай концы, ей-богу! — повторил Райдергуд и отпихнул лодку веслом.— Ну, если только он ухитрился удрать, адвокат Лайтвуд, я тоже отдам концы, только на другой манер. И никогда-то ему нельзя было верить, черт бы его взял! Всегда норовил надуть, проклятый Старик! Такой подлец, такой проныра. Никогда по-честному не сделает, всегда надует!

— Эй! Берегись! — крикнул Юджин (он пришел в себя, как только отчалили), когда лодка с силой налетела на сваю, и шепотом повторил собственное изречение, только в обратном смысле: «Хотел бы я, чтобы лодка моего почтенного и доблестного друга человеколюбия ради не перевернулась кверху дном и не потопила нас!» — Легче, легче! Сиди смирно, Мортимер! Опять град. Смотри, как сыплет, прямо в глаза мистеру Райдергуду — вцепился в него, как сто бешеных кошек!

Действительно, град бил прямо в лицо Райдергуду, и так его истерзал, хотя он нагнул голову и старался под-

ставлять под удар одну свою облезлую шапку, что ему пришлось укрыться под защиту ряда барж и простоять там, пока град не кончился. Шквал налетел под утро, словно грозный его предвестник; следом за ним показалась рваная кайма зари, и в широкий просвет между темными тучами прорвался серый день.

Все они продрогли, и казалось, что все вокруг них также продрогло: сама река, суда на ней, снасти, паруса, первые редкие дымки, показавшиеся кое-где по берегу. Почерневшие от сырости, неузнаваемые под белым налетом града и мокрого снега, дома казались ниже обычного, словно все они сгорбились и съежились от холода. На том и на другом берегу почти не видно было жизни, все окна и двери были наглухо заперты, черные с белым буквы на стенах верфей и складов «казались надгробными надписями на могилах мертвых фирм», как заметил Юджин Мортимеру.

Они медленно скользили по реке, воровским манером прокрадываясь по узким проходам между судами, что было вполне естественно и привычно для их лодочника, и все предметы, между которыми они пробирались, казались громадными по сравнению с их утлым суденышком и грозили вот-вот раздавить его. Каждый корпус корабля с его ржавыми цепями, свисающими с клюзов, расписанных застарелыми подтеками ржавчины, казалось, для того и стоял здесь, чтобы раздавить их без пощады. Каждое изваяние на носу смотрело грозно, словно готовясь броситься вперед и потопить их. Ворота шлюзов, полоса краски на стене или свае, отмечающая уровень воды, казалось, намекали, словно оскаливший зубы Волк на бабушкиной кровати: «А это для того, чтобы утопить вас, мои милые!» Каждая громоздкая баржа, нависая над ними облупленным черным боком, казалось, с жадным хлюпаньем тянула речную воду, стремясь затянуть их на дно. Все кругом говорило о губительном действии волн: почерневшая медь, гнилое дерево, источенный водою камень, зеленый налет плесени,— но еще страшнее было вообразить себе, что будет после того, как их раздавит, засосет, утянет на дно.

Через полчаса такой работы Райдергуд, подняв весла, подошел вплотную к одной из барж и, осторожно перехва-

тывая руками вдоль ее борта, провел свою лодку под самым носом баржи в незаметный уголок, полный грязной пены. И, загнанная в этот уголок, втиснувшись между баржами, как он и говорил, стояла лодка Старика Хэксема: та самая лодка, все с тем же пятном на дне, напоминавшим закутанную человеческую фигуру.

— Ну что скажете, я соврал? — заметил честный человек. («А сам все-таки дрожит в ожидании, не скажет ли кто-нибудь ему правду!» — шепнул Юджин Мортимеру.)

— Это лодка Хэксема,— сказал инспектор.— Я ее хорошо знаю.

— Поглядите на сломанное весло. Поглядите, другого весла нет. Скажете, я соврал? — повторил честный человек.

Инспектор перешагнул в ту лодку. Юджин и Мортимер смотрели на него.

— Видите теперь,— прибавил Райдергуд, переползая на корму и показывая на туго натянутую веревку, привязанную к корме и перекинутую за борт.— Не говорил ли я вам, что ему опять повезло?

— Тащите,— сказал инспектор.

— Легко сказать «тащите»,— отвечал Райдергуд.— А сделать это трудно. Его добыча запуталась где-то под килями барж. Я было попробовал ее вытащить, да не смог. Глядите, как веревка натянулась!

— Мне нужно ее вытянуть,— сказал инспектор.— Я отведу эту лодку к пристани и добычу вместе с ней. Попробуйте полегоньку.

Райдергуд попробовал полегоньку, но добыча сопротивлялась и никак не шла.

— Я ее достану и лодку доведу,— сказал инспектор, дергая за веревку. Но добыча все сопротивлялась и не шла.

— Осторожней надо,— сказал Райдергуд.— А то изуродуете. Или разорвете на части.

— Ничего подобного у меня не будет, даже с твоей бабушкой,— ответил инспектор,— а достать я достану. Ну-ка! — прибавил он настойчиво и убедительно, обращаясь к тому, что было скрыто под водой, и снова дергая за веревку,— так дело не пойдет, знаешь ли. Что надо, то надо. Я тебя добуду.

И столько было силы в этом решительном и определенном намерении добыть ее, что добыча поддалась немного именно тогда, когда он теребил веревку.

— Что я говорил,— произнес инспектор, сбрасывая пальто и решительно перегибаясь за корму.— Ну-ка!

Как ни страшна была эта ловля, она нимало не обескуражила инспектора, во всяком случае не больше, чем если бы он ловил рыбу с тихой речной запруды в верховьях какой-нибудь мирной речки. Через несколько минут, дав остальным приказание сначала «подтолкнуть лодку немножко вперед», а потом «отпихнуть ее чуть-чуть назад», он спокойно произнес:

— Готово! — И веревка высвободилась вместе с лодкой.

Лайтвуд протянул ему руку и помог подняться, после чего инспектор снова надел пальто и сказал Райдергуду:

— Подай-ка мне запасные весла, я подведу все это к ближайшей пристани. Ступай вперед, да держись где посвободней, чтобы я опять не застрял.

Его приказ был выполнен, и они направились прямо к берегу — двое в одной лодке, двое в другой.

— Ну,— сказал инспектор, опять обращаясь к Райдергуду, как только все они выбрались на скользкие камни,— у тебя в этом деле больше опыта, чем у меня, значит ты лучше справишься. Отвязывай веревку, а мы тебе поможем тянуть.

Повинуясь приказу, Райдергуд полез в ту лодку. Казалось, не прошло и минуты, не успел он взглянуть за корму и дотронуться до веревки, как уже карабкался обратно, весь дрожа, и лицо у него было такое же серое, как это утро.

— Клянусь богом, он меня надул!

— Что такое? — спросили все в один голос.

Он указал пальцем назад, на лодку, и повалился на камни набережной, так у него перехватило дыхание.

— Старик меня подвел. Это он и есть!

Все бросились к веревке, оставив Райдергуда. И скоро тело стервятника, уже несколько часов как умершего, лежало простертое на берегу, и новый шквал бушевал над ним, а в мокрые волосы набились градины.



Отец, это ты звал меня? Отец! Мне дважды послышался твой голос! Но не будет ответа на ее слова, не будет по эту сторону могилы. Ветер, глумясь, пролетает над ее отцом, бьет его по щекам истрепанными концами платка и прядями волос, пытается перевернуть его со спины на бок, лицом к восходящему солнцу, чтобы он устыдился еще больше. Затишье — и ветер притаился и заигрывает с ним: теребит один лоскут, так что он взлетает и падает; трепещет, забираясь под другой лоскут, пробегает по его волосам и бороде. И, вдруг налетев вихрем, жестоко треплет его. Отец, это ты меня звал? Это ты лежишь, безгласен и недвижим? Это тебя бьет и треплет ветер? Это тебя крестили в Смерть, бросая грязью тебе в лицо? Почему ты молчишь, отец? Ты лежишь, и грязь засасывает твое намокшее тело. Разве ты никогда не видел таких же утопленников у себя в лодке? Говори же, отец! Говори с нами, ветрами, больше тебя некому слушать!

— Видите ли, вот как это случилось,— сказал инспектор, подумав сначала; он опустился на одно колено, рядом с телом, а все остальные, стоя вокруг, глядели на мертвеца, так же как и он, бывало, глядел на других утопленников.— Вы, господа, конечно, заметили, что у него запутались в петлю шея и руки.

Оба они помогали распутывать веревку, но, конечно, ничего не заметили.

— И вы, конечно, заметили уже, а теперь особенно, что этот узел, который так плотно затянут на шее оттого, что запутались руки, есть не что иное, как скользящий узел,— инспектор поднял его кверху, показывая всем.

Достаточно ясно.

— Точно так же вы заметили, что он прикрепил другой конец веревки к корме.

На веревке были видны узлы и утолщения там, где старик связывал и приплетал концы.

— Теперь смотрите,— продолжал инспектор,— смотрите, как это получилось, незаметно для него. Вечер был бурный, непогожий, когда этот человек,— инспектор нагнулся и стряхнул град с волос мертвеца полой его намокшей куртки,— вот так, теперь он больше похож на себя, хотя сильно изуродован,— когда этот бывший чело-

век, по своему обыкновению, выехал в лодке. Он берет с собой вот эту свернутую кольцом веревку. Он всегда берет с собой свернутую веревку. Это я знаю так же хорошо, как знаю его самого. Иногда он кладет веревку на дно лодки. Иногда вешает себе на шею. Одевался он всегда легко, этот человек,— видите? — Тут инспектор приподнял свободный конец платка на груди утопленника и кстати вытер ему губы этим концом,— а когда бывало ветрено, холодно или сыро, он вешал свернутую кольцом веревку себе на шею. Тем хуже для него! Он вертелся так и сяк со своей лодкой, этот человек, пока не прозяб. Руки у него,— инспектор приподнял одну руку, и она упала, как свинцовая,— застыли. Тут он замечает, что по реке плывет то, чем он имеет обыкновение промышлять. Он готовится поймать этот предмет. Развертывает конец веревки и несколько колец хочет уложить в лодке, столько, сколько нужно, чтобы веревка не слишком натягивалась. Он перестарался, как оказалось после. Он копается с этим немножко дольше, чем всегда, потому что руки у него закоченели. Его добыча подплывает все ближе, а он еще не готов. Он подцепляет ее, собираясь для начала хотя бы очистить карманы, на тот случай, если придется ее упустить, перегибается за корму, а тут налетает шквал, или волна от двух встречных пароходов, а может, он опять не готов, или же все это вместе, но только он теряет равновесие и падает в воду головой вперед. Слушайте теперь! Он умеет плавать, как же, отлично умеет, и сразу всплывает наверх. Но при этом у него запутались руки, он сильно дергает веревку, и скользящий узел затягивается на шее. Предмет, который он собирался взять на буксир, проплывает мимо, и его же собственная лодка тащит его на буксире, уже мертвого, туда, где мы его нашли, опутанного его же веревкой. Вы спросите, откуда я узнал про карманы? Для начала я вам скажу больше: в карманах было серебро. Как я это узнал? Просто, но достаточно верно. Потому что оно еще и сейчас у него в руке.— Лектор поднял крепко сжатую правую руку.

— Что же делать с телом? — спросил Лайтвуд.

— Если вы постоите около него с полминуты, сэр,— ответил инспектор,— я разыщу ближайшего из наших постовых, тот придет и позаботится о нем. Видите, я все

еще называю его «он»,— сказал инспектор, оглянувшись, и философически улыбнулся такой силе привычки.

— Юджин,— начал Лайтвуд и хотел уже прибавить: «Давай подождем в сторонке», но, повернув голову, увидел, что Юджина здесь нет. Он позвал громче: — Юджин! Эй! — Но Юджин не откликался.

Теперь совсем рассвело, и Лайтвуд осмотрелся по сторонам. Однако Юджина нигде не было видно.

Инспектор, возвращаясь, быстро спускался по деревянным ступеням пристани вместе с полицейским констеблем, и Лайтвуд спросил его, не заметил ли он, когда ушел его приятель? Инспектор не мог сказать точно, когда именно ушел Юджин, однако успел заметить, что тот встревожен.

— Сложный и интересный характер у вашего друга, сударь.

— Хотел бы я, чтобы этот сложный и интересный характер не выкидывал со мной таких штук: взял да и удрал от меня спозаранку, а ведь дело очень невеселое,— сказал Лайтвуд.— Нельзя ли нам выпить чего-нибудь горячего?

Отчего же нельзя, и мы выпили. На кухне трактира перед большим огнем. Мы выпили горячего грога с коньяком, и это нас оживило чудесным образом. Инспектор, официально объявив Райдергуду о своем намерении «не спускать с него глаз», поставил его в угол возле очага, словно мокрый зонтик, и после того не обращал, по-видимому, никакого внимания на честного человека, и только приказал подать ему отдельно порцию грога с коньяком — должно быть, на казенный счет.

Мортимер Лайтвуд сидел перед пылающим очагом, иногда приходя в себя и чувствуя сквозь сон, что пьет горячий грог, но в то же время это был херес у «Шести Веселых Грузчиков», и он сам лежал под лодкой на берегу реки, и сидел в лодке, которой правил Райдергуд, и слушал недавнюю лекцию инспектора, и ему надо было обедать в Тэмпле с каким-то неизвестным, именовавшим себя М. П. Р. Старик Юджин Гармон, который жил, по его словам, в Градебури,— переживая все эти превратности, вызванные усталостью и дремотой, с быстротой двенадцати часов в секунду, Мортимер вдруг услышал, что отвечает

вслух на какое-то очень важное сообщение, которого ему никто не делал и, заметив перед собой инспектора, притворился, что кашляет. Вполне естественно, его смущала мысль, как бы этот чиновник не заподозрил его в том, что он задремал и забыл о деле.

— Понимаете ли, только что был здесь, как раз перед нами,— толковал ему инспектор.

— Понимаю,— с достоинством ответил Лайтвуд.

— И тоже, понимаете ли, пил грог с коньяком, а после того очень быстро скрылся,— говорил инспектор.

— Кто это? — спросил Лайтвуд.

— Да ваш друг, понимаете ли.

— Понимаю,— ответил Мортимер, также с достоинством.

Выслушав доклад инспектора словно сквозь туман, в котором фигура инспектора расплывалась и ввысь и вширь,— что полиция берет на себя сообщить дочери покойного о том, что произошло нынче ночью и что вообще инспектор берет все хлопоты на себя, Мортимер Лайтвуд, спотыкаясь, добрался до стоянки экипажей, крикнул кэб и вступил в ряды армии, совершил преступление, был судим военным судом, приговорен к смерти, отдал последние распоряжения и уже шел на расстрел,— все это прежде чем захлопнулась дверца.

В кэбе было тяжело грести через Сити к Тэмплу, на призовой кубок ценою от пяти до десяти тысяч фунтов, дар мистера Боффина; а еще тяжелее переговариваться через такую даль с Юджином (когда его вытянули на веревке со струящейся мостовой) о том, как это он удрал самым неприличным образом! Но Юджин так усиленно оправдывался, так раскаивался, что Лайтвуд, выйдя из кэба, поручил кучеру особенно за ним приглядывать. На что кэбмен только хлопал глазами, зная, что другого седока у него не было.

Короче говоря, ночное представление так утомило и вымотало актера, что он превратился просто-напросто в лунатика. Он так устал, что не в силах был уснуть, устал до того, что уже не чувствовал утомления, и мало-помалу впал в забытье. Он проснулся поздно, уже к вечеру, и, встревожившись, послал на квартиру к Юджину справиться, встал он или еще нет?

Да, он уже встал. То есть он еще не ложился. Он только что вернулся домой. Тут же явился и он сам, следуя по пятам за посланным.

— На кого ты похож! Глаза красные, весь в грязи, волосы растрепаны! — воскликнул Мортимер.

— Разве перья у меня так взъерошены? — спросил Юджин, спокойно подходя к зеркалу.— Да, не совсем в порядке. Но подумай сам: такая ли была ночь, чтоб заботиться о прическе?

— Такая ночь? — повторил Мортимер.— А куда ты девался утром?

— Милый мой,— отвечал Юджин, садясь к нему на кровать,— я почувствовал, что мы слишком долго надоедали друг другу и что если так будет продолжаться, то наша дружба кончится тем, что мы разъедемся в противоположные концы земли, как можно дальше один от другого. Кроме того, у меня было такое чувство, будто я совершил все преступления, какие только числятся в Ньюгетском календаре *. Вот почему, думая о нашей дружбе и о своих преступлениях, я счел нужным пойти прогуляться.

ГЛАВА XV

Новые слуги

Мистер и миссис Боффин сидели после завтрака в «Приюте», чувствуя себя жертвами благополучия. На лице мистера Боффина читалась забота и растерянность. Перед ним лежал ворох всяких бумаг, и он глядел на них так же безнадежно, как не смыслящий в деле штатский мог бы глядеть на целую армию, которую ему велено в пять минут построить для парада. Он делал попытки как-то разметить и рассортировать эти бумаги, но ему мешал большой палец (что нередко случается с людьми его разбора), очень деятельный и решительно ничего не оставлявший без проверки и поправки, и до того перепачкавший все его заметки, что невозможно было разобраться в них, так же как и в отпечатках на носу и лбу мистера Боффина, оставленных все тем же большим пальцем.

В подобных случаях любопытно призадуматься над тем, какая дешевая вещь чернила и как надолго их хватает. Как одной крупицы мускуса довольно, чтобы надушить комод на много лет, причем она почти ничего не теряет в весе, так и на полпенни чернил было более чем достаточно для того, чтобы перепачкать мистера Боффина от корней волос до самых пяток, причем на бумаге перед ним не было написано ни строчки, а в чернильнице не замечалось ни малейшей убыли.

Мистер Боффин до того довел себя таким изнурительным литературным трудом, что глаза у него выпучились и остановились, а дыхание стало хриплым, когда к большому облегчению миссис Боффин, с тревогой глядевшей на все эти симптомы, во дворе прозвенел колокольчик.

— Кто бы это мог быть? — сказала миссис Боффин.

Мистер Боффин испустил долгий вздох, положил перо на место, взглянул на свои бумаги, словно сомневаясь, имеет ли он удовольствие быть с ними знакомым и, взглянув на них еще раз, утвердился в мнении, что вовсе не знаком с ними, но тут появился головастый юноша и доложил:

— Мистер Роксмит!

— Да! — сказал мистер Боффин.— Да, в самом деле! Наш с Уилферами общий друг, душа моя. Да. Пригласите его войти.

Появился мистер Роксмит.

— Садитесь, сударь,— сказал мистер Боффин, пожав ему руку.— С миссис Боффин вы уже знакомы. Что же, сударь, сказать по правде, я не совсем готов к встрече с вами, все был занят то тем, то другим, так что некогда было подумать о вашем предложении.

— Это он извиняется за нас обоих: и за себя и за меня,— улыбаясь, сказала миссис Боффин.— Но боже ты мой! Ведь мы и сейчас можем потолковать, правда?

Роксмит поклонился, поблагодарил ее и ответил, что он на это надеется.

— Позвольте-ка,— начал мистер Боффин, подперев рукой подбородок.— Вы, кажется, сказали тогда «секретер»: так, что ли?

— Я сказал «секретарь»,— подтвердил Роксмит.

— Я тогда как-то не понял,— продолжал мистер Боф-

фин,— да и потом, когда мы с миссис Боффин говорили об этом, то все не могли понять: ведь мы всегда думали (уж не будем от вас скрывать), что «секретер» — это такая мебель, по большей части красного дерева, обитая зеленым сукном или кожей, со множеством ящичков. Так вы уж не сочтите за вольность, если я позволю себе заметить, что это совсем не то.

— Разумеется, нет,— ответил Роксмит.— Но я употребил это слово в другом смысле — я хотел сказать стюард.

— Насчет этого, видите ли,— возразил мистер Боффин, подпирая рукой подбородок,— вряд ли мы с миссис Боффин когда-нибудь поедем по морю. Там нам, конечно, понадобился бы стюард, мы с ней не выносим качки; но ведь обыкновенно на каждом пароходе есть свой стюард.

Роксмит объяснил, что, говоря о должности, которую он хотел бы занять, он имел в виду место управляющего, или заведующего, или смотрителя, или поверенного.

— А ну-ка, для примера! — сказал мистер Боффин, наскакивая на него, по своему обыкновению.— Что бы вы стали делать, если б поступили ко мне на службу?

— Я бы завел точный учет всем вашим расходам, мистер Боффин, писал бы письма по вашим указаниям. Вел бы все деловые переговоры с людьми, которые на вас работают.— И, взглянув с легкой улыбкой на стол, он прибавил: — Я привел бы в порядок ваши бумаги...

Мистер Боффин потер запачканное чернилами ухо и взглянул на жену.

— ...и держал бы все бумаги в таком порядке, чтобы в них всегда можно было разобраться: на каждой было бы коротко написано, что в ней содержится.

— Вот что я вам скажу,— начал мистер Боффин, комкая в руке измаранный в чернилах листок со своими записями.— Если вы возьметесь вот за эти бумаги и разберете, что тут, по-вашему, можно сделать, мне будет лучше видно, как с вами поступить.

Сказано — сделано. Положив шляпу и перчатки, Роксмит спокойно сел к столу, собрал бумаги в ровную кучку, просматривая их одну за другой, складывал каждую пополам, помечал сверху и перекладывал во вторую кучку, а когда все бумаги перешли из первой кучки во вторую, достал из кармана веревочку и перевязал всю кучу ще-

гольским узлом, проявив большой навык и ловкость в этом деле.

— Хорошо! — одобрил мистер Боффин.— Очень хорошо! Теперь скажите нам, о чем там идет речь; будьте так любезны.

Джон Роксмит прочел вслух свои записи. Все они были насчет нового дома. Смета обойщика — столько-то. Смета на мебель — столько-то. Обстановка служебных помещений — столько-то. Каретнику — столько-то. Конскому барышнику — столько-то. За упряжь — столько-то. Золотых дел мастеру — столько-то. Общий итог — столько-то. Потом пошли письма. Согласие мистера Боффина от такого-то числа, о том-то и том-то. Несогласие на просьбу мистера Боффина от такого-то числа насчет того-то и того-то. Письмо относительно проекта мистера Боффина, полученного такого-то числа, о том-то. Все очень кратко и последовательно.

— Образцовый порядок! — сказал мистер Боффин, постукивая пальцем по каждой заметке, словно отбивая такт.— И как это вы устраиваетесь с чернилами, просто не понимаю: на вас ни пятнышка нет. А теперь насчет писем. Давайте попробуем написать письмо,— предложил мистер Боффин, потирая руки и сияя от восторга, как ребенок.

— Кому оно должно быть адресовано, мистер Боффин?

— Да кому угодно. Хоть вам самим.

Мистер Роксмит быстро написал и прочел вслух:

— «Мистер Боффин свидетельствует свое почтение мистеру Джону Роксмиту и сообщает, что принял решение испытать его в той должности, которую он желал бы занять. Мистер Боффин, ссылаясь на слова самого мистера Роксмита, откладывает рассмотрение вопроса о жалованье на неопределенный срок. Само собой разумеется, что мистер Боффин не берет на себя никаких обязательств в этом смысле. Остается добавить, что мистер Боффин, полагаясь на слово мистера Роксмита, надеется на его честность и преданность. Мистеру Джону Роксмиту предлагается немедля приступить к своим обязанностям».

— Ах, Нодди, вот это так письмо! — воскликнула миссис Боффин, хлопая в ладоши.

Мистер Боффин был не менее восхищен: говоря по правде, в глубине души он считал и самое письмо и ту ловкость, с которой оно было написано, весьма замечательным проявлением человеческой изобретательности.

— И вот что я тебе скажу, миленький мой,— начала миссис Боффин,— если ты не договоришься сразу с мистером Роксмитом и будешь сам лезть во все, что не про тебя писано, так тебя кондрашка хватит, не говоря уже о том, что все белье будет в чернилах и сердце мое разобьется.

За такие мудрые речи мистер Боффин поцеловал свою супругу, а после того, поздравив Джона Роксмита с его блестящими успехами, пожал ему руку в залог новых отношений между ними. Миссис Боффин тоже подала ему руку.

— А теперь, Роксмит, надо вам хоть немного познакомиться с нашими делами,— сказал мистер Боффин, который по своей прямоте думал, что обязан выказать человеку доверие, если тот хоть пять минут прослужил у него.— Я уже говорил вам, когда мы с вами познакомились, или, лучше сказать, когда вы со мной познакомились, что миссис Боффин намерена устроить все по моде, только я еще сам не знал, как далеко мы зайдем. Так вот, миссис Боффин одержала верх, и мы теперь должны устраиваться как нельзя моднее.

— Я так и полагал, сэр, судя по расходам на новое обзаведение,— отвечал Джон Роксмит.

— Да,— сказал мистер Боффин.— Это будет что-то из ряда вон. Как раз кстати мой литературный человек говорил мне, что дом, к которому он, можно сказать, имеет отношение... в котором он заинтересован...

— Как владелец? — спросил Джон Роксмит.

— Нет, не совсем так,— отвечал мистер Боффин,— а что-то вроде родственных отношений.

— Просто участие,— подсказал Джон Роксмит.

— Да, может быть,— согласился мистер Боффин.— Как бы ни было, он говорил мне, что на доме висит объявление: «Сей весьма аристократический особняк продается или сдается внаймы». Мы с миссис Боффин ездили смотреть его, нашли, что он весьма аристократичен (хотя немножко и скучноват, но это, в сущности, одно и то же), и купили его. Мой литературный человек по дружбе ударился в поэзию и прочел нам прелесть какие стихи на

этот случай: в них он поздравляет миссис Боффин с тем, что ей теперь принадлежит... как это, душа моя?

Миссис Боффин отвечала:

Чертог, чертог веселья полон *,
А залы, залы светом залиты.

— Вот именно. Тем ловчей получается, что в доме и правда есть два зала, с парадного хода и со двора; есть еще и помещение для прислуги. А кроме того, он нам прочел очень недурные стишки насчет того, что ежели миссис Боффин взгрустнется в новом доме, так он всегда готов прийти на помощь и ее развеселить. У миссис Боффин замечательная память. Ты не прочтешь нам эти стихи, душа моя?

Миссис Боффин согласилась и без единой ошибки прочла стихи, в которых было сделано такое любезное предложение — прочла точно так, как она их слышала:

Как плакала дева *, я вам спою, миссис Боффин
Когда погибла любовь,
И как она угасла навек, миссис Боффин,
Чтоб не проснуться вновь.
Спою вам о том, с разрешения мистера Боффина,
как убит был герой,
А конь прискакал домой,
И если до слез мой тронет рассказ, за что прошу
прощения у мистера Боффина,
Гитарой утешу вас.

— Точка в точку правильно! — сказал мистер Боффин.— Мне особенно нравится то, что в этих стихах так кстати упомянуты мы оба.

Стихи произвели впечатление и на секретаря: он, видимо, был удивлен, что очень польстило мистеру Боффину и еще более утвердило его в высоком мнении о достоинстве этих стихов.

— Понимаете ли, Роксмит,— продолжал он,— мой литературный человек на деревянной ноге вообще завистлив. Так вот, я уже надумал, как это поудобнее устроить, чтобы Вегг вам не завидовал: вы держитесь своей части, а он будет держаться своей.

— Господи! — воскликнула миссис Боффин.— А я так думаю, что на свете всем места хватит!

— Так оно и есть, душа моя, когда мы не занимаемся литературой,— сказал мистер Боффин.— А когда занимаемся, получается наоборот. И мне не надо забывать, что я нанял Вегга тогда, когда у меня еще и мысли не было о моде или о том, чтобы оставить «Приют». Дать ему почувствовать обиду было бы непорядочно с моей стороны, как будто мне голову вскружили эти залы, залитые светом. От чего боже сохрани! Роксмит, что вы скажете насчет того, чтобы жить в доме?

— В этом доме?

— Нет, нет. Насчет этого дома у меня другие планы. А в новом доме?

— Пусть будет, как вам угодно, мистер Боффин. Я вполне в вашем распоряжении. Вы знаете, где я живу в настоящее время.

— Ну что ж! — сказал мистер Боффин, подумав.— Предположим, на время вы останетесь там же, а после мы решим. Вы ведь сразу начнете заниматься всем, что делается в новом доме?

— С удовольствием. Я начну сегодня же. Вы мне сообщите адрес?

Мистер Боффин сказал адрес, и секретарь записал его в книжечку. Миссис Боффин воспользовалась случаем и, пока он был этим занят, постаралась как следует рассмотреть его лицо. Впечатление было в его пользу, потому что она украдкой кивнула мистеру Боффину: «Он мне нравится».

— Я сейчас же загляну, все ли там в порядке, мистер Боффин.

— Благодарю вас. Но раз вы уже здесь, не хотите ли осмотреть «Приют»?

— Очень буду рад. Мне столько пришлось о нем слышать.

— Идемте! — сказал мистер Боффин. И они вдвоем с миссис Боффин пошли вперед.

Мрачный дом, этот «Приют», и по его убожеству видно, что все то время, пока он прозывался Гармоновой тюрьмой, им владел скряга. Жалкие остатки краски, жалкие остатки обоев на стенах, остатки мебели, скудные следы человеческой жизни. Что построено человеком для человека, должно, как и создания природы, выполнять свое

назначение или гибнуть. Этот старый дом так и пропал даром, оттого что в нем не жили, износившись гораздо скорее, чем если бы в нем жили,— в двадцать раз скорее.

Какое-то оскудение бывает свойственно домам, если в них не кипит жизнь (словно эта жизнь их питает) и здесь оно было очень заметно. Лестница, балюстрада, перила казались иссохшими, словно обглоданными до костей; такими же казались стены, дверные косяки и окна. Скудная мебель являла тот же вид и, распадаясь в прах, усыпала бы все полы густым слоем пыли, если б здесь не наводили чистоту; эти полы, все потемневшие и в прожилках, были изношены, как лица стариков, проживших всю свою жизнь в одиночестве.

Спальня, где прижимистый старик перестал цепляться за жизнь, осталась в том же виде, что и при нем. В ней стояла старая дрянная кровать с четырьмя колонками, без полога, с железными зубцами наверху, словно на тюремной стене, покрытая старым лоскутным одеялом. Там стояла и накрепко запертая старая конторка с покатым верхом, похожим на злой и скрытный лоб; возле кровати — неуклюжий стол с кривыми ногами, а на столе шкатулка, в которой когда-то лежало завещание. У стены — несколько стульев в лоскутных чехлах, под которыми долгие годы не сохранялась, а выцветала понемногу более ценная обивка, не радуя ничей глаз. Между всеми этими предметами наблюдалось большое фамильное сходство.

— Комнату сохранили в таком виде, Роксмит, на случай, если приедет сын,— сказал мистер Боффин.— Одним словом, все в доме сохранялось точно так, как оно перешло к нам, пока сын не увидит и не одобрит. Даже и теперь ничего не меняется, кроме нашей комнаты внизу, где мы с вами только что сидели. Когда сын в последний раз в жизни приезжал домой и последний раз в жизни виделся с отцом, это было скорее всего вот в этой самой комнате.

Секретарь, осматривая комнату, остановил взгляд на боковой двери в углу.

— Еще одна лестница,— объяснил мистер Боффин, отпирая дверь,— она ведет во двор. Мы сойдем по ней; может быть, вы захотите посмотреть двор, а нам это по дороге. Когда сын был еще совсем ребенком, то к отцу он почти

всегда ходил по этой вот лестнице. Он очень боялся отца. Бывало, сидит на лестнице, а войти не смеет, бедняжка; много раз я это видел. Мы с миссис Боффин часто утешали его, когда он сидел с книжкой на этой лестнице.

— Да! И его бедную сестру тоже,— сказала миссис Боффин.— А вот здесь, где стену освещает солнце, они как-то померились ростом. Это их детские ручки написали имена на стене, просто карандашом; но имена все еще здесь, а их, бедняжек, уже нет на свете.

— Надо нам позаботиться об именах, старушка,— сказал мистер Боффин.— Надо нам позаботиться об именах. Чтобы они не стерлись при нас, а если бог даст, то и после нас. Бедные дети!

— Да! Бедные дети! — вздохнула миссис Боффин.

Они отворили дверь внизу, выходящую во двор, и постояли на солнце, глядя на буквы, нацарапанные нетвердой детской рукой на уровне двух или трех ступеней. В этом простом напоминании о загубленном детстве и в ласковых словах миссис Боффин было нечто такое, что растрогало секретаря.

Потом мистер Боффин показал новому управляющему кучи мусора и среди них ту, которая досталась ему по завещанию еще до того, как он получил все остальное.

— Нам бы и этого довольно,— сказал мистер Боффин,— если бы бог пощадил его молодую жизнь и избавил от печальной смерти. Остального нам не нужно.

Секретарь смотрел с интересом и на сокровища двора, и на дом снаружи, и на ту отдельную пристройку, в которой, по словам мистера Боффина, они жили вместе с женой в продолжение многих лет их службы. И только после того, как мистер Боффин показал ему все чудеса «Приюта» по два раза подряд, секретарь вспомнил, что у него есть еще дела в другом месте.

— Мистер Боффин, у вас не будет никаких приказаний относительно этого дома?

— Нет, Роксмит. Никаких.

— Может быть, вы сочтете дерзостью с моей стороны, если я спрошу, не намерены ли вы продать его?

— Разумеется, не намерен. В воспоминание о нашем старом хозяине, о его детях, о нашей службе, мы хотим сохранить «Приют» так, как он есть.

Секретарь обвел кучи мусора таким выразительным взглядом, что мистер Боффин поспешил сказать, словно в ответ на его замечание:

— Ну да, это дело другое. Их я могу и продать, хотя жаль будет, что местность лишится такого украшения. Без насыпей она будет плоская, как блин. И все-таки не скажу, чтобы я собирался их навсегда тут оставить для одного только вида. Торопиться с этим не стоит: больше я сейчас ничего не могу сказать. Я знаток не во многом, Роксмит, но по части мусора я знаток. Я могу оценить эти кучи мусора с точностью до последнего пенса, знаю, как их выгоднее продать, знаю тоже, что, если они постоят на месте, вреда от этого не будет. Вы загляните к нам завтра, будьте так любезны.

— Буду заходить каждый день. И чем скорее я смогу вас переселить в новый дом, тем больше вы будете довольны, сэр, не так ли?

— Не то чтобы мне было так уж к спеху,— ответил мистер Боффин,— но если платишь людям за срочную работу, так хочется знать, что у них и в самом деле работа не стоит на месте. А вы как думаете?

— Совершенно так же! — ответил секретарь и с этим удалился.

— Ну, если я теперь уломаю Вегга, то все дела у меня будут в порядке,— сказал себе мистер Боффин, обходя двор положенное число раз.

Человек криводушный, разумеется, забрал в руки человека в высшей степени прямого. Низкий, конечно, одержал верх над великодушным. Надолго ли — это вопрос другой: мы видим каждый день, что такие победы бывают, и даже самим Подснепам не отмахнуться от этого факта. Бесхитростный Боффин так запутался в сетях коварного Вегга, что сам себя считал большим интриганом, когда думал, как бы ему еще больше облагодетельствовать Вегга. Ему казалось (так искусно действовал Вегг), что он действует втайне от Вегга, когда Вегг хитростью заставлял его действовать именно так, как нужно было Веггу. Таким образом, в это утро, мысленно обращаясь к Веггу с самой умильной улыбкой, он был не вполне уверен, не упрекнет ли его Вегг за то, что он повернулся к нему спиной.

Вот почему мистер Боффин провел несколько тревожных часов, дожидаясь наступления вечера и прихода Вегга, который с легкостью ковылял на деревянной ноге по всей Римской империи. К этому времени мистер Боффин глубоко заинтересовался судьбой великого полководца, которого сам он именовал Вылезарием, но, быть может, более известного миру и любителям классической древности под именем Велизария. Даже карьера этого знаменитого воина до некоторой степени утратила интерес для мистера Боффина по сравнению с вопросом, как ему загладить свою вину перед Веггом. Вот почему, как только литературный джентльмен напился и наелся до того, что весь раскалился докрасна, и уже взялся было за книгу, прочирикав, как обычно: «А теперь, мистер Боффин, мы начнем разрушаться и падать», мистер Боффин остановил его:

— Вы помните, Вегг, когда я впервые сказал, что хочу сделать вам одно предложение?

— Позвольте мне сначала подумать, сэр,— отвечал Вегг, перевертывая книгу корешком вверх.— Когда вы впервые сказали, что хотите сделать мне предложение? Позвольте подумать (как будто в этом была хоть малейшая необходимость). Да, конечно, помню, мистер Боффин. Это было на моем углу. Конечно, так! Вы сначала спросили меня, нравится ли мне ваша фамилия, и любовь к истине заставила меня ответить отрицательно. Мне и в голову не приходило, сэр, насколько будет знакома мне эта фамилия!

— Надеюсь, вы еще ближе познакомитесь с нею, Вегг!

— Вот как, мистер Боффин? Премного вам обязан, разумеется. Не угодно ли вам, сэр, мы начнем разрушаться и падать? — И он сделал вид, будто берется за книгу.

— Пока еще нет, Вегг. По правде говоря, я хочу вам сделать еще одно предложение.

Мистер Вегг (который вот уже несколько вечеров подряд только об этом и думал) снял очки с видом вежливого изумления.

— Надеюсь, что вам оно понравится, Вегг.

— Благодарю вас, сэр,— отвечал скрытный Вегг,— на-

деюсь, что так. И даже во всех отношениях. (К этому он стремился как филантроп.)

— Как вы думаете, Вегг, не закрыть ли вам ларек? — спросил мистер Боффин.

— Думаю, сэр,— отвечал Вегг,— что хотел бы видеть того джентльмена, который мне оплатит убытки.

— Он перед вами,— сказал мистер Боффин.

Мистер Вегг собирался было сказать «мой благодетель» и даже произнес «мой благо...», как вдруг его осенило вдохновение.

— Нет, мистер Боффин, только не вы, сэр. Кто угодно, только не вы. Не бойтесь, сэр, я не оскверню своими низменными занятиями чертогов, которые купило ваше золото. Знаю, сэр, что мне не пристало торговать под окнами вашего дворца. Я уже подумал об этом и принял свои меры. Нет нужды подкупать меня, сэр. Степни-Филдс * не будет для вас слишком близко? Если вы и это сочтете за вторжение, я могу уйти еще дальше. Говоря словами поэта, которые я помню не совсем хорошо:

Осужденный скитаться по свету *,
Сирота, без родных и друзей,
Кому счастья и чего-то там нету,—
Вот пред вами малютка Чарлей.

Вот так же и я перед вами, и в том же самом положении,— прибавил мистер Вегг, исправляя не совсем подходящую последнюю строчку.

— Ну-ну-ну, Вегг,— уговаривал его добряк Боффин.— Вы уж слишком чувствительны.

— Да, я знаю, сэр,— возразил мистер Вегг, упорствуя в своем великодушии.— Я знаю свои недостатки. Всегда был слишком чувствителен, с детских лет.

— Но погодите, Вегг, выслушайте меня,— продолжал Золотой Мусорщик.— Вы забрали себе в голову, будто я хочу от вас отделаться пенсией.

— Верно, сэр,— отвечал Вегг, по-прежнему упорствуя в великодушии,— я знаю свои недостатки и далек от того, чтобы отрицать их. Да, я забрал это себе в голову.

— Но у меня-то и в мыслях этого не было.

Это уверение вряд ли настолько утешило мистера Вегга, насколько думалось мистеру Боффину. И правда, лицо Вегга заметно вытянулось, когда он спросил:

— В самом деле не думаете, сэр?

— Нет, потому что это значило бы, что вы не хотите ничего делать, чтобы заработать эти деньги. А вы их заработаете, да.

— Это, мистер Боффин, совсем другое дело,— отвечал Вегг, делая вид, что воспрянул духом.— Теперь моя независимость снова воскресла во мне. Теперь я уже не стану

Оплакивать тот час *,
Когда осыпать нас,
Дарами Лорд явился;
И более луна
Не плачет, прячась в тучах, над позором
здесь присутствующих.

Продолжайте, пожалуйста, мистер Боффин.

— Благодарю вас, Вегг, и за ваше доверие и за то, что вы так часто ударяетесь в поэзию; и то и другое по-дружески. Так вот, у меня такая мысль, чтобы вы бросили ларек, и я вас поселю здесь, в «Приюте», чтоб вы его для нас охраняли. Местоположение приятное, а если человеку давать уголь, свечи и один фунт в неделю, так он будет кататься словно сыр в масле.

— Гм! А не должен ли будет этот человек, сэр,— скажем, «этот человек», чтобы удобнее было рассуждать,— мистер Вегг старался выражаться как можно яснее и улыбался при этом,— не должен ли он будет оставить прочие занятия, или эти занятия будут оплачиваться особо? Теперь предположим, для удобства рассуждения, этот человек нанимается в чтецы; хотя бы по вечерам, скажем так, для удобства рассуждения. Будет ли плата за чтение прибавкой к той сумме, которая, по-вашему, позволяет кататься как сыр в масле? Или она уже входит в эту сумму?

— Ну, я думаю, можно будет прибавить,— сказал мистер Боффин.

— Думаю, что так, сэр. Вы правы, сэр. Я совершенно так же на это смотрю, мистер Боффин.— Тут мистер Вегг встал и, балансируя на деревянной ноге, бросился к своей жертве с протянутой рукой.— Мистер Боффин, считайте, что дело решено. Ни слова больше, сэр, ни слова. Я навсегда расстаюсь со своим ларьком. Собрание романсов

будет сохранено для изучения частным образом, чтобы поэзия была, так сказать, принесена в дань,— Вегг так обрадовался найденному слову, что повторил его еще раз, уже с большой буквы:— в Дань службе. Мистер Боффин мне больно расставаться со всем, что я имею, но пусть вас это не тревожит. Такие же чувства испытывал мой отец, когда его заслуги оценили и перевели из лодочников на правительственную службу. Его звали Томас. Вот какие слова произнес он по этому случаю — я был тогда еще младенец, но они произвели на меня такое сильное впечатление, что я их помню:

Навсегда прощай, мой ялик! *
Весла, руль и все, прости!
Никогда у перевоза
То̀му в лодке не грести!

Мой отец это пережил, мистер Боффин, и я тоже переживу.

Произнося эту прощальную речь, он все размахивал рукой в воздухе и никак не давал ее мистеру Боффину, к великому его огорчению. Теперь же он с быстротой молнии сунул руку своему патрону; тот ее пожал, чувствуя, что бремя спадает с его души, и заметил, что, поскольку их дела устроены к общему удовольствию, он был бы рад заняться делами Вылезария. Кстати говоря, тот остался накануне вечером в самом незавидном положении, и весь день погода не благоприятствовала предстоящему походу на персов.

Мистер Вегг надел очки, но Вылезарию не суждено было присоединиться к их обществу в этот вечер. Не успел Вегг отыскать нужное место в книжке, как на лестнице послышались шаги миссис Боффин, такие непривычно тяжелые и торопливые, что мистер Боффин вскочил бы с места, предчувствуя нечто из ряда вон выходящее, даже если бы она не позвала его взволнованным голосом.

Мистер Боффин бросился к ней: она стояла на темной лестнице, тяжело дыша, с зажженной свечой в руке.

— Что случилось, душа моя?

— Не знаю, не знаю; иди скорей ко мне наверх.

В сильном изумлении мистер Боффин поднялся по

лестнице и вошел вслед за миссис Боффин в их спальню, вторую большую комнату на одном этаже с той, где умер их бывший хозяин. Мистер Боффин огляделся по сторонам и не заметил ничего особенного, кроме сложенных на большом сундуке стопок белья, которое разбирала миссис Боффин.

— Что такое, милая? Да ты испугалась! Ты — и вдруг испугалась!

— Я, конечно, не трусиха,— отвечала миссис Боффин, садясь на стул, чтобы прийти в себя, и не выпуская руки мужа,— но это очень странно!

— Что странно, милая?

— Нодди, сегодня вечером я везде, во всем доме вижу лица старика и обоих детей.

— Что ты, душа моя? — воскликнул мистер Боффин, не без некоторого неприятного ощущения мурашек, пробежавших по спине.

— Я знаю, это кажется глупо, и все же это так.

— Где же тебе показалось, что ты их видела?

— Не знаю, где. Я их почувствовала.

— Дотронулась до них?

— Нет. Почувствовала в воздухе. Я разбирала белье на сундуке и, совсем не думая про старика и детей, напевала про себя,— и вдруг сразу почувствовала, что передо мной из темноты появилось лицо.

— Чье лицо? — спросил муж, озираясь вокруг.

— С минуту оно было лицом старика, потом стало молодеть. С минуту оно было лицом обоих детей, потом постарело. С минуту это было чье-то чужое лицо, а потом все эти лица сразу.

— А потом все пропало?

— Да, потом все пропало.

— Где ты была тогда, старушка?

— Здесь, у сундука. Ну, я этому не поддалась, все разбирала белье да напевала про себя. «Боже ты мой,— говорю себе,— стану думать о чем-нибудь другом, о чем-нибудь приятном, оно и выйдет из головы». Вот я и стала думать про новый дом, про мисс Беллу Уилфер, стала скорее думать, а простыню держала в руках, вдруг вижу — эти лица словно прячутся в складках простыни; я ее и выронила.

Простыня все еще лежала на полу, там, где упала. Мистер Боффин поднял ее и положил на сундук.

— А потом ты побежала вниз?

— Нет, я решила пойти в другую комнату, стряхнуть все это с себя. Говорю: «Пойду прогуляюсь не спеша по комнате старика раза три из конца в конец, и тогда я от этого отделаюсь». Я вошла туда со свечой в руке; но как только подошла к кровати, весь воздух ими наполнился.

— Лицами?

— Да, и я даже чувствовала, что они повсюду; и во тьме за боковой дверью, и на маленькой лестнице, и словно плывут по воздуху во двор. Вот тогда я и позвала тебя.

Мистер Боффин, теряясь от изумления, глядел на миссис Боффин. Миссис Боффин, теряясь от волнения, не в силах объяснить мужу, в чем дело, глядела на мистера Боффина.

— Я думаю, милая, что надо сейчас же выпроводить Вегга, потому что он будет теперь жить в «Приюте», так чтобы ему, да и кому другому, не взбрело в голову, что в доме нечисто, если он это услышит и разболтает. Нам-то ведь лучше знать. Верно?

— Никогда со мной этого не было,— сказала миссис Боффин,— а я оставалась одна в доме и ходила по всем комнатам в любой час ночи. Я была в доме, когда смерть посетила его, была в доме и тогда, когда впервые в него вошло убийство, и до сих пор ничего не боялась.

— И не будешь бояться, душа моя,— сказал мистер Боффин.— Поверь мне, это все от мыслей, да оттого, что живешь в таком мрачном месте.

— Да, но почему раньше этого не было? — спросила миссис Боффин.

На это мистер Боффин мог только ответить замечанием, что все, что ни бывает на свете, должно же когда-нибудь начаться. Потом, забрав руку жены под свой локоть, чтобы та не оставалась больше одна переживать такие волнения, он сошел вниз, чтобы отпустить Вегга. Того клонило ко сну после сытного ужина, да и по натуре он был всегда рад отлынивать от работы, и потому с удовольствием заковылял восвояси, не сделав того, зачем пришел и за что ему заплатили.

Затем мистер Боффин надел шляпу, а миссис Боффин закуталась в шаль, и оба они, взяв связку ключей и зажженный фонарь, обошли весь этот унылый дом — унылый повсюду, кроме их собственных двух комнат,— от погреба до чердака. Не удовольствовавшись такой погоней за фантазиями миссис Боффин, они стали искать во дворе, в пристройках и под насыпями. Осмотрев все кругом, они поставили фонарь у подножия одной насыпи и спокойно прогуливались взад и вперед, совершая вечерний моцион, для того чтобы голова миссис Боффин окончательно проветрилась и освободилась от темной паутины.

— Ну вот, милая! — сказал мистер Боффин, когда они вернулись к ужину.— Видишь, как надо от этого лечиться. Совсем прошло, правда?

— Да, милый,— ответила миссис Боффин, снимая шаль.— Я больше не боюсь. И нисколько не волнуюсь. Я могу опять ходить по всему дому, как и прежде. Но только...

— Что? — сказал мистер Боффин.

— Но стоит мне только закрыть глаза...

— И что тогда?

— И тогда все они здесь! — задумчиво отвечала миссис Боффин, закрыв глаза и дотрагиваясь левой рукой до лба.— Лицо старика — и оно молодеет! Оба детских лица — и они стареют. Еще лицо, которое мне незнакомо. А то и все эти лица вместе.

Снова открыв глаза и увидев перед собой лицо мужа, она наклонилась через стол, похлопала его по щеке и принялась за ужин, объявив, что лицо у него лучше всех на свете.

ГЛАВА XVI

О питомцах и намеках

Секретарь взялся за работу, не теряя времени, и очень скоро его осмотрительность и аккуратность сказались на делах Золотого Мусорщика. Он твердо решил вникать в суть каждого дела, порученного ему хозяином, чтобы

знать его вдоль и поперек, и эта решительность была ему свойственна так же, как и быстрота выполнения. Он не принимал никаких объяснений и сведений из вторых рук, но сам лично проверял все, что было ему поручено.

В поведении секретаря была одна черта, которая накладывала отпечаток на все остальные и могла бы внушить недоверие всякому, знавшему людей лучше, чем Золотой Мусорщик. Секретарь не выказывал излишнего любопытства и навязчивости, как и полагается секретарю, однако успокаивался, только добившись полного представления о деле во всем его объеме. В скором времени выяснилось из некоторых его замечаний, что он успел уже побывать в конторе, где хранилось завещание Гармона, и познакомиться с ним. Мистер Боффин, бывало, еще раздумывал, стоит или нет советоваться с ним насчет того или иного, как вдруг оказывалось, что он уже знает это обстоятельство и хорошо понимает его. Он даже и не пытался это скрыть и, видимо, был очень доволен, что в его обязанности входит такая подготовка по самым уязвимым пунктам, чтобы всегда быть на высоте.

Повторяем, это могло пробудить смутное недоверие в человеке, знающем свет лучше мистера Боффина. С другой стороны, секретарь был догадлив, скромен, не болтлив и так усерден, словно дела мистера Боффина были его личными.

В нем не было заметно ни охоты командовать людьми, ни охоты распоряжаться деньгами; он явно предпочитал, чтобы всем этим ведал сам мистер Боффин. Если он и искал власти, то разве только той, которую дает знание; той власти, которая зиждется на полном понимании дела.

Не только лицо секретаря всегда омрачало темное облако, но и на всем его поведении лежала непонятная тень. Нельзя сказать, чтобы он смущался, как в первый вечер знакомства с семьей Уилферов; теперь он уже не робел, и все же что-то от прежнего оставалось в нем. Не то чтобы манеры его казались дурными, как в тот вечер; он держался прекрасно, всегда был скромен, вежлив и мягок. Однако это «что-то» никогда не покидало его. О людях, которые перенесли тяжкое заточение, или страшный удар, или ради сохранения собственной жизни убили беззащитного человека, не раз писалось, что пережитое

наложило на них неизгладимую печать, которая и остается до самой смерти. Неужели и на нем была такая печать?

Он устроил себе временную контору в новом доме, и все у него в руках спорилось, за одним-единственным исключением: он явно не желал иметь дело с поверенным мистера Боффина. Два-три раза, когда являлся какой-то повод для этого, он предоставлял видеться с Лайтвудом мистеру Боффину, и его уклончивость вскоре стала настолько заметной, что мистер Боффин спросил его об этом.

— Это верно,— сознался секретарь.— Я бы не хотел с ним видеться.

Он имеет что-нибудь против мистера Лайтвуда?

— Я с ним незнаком.

Может быть, ему случалось судиться и потерпеть убыток?

— Не больше, чем другим людям,— отвечал он кратко.

Может быть, он вообще против адвокатов?

— Нет. Но пока я состою у вас на службе, сэр, я бы не желал быть посредником между адвокатом и его клиентом. Конечно, если вы будете настаивать, мистер Боффин, я готов согласиться. Но я сочту большим одолжением с вашей стороны, если вы не будете на этом настаивать без крайней необходимости.

Вряд ли в этом была крайняя нужда, ибо в руках Лайтвуда не осталось никаких других дел, кроме того, которое тянулось без конца, так как преступник не был обнаружен, и тех, которые были связаны с покупкой дома. Многие другие дела, которые могли бы перейти к нему, теперь оставались на руках у секретаря, который справлялся с ними гораздо скорее и успешнее, чем это было бы возможно под руководством юного Вреда. Золотой Мусорщик отлично это понимал. Даже текущие дела не имели такого значения, чтобы секретарю надо было непременно являться лично, потому что все они сводились к следующему: после смерти Хэксема честному человеку стало невыгодно трудиться в поте лица, и, никак не соглашаясь потеть даром, он увиливал с тем старанием, о котором юристы говорят, что оно и каменную стену лбом прошибет. Следовательно, этот новый светоч угас с шипением и треском. Но, когда перетряхнули старое, кому-то пришло

в голову, что, прежде чем снова убрать все старье на темную полку, по всей вероятности навсегда, было бы неплохо добром или принуждением вызвать мистера Джулиуса Хэнфорда, чтобы он явился и дал показания. А так как все следы Джулиуса Хэнфорда были потеряны, то Лайтвуд обратился к своему клиенту за разрешением искать его, дав объявление в газетах.

— А против того, чтобы написать Лайтвуду, вы не возражаете, Роксмит?

— Нисколько, сэр.

— Ну так напишите ему две строчки, скажите, пускай делает как знает. Не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло.

— Не думаю, чтоб из этого что-нибудь вышло,— повторил секретарь.

— Скажите, пусть поступает как знает.

— Я сейчас же напишу. Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так внимательно отнеслись к моей просьбе. Она покажется вам не такой бессмысленной, если я признаюсь вам, что с мистером Лайтвудом у меня связаны самые неприятные воспоминания, хоть я его и не знаю. Это не его вина: он тут ни при чем и даже имени моего не знает.

Кивком головы мистер Боффин прекратил этот разговор. Письмо было написано, и на следующий день мистера Джулиуса Хэнфорда стали разыскивать через газеты. Его просили сообщить о себе мистеру Мортимеру Лайтвуду, с тем чтобы оказать помощь правосудию, и награда была обещана каждому, кто знает его местопребывание и может о нем уведомить того же Мортимера Лайтвуда, в его конторе, в Тэмпле. Шесть недель подряд это объявление ежедневно появлялось на первой полосе во всех газетах, и шесть недель подряд секретарь, читая его, говорил себе так же, как он говорил своему патрону:

— Не думаю, чтоб из этого что-нибудь вышло.

Поиски такого сироты, какого хотелось миссис Боффин, были на первом месте среди тех дел, которыми секретарь занимался прежде всего. С самых первых дней службы он выказывал особенное желание угодить ей и, зная, как близко к сердцу принимает она это дело, вел поиски с неослабным рвением и готовностью.

Супруги Милви пришли к выводу, что найти сироту очень нелегко. Подходящий сирота оказывался или не того пола (что случалось чаще всего), или уже вышел из детских лет, или был слишком еще мал, а не то казался болезненным, или же весь зарос грязью; или привык шататься по улицам; или по всему видно было, что он сразу сбежит; бывало и так, что довести это человеколюбивое дело до конца можно было только купив сироту. Как только становилось известно, что кому-то нужен сиротка, сейчас же появлялся любящий родственник и назначал этому сиротке цену. Быстроту, с какой повышались цены на сирот, нельзя было даже сравнивать с самыми неожиданными скачками биржевого курса. В девять часов утра сиротка еще лепил из грязи пирожки и ровно ничего не стоил, а если на сирот появлялся спрос, то уже в полдень цена доходила до пяти тысяч процентов выше номинала. Цены вздувались разными способами и очень ловко. В ход пошли дутые акции. Родители смело выдавали себя за покойников и сами приводили с собой своих сирот. Настоящий сиротский товар неизвестно каким образом исчез с рынка. Как только специально поставленные эмиссары объявляли, что по двору идут мистер Милви с женой, живой товар немедленно прятали и отказывались предъявить его, разве только на одном условии — «за галлон пива», как выражались посредники. Бывали также и колебания бурного, можно сказать, океанического характера, вызванные тем, что держатели сирот сначала припрятывали товар, а потом выбрасывали на рынок сразу целую дюжину. Однако в основе всех этих операций лежал единственный принцип — принцип купли и продажи, а его как раз и не хотели признавать мистер и миссис Милви.

Наконец его преподобие Фрэнк получил известие, что в Брентфорде имеется прелестный сиротка, которого можно взять на воспитание. В этом приятном городке жила бабушка его матери (бывшей прихожанки Фрэнка) — бедная вдова; она-то, Бетти Хигден, и ходила за ребенком с материнской любовью, но ей было не на что кормить его.

Секретарь предложил миссис Боффин, что он либо съездит в Брентфорд и сначала сам посмотрит ребенка, либо отвезет ее, чтобы она могла сразу же составить о

нем мнение. Миссис Боффин предпочла последнее, и в одно прекрасное утро они выехали туда в наемном фаэтоне, прихватив с собой на запятках головастого молодого человека.

Жилище миссис Бетти Хигден было нелегко разыскать, оно находилось в таком лабиринте самых грязных закоулков Брентфорда, что, оставив экипаж у гостиницы под вывеской «Трех Сорок», они пешком отправились на поиски. После долгих расспросов и множества неудач им указали в узком переулке очень маленький домик, открытая дверь которого была загорожена доской; юный джентльмен самого нежного возраста перевесился через эту доску, выуживая уличную грязь безголовой лошадкой на веревочке. Секретарь догадался, что этот молодой спортсмен с курчавыми жесткими каштановыми волосами и добродушной рожицей и есть сирота.

Они прибавили шагу, но тут, к несчастью, сиротка, забывшись в пылу игры, потерял равновесие и вывалился на улицу. Будучи кругленьким по форме, он сейчас же покатился вниз, и не успели они подбежать к нему, как он очутился в канаве. Из канавы его выловил Джон Роксмит, и таким образом первое свидание с Бетти Хигден началось не очень ловко — с того, что они завладели сироткой, можно сказать, завладели незаконно, держа его кверху ногами, так что он весь посинел. Доска поперек дверей тоже действовала как ловушка, не давая миссис Хигден выйти, а миссис Боффин и Джону Роксмиту — войти, и тем усугубляла затруднительность положения; громкий плач сиротки придавал всей сцене какой-то мрачный, варварский характер.

Сначала не было никакой возможности объясниться, потому что сирота «закатился»: ужасное явление, состоявшее в том, что сирота весь окостенел и замолчал, как мертвый, так что по сравнению с этим мертвым молчанием его крики были просто райской музыкой. Но мало-помалу он пришел в себя, миссис Боффин мало-помалу познакомилась с хозяйкой, и мир, сияя улыбкой, восстановился мало-помалу в доме миссис Бетти Хигден.

Тогда стало заметно, что это был маленький домик, загроможденный большим катком, которым орудовал очень длинный парень с очень маленькой головкой и не-

соразмерно большим, вечно разинутым ртом, словно помогавшим ему глазеть на посетителей. В углу под катком, на скамеечках, сидело двое совсем маленьких детей, мальчик и девочка; и когда длинный парень, поглазев минутку на гостей, снова пускал в ход каток, страшно было смотреть, как он, подобно катапульте, надвигался на невинных младенцев, готовый их раздавить, и без вреда для них отходил назад, не дойдя на какой-нибудь дюйм. Комнатка была чистая и опрятная, с плиточным полом и окном из ромбовидных стекол; каминную доску украшала ситцевая оборка, по натянутым перед окном веревочкам на будущее лето должны были виться турецкие бобы, ежели бог даст. Как ни благосклонна была судьба в прошлом насчет бобов, она не очень-то жаловала Бетти Хигден деньгами: нетрудно было заметить ее бедность.

Она была одной из тех старушек, эта Бетти Хигден, которые, будучи наделены крепким здоровьем и несокрушимой волей, долгие годы не сдаются в борьбе, хотя каждый год наносит им, утомленным борьбой, новые тяжкие удары; живая старушка, с блестящими темными глазами, решительным лицом и добрым сердцем. Рассуждать она не умела, но бог милостив, и на небесах доброта, быть может, ценится не меньше рассудительности.

— Да, как же, как же! — сказала она, когда гости приступили к делу.— Миссис Милви писала мне, сударыня, и я велела Хлюпу прочесть письмо. Очень хорошо было написано. Да она и сама такая милая.

Гости взглянули на длинного парня, который еще шире разинул рот и глаза, как бы говоря, что он-то и есть Хлюп.

— Я сама не мастерица читать по писаному,— продолжала Бетти,— хотя библию могу читать и вообще печатное разбираю. А газету так очень люблю. Вы, может, не поверите, Хлюп хорошо читает вслух газеты. А полицейские отчеты умеет изображать в лицах.

Гости опять сочли долгом вежливости взглянуть на Хлюпа, а тот, глядя на них, вдруг откинул голову, разинул рот как можно шире и громко захохотал. Засмеялись оба младенца, невзирая на опасность, грозившую их головам, засмеялась Бетти Хигден, засмеялся сиротка, а там засмеялись и гости. Что было хотя и весело, но не очень


W.T. GREEN Sc

вразумительно. Тут Хлюп, словно одержимый усердием, принялся за каток и двигал им над головами невинных малюток с таким скрипом и грохотом, что миссис Хигден остановила его:

— Господам ничего не слышно, Хлюп. Погоди же немножко, погоди.

— Это и есть тот самый ребеночек, что у вас на коленях? — спросила миссис Боффин.

— Да, сударыня, это и есть Джонни.

— Джонни! Его зовут Джонни! — воскликнула миссис Боффин, обращаясь к секретарю.— Осталось дать ему только фамилию! Славный мальчик.

По-ребячьи застенчиво, прижав подбородок к груди, Джонни исподлобья глядел на миссис Боффин своими голубыми глазами, а пухлую ручку с ямочками подносил к губам старушки, которая время от времени целовала ее.

— Да, сударыня, славный мальчик, милый мой мальчик,— это сынок моей внучки, а она была дочкой младшей моей дочери. Но и та умерла, как и все остальные.

— А это разве не брат его и сестра?

— Нет, что вы, сударыня. Это питомцы.

— Питомцы? — повторил секретарь.

— Оставлены на мое попечение, сэр. Я беру детей на воспитание. Больше троих я взять не могу, из-за катка. Но детей я люблю, а четыре пенса в неделю — все же деньги. Подите сюда, Тодлз и Подлз.

Тодлз было уменьшительное имя мальчика, Подлз — девочки.

Маленькими, неверными шажками они перешли через комнату, взявшись за ручки, словно перед ними лежала страшно трудная дорога по местности, пересеченной ручьями, и после того как Бетти Хигден погладила их по головкам, они набросились на сироту, радостно воркуя и делая вид, будто хотят утащить его в плен и рабство. Все трое разыгрались и развеселились без удержу, и Хлюп, заразившись их весельем, опять захохотал и долго не мог уняться.

Наконец Бетти сочла нужным остановить их, сказав:

— Ступайте на место, Тодлз и Подлз,— и они, взявшись за руки, побрели обратно через те же ручьи, как видно сильно разлившиеся после дождей.

— А мистер, или... как его, Хлюп? — спросил секретарь, не в состоянии решить, взрослый ли это человек или еще мальчик.

— Незаконный,— ответила Бетти Хигден, понизив голос,— родители неизвестно кто, его нашли на улице. А вырастили в...— тут она вздрогнула с отвращением,— в доме.

— В доме призрения? — спросил секретарь.

Суровое и твердое лицо миссис Хигден нахмурилось, и она угрюмо кивнула.

— Вы не любите о нем говорить?

— Не люблю! — отвечала старуха.— Не пойду туда ни за что, лучше убейте меня. Лучше бросьте этого славного мальчика под груженый фургон, прямо под конские копыта, только не забирайте его туда. А если мы все будем лежать при смерти, так уж лучше подожгите нас, пускай мы сгорим вместе с дымом и превратимся в кучу золы, только не уносите туда никого из нас, хотя бы и мертвыми.

Удивительная твердость духа сохранилась в этой одинокой женщине после стольких лет тяжелой работы и тяжелой жизни, милорды, почтенные господа и члены попечительных советов! Как это у нас называется в торжественных речах? Британская независимость, только отчасти извращенная? Так или в этом роде звучит ханжеская фраза?

— Разве я не читала в газетах,— говорила старушка, лаская ребенка.— Помоги, господи, мне и всем таким, как я! Разве я не читала, как измученных людей, которые дошли до крайности, гоняют взад и вперед, взад и вперед, нарочно, чтобы измотать их! Разве я не читала, как для них всего жалеют, во всем им отказывают и отказывают — в приюте, в докторе, в капле лекарства, в куске хлеба? Разве я не читала, как они падают духом, перестают бороться, опустившись так низко, и как они, наконец, умирают оттого, что им никто не помог? Так вот, я надеюсь, что сумею умереть не хуже всякого другого, и умру, не опозорив себя домом призрения.

Совершенно невозможно, милорды, почтенные господа и члены попечительных советов, научить этих людей рассуждать правильно, сколько бы ни трудилась над этим законодательная мудрость!

— Джонни, мой голубчик,— продолжала старая Бетти, лаская ребенка, и не столько говоря с ним, сколько горюя над ним,— твоей старой бабушке Бетти недалеко уж до восьмидесяти. Никогда в жизни она не просила, гроша милостыни не брала у прихода. Она платила налоги, платила сколько могла, когда бывали у нее деньги; работала, когда могла, и голодала, если приходилось. Моли бога, чтобы у твоей бабки хватило сил (а она еще сильна для своих лет, Джонни) встать с постели в свой последний час, убежать и забиться в какой-нибудь угол, да и умереть там. Только бы не попасть в руки этих палачей; читаешь ведь, как они обманывают и гоняют честных бедняков, изматывают и мучают, и презирают и позорят их.

Блестящих успехов вы добились, милорды, почтенные господа и члены попечительных советов: вот что думают о вас лучшие из бедняков! Позволительно спросить, разве не стоит поразмыслить над этим?

Покончив с этим отступлением, Бетти Хигден замолчала, и на ее суровом лице уже не было страха и отвращения, свидетельствовавших о том, как серьезно она говорила.

— А он вам помогает? — спросил секретарь, осторожно переводя речь опять на мистера Хлюпа.

— Да,— ответила Бетти, добродушно улыбнувшись и кивнув головой.— И еще как помогает.

— Он здесь и живет?

— Больше здесь, чем где-нибудь в другом месте. Он ведь считался не лучше подкидыша и сначала попал ко мне на воспитание. Я уговорила надзирателя, мистера Блогга, отдать его мне; увидела его как-то в церкви и подумала, что, может быть, и смогу ему помочь. Он ведь тогда слабенький был, золотушный.

— Как его зовут по-настоящему?

— Видите ли, если говорить по правде, настоящего имени у него нет. Его, должно быть, прозвали Хлюпом потому, что он был найден в дождливую погоду; я всегда так думала.

— Он у вас, кажется, добрый малый?

— Господь с вами, сэр, да он сплошная доброта,—

возразила Бетти.— Сами можете судить, сколько в нем доброты при таком росте.

Нескладно скроен был Хлюп. Слишком вытянулся в длину, слишком узок в ширину, слишком угловат везде, где полагается быть углам. Один из тех неуклюжих представителей мужской породы, у которых отовсюду выглядывают пуговицы: каждая пуговица глазела на публику с самым откровенным и наивным видом. Колени, локти, запястья и лодыжки составляли у него целый капитал, причем он понятия не имел, как разместить этот капитал самым наивыгодным образом, и, поместив не туда, куда следует, вечно оказывался в стесненных обстоятельствах. Правофланговый Нескладной роты среди новобранцев нашей жизни — вот кто был Хлюп,— и все же он имел свои, хоть и туманные, понятия о том, что значит быть верным знамени.

— А теперь поговорим про Джонни,— сказала миссис Боффин.

Джонни сидел на коленях у бабушки, уткнувшись подбородком в грудь и надув губки, и внимательно смотрел на гостей, закрываясь от них пухлым локотком, а Бетти держала его нежную ручку в своей морщинистой правой руке, ласково похлопывая ею по морщинистой левой.

— Да, сударыня. Про Джонни.

— Если вы доверите мне ребенка,— говорила миссис Боффин, и ее лицо внушало доверие,— то у него будет самый лучший дом, самый лучший уход, самое лучшее воспитание, самые лучшие друзья. Дай бог, чтобы я стала ему настоящей матерью!

— Я вам очень благодарна, сударыня, и мальчик тоже благодарил бы вас, если б мог понимать.— Она все еще похлопывала маленькой ручкой по своей руке.— Я бы не стала ему поперек дороги, даже если б передо мной была еще вся жизнь, а не самый конец ее. Не обижайтесь на меня, но я к нему привязалась так, что и сказать не могу: ведь он у меня один остался на свете.

— Обижаться на вас, голубушка? Разве это можно? Ведь вы так полюбили его, что взяли к себе.

— Сколько их сидело у меня на коленях,— говорила Бетти, все так же слегка похлопывая ручкой ребенка по своей жесткой, загрубелой руке.— И все они умерли,

кроме этого одного! Мне совестно, что я как будто все о себе, но ведь это только так кажется... Он будет счастлив и богат, станет джентльменом, когда я умру. Я... я не знаю, что это на меня нашло. Я... с этим справлюсь. Не обращайте на меня внимания!

Легкое похлопывание прекратилось, сурово сжатые губы дрогнули, и суровое, прекрасное своей энергией старое лицо облилось слезами.

К великому облегчению гостей чувствительный Хлюп, увидев свою хозяйку в таком расстройстве, тут же откинул голову и, разинув рот, заревел во весь голос. Этот сигнал тревоги напугал мальчика и девочку, и не успели они поднять оглушительный рев, как Джонни тоже впал в отчаяние и, весь изогнувшись дугой, нацелился в миссис Боффин, дрыгая ножками в плохоньких башмачках. Все это было так нелепо, что уже не трогало. Бетти Хигден мгновенно пришла в себя и с такой быстротой призвала всех к порядку, что Хлюп оборвал разноголосый рев в самом начале и переключил всю свою энергию на каток, и даже успел сделать несколько движений взад и вперед, прежде чем его остановили.

— Ну-ну-ну! — сказала миссис Боффин, уже вообразив себя чуть ли не самой безжалостной из женщин.— Ничего такого еще не случилось. Незачем и пугаться. Мы все успокоились, правда, миссис Хигден?

— Ну еще бы, конечно,— отвечала Бетти.

— А торопиться, знаете ли, право, незачем,— продолжала миссис Боффин, понизив голос.— Не спешите, подумайте хорошенько, голубушка моя!

— Вы меня не бойтесь больше, сударыня,— сказала Бетти,— я еще вчера это обдумала раз навсегда. Не знаю, что это на меня нынче нашло, только оно уже не повторится.

— Ну что ж, у Джонни будет больше времени подумать об этом,— ответила миссис Боффин,— у милого ребенка будет время к этому привыкнуть. И вы тоже поможете ему привыкнуть, если вы это одобряете, не правда ли?

Бетти согласилась и на это с радостью и готовностью.

— Боже мой,— воскликнула миссис Боффин, с сияю-

щей улыбкой оглядываясь вокруг,— ведь мы хотим сделать всех счастливыми, а не несчастными! И, может, вы дадите мне знать, начинаете ли вы привыкать к этому и как вообще у вас идут дела!

— Я пришлю Хлюпа,— сказала миссис Хигден.

— А вот этот джентльмен, что пришел вместе со мной, заплатит ему за труд,— сказала миссис Боффин.— Вы же, мистер Хлюп, когда бы ни пришли ко мне в дом, смотрите не уходите, пока вам не подадут хороший обед: мясо, овощи, пудинг и пиво.

После этого все стали веселее глядеть на дело: высокочувствительный Хлюп сперва вытаращил глаза и широко ухмыльнулся, а потом разразился громким хохотом, Тодлз и Подлз последовали его примеру, а Джонни развеселился больше всех. Тодлз и Подлз, воспользовавшись удобным случаем возобновить драматическое нападение на Джонни, отправились рука об руку в разбойничий набег; нападение состоялось в углу за стулом миссис Хигден, и с обеих сторон была проявлена большая доблесть, после чего отчаянные разбойники, взявшись за ручки, возвратились к своим скамеечкам по сухому ложу горного ручья.

— Друг мой Бетти, вы скажете мне, чем я могу вам помочь, если не теперь, так в следующий раз,— по секрету шепнула миссис Боффин.

— Спасибо вам, сударыня, только мне самой ничего не надо. Я могу работать, я еще крепкая. Я и двадцать миль пройду, если понадобится.

Старуха Бетти была горда, и при этих словах ее живые глаза блеснули ярче.

— Да, но есть же маленькие радости, от которых вам не стало бы хуже,— возразила миссис Боффин.— Господь с вами, я и сама не из благородных, а такая же, как вы.

— А мне кажется,— с улыбкой заметила Бетти,— что вы и есть благородная дама, по-настоящему благородная, иначе и быть не может. Но только я ничего от вас взять не могу, дорогая моя. Никогда ни у кого не брала. Не то чтоб я была неблагодарная, а только мне больше нравится самой заработать.

— Ну, ну! — ответила миссис Боффин.— Я ведь говорила о пустяках, иначе не позволила бы себе этого.

Бетти поднесла к губам руку своей гостьи в знак признательности за такой деликатный ответ. Держалась она удивительно прямо, и удивительно твердый был у нее взгляд, когда, глядя в лицо гостье, она продолжала свое объяснение:

— Если бы я могла оставить у себя милое мое дитя, не боясь, как всегда боюсь, что его постигнет та судьба, о которой я вам говорила, я бы никогда с ним не рассталась, даже вам не отдала бы! Ведь я люблю его, люблю, люблю! В нем я люблю мужа, давным-давно умершего; в нем я люблю моих давно умерших детей; в нем я люблю давно прошедшие дни юности и надежды. Я не могла бы продать эту любовь, а потом глядеть вам в глаза, в ваше доброе, милое лицо. Это я дарю по доброй воле. Мне ничего не надо. Когда силы мне изменят, я буду рада умереть спокойно и скоро. Я стояла между моими умершими и тем позором, о котором я вам говорила, и все они были от него избавлены. В моем платье,— тут она положила руку на грудь,— зашито ровно столько, сколько нужно на похороны. Приглядите только, чтобы деньги были истрачены, как я велю, чтобы я могла отдохнуть спокойно, избавившись навеки от этого мучения и позора, и вы сделаете для меня не пустяк, а очень много, все, чего хочет мое сердце от этого мира.

Гостья пожала руку миссис Хигден. Суровое старое лицо не дрогнуло на этот раз, не облилось слезами. Милорды, почтенные господа и члены попечительных советов, оно было так же спокойно, как ваши собственные лица, и так же полно достоинства.

А теперь надо было заманить Джонни на колени к миссис Боффин. Он никак не мог расстаться с юбками Бетти Хигден, и только после того как он увидел, что оба крохотных питомца по очереди садились к ней на колени и слезли с них без всякого вреда для себя, удалось в нем пробудить чувство соревнования с ними; но и в объятиях миссис Боффин он проявлял сильнейшее стремление уйти к бабке, порывался к ней телом и душой: первое выражалось в протянутых руках, второе — в нахмуренном личике. Однако подробное описание игрушечных чудес, таящихся в доме миссис Боффин, настолько примирило с ней сиротку, что он стал поглядывать на нее исподлобья, засунув

кулачок в рот, и даже посмеиваться, когда, между прочим, была упомянута чудесная лошадка на колесах, в богатой сбруе, обладающая волшебным даром скакать по кондитерским. Смех, подхваченный питомцами, перешел, к общему удовольствию, в радостное трио.

Таким образом, свидание окончилось благополучно, миссис Боффин осталась очень довольна, и все остальные тоже. Не меньше других радовался Хлюп, который взялся проводить гостей обратно к «Трем Сорокам» по самой лучшей дороге и к которому головастый юноша отнесся очень свысока.

Уладив это дело, секретарь довез миссис Боффин до «Приюта», а сам отправился в новый дом, где и пробыл до вечера. А вечером, когда он возвращался домой, то выбрал дорогу через поля,— может быть, для того, чтобы встретиться с мисс Беллой Уилфер? — одно известно наверное, что она всегда там гуляла в этот час.

И она действительно была там.

Мисс Белла не носила больше траура, на ней было платье самых прелестных цветов, какие только можно выбрать. Невозможно отрицать, что сама она была так же прелестна, как эти цвета, и что к ней они шли как нельзя более. На ходу Белла читала книжку, и так как она не подала и виду, что заметила приближение мистера Роксмита, следует, разумеется, заключить, что она его и вправду не заметила.

— Да? — произнесла мисс Белла, подняв глаза от книги, когда Роксмит остановился перед ней.— Ах, это вы!

— Это я. Прекрасный вечер!

— Разве? — спросила Белла, холодно оглядываясь по сторонам.— Да, вероятно, раз вы это находите. Я не думала о погоде.

— Вы так увлеклись книгой?

— Д-да-а,— равнодушно протянула мисс Белла.

— Что-нибудь про любовь, мисс Уилфер?

— Нет, конечно, а то я не стала бы читать. Тут все больше о деньгах, чем о чем-нибудь другом.

— И тут говорится, что деньги лучше всего другого?

— Право, я уже не помню, что тут говорится,— возразила Белла,— но вы и сами можете посмотреть, если угодно. Мне больше не хочется читать.

Секретарь взял у мисс Беллы книгу — Белла обмахивалась ею, словно веером,— и пошел рядом с ней.

— У меня есть к вам поручение, мисс Уилфер.

— Да что вы, быть не может! — протянула Белла тем же тоном.

— От миссис Боффин. Она просила передать, что будет очень рада принять вас через неделю, самое большее через две.

Белла повернулась к нему, дерзко приподняв красивые брови и опустив ресницы, словно говоря: «А каким образом вам доверили это поручение?»

— Я только ждал случая сказать вам, что я теперь секретарь мистера Боффина.

— Мне это ничего не говорит,— высокомерно отвечала мисс Белла,— ведь я не знаю, что такое секретарь. А впрочем, это не важно.

— Совершенно не важно.

Бросив украдкой взгляд на Беллу, он увидел по ее лицу, насколько неожиданным было для нее то, что он так охотно с ней согласился.

— Так вы всегда будете там, мистер Роксмит? — спросила она таким тоном, словно считала это помехой.

— Всегда? Нет. Но очень часто — да.

— Боже мой! — разочарованно протянула Белла.

— Но мое положение секретаря будет совсем другое, чем ваше,— вы гостья. Вы очень мало будете меня видеть или совсем не будете. Я буду занят делом, а вы — только развлечениями. Мне придется зарабатывать на жизнь, а вам ничего не придется делать, разве только весёлиться и очаровывать.

— Очаровывать? Я вас не понимаю,— и Белла снова приподняла брови и опустила ресницы.

Не отвечая на это, мистер Роксмит продолжал:

— Простите, но, когда я впервые увидел вас, вы были в черном платье...

(«Ну вот! — мысленно воскликнула мисс Белла.— Что я говорила нашим? Всем бросался в глаза этот дурацкий траур!»)

— Когда я увидел вас в черном платье, то не мог понять, почему вы одна из всей семьи носите траур. Надеюсь, вы не сочтете дерзостью, что я об этом думал?

— Конечно нет,— свысока ответила Белла.— Вам лучше знать, что вы думали.

Мистер Роксмит наклонил голову, словно прося прощения, и продолжал:

— Так как я веду дела мистера Боффина, эта маленькая загадка стала мне, наконец, понятна. Позволю себе заметить, что многое из утраченного вами, по моему убеждению, может быть возмещено. Я говорю, конечно, только о состоянии, мисс Уилфер, оставляя в стороне утрату совершенно чужого вам человека, о достоинствах или недостатках которого я судить не могу, да и вы не можете. Но эти добрые люди так великодушны, так бесхитростны, так расположены к вам, так стремятся — как бы это выразить? — искупить свое счастье, что вам остается только пойти им навстречу.

Взглянув на нее еще раз украдкой, он увидел на ее лице тщеславное торжество, которого не могла скрыть напускная холодность.

— Случайное стечение обстоятельств свело нас под одной кровлей, и в дальнейшем нам предстоит встречаться, продолжая наше знакомство, а потому я взял на себя смелость сказать вам эти несколько слов. Надеюсь, вы не сочтете их за дерзость? — почтительно спросил секретарь.

— Право, не знаю, что вам сказать на этот счет, мистер Роксмит,— возразила ему девушка.— Все это для меня совершенная новость, да, может быть, ни на чем и не основано, кроме вашего воображения.

— Вы сами увидите.

Луг, по которому они шли, находился как раз напротив дома Уилферов. Благоразумная миссис Уилфер, выглянув в окно и увидев дочь, беседующую с жильцом, немедленно повязала голову платком и тоже вышла прогуляться, как бы невзначай.

— Я только что говорил мисс Уилфер,— заметил Джон Роксмит, когда матушка Беллы величественной поступью подошла к ним,— что я по странному случаю попал в секретари или управляющие к мистеру Боффину.

— Я не имею чести быть близко знакомой с мистером Боффином,— возразила миссис Уилфер, взмахнув перчат-

ками, с привычным для нее достоинством и в то же время с обидой,— и потому не мне поздравлять мистера Боффина с новым приобретением.

— Довольно незавидное приобретение,— сказал Рокcмит.

— Простите,— возразила миссис Уилфер,— мистер Боффин может быть наделен самыми высокими добродетелями, больше даже, чем можно думать, судя по физиономии миссис Боффин, но нельзя же так унижаться и считать, что он достоин лучшего помощника.

— Вы очень любезны. Я говорил также мисс Уилфер, что ее ожидают в новом доме, и очень скоро.

— Подразумевается, что я уже дала свое согласие на то, чтобы моя дочь приняла предложение миссис Боффин,— произнесла миссис Уилфер, величаво пожав плечами и еще раз взмахнув перчатками,— и теперь не ставлю ей препятствий.

Тут запротестовала мисс Белла:

— Пожалуйста, ма, не говорите вздора!

— Потише! — сказала миссис Уилфер.

— Нет, ма, я не желаю, чтоб из меня делали какую-то дуру. «Не ставлю препятствий!»

— Говорю, что не собираюсь ставить препятствий,— твердила миссис Уилфер, преисполнившись величия.— Если миссис Боффин, чьей физиономии не одобрил бы ни один из учеников Лафатера * (тут миссис Уилфер вздрогнула), если она хочет украсить свой новый дом совершенствами моей дочери, то я согласна, пускай общество моей дочери сделает ей честь.

— Я с вами вполне согласен, сударыня, совершенства мисс Беллы могут только украсить новый дом миссис Боффин.

— Простите,— остановила его миссис Уилфер торжественно и строго,— я еще не кончила.

— Извините, пожалуйста.

— Я хотела сказать,— продолжала миссис Уилфер, явно не зная, о чем говорить дальше,— что когда я употребляю выражение «совершенства», то с оговоркой, что я не придаю этому никакого особенного значения.

Почтенная леди давала это исчерпывающее истолкование своих взглядов с таким видом, словно делала большое

одолжение своим слушателям, а себе — большую честь. Но мисс Белла рассмеялась коротким, пренебрежительным смешком и сказала:

— Ну и довольно об этом, мне кажется, поговорили, и будет. Мистер Роксмит, передайте, пожалуйста, самый сердечный привет миссис Боффин.

— Простите! — воскликнула миссис Уилфер.— Только поклон.

— Сердечный привет! — повторила Белла, слегка топнув ногой.

— Нет! — монотонно настаивала миссис Уилфер.— Поклон.

— Скажем, сердечный привет от мисс Уилфер и поклон от миссис Уилфер,— предложил секретарь в виде компромисса.

— И что я с удовольствием к ней приеду, как только она сможет меня принять. Чем скорее, тем лучше.

— Еще одно слово, Белла, прежде чем мы войдем в семейные апартаменты,— сказала миссис Уилфер.— Надеюсь, ты понимаешь, будучи моей дочерью, и не забудешь этого, обращаясь с Боффинами на равной ноге, что мистер Роксмит, как постоялец твоего отца, тоже имеет право на твое внимание.

Снисходительность, с которой миссис Уилфер изрекла эту сентенцию, могла равняться только быстроте, с какой «постоялец» потерял в ее мнении, унизившись до секретаря. Он улыбнулся вслед матушке, но лицо у него омрачилось, когда и дочь ушла вместе с ней.

— Как дерзка, как тривиальна, как капризна, как ветрена, как расчетлива, как черства сердцем, как недоступна чувству,— прошептал он с горечью.

И прибавил, поднимаясь по лестнице:

— Но как хороша, как хороша!

И еще прибавил, расхаживая взад и вперед по комнате:

— А если бы она знала!

А она знала только, что весь дом сотрясается от его шаганья из угла в угол, и объявила, что это еще одна из невзгод бедности, когда нельзя отделаться от докучного секретаря, который топ, топ, топает наверху, словно привидение.

ГЛАВА XVII

Трясина

А теперь, в расцвете лета, воззрим на мистера и миссис Боффин, водворившихся в высокоаристократическом фамильном особняке, и на всякого рода пресмыкающихся, ползучих, порхающих и жужжащих тварей, привлеченных золотой пылью Золотого Мусорщика!

Вениринги одни из первых оставляют визитные карточки у еще недокрашенных дверей аристократического особняка — можно себе представить, как они запыхались, ринувшись со всех ног к высокоаристократическому подъезду. Одна гравированная на меди миссис Вениринг, два гравированных на меди мистера Вениринга и гравированные на меди супруги Вениринг имеют честь пригласить мистера и миссис Боффин на обед с самыми высокоторжественными химическими церемониями. Очаровательная леди Типпинз оставляет карточку. Твемлоу оставляет карточку. Высокий фаэтон кремового цвета торжественно отъезжает от дверей, оставив четыре карточки, а именно: две от мистера Подснепа, одну от миссис Подснеп и одну от мисс Подснеп. Весь свет с женами и дочерьми оставляет визитные карточки. Иной раз дочерей так много, что визитная карточка жены напоминает скорее список «разных вещей» на аукционе, включая в себя миссис Тапкинз, мисс Тапкинз, мисс Фредерику Тапкинз, мисс Антонию Тапкинз, мисс Мальвину Тапкинз и мисс Юфимию Тапкинз; та же миссис Тапкинз оставляет карточку миссис Генри Джордж Альфред Свошл, урожденной Тапкинз, и еще одну карточку: «Миссис Тапкинз, приемы по средам, музыкальные вечера. Портленд-Плейс».

Мисс Белла Уилфер становится на некоторое время обитательницей высокоаристократического особняка. Миссис Боффин везет мисс Беллу к своей модистке и портнихе, и те прекрасно ее одевают. Вениринги быстро спохватываются, что упустили из виду пригласить к себе мисс Беллу Уилфер. Одна карточка от миссис Вениринг и одна от супругов Вениринг немедленно заглаживают промах и испрашивают этой дополнительной чести, белея на столе

в прихожей. Миссис Тапкинз тоже обнаруживает свое упущение и немедленно исправляет его — за себя, за мисс Тапкинз, за мисс Фредерику Тапкинз, за мисс Антонию Тапкинз, за мисс Мальвину Тапкинз и за мисс Юфимию Тапкинз. А также за миссис Генри Джордж Альфред Свошл, урожденную Тапкинз. А также за «миссис Тапкинз, приемы по средам, музыкальные вечера. Портленд-Плейс».

Книги заказов алчут, а сами торговцы жаждут золотой пыли Золотого Мусорщика. Когда миссис Боффин с мисс Беллой выезжают из дому или мистер Боффин выбегает рысцой прогуляться, хозяин рыбной лавки кланяется ему с почтительностью, основанной на убеждении, а его подручные сначала вытирают пальцы о шерстяной фартук, а затем уже осмеливаются поднести их к козырьку. Кажется, будто разинувший рот лосось и золотистая кефаль в восторженном изумлении хлопают глазами, косясь на Боффинов с мраморной доски, и, верно, хлопали бы в ладоши, будь у них руки. Мясник, выйдя подышать свежим воздухом под сенью бараньих туш, не знает, как лучше выразить свое почтение проходящим мимо Боффинам, хотя это мужчина важный и преуспевающий. Слугам Боффинов преподносят подарки, и ласковые незнакомцы с фирменными карточками, повстречав этих слуг на улице, пробуют подкупить их. Например: «Любезный друг, если бы мистер Боффин удостоил меня заказом, я был бы не прочь»... сделать то-то и то-то, что и для вас будет отнюдь не лишено приятности.

Однако секретарю, который вскрывает и читает все письма, лучше других известно, как охотятся за человеком, отмеченным печатью известности. Сколько разновидностей зримого очами сора предлагается в обмен на золотую пыль Золотого Мусорщика! Пятьдесят семь церквей можно воздвигнуть на полукроны, сорок два церковных дома отремонтировать на полушиллинги, двадцать семь органов купить на полупенсы, тысячу двести младенцев воспитать на почтовые марки! Не то чтобы от мистера Боффина требовались именно полкроны, полшиллинга, полпенни или почтовые марки, зато совершенно ясно, что он и есть тот самый человек, который должен внести недостающую сумму. А благотворительные общества, брат

наш во Христе! И чаще всего они в стесненных денежных обстоятельствах, однако тоже не жалеют денег на дорогую бумагу и типографские расходы! Большое и толстое письмо от частного лица, под герцогской короной. «Никодимусу Боффину, эсквайру.

Уважаемый сэр,

Дав свое согласие быть председателем на предстоящем ежегодном обеде Семейного Фонда и сознавая всю полезность этого благородного начинания, я считаю необходимым привлечь к нему членов-распорядителей, в том числе и вас, и тем показать публике, что им интересуются выдающиеся и известные своими заслугами люди.

В ожидании благоприятного ответа до 14-го числа сего месяца, остаюсь, уважаемый сэр, Вашим покорным слугою,

Линсид.

P. S. Членский взнос ограничивается тремя гинеями».

Все это весьма любезно со стороны герцога Линсида (а в постскриптуме даже и предупредительно), но письмо литографировано в сотнях экземпляров, и бледный отпечаток чьей-то личности виден только в адресе «Никодимусу Боффину, эсквайру», да и то рука явно не герцогская. Два благородных графа и виконт, объединившись, сообщают Никодимусу Боффину, эсквайру, в не менее лестной форме, что некая почтенная дама из Западной Англии выражает готовность пожертвовать двадцать фунтов в пользу общества по выдаче пенсий скромным представителям среднего класса, при условии, что другие двадцать человек сначала пожертвуют по сто фунтов каждый. И эти знатные господа весьма благосклонно уведомляют Никодимуса Боффина, эсквайра, что ежели он пожертвует вдвое и даже втрое больше, то это отнюдь не будет противоречить желаниям почтенной дамы из Западной Англии, лишь бы вклад был сделан от имени кого-либо из членов его уважаемого семейства.

Таковы организованные попрошайки. Но есть, кроме того, и отдельные попрошайки, и как же падает сердце у секретаря, когда ему приходится с ними возиться! А не

возиться нельзя, потому что все они прилагают к письму документы (свои бумажонки они называют документами, но по сравнению с настоящими документами это то же, что телячий фарш по сравнению с теленком), утрата коих будет для них гибелью. То есть они и теперь погибают, но, если им не вернут документов, погибнут уже окончательно.

Среди этих просителей есть несколько штаб-офицерских дочерей, которые смолоду были приучены ко всякой роскоши (кроме уменья грамотно писать) и в те времена, когда их отцы доблестно сражались на Пиренейском полуострове *, никак не думали, что им придется обращаться с просьбой к людям, коих Провидение в своей неисповедимой мудрости наградило несчетным богатством и из числа коих они выбрали, для первой пробы в этом жанре, Никодимуса Боффина, эсквайра, узнав, что он известен своей несказанной добротой.

Секретарь узнает также, что доверие между мужем и женой вещь редкая, если добродетель ходит в рубище: столько жен берутся за перо, чтобы попросить у мистера Боффина денег без ведома своих любящих мужей, которые никогда бы этого не позволили; а с другой стороны, столько мужей берутся за перо, чтобы попросить у мистера Боффина денег без ведома своих любящих жен, которые немедленно сошли бы с ума, если б заподозрили такое обстоятельство. Есть также и вдохновенные попрошайки. Они только вчера вечером сидели, погруженные в раздумье, при огарке свечи, которая вот-вот должна была погаснуть, оставив их на всю ночь в темноте, как вдруг некий ангел шепнул им на ухо имя Никодимуса Боффина, эсквайра, и заронил им в душу луч надежды, нет, доверия, которого они так долго не знали! Сродни этим попрошайки, имеющие друзей-советчиков. Они запивали водой холодный картофель при неверном и тусклом свете серной спички, сидя у себя дома (за квартиру давно не плачено, и безжалостная хозяйка грозится выгнать на улицу «как собаку»), но неожиданно зашел предприимчивый друг, сказал: «Пиши немедленно Никодимусу Боффину, эсквайру»,— и не пожелал слушать никаких возражений. Есть также и благородно-независимые попрошайки. Они сами, когда были богаты, считали золото грязью, да и

теперь еще не преодолели этого единственного препятствия на пути к преуспеянию, но им не нужно золота от Никодимуса Боффина, эсквайра; свет может называть это гордостью, жалкой гордостью, если угодно, но они не возьмут ничего, даже если вы сами предложите; взаймы, сэр, дело другое — на четырнадцать недель, из расчета пяти процентов годовых, с тем чтобы пожертвовать эти деньги любому благотворительному учреждению, какое вам угодно будет назвать,— вот и все, что от вас требуется; а если же вы поскупитесь и откажете им, рассчитывайте только на презрение этих рыцарей духа. Есть также пунктуально деловитые попрошайки. Они непременно покончат самоубийством во вторник днем, ровно в три четверти первого, если до этого времени не будет получен почтовый перевод от Никодимуса Боффина, эсквайра; если же он придет четверть второго, то нет нужды и посылать, поскольку проситель будет уже (оставив правдивую записку о такой жестокости) «холодным трупом». Есть и зарвавшиеся попрошайки, свиньи за столом, но в ином смысле, несколько отличном от пословицы. Они готовы на все, лишь бы дорваться до благополучия. Цель перед ними, дорога отличная, но в самую последнюю минуту, оттого что им чего-нибудь не хватает — часов, скрипки, телескопа, электрической машины,— им придется все бросить, раз и навсегда, если только они не получат денежного эквивалента от Никодимуса Боффина, эсквайра. Гораздо менее вдаются в подробности те попрошайки, которые хотят сорвать куш. Им обычно надо адресовать ответ на почтовую контору в провинции, под инициалами, сами же они запрашивают женским почерком, нельзя ли немедленно выслать одной особе, которая не смеет назвать себя Никодимусу Боффину, эсквайру,— а если бы назвала, то он содрогнулся бы,— двести фунтов ссуды из неожиданно полученных им богатств, употребив эту привилегию на пользу человечеству?

На такой трясине стоит новый дом, и секретарь ежедневно барахтается в ней, увязая по самую грудь. Не говоря уже обо всех изобретателях недействующих изобретений и обо всех маклаках, которые промышляют всеми видами маклачества,— их можно назвать аллигаторами

этой трясины, и они всегда тут как тут, готовые утащить Золотого Мусорщика на дно.

Ну, а старый дом? Разве там не злоумышляют против Золотого Мусорщика? Разве не водятся рыбы акульей породы в тихой заводи Боффинов? Может быть и нет. Однако Вегг прочно обосновался там и, кажется, лелеет мечту о какой-то находке, судя по тому, как он ведет себя наедине. Ибо если человек с деревянной ногой ложится плашмя на живот и заглядывает под кровати, прыгает по лестницам, словно какая-то допотопная птица, заглядывает на верх буфетов и шкафов и обзаводится железным прутом, которым вечно тычет в груды мусора и ковыряет на свалке, то уж, верно, он надеется что-то найти.

КНИГА ВТОРАЯ

Одного поля ягода

ГЛАВА I,

трактующая о педагогике

Школа, в которой Чарли Хэксем впервые стал обучаться по книге (пройдя подготовительный курс в великом учебном заведении, известном под названием Улица, где подобные ему ученики усваивают без книги и до знакомства с книгой многое такое, от чего потом не отучишься никакими силами), ютилась под самой крышей дома, стоявшего посреди смрадного двора. Воздух в этой школе был спертый, удушливый; в битком набитых классах не прекращался шум, беспорядок; одна половина школьников клевала носом или же цепенела в состоянии полного отупения; вторая способствовала и тому и другому монотонным бормотанием, напоминающим гудение волынок, на которых дерут без всякого лада и размера. Учителя, исполненные благих намерений, и только, не имели ни малейшего понятия, как вести урок, и все их потуги приводили лишь к тому, что в классах стоял сущий содом.

Школа эта предназначалась для детей любого возраста и обоего пола. Мальчиков и девочек держали порознь, старших и младших сортировали поровну. В основе же этого учебного заведения лежала вздорная ханжеская идея, что его воспитанники, все до одного, невинные младенцы. Идея эта, особенно милая сердцу дам-патронесс, приводила к чудовищным нелепостям. Так, например,

молодым девушкам, закоснелым в пороках, всегда сопутствующих беспросветной нищенской жизни, вменялось в обязанность восхищаться книжкой для благонравных деток, где рассказывалось о маленькой Марджери, которая жила в деревенском домике возле мельницы, строго отчитывала и прямо-таки подавляла своим моральным превосходством мельника, когда ей было пять, а ему пятьдесят лет, делилась кашей с певчими пташками, однажды даже отказалась от нового нанкового капора на том основании, что брюква не носит нанковых капоров, равно как и овечки, которые эту брюкву кушают, плела корзиночки из соломы и читала нуднейшие проповеди всем и каждому, выбирая для этого самое неурочное время. В свою очередь великовозрастным дылдам и сорванцам ставили в пример некоего Томаса Тапенса, который, решив не красть у своего ближайшего друга и покровителя восемнадцати пенсов (к тому же при самых страшных обстоятельствах), вскоре совершенно сверхъестественным образом стал обладателем трех шиллингов шести пенсов и в дальнейшем преобразился в светоч добродетели. (Заметьте, что покровитель его добром не кончил.) В том же духе были написаны автобиографии и других чванливых грешников, и из поучений каждого такого ханжи неизменно вытекало, что надо творить благие дела не ради благих дел, а ради собственного благополучия. Взрослых учили читать Новый завет (правда, их не всегда можно было научить чему-нибудь), и, спотыкаясь на каждом слоге, растерянно таращa глаза на следующий, они ровным счетом ничего не усваивали из этого великого повествования. Короче говоря, это была на редкость нелепая школа — не школа, а сущий содом, где каждый вечер пировали черт и ведьма с помелом. И в особенности каждый воскресный вечер, так как по воскресеньям злосчастных малышей, посаженных лесенкой по росту, отдавали во власть самого скучного и самого бесталанного из всех благонамеренных учителей, какого школьники постарше просто не стали бы слушать. Он высился над ними, как палач, бок о бок с традиционным в таких случаях добровольцем-подручным из учеников. Не важно, когда и где впервые зародилась эта традиция, при которой уставшему или рассеянному малышу полагается «устраивать смазь»,

то есть проводить потной ладонью по лицу, когда и где такие добровольцы увидели эту традицию в действии и, воспылав священным рвением, взялись применять ее. Главному палачу вменялось в обязанность разглагольствовать, а его помощнику вменялось в обязанность кидаться на уснувших малышей, зевающих малышей, непоседливых малышей, плачущих малышей и проводить рукой по их жалким личикам — когда одной, будто помазуя на ношение бакенбард, а когда и двумя, будто приставляя им шоры к глазам. И такой содом обычно продолжался в этом классе битый час. Учитель, то и дело присюсюкивая: «Милые детки, милые детки», мямлил им, ну, скажем, про гроб повапленный и повторял слово «повапленный» (как известно, одно из самых распространенных в детском словаре) раз пятьсот, ни разу не пояснив, что оно значит; доброволец-помощник совал кулаками направо и налево в виде безошибочного комментария к тексту, и весь этот рассадник болезней — орава вспотевших, измученных малышей обменивались между собой корью, ветряной оспой, коклюшем, лихорадкой и желудочными коликами, будто совершали сделки на рынке Хэймаркет *.

Но даже в таком обиталище благих намерений исключительно смышленый мальчик с исключительно твердой решимостью преуспеть в науках мог научиться чему-то и, научившись, передавать свои знания другим много лучше, чем учителя, потому что у него было больше жизненной сметки и он не так уж проигрывал в глазах класса по сравнению с самыми способными учениками. Вот почему Чарли Хэксем выделился в этом содоме, стал помощником учителя в этом содоме и со временем перешел в другую, лучшую школу.

— Итак, ты хочешь навестить сестру, Хэксем?

— Да, если вы разрешите, мистер Хэдстон.

— А что, если я пойду с тобой? Где живет твоя сестра?

— Да она еще не нашла себе подходящего жилья, мистер Хэдстон. Мне бы не хотелось, чтобы вы увидели ее до того, как она устроится.

— Слушай, Хэксем.— Мистер Брэдли Хэдстон, учитель на жалованье, вооруженный не только благими намерениями, но и всяческими аттестатами, продел в петлю на

куртке мальчика указательный палец правой руки и внимательно посмотрел на него.— Я надеюсь, общество сестры тебе не вредит?

— Почему вы в этом сомневаетесь, мистер Хэдстон?

— Разве я сказал, что сомневаюсь?

— Нет, сэр, не говорили.

Брэдли Хэдстон снова посмотрел на свой палец, высвободил его из петли, пригляделся к нему еще внимательнее, прикусил зубами и посмотрел на него еще раз.

— Видишь ли, в чем дело, Хэксем. Ты готовишься вступить на наше поприще. Пройдет положенный срок, ты выдержишь экзамены и тоже будешь учителем. А тогда...

Глядя на Брэдли Хэдстона, который опять занялся осмотром своего пальца и прикусил его с другой стороны, мальчик долго ждал, что последует дальше, и, не дождавшись, повторил:

— А тогда, сэр?..

— Тогда тебе, может быть, придется оставить ее.

— А разве это будет хорошо, если я оставлю сестру, мистер Хэдстон?

— Я ничего такого не советую, потому что не могу судить о твоих обстоятельствах. Предоставляю решать тебе самому. Только прошу тебя подумать об этом как следует. И все взвесить. Помни, что твои дела в школе идут очень хорошо.

— Ведь это она послала меня учиться,— нехотя проговорил мальчик.

— Сознавая, насколько это необходимо, и решившись даже на разлуку с братом? Да, верно,— согласился учитель.

Мальчик, видимо, не хотел уступать и сопротивлялся, борясь с самим собой. Наконец он поднял глаза на учителя и сказал:

— Хорошо, мистер Хэдстон, пойдемте, я познакомлю вас с моей сестрой, хотя она еще не устроилась. Пойдемте! Мы застанем ее врасплох, но все равно, судите о ней сами.

— А ты не считаешь нужным предупредить ее? — спросил учитель.

— Мою Лиззи не надо предупреждать, мистер Хэдстон! — горделиво сказал мальчик.— Какая она есть,

такая и есть, притворяться ей незачем. В моей Лиззи нет ни капли притворства.

Уверенность в сестре пристала ему больше, чем колебания, которым он поддался дважды. В этой братской преданности сказывалось доброе начало натуры мальчика, тогда как злое толкало его на эгоизм. И пока что доброе начало брало в нем верх.

— Ну что ж, вечер у меня сегодня свободный,— сказал учитель.— Хорошо, пойдем.

— Благодарю вас, мистер Хэдстон. Пойдемте хоть сейчас.

Брэдли Хэдстон — молодой человек двадцати шести лет, в приличном черном сюртуке с жилеткой, приличной белой сорочке с приличным строгим галстуком, в приличных панталонах цвета соли с перцем, с приличными серебряными часами в боковом кармане и с приличной, плетенной из волос часовой цепочкой на шее — выглядел очень прилично. В другом одеянии Брэдли Хэдстона никто никогда не видел, и тем не менее, в том, как он носил все это, чувствовалась какая-то скованность, словно от непривычки, и она придавала ему сходство с мастеровым, разрядившимся по-праздничному. Готовясь стать учителем, Брэдли Хэдстон сумел накопить, хоть и механически, большой запас знаний. Он мог совершенно механически производить в уме сложные вычисления, механически пел с листа, механически играл на духовых инструментах и даже на большом церковном органе. С раннего детства голова его представляла собой кладовую механически приобретенных сведений. Товары в этой кладовой были размещены так, чтобы их по первому требованию можно было отпускать в розницу,— история здесь, география там, астрономия направо, политическая экономия налево, естествознание, физика, арифметика, музыка, алгебра, геометрия и прочее тому подобное, все стояло по своим местам. Такое размещение приносило обладателю всех этих ценностей немало забот, отчего и взгляд у него был крайне озабоченный, а привычка задавать вопросы и отвечать на вопросы придавала ему недоверчивый вид, точно он был всегда начеку. Тревожное выражение не сходило с его лица. Это лицо говорило о негибком и вялом от природы уме, который с великим трудом завоевывал

поставленную перед собой цель, и завоевав ее, цепко держался за достигнутое. Глядя на Брэдли Хэдстона, можно было подумать, будто он только и знает что тревожиться, не пропало ли что-нибудь из его умственной кладовой, и то и дело проверяет сохранность своих товаров.

Вдобавок ко всему этому его сковывала необходимость подавлять в себе многое, чтобы освободить побольше места в голове. И все же в нем чувствовалась неукротимость, чувствовался внутренний огонь (правда, тлеющий), а это наводило на мысль, что, если бы Брэдли Хэдстона еще мальчишкой, нищим оборвышем отправили в море, он был бы не последним в корабельной команде. О нищете, в которой прошли его юные годы, он хранил угрюмое, гордое молчание; ему хотелось, чтобы о его прошлом забыли. И о нем действительно мало кто знал.

Брэдли Хэдстон приметил в содоме этого Хэксема. Подходящий мальчик на должность помощника учителя. Безусловно подходящий! Такой мальчик сделает честь тому, кто подготовит его. Возможно, что этим мыслям сопутствовали воспоминания о нищем оборвыше, которыми теперь ни с кем нельзя было поделиться. Так или иначе Брэдли Хэдстон хоть и с трудом, но все-таки добился того, что мальчика перевели в его школу и дали ему там работу, за стол и помещение. Таковы были обстоятельства, столкнувшие в этот осенний вечер Брэдли Хэдстона и Чарли Хэксема. Осенний вечер — ибо с тех пор, как стервятника нашли мертвым на берегу Темзы, прошло целых полгода.

Школы, о которых идет речь (их было две, мужская и женская), находились в той части низины, спускающейся к Темзе, где смыкаются графства Сэррей и Кент и где железнодорожные пути все еще проходят среди огородных участков, ожидающих от такого соседства своей неизбежной гибели. Школы эти, построенные недавно, ничем не отличались от других школ в здешних местах, и, глядя на них, можно было подумать, что это одно и то же непоседливое здание, наделенное, подобно дворцу Аладина, способностью передвигаться. Они стояли в кварталах, похожих на игрушечные, кое-как сложенные из кубиков блажным ребенком: вот одна сторона новой улицы; вот

глядит фасадом куда-то в пространство большой трактир; еще одна улица, недостроенная, но уже вся в развалинах; здесь — церковь; там — огромный новый склад; рядом — обветшалый загородный дом; дальше — черная глубина канавы, поблескивающие стеклами рамы парников, заросли бурьяна, старательно возделанный огород, каменный виадук, канал с перекинутой через него аркой моста, и всюду, куда ни глянь, неразбериха и грязь и туман. Словно ребенок под конец толкнул стол с игрушками, а сам заснул.

Но даже среди школьных зданий, школьных учителей и школьников, созданных по одному шаблону, согласно библии наших дней, суть которой — единообразие, нет-нет да и давал о себе знать шаблон более древний, тот, что, к добру ли, к худу ли, вершит судьбы многих людей. Он давал о себе знать в лице учительницы мисс Пичер, которая поливала цветы, в то время как мистер Брэдли Хэдстон шагал рядом со своим учеником. Он давал о себе знать в лице учительницы мисс Пичер, которая поливала цветы в насквозь пропыленном маленьком садике, примыкавшем к ее скромной школьной квартирке с маленькими оконцами, похожими на игольное ушко, и маленькой дверью, похожей на переплет букваря.

Какая же она была миниатюрная, аккуратная, чистенькая, методичная и пухленькая, эта мисс Пичер, с румяными, словно вишни, щечками и певучим голоском! Подушечка для иголок, рабочая шкатулка, нравоучительная книжка, мешочек с рукодельем, таблица умножения, таблица мер и весов и... маленькая женщина — все одно к одному. Она умела писать сочинения на любые темы, размером ровно в грифельную доску, которые начинались в левом верхнем углу доски и кончались в правом нижнем. И сочинения ее всегда строго соответствовали установленным на этот счет правилам. Если бы мистер Брэдли Хэдстон адресовался к ней с письменным предложением руки и сердца, она, вероятно, ответила бы ему коротеньким безупречным сочинением на эту тему, размером ровно в грифельную доску, и ответила бы, безусловно, «да». Потому что она любила его. Приличная волосяная цепочка, которая обвивала шею мистера Брэдли Хэдстона и охраняла его приличные часы, была для нее предметом

зависти. Мисс Пичер сама обвилась бы вокруг шеи мистера Брэдли Хэдстона и сама бы с радостью его охраняла. Его — бессердечного, потому что он не любил мисс Пичер.

Снискавшая благосклонность мисс Пичер ученица, которая стояла сейчас наготове с кувшином воды для пополнения лейки, помогала ей по хозяйству, весьма несложному, и, угадывая состояние чувств мисс Пичер, считала своей обязанностью быть влюбленной в Чарли Хэксема. Поэтому между двух грядок махровых левкоев и желтофиолей биение двух сердец участилось, когда учитель и мальчик остановились у маленькой калитки.

— Прекрасный день, мисс Пичер! — сказал учитель.

— Чудесный, мистер Хэдстон! — сказала мисс Пичер.— Вы собрались погулять?

— Да, мы с Хэксемом отправляемся в дальнюю прогулку.

— Для такой прогулки погода сегодня самая подходящая,— заметила мисс Пичер.

— Мы идем не столько ради удовольствия,— ответил учитель,— сколько по делу.

Перевернув лейку вверх дном и стряхнув на цветок последние две-три капли с таким усердием, словно они обладали некоей силой, способной взрастить к утру из этого цветка волшебный боб вышиной до неба *, мисс Пичер попросила еще воды у своей ученицы, которая тем временем разговаривала с мальчиком.

— Всего хорошего, мисс Пичер,— сказал учитель.

— Всего хорошего, мистер Хэдстон,— сказала учительница.

Ее ученица была столь привержена школьному обычаю поднимать руку (точно останавливая омнибус или кэб), когда ей хотелось сообщить что-нибудь мисс Пичер, что она поступала так и в домашней обстановке. То же самое произошло и сейчас.

— Да, Мэри-Энн? — отозвалась мисс Пичер.

— С вашего позволения, сударыня, Хэксем сказал, что они идут навестить его сестру.

— Нет, это что-то не так,— возразила мисс Пичер,— потому что с ней у мистера Хэдстона не может быть никаких дел.

Мэри-Энн снова остановила омнибус.

— Да, Мэри-Энн?

— С вашего позволения, сударыня, наверно, какое-нибудь дело есть у самого Хэксема?

— Может статься,— сказала мисс Пичер.— Мне такая мысль просто не пришла в голову. Впрочем, это не важно.

Мэри-Энн снова остановила омнибус.

— Да, Мэри-Энн?

— Все говорят, она очень красивая.

— Ах, Мэри-Энн, Мэри-Энн! — с легкой досадой воскликнула мисс Пичер, чуть краснея и покачивая головой.— Сколько раз я повторяла тебе: не употребляй таких неопределенных выражений, изъясняйся точнее! «Все говорят» — что под этим подразумевается? Какая часть речи «все»?

Мэри-Энн заложила левую руку за спину, зацепив ею локоть правой, точно на экзамене, и ответила:

— Местоимение.

— Какое?

— Безличное.

— Число?

— Множественное.

— Так сколько же это человек, Мэри-Энн? Пятеро? Или больше?

— Извините, сударыня,— смущенно пролепетала Мэри-Энн после минутного раздумья.— Подразумевается только ее брат, больше никто.— И, сказав это, она отпустила локоть правой руки.

— Так я и думала! — Мисс Пичер снова улыбнулась.— Но в следующий раз, Мэри-Энн, будь внимательнее. Помни: «Он говорит» — это совсем не то же самое, что «все говорят». Разница между «он говорит» и «все говорят»? Ну?

Мэри-Энн немедленно заложила левую руку за спину, зацепив ею локоть правой,— позиция совершенно обязательная при таких обстоятельствах,— и ответила:

— В первом случае — изъявительное наклонение, настоящее время, третье лицо единственного числа, действительный залог от глагола «говорить». Во втором — изъявительное наклонение, настоящее время, третье лицо множе-

ственного числа, действительный залог от глагола «говорить».

— Почему действительный залог, Мэри-Энн?

— Потому что действительный залог требует после себя прямого дополнения в винительном падеже, мисс Пичер.

— Очень хорошо,— одобрительно заметила мисс Пичер.— Даже отлично. Итак, не забывай правил, Мэри-Энн.— С этими словами мисс Пичер кончила поливать цветы и, удалившись в свои скромные апартаменты, сначала привела себя в равновесие восстановлением в памяти ширины и глубины главнейших рек и высоты горных вершин земного шара, а потом занялась измерением выкройки корсажа, которому предстояло облечь ее собственные формы.

Тем временем Брэдли Хэдстон и Чарли Хэксем добрались до Вестминстерского моста, перешли на правый берег Темзы и зашагали вдоль него по направлению к Милбэнку. В этом районе Лондона есть маленькая улочка под названием Черч-стрит и маленькая, глухая площадь под названием Смит-сквер, в центре которой возвышается на редкость уродливая церковь с четырьмя башенками по углам, похожая на какое-то окаменелое чудовище — огромное, страшное, задравшее все четыре лапы вверх. Учитель и мальчик увидели в дальнем конце площади дерево, рядом с ним кузницу, штабеля дров и лавчонку, торговавшую железным ломом. Зачем и почему ржавый котел, большое железное колесо и прочая рухлядь должны были валяться, наполовину уйдя в землю, у входа в эту лавку, никто не знал и, видимо, не желал знать. Подобно не очень-то жизнерадостному мельнику из одной старинной песенки, рухлядь эта, вероятно, рассуждала так: «Коль никто обо мне не тужит, я не буду тужить ни о ком!»

Обойдя всю площадь и заметив, что в ее безлюдье было что-то мертвое, словно она приняла снотворного, а не погрузилась в естественный сон, учитель и мальчик помедлили в том месте, где Черч-стрит примыкала к ней своими тихими домиками. К этим домикам Чарли Хэксем и повел учителя и около одного из них остановился.

— Кажется, моя сестра поселилась вот здесь, сэр. Она перебралась сюда временно, вскоре после смерти отца.

— А ты виделся с ней с тех пор?

— Всего два раза, сэр,— ответил мальчик по-прежнему неохотно.— Но это ее вина, а не моя.

— На что она живет?

— Лиззи всегда хорошо шила, а сейчас она устроилась у одного портного, который шьет матросское платье.

— А ей случается брать работу на дом?

— Иногда случается, но большую часть дня она, по-моему, проводит там, в мастерской. Вот сюда, сэр.

Мальчик постучался; в двери что-то щелкнуло, и она распахнулась. Следующая дверь, выходившая в маленькую переднюю, стояла настежь, и они увидели перед собой неведомо кого — девочку... карлицу... девушку?.. которая сидела в старомодном низеньком кресле перед низенькой скамейкой наподобие рабочего станка.

— Я не могу встать,— сказала девочка,— потому что у меня спина болит и ноги не слушаются. Но я здесь хозяйка.

— А еще кто-нибудь есть дома? — спросил Чарли Хэксем, с изумлением глядя на нее.

— Сейчас никого нет,— бойко и с чувством собственного достоинства отвечала девочка.— Никого, кроме хозяйки. А что вам нужно, молодой человек?

— Я хотел повидаться с сестрой.

— У многих молодых людей есть сестры,— возразила ему на это девочка.— Вы лучше скажите мне, как вас зовут, молодой человек?

У этой странной маленькой особы с остреньким, но отнюдь не уродливым личиком, на котором сверкали ясные серые глаза, был такой острый взгляд, что ей, видимо, сам бог велел стать острой и на язык. Как будто и слова ее и вся повадка не могли быть иными при таком обличье.

— Я Хэксем.

— Ах, вот оно что! — воскликнула хозяйка дома.— Я, собственно, так и думала. Ваша сестра придет минут через пятнадцать. Я очень люблю вашу сестру. Мы с ней большие друзья. Садитесь. А этого джентльмена как зовут?

— Это мой учитель, мистер Хэдстон.

— Садитесь и вы. Только, пожалуйста, затворите сначала дверь. Мне самой трудно это сделать, потому что у меня спина болит и ноги не слушаются.

Они молча повиновались, а маленькая особа, принявшись за прерванную работу, взяла волосяную кисточку и стала смазывать клеем тонко нарезанные кусочки картона и дощечки. Ножницы и два-три ножика, лежавшие на скамье, свидетельствовали о том, что девочка нарезала все это сама, а разноцветные ленты, лоскуты шелка и бархата, вероятно, должны были приукрасить ее изделья, набитые как полагается (набивка лежала тут же). Проворные пальцы девочки двигались с поразительной быстротой; она соединяла тонкие краешки, прикусывала их зубами для прочности и то и дело посматривала на гостей исподтишка своими серыми глазами, взгляд которых стал еще острее, чем прежде.

— А вот вам ни за что не угадать, какое у меня ремесло,— сказала она после очередного осмотра.

— Вы делаете подушечки для булавок,— ответил Чарли.

— А еще что?

— Перочистки,— сказал Брэдли Хэдстон.

— Ха-ха-ха! А еще что? Хоть вы и учитель, а вам не отгадать.

— Вы делаете что-то из соломы,— и он показал на край скамьи,— а что именно, я не знаю.

— Молодец! — воскликнула хозяйка дома.— На подушечки для булавок и перочистки идут остатки материала. А самое главное в моем ремесле солома. Ну! Отгадайте, что я делаю из соломы?

— Кружочки под блюда?

— Выдумали тоже, а еще учитель! Вот отгадайте загадку, это будет вам вроде подсказки. Я люблю тебя, когда ты начинаешься на «К», потому что ты красивая. Я бегу от тебя, когда ты начинаешься на «К», потому что ты капризная. Мы пойдем с тобой в «Королевскую корону», и я подарю тебе капор. Зовут тебя Кривляка, а живешь ты в курятнике. Ну! Что я делаю из соломы?

— Капоры?

— Да! Для модниц,— сказала хозяйка дома, утвердительно склонив голову.— Для кукол. Я кукольная швея.

— Надо полагать, это прибыльное дело?

Хозяйка дома пожала плечами и тряхнула головой.

— Нет. Платят гроши. И всегда спешка. На прошлой неделе одна кукла выходила замуж, и я просидела за работой всю ночь. А мне это вредно, потому что у меня спина болит и ноги не слушаются.

Учитель и мальчик со все возрастающим удивлением смотрели на эту маленькую особу, и, наконец, учитель сказал:

— Как жаль, что ваши важные заказчицы не желают с вами считаться.

— Они всегда так,— ответила хозяйка дома, снова пожав плечами.— И платья свои не берегут, да еще привередничают — месяц поносят, и уже из моды вышло, подавай им новое. Я шью на одну куклу с тремя дочерьми. Вот транжирка! Разорит она когда-нибудь своего муженька!

И, рассмеявшись странным отрывистым смешком, хозяйка дома снова покосилась на гостей своими серыми глазами. Подбородок у нее был остренький, как у эльфа, и весьма выразительный, а бросая по сторонам такие вот острые взгляды, она еще и вздергивала его кверху. Получалось так, будто и глаза и подбородок приводились в действие одной пружинкой.

— И у вас часто бывает такое горячее время?

— Бывает куда горячее. Но сейчас работы мало. Третьего дня я сдала большой заказ — траурное платье. У куклы, на которую я шью, умерла канарейка.— Хозяйка дома рассмеялась и несколько раз покачала головой, словно хотела сказать: «Вот она, суета мирская!»

— И вы так и сидите целый день одна? — спросил Брэдли Хэдстон.— Или соседские дети...

— О господи! — воскликнула хозяйка дома таким пронзительным голоском, точно последнее слово кольнуло ее.— Не говорите мне о детях! Я терпеть не могу детей! Мне все их повадки и фокусы давно известны.— И она сердито потрясла кулачком, поднеся его к самым глазам.

Вряд ли требовался большой учительский опыт для того, чтобы понять, как больно было кукольной швее чувствовать разницу между собой и другими детьми. Во всяком случае, оба — и учитель и ученик — сразу об этом догадались.

— Только им и дела, что бегать, кричать, играть во всякие игры, драться. Только им и дела, что скок-скок-скок на одной ножке по тротуару да чертить по нему мелом. Мне их повадки и фокусы давно известны! — И она снова потрясла кулачком.— Да это еще не все! Кто заглядывает в чужие замочные скважины и кричит всякие обидные слова и передразнивает, какая у кого спина и ноги? Да, да! Мне все их повадки и фокусы давно известны. А знаете, какое я придумала им наказание? У нас на площади есть церковь, а под этой церковью — черные двери в черное подземелье. Так вот, я отворила бы одну такую дверь и затолкала бы туда их всех, а потом — дверь на замок, и в замочную скважину — перцу им, перцу!

— А перец зачем? — спросил Чарли Хэксем.

— Чтобы чихали,— пояснила хозяйка дома,— и обливались слезами. Чихают, слезы из глаз кап-кап, а тут я и начну их дразнить в замочную скважину, как они сами, озорники и проказники, других дразнят.

Потряхивание кулачком перед глазами, на сей раз особенно энергичное, видимо, принесло некоторое облегчение хозяйке дома, и она добавила уже более спокойным тоном:

— Нет, нет, нет! Бог с ними, с детьми. Я больше люблю взрослых.

Возраст этой маленькой особы не поддавался определению: фигурка у нее была щупленькая, а личико одновременно и юное и старообразное. Ей было, вероятно, лет двенадцать, от силы — тринадцать, никак не больше.

— Я всегда любила взрослых,— продолжала она,— и всегда с ними водилась. Они такие умные. Сидят смирно. Не скачут, не прыгают. У меня уж давно решено: пока не выйду замуж, только с ними и буду знаться. А замуж, хочешь не хочешь, все равно придется выходить.

Кукольная швея замолчала, прислушиваясь к чьим-то шагам на улице; в дверь тихо постучали. Тогда она дернула за рычажок возле ручки кресла и сказала с веселым смехом:

— Вот, например, одна взрослая особа, которую я считаю своим большим другом.

И в комнату вошла Лиззи Хэксем, одетая в черное.

— Чарли! Ты?

Она обняла брата — как встарь, что явно смутило его, и никого больше не замечала вокруг.

— Ну, ну, Лиз! Довольно! Посмотри, кто со мной пришел — мистер Хэдстон!

Ее взгляд встретился со взглядом учителя, который, видимо, не ожидал, что у Чарли Хэксема такая сестра, и они пробормотали обычные слова приветствия. Девушка была немного смущена этим неожиданным посещением; учитель держался натянуто. Впрочем, он никогда не чувствовал себя вполне свободно.

— Я говорил мистеру Хэдстону, что ты еще не устроилась как следует, Лиз, но он оказал нам любезность и все равно захотел пойти со мной. И вот я его привел. Как ты хорошо выглядишь!

Брэдли, по-видимому, был того же мнения.

— Хорошо? Правда, хорошо? — воскликнула хозяйка дома, снова принимаясь за работу, хотя в комнате уже стемнело.— Вы это правильно заметили! Но продолжайте, продолжайте болтать!

Раз и два, и два и три,
На меня ты не смотри,
А с гостями говори,—

пропела она свой экспромт, показывая на каждого по очереди тоненьким пальцем.

— Я не ждала тебя, Чарли,— сказала Лиззи Хэксем.— Я думала, если ты захочешь меня увидеть, то пошлешь за мной и назначишь мне встречу где-нибудь недалеко от школы, как в прошлый раз. Мы с братом виделись возле школы, сэр,— пояснила она, обращаясь к учителю,— потому что мне проще туда прийти, чем ему сюда,— я работаю в мастерской, как раз на полпути между домом и школой.

— Вы, кажется, не очень часто встречаетесь,— сказал Брэдли, держась все так же натянуто.

— Да,— с грустным покачиванием головы.— Вы довольны успехами Чарли, мистер Хэдстон?

— Очень доволен. Я считаю, что дорога перед ним открыта.

— Я так на это надеялась! Спасибо вам. А ты, Чарли, какой ты молодец! Мне лучше уйти с его дороги, разве

только он сам захочет повидаться со мной кое-когда. Вы тоже так считаете, мистер Хэдстон?

Помня, что ученик ждет его ответа и что он сам советовал ему держаться подальше от сестры,— вот от этой девушки, которая сейчас впервые предстала перед ним, Брэдли Хэдстон проговорил, запинаясь:

— Видите ли, ваш брат очень занят. Ему надо много работать. Ведь чем меньше он будет отвлекаться от своих занятий, тем лучше для него. Вот когда он окончательно устроится, тогда... тогда другое дело.

Лиззи снова покачала головой и сказала со спокойной улыбкой:

— Я всегда ему так говорила. Ведь правда, Чарли?

— Ну, ладно, ладно, сейчас об этом не стоит вспоминать,— ответил мальчик.— Расскажи лучше, как ты живешь.

— Очень хорошо, Чарли. Я ни на что не могу пожаловаться.

— У тебя здесь своя комната?

— Да, конечно. Наверху. Там тихо, спокойно и воздуха много.

— А когда к ней приходят гости, она принимает их в этой комнате,— сказала хозяйка дома, глядя на Лиззи, точно в бинокль, сквозь костлявый кулачок, причем глаза и подбородок действовали у нее в полном согласии.— Гостей принимают всегда в этой комнате. Правда, Лиззи?

И тут Брэдли Хэдстон заметил легкое движение руки Лиззи Хэксем, словно она хотела предостеречь кукольную швею, а кукольная швея перехватила его взгляд, поднесла к глазам уже оба кулачка и, направив свой бинокль на него, воскликнула с шутливым потряхиванием головы:

— Ага! Попались? Наблюдаете за нами?

Это могло быть простым совпадением, но Брэдли Хэдстон заметил также, что немедленно вслед за тем Лиззи, еще не успевшая снять капор, поспешила предложить им выйти на улицу, так как в комнате совсем стемнело. Гости попрощались, и они вышли втроем, а кукольная швея откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и, глядя им вслед, стала задумчиво напевать что-то тихим, нежным голоском.

— Я пойду погуляю по берегу,— сказал Брэдли.— Вам, наверное, хочется поговорить друг с другом.

Лишь только он отошел от них деревянной походкой, мало-помалу скрываясь в вечерних сумерках, мальчик заговорил недовольным тоном:

— Когда же, наконец, ты устроишься по-человечески, Лиз? Я думал, ты давно уж об этом позаботилась!

— Мне и здесь хорошо, Чарли.

— Тебе и здесь хорошо? А мне было стыдно привести сюда мистера Хэдстона. И как ты попала к этой маленькой колдунье?

— Совершенно случайно, Чарли. Но теперь мне кажется, что тут дело не только случая, ведь эта девочка... Ты помнишь объявления, которые висели у нас дома по стенам?

— Будь они прокляты, эти объявления! Я стараюсь забыть, что у нас было дома, и тебе советую то же самое,— сердито проговорил мальчик.— Ну, при чем тут эти объявления!

— Эта девочка внучка того старика.

— Какого старика?

— Страшного пьяного старика в войлочных туфлях и ночном колпаке.

Мальчик потер нос, не то сердясь, что ему напоминают о таких вещах, не то любопытствуя, что же последует дальше, и спросил:

— Как ты об этом дозналась? Странная ты девушка, Лиззи!

— Отец девочки работает вместе со мной. Вот как я об этом дозналась, Чарли. Он такой же, каким был ее дед,— безвольный, всегда пьяный, жалкая развалина, но мастер хороший. Мать у девочки умерла, а она, бедняжка, больна, вот и выросла такая. Ты подумай, ведь пьяницы окружали ее с колыбели... если только у нее была колыбель, Чарли.

— И все-таки я не понимаю, что у тебя может быть общего с ней,— сказал мальчик.

— Не понимаешь, Чарли?

Мальчик молчал, глядя на реку. Они вышли на Милбэнк, и река была теперь слева от них. Сестра легко коснулась его плеча и показала на воду.

— Воздаяние... долг... назови это как хочешь, ты знаешь, о чем я говорю. Могила отца.

Но он не смягчился и, помолчав еще минуту-другую, заговорил с раздражением:

— С твоей стороны очень дурно, Лиз, тащить меня назад, когда я стараюсь выбиться в люди.

— Я тащу тебя назад, Чарли?

— Да, Лиз! Неужели ты не можешь забыть прошлое? Неужели ты не можешь оставить все это позади, как советовал мне сегодня мистер Хэдстон, правда по-другому поводу? Нам с тобой теперь нужно только одно: смотреть вперед и идти все прямо и прямо.

— И ни разу не оглянуться назад? Даже не попытаться хоть как-то искупить то, что было?

— Какая ты фантазерка! — все так же раздраженно воскликнул мальчик.— Хорошо нам было мечтать, когда мы с тобой сидели у огня и видели перед собой ямку в углях, но ведь теперь перед нами настоящая жизнь, а не твои фантазии.

— Настоящая жизнь была перед нами и тогда, Чарли.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, но это неправильно. Я не собираюсь отрекаться от тебя, Лиз. Мне хочется, чтобы ты поднялась вместе со мной. Так я решил, и так это и будет. Я знаю, чем я тебе обязан. Только сегодня вечером я сказал мистеру Хэдстону: «Ведь сестра сама послала меня учиться!» Так вот, не удерживай меня, не тяни назад. Это единственное, чего я прошу, и совесть моя чиста.

Она выслушала все, не сводя с него пристального взгляда, и ответила спокойно и сдержанно:

— Ты думаешь, мне приятно жить здесь, Чарли? Нет! Чем дальше от реки, тем для меня было бы лучше.

— А для меня и подавно. Забудем ее оба. Почему ты не можешь с ней расстаться? Я стараюсь и близко не подходить к этим местам.

— А я, кажется, не в силах уйти отсюда,— сказала Лиззи, проводя рукой по лбу.— Меня что-то удерживает здесь помимо моей воли.

— Вот опять, Лиз! Опять твои фантазии! Ты сама, по собственному желанию, поселилась в одном доме с каким-то пьянчужкой — кто он, портной, что ли? — и с какой-то

калекой, не то девочкой, не то старушонкой, не разберешь,— и говоришь, будто тебя тянет сюда, удерживает здесь что-то. Надо смотреть на жизнь трезво!

Ее ли упрекать в недостатке трезвости — ее, которая столько билась с ним, столько выстрадала из-за него! Но сейчас она подняла руку — в этом жесте не было ни тени укоризны — и легонько похлопала Чарли по плечу. Так она еще в прежние дни успокаивала маленького брата, таская его на руках, хотя он был ничуть не легче ее самой. И Чарли прослезился.

— Клянусь тебе, Лиз! — Он вытер глаза ладонью.— Я хочу быть хорошим братом, хочу доказать, что помню добро. Прошу тебя об одном: думай обо мне и не давай воли своей фантазии. Как только меня определят на должность учителя, ты будешь жить со мной, и тогда о фантазиях придется забыть. Так кончай с ними теперь же! Скажи, я не рассердил тебя?

— Нет, Чарли, нет!

— И не обидел?

— Нет, Чарли.— Но на этот раз она ответила не сразу.

— Я и не хотел тебя обидеть! Веришь мне? Ну говори — веришь? Вон мистер Хэдстон остановился и смотрит на воду. Начинается прилив, и он намекает, что нам пора идти. Поцелуй меня и скажи еще раз, что я не обидел тебя.

Она так и сказала; они обнялись, потом повернули к реке и подошли к учителю.

— Но нам по дороге с твоей сестрой,— сказал Брэдли, когда мальчик обратился к нему со словами: «Пойдемте, сэр». И неловким угловатым движением он подал ей согнутую в локте руку. Она коснулась ее и тут же отдернула свою. Учитель резко повернулся к ней, недоумевая, чем это вызвано.

— Я не домой,— сказала Лиззи.— А вам еще так далеко идти. Без меня вы дойдете скорее.

Они решили перейти Темзу по Воксхоллскому мосту, так как он был совсем близко, и простились с девушкой. Брэдли Хэдстон пожал ей руку, а она поблагодарила его за внимание к брату.

Учитель и ученик быстро и молча пошли домой. Они уже сходили с моста, когда на противоположном берегу

появился джентльмен с сигарой во рту, шагавший не спеша, заложив под пальто руки за спину. Небрежные манеры этого джентльмена, лениво-надменный вид, с которым он шествовал, занимая вдвое больше места на тротуаре, чем следовало, сразу привлекли к себе внимание мальчика. Как только джентльмен поравнялся с ними, он оглядел его с головы до ног, остановился и посмотрел ему вслед.

— Почему ты на него так смотришь? — спросил Брэдли.

— Да ведь это...— проговорил мальчик, сосредоточенно хмуря брови,— это тот самый, Рэйберн!

Брэдли Хэдстон вгляделся в своего ученика не менее внимательно, чем тот вглядывался в молодого джентльмена.

— Простите, мистер Хэдстон, но меня удивило, что ему вдруг здесь понадобилось!

Хотя мальчик сказал это спокойным тоном и как ни в чем не бывало зашагал дальше, учитель не мог не заметить, что он оглянулся через плечо еще раз и что недоуменное выражение осталось у него на лице, а складка между бровями так и не разгладилась.

— Этот человек, кажется, не очень тебе нравится, Хэксем?

— Совсем не нравится,— ответил мальчик.

— Почему?

— В первую же нашу встречу он позволил себе дерзость — взял меня за подбородок.

— А это почему?

— Да просто так. Или потому — правда, это дела не меняет,— потому, что ему, видите ли, не понравилось, как я отозвался о своей сестре.

— Следовательно, он знает твою сестру?

— Тогда не знал,— ответил мальчик, все еще хмурясь.

— А теперь?

Мальчик так ушел в свои мысли, что вместо ответа только посмотрел рассеянно на мистера Хэдстона, и тому пришлось повторить вопрос. Тогда он кивнул головой и сказал:

— Теперь знает, сэр.

— Вероятно, идет сейчас к ней?

— Не может быть! — быстро проговорил мальчик.— Они слишком мало знакомы. Ну, только попадись мне там, любезный!

Они невольно прибавили шагу и некоторое время шли молча; потом учитель заговорил, сжав мальчику руку повыше локтя:

— Ты хотел что-то рассказать мне об этом человеке. Повтори, как его имя?

— Рэйберн, мистер Юджин Рэйберн. Называет себя ходатаем по делам, только по каким, неизвестно. Первый раз он явился к нам еще при жизни отца. По делу, правда, не по-своему,— своих у него нет,— а за компанию с приятелем.

— А потом?

— Потом он у нас побывал еще один раз. Когда мой отец погиб, этот Рэйберн оказался в числе тех, кто нашел его тело. Наверно, слонялся где-нибудь неподалеку и позволял себе вольности с чужими подбородками. Словом, рано утром он пришел к моей сестре с этим известием и привел с собой на подмогу нашу соседку, мисс Аби Поттерсон. Я прибежал домой только среди дня, потому что меня разыскали, когда сестра немножко пришла в себя и смогла послать за мной. Прибежал и увидел его около дома, а потом он куда-то исчез.

— И это все?

— Это все, сэр.

Продолжая шагать медленно, словно в раздумье, Брэдли Хэдстон разжал пальцы, сжимавшие руку мальчика. Потом, после долгого молчания, заговорил снова:

— Я полагаю... сестра твоя...— странная пауза предваряла и сопровождала последние два слова,— не умеет читать?

— Можно сказать, что нет, сэр.

— Наверно, безропотно покорилась отцовскому запрету? Я ведь помню, как было с тобой. Тем не менее... твоя сестра... и по виду и по разговору не похожа на неграмотную.

— Лиззи девушка умная, мистер Хэдстон. Ума у нее, пожалуй, даже слишком много для неученого человека. Я, бывало, когда еще жил дома, называл нашу жаровню ее

книгой, потому что, глядя на огонь, Лиззи любила фантазировать, и иной раз слушаешь и удивляешься, так все складно получалось.

— Я этого не одобряю,— сказал Хэдстон.

Мальчик несколько удивился столь неожиданно резкому и горячему заявлению, но счел это доказательством заинтересованности учителя в его личных делах. Ободренный этим, он сказал:

— Я все никак не мог поговорить с вами начистоту, мистер Хэдстон, да и сегодня меня задело, когда вы первый о ней начали. А вдруг и на самом деле, если я оправдаю ваши надежды и выйду в люди, она... не то что опозорит меня — тут ничего позорного нет... Но вдруг о ней узнают?.. Не придется ли мне краснеть за сестру, хотя я от нее ничего кроме добра не видел?

— Да-а,— машинально протянул Брэдли Хэдстон, потому что мысли его были заняты совсем другим.— Надо подумать вот о чем. Что если найдется человек, пробивший себе дорогу в жизни,— человек, которому понравится... твоя сестра... и который со временем даже захочет жениться на... твоей сестре... Вообрази, как прискорбно и как тяжело ему будет, если, презрев неравенство положения и другие препятствия, он почувствует все же, что неравенство между ними осталось в полной силе.

— Вот и я так думаю, сэр.

— Да, да,— продолжал Брэдли Хэдстон,— но ты брат. А я имею в виду более серьезный и более сложный вопрос, потому что жених, супруг свяжет себя с ней по доброй воле и, кроме того, будет вынужден объявить об этом во всеуслышание, чего брат может избежать. Ведь в конце концов ты не волен в таком родстве, а про супруга скажут: что ж, вольному воля.

— Вы правы, сэр. После смерти отца Лиззи сама себе хозяйка, и я теперь часто думаю, что такая девушка может подготовиться за самое короткое время. А иной раз мне даже приходило в голову... если попросить мисс Пичер...

— Для этих целей я не стал бы рекомендовать мисс Пичер,— не дал ему договорить Брэдли Хэдстон, и в голосе его послышались прежние, весьма решительные нотки.

— Может, вы будете так добры и сами об этом подумаете, мистер Хэдстон?

— Да, Хэксем, да. Я подумаю. Хорошенько подумаю. Непременно подумаю.

С этой минуты они не обмолвились почти ни словом и вскоре подошли к зданию школы. В одном из маленьких окошек мисс Пичер, похожем на игольное ушко, горела свеча, и в уголке около окошка, глядя на улицу, сидела Мэри-Энн, а мисс Пичер прострачивала за столом аккуратно скроенное по выкройке платье, которому предстояло облечь ее формы. *Нотабене:* ни сама мисс Пичер, ни ученицы мисс Пичер не встречали особого поощрения со стороны властей в столь ненаучном занятии, как рукоделие.

Не отводя глаз от улицы, Мэри-Энн подняла руку.

— Да, Мэри-Энн?

— Мистер Хэдстон вернулся, сударыня.

Через минуту Мэри-Энн снова подняла руку.

— Да, Мэри-Энн?

— Вошел в дом и запер за собой дверь, сударыня.

Мисс Пичер подавила вздох и, складывая работу, так как пора было идти спать, вонзила в ту часть корсажа, которая пришлась бы как раз над ее сердцем, острую-преострую иглу.

ГЛАВА II

Все еще о педагогике

Хозяйка дома, она же кукольная швея и поставщица нарядных перочисток и подушечек для булавок, сидела в своем чудном низеньком кресле, напевая в темноте, до самого возвращения Лиззи. Хозяйка этого дома заслужила столь высокое звание еще в самом нежном возрасте, потому что она была единственным положительным человеком в этом доме.

— Ну-с, Лиззи-Миззи-Виззи,— сказала она, прерывая пение,— какие там новости на воле?

— А какие новости тут, в четырех стенах? — в свою

очередь спросила Лиззи, с улыбкой поглаживая густые золотистые волосы кукольной швеи.

— Сейчас посмотрим, как сказал слепец. Ну-с, последние новости таковы, что я не собираюсь замуж за твоего братца.

— Неужели?

— Ни в коем случае! — Головка и подбородок пришли в движение.— Не нравится мне этот мальчишка.

— А учитель?

— Сердце учителя уже занято.

Лиззи аккуратно разобрала длинные локоны на сутулых плечах девочки, потом зажгла свечу. Ее огонек озарил маленькую комнату — бедную, но чистенькую и прибранную. Лиззи поставила подсвечник на каминную полку, чтобы свет не резал глаза кукольной швее, распахнула настежь обе двери — в комнату и на улицу, и подвинула низенькое креслице вместе с девочкой ближе к свежему воздуху. Так уж у них было принято кончать рабочий день в жаркую погоду, а сегодня вечер как раз выдался особенно душный. В довершение всего этого Лиззи сама села на стул рядом с низеньким креслом и бережно продела себе под локоть украдкой протянувшуюся к ней худенькую руку.

— Вот эти минуты для твоей Дженни Рен лучшие за весь день,— сказала хозяйка дома. На самом деле ее звали Фанни Кливер, но она предпочитала величать себя мисс Дженни Рен.

— Я сегодня все думала за работой,— продолжала Дженни.— Вот было бы славно, если бы ты так и осталась при мне до самого моего замужества или хотя бы до тех пор, пока за мной не начнут ухаживать. Потому что как только за мной кто-нибудь начнет ухаживать, я поручу ему многое из того, что ты теперь делаешь. Правда, он не сумеет причесывать меня так, как ты, или водить по лестнице так, как ты, и вообще, где ему с тобой сравняться! Но пусть этот увалень хоть носит мне работу на дом и принимает заказы. Я не дам ему сидеть сложа руки. Он у меня побегает!

Дженни Рен одолевали суетные мечты — к счастью для нее самой,— и ни о чем другом не фантазировала она с таким жаром, как о всевозможных мучениях и пыт-

ках, которые со временем должны были выпасть на *его* долю.

— Где бы он сейчас ни обретался и кто бы он ни был,— продолжала мисс Рен,— мне все его фокусы и повадки заранее известны, и пусть он держит ухо востро, предупреждаю!

— А не слишком ли ты строга к нему? — спросила Лиззи, улыбаясь и поглаживая свою приятельницу по голове.

— Ни чуточки! — ответила мисс Реп тоном женщины, умудренной житейским опытом.— Милочка моя, да эти разбойники в грош тебя не будут ставить, покуда их не приструнишь как следует. Да-а... вот было бы славно, если б ты подольше осталась при мне. Ах, это «если»!

— Я не собираюсь расставаться с тобой, Дженни.

— Не зарекайся, не то сию же минуту расстанемся!

— Неужели моему слову совсем нельзя верить?

— Твое слово вернее золота и серебра.— Но, сказав это, мисс Рен вдруг умолкла, прищурила глаза, вздернула подбородок и приняла необычайно многозначительный вид.— Ага!

Вот драгун
Лихой на диво! *
Что он хочет?
Кружку пива.
Пиво молодцу отрада.

И больше, милочка, ему ровнехонько ничего не надо.

Какой-то человек остановился на тротуаре у входной двери.

— Если не ошибаюсь, это мистер Юджин Рэйберн? — спросила мисс Рен.

— Как будто так,— последовал ответ.

— Можете войти, если вы человек почтенный.

— Я человек далеко не почтенный,— сказал Юджин,— но тем не менее войду.

Он поздоровался за руку с Дженни Рен, поздоровался за руку с Лиззи и стал рядом с ней, прислонившись к дверному косяку. Мистер Рэйберн, как он сам пояснил, вышел погулять и выкурить сигару на свежем воздухе (сигара давно была выкурена и брошена) и нарочно сделал крюк,

чтобы заглянуть сюда по дороге домой. Здесь, кажется, только что был ее брат?

— Да,— ответила Лиззи, явно чем-то встревоженная.

Как мило, что наш братец изволил снизойти до нас! Мистеру Юджину Рэйберну показалось, будто он повстречал этого юного джентльмена на мосту. А кто был с ним?

— Его учитель.

— Ну, разумеется! Это сразу видно.

Лиззи сидела так тихо, что трудно было определить, в чем именно сказывается ее волнение, но в том, что она волнуется, сомневаться не приходилось. Юджин держался с обычной непринужденностью, но теперь, когда девушка потупилась перед ним, стало особенно заметно, что в его взгляде, обращенном на нее, было такое внимание, каким он вряд ли удостаивал подолгу кого-либо другого.

— Новостей у меня нет, Лиззи,— сказал он.— Но поскольку я обещал вам держать под наблюдением мистера Райдергуда с помощью моего друга Лайтвуда, мне хочется время от времени подтверждать, что я не забыл своего обещания и не даю забыть о нем и Лайтвуду.

— Кто же станет в этом сомневаться, сэр!

— Вообще-то говоря, сомневаться во мне не грех,— хладнокровно признался Юджин.

— А почему? — спросила эта заноза, мисс Рен.

— Потому, моя милочка,— ответил легкомысленный Юджин,— что я личность непутевая и ленивая.

— Тогда почему бы вам не взяться за ум и не стать путевой личностью? — осведомилась мисс Рен.

— Потому, моя милочка,— повторил Юджин,— что не для кого стараться. Ну как, Лиззи, вы думали о моей затее? — добавил он вполголоса, но не из осторожности — присутствие хозяйки дома ему не мешало,— а просто переходя на более серьезный тон.

— Думала, мистер Рэйберн, но согласиться так и не решилась.

— Ложная гордость! — сказал Юджин.

— Нет, мистер Рэйберн, нет. Вы не правы.

— Ложная гордость,— повторил Юджин.— Ничего другого тут быть не может. Ведь речь идет о таких пустяках! Для меня это пустяк, сущий пустяк! Неужели тут есть о чем говорить? Вы знаете, как я к этому отношусь.

Захотелось принести кому-то пользу — чего до сих пор мне еще не приходилось делать и вряд ли придется. Захотелось принести пользу тем, что буду платить какой-нибудь опытной особе вашего пола и возраста столько-то презренного металла (на мой взгляд весьма немного) с тем, чтобы эта особа приходила сюда по вечерам в определенные дни недели и давала вам уроки, в которых у вас не было бы необходимости, если б вы в свое время не лишили себя всего ради брата и отца. Вам стоило таких трудов дать образование брату, значит вы понимаете, как оно нужно. Зачем же тогда отказываться от уроков, если они к тому же пойдут на пользу нашей приятельнице, мисс Дженни! Предложи я сам свои услуги в качестве учителя или пожелай я присутствовать на занятиях — мысль явно несуразная! — но ведь ваш покорный слуга будет все равно что за тридевять земель отсюда. Можете даже считать, что его вовсе нет на свете! Ложная гордость, Лиззи! Потому, что гордость истинная не позволила бы вам стесняться вашего неблагодарного брата и не потерпела бы, чтобы он стеснялся вас. Истинная гордость не допустила бы, чтобы сюда приводили какого-то учителя, точно доктора к тяжелобольному. Истинная гордость приказала бы вам сразу взяться за дело. Вы прекрасно отдаете себе в этом отчет, вы знаете, что истинная гордость усадила бы вас за книжку завтра же, имей вы на это средства, которые гордость ложная не велит вам принять от меня. Ну, что ж, прекрасно! Мне остается добавить только одно: ложная гордость принижает и вас и память вашего покойного отца.

— При чем же тут мой отец, мистер Рэйберн? — спросила Лиззи, бросив на него испуганный взгляд.

— При чем? Надо ли спрашивать! Да при том, что вы усугубляете последствия его невежественного и слепого упорства. При том, что вы не хотите исправить то зло, которое он причинил вам. При том, что по вашей воле лишение, на которое он вас обрек и которое навязал вам силой, всегда будет чернить его память.

Случилось так, что этими словами Юджин тронул струну, сразу же зазвучавшую в сердце той, которая всего лишь час назад делилась такими же мыслями с братом. Струну эту заставила зазвучать еще сильнее и внезапная

перемена в Юджине Рэйберне: откуда вдруг взялась в нем серьезность, твердая вера в свои слова, великодушное, бескорыстное участие, обида за то, что его в чем-то подозревают. И девушка сразу почувствовала: то новое, что проявилось в нем, всегда таком легкомысленном и беззаботном, находит совсем иной отклик в ее сердце. «Между нами такая разница,— думала она,— этот человек настолько выше меня, неужели же я отвергла его бескорыстную помощь лишь потому, что мне кажется, будто он меня преследует, неужели я возомнила, будто он нашел что-то привлекательное во мне?» Бедная девушка, чистая душой и помыслами, не могла простить себе этого. Презирая самое себя, она опустила голову, уверенная, что и вправду жестоко обидела его, и молча залилась слезами.

— Не огорчайтесь,— ласково, очень ласково сказал Юджин.— Неужели это я огорчил вас? Мне только хотелось, чтобы вы увидели все так, как оно есть на самом деле, хотя, признаюсь, мною руководили эгоистические побуждения, и вы заставили меня разочароваться.

Разочароваться потому лишь, что ему не удалось оказать ей услугу! Что же другое могло разочаровать его?

— Сердце мое не разбито,— со смехом продолжал Юджин.— Я не буду горевать и двух дней, и все же я испытал подлинное разочарование. Мне так хотелось оказать пустяковую услугу вам и нашей общей приятельнице мисс Дженни! Новизна такого ощущения — принести кому-то хоть малейшую пользу — имела для меня свою прелесть. Но теперь мне ясно, что уладить все это можно было с бо̀льшим уменьем. Например, притвориться, будто я стараюсь исключительно ради нашей приятельницы, мисс Дженни, или предстать перед вами в роли этакого Юджина Великодушного. Но, видит бог, такие уловки мне не по нутру, и я предпочитаю остаться при своем разочаровании.

Если Юджин разгадал мысли, бродившие в голове Лиззи, это нельзя было сделать с бо̀льшим искусством. Если же он попал в цель неожиданно для самого себя, вряд ли можно назвать такое совпадение счастливым.

— Все это получилось так естественно,— продолжал Юджин.— Я словно поймал мяч, ненароком брошенный в мою сторону. Случайные обстоятельства — вы знаете, ка-

кие, Лиззи,— сводят нас дважды. Случайные обстоятельства позволяют мне дать вам слово, что за Райдергудом, который оклеветал вашего отца, будет вестись слежка. Случайные обстоятельства позволяют мне умерить ваше горе в самую тяжелую для вас минуту — умерить тем, что я не верю обвинениям Райдергуда. При тех же обстоятельствах я рекомендую себя вам, как самого ленивого и самого никчемного из адвокатов, но добавляю, что в деле, которое началось у меня на глазах, лучше иметь такого советчика, чем вовсе никого, и что в вашем стремлении оправдать покойного отца вы всегда можете полагаться на мою помощь, а также на помощь Лайтвуда. И вот мало-помалу мною овладевает мысль, а не смогу ли я — и с какой легкостью! — помочь вам снять с вашего отца другое обвинение, обвинение вполне справедливое и заслуженное, о котором я упомянул несколько минут назад. Мне очень жаль, что это вас так огорчило; надеюсь, теперь вам все стало ясно и понятно. Я терпеть не могу разглагольствовать о своих намерениях, но они были самые простые и хорошие и мне хочется, чтобы вы это знали.

— Я никогда в этом не сомневалась, мистер Рэйберн,— ответила Лиззи, чувствуя тем большее раскаяние, чем скромнее оказывались притязания Юджина.

— Рад это слышать. Но если бы вы поняли меня правильно с самого начала, вряд ли я получил бы отказ. Не так ли?

— Я... я думаю, что нет, мистер Рэйберн.

— Тогда зачем же отказываться теперь, когда все разъяснилось?

— Мне трудно с вами спорить,— в замешательстве проговорила Лиззи,— потому что вы заранее знаете, какие выводы можно сделать из моих слов.

— Примиритесь с этими выводами,— рассмеялся Юджин,— и тогда мое разочарование исчезнет само собой. Лиззи Хэксем! Человек, который относится к вам с глубочайшим уважением, ваш друг и джентльмен, хоть и не весьма блистательный, клянется, что ему все еще не понятно, почему вы колеблетесь!

Откровенность, чистосердечие, бескорыстное великодушие, звучавшие в его голосе и смехе, покорили бедную девушку, и не только покорили, но снова напомнили ей, что

до сих пор в голове у нее были совсем другие мысли и, в первую очередь, тщеславные.

— Я больше не колеблюсь, мистер Рэйберн. И, пожалуйста, не осуждайте меня за мои прежние колебания. От своего имени и от имени Дженни... Ты позволишь, дружок?

Маленькая хозяйка дома сидела все это время, откинувшись на спинку кресла, опершись о подлокотники, уткнув подбородок в ладони, и внимательно слушала их разговор. Не меняя позы, она так отчеканила «да!», точно отрезала свой односложный ответ ножом.

— От своего имени и от имени Дженни я с благодарностью принимаю ваше любезное предложение.

— Ну вот, и дело с концом! — воскликнул Юджин, протянул Лиззи руку, а потом помахал ею, как бы отмахиваясь от дальнейших разговоров на эту тему.— Приходит же людям в голову делать из мухи слона!

Вслед за тем он шутливо обратился к мисс Дженни Рен:

— Знаете, мисс Дженни, я собираюсь завести себе куклу.

— Не советую,— ответила кукольная швея.

— Почему?

— Непременно ее разобьете. За вас, детей, ведь нельзя поручиться.

— Но это в ваших же интересах, мисс Рен,— возразил Юджин.— Так же как в моих интересах, когда гибнут чьинибудь поручительства.

— Ну, не знаю,— отрезала мисс Рен.— На мой взгляд, вам лучше завести себе перочистку и стать прилежным мальчиком. Тогда она пойдет у вас в дело.

— Боже упаси! Да если бы мы все были такие прилежные, как вы, маленькая моя хлопотунья, нам пришлось бы приниматься за работу чуть ли не с колыбели, а это очень вредно.

— Вы говорите, вредно? — переспросила девочка, вся вспыхнув.— Вредно для спины и для ног?

— Нет, нет! — Надо отдать ему справедливость, Юджин испугался, как бы кто не подумал, что он подшучивает над ее болезнью.— Для дела вредно, для дела! Если мы все впряжемся в работу с молодых ногтей, тогда кукольным швеям придет конец.

— Пожалуй, правда,— согласилась мисс Рен.— Оказывается, голова у вас не такая уж пустая, кое-какие мысли в ней есть.— Потом совсем другим тоном: — Кстати, о мыслях, Лиззи.— Они опять сидели рядом.— Сама не знаю почему, но летом, когда я корплю здесь за работой день-деньской, и все одна, мне кажется, будто в комнате пахнет цветами.

— Как личность самая что ни на есть прозаическая,— вяло протянул Юджин, которому хозяйка дома уже наскучила,— я скажу, что цветами, вероятно, пахнет на самом деле.

— Ничего подобного,— ответила девочка, опершись одной рукой о подлокотник кресла, уткнувшись подбородком в ладонь и задумчиво глядя прямо перед собой.— В наших местах цветам неоткуда взяться. Тут найдешь что угодно, только не цветы. И все-таки, когда я сижу за работой, мне чудится, будто они растут на целые мили вокруг. Вот запахло розами, ну, словно на полу у меня целые охапки, груды розовых лепестков. А то потянет опавшими листьями, кажется, опустишь руку,— вот так,— и они зашуршат у тебя под пальцами. Потом будто живые изгороди благоухают не то бело-розовым боярышником, не то другими цветами, каких я даже никогда и не видывала. Ведь мне их почти не приходилось видеть.

— Какие у тебя приятные мечты, Дженни! — сказала ее приятельница и бросила взгляд на Юджина, словно спрашивая, не дарованы ли эти мечты в воздаяние девочке за всю ее обездоленность.

— Да, Лиззи, очень приятные! А каких я слышу птичек! — воскликнула Дженни, протянув вперед руку и подняв глаза ввысь.— Как они поют!

В этом жесте и в выражении ее личика было что-то одухотворенное и прекрасное. Потом она снова задумалась, подперев подбородок ладонью.

— Мои птицы поют лучше всех других птиц, и мои цветы самые душистые на свете, потому что, когда я была совсем маленькая,— она сказала это таким тоном, будто вспомнила о чем-то давно минувшем,— дети, которые прилетали ко мне рано по утрам, были совсем не похожи на тех, что видишь на улице. И на меня не похожи. Ничто их

не заботило, не было на них тряпья, не тряслись они от холода, не боялись колотушек. Совсем, совсем другие, чем наши соседские ребятишки! Меня никогда не бросало в дрожь от их криков, они никогда не дразнились. А сколько их слеталось ко мне! И все в белых платьях с блестящей каймой, и на голове у них тоже что-то поблескивало. Я пробовала шить такие платья своим куклам, да у меня ничего не получалось. Эти детки спускались ко мне по длинным сверкающим лучам и спрашивали хором: «Кто это тут болеет? Кто тут болеет?» А когда я называла им свое имя, они говорили: «Пойдем играть с нами!» Я отвечала: «Я никогда не играю. Я не умею играть!» Тогда они окружали меня со всех сторон и поднимали все выше и выше, словно пушинку. И мне становилось так легко на душе и так покойно, а потом они спускались со мною вниз и говорили хором: «Жди нас, жди терпеливо, и мы снова придем!» И я всякий раз, еще задолго до того, как передо мной загорались длинные сверкающие лучи, знала, кто летит ко мне, потому что слышала издали: «Кто это тут болеет? Кто тут болеет?» Я отвечала: «Детки, милые детки! Это я! Пожалейте меня бедную! Поднимите меня, словно пушинку, выше, выше!»

Рука девочки тянулась вверх, восторг преобразил ее личико, и оно стало прекрасным. Застыв на мгновение с поднятой рукой, она улыбнулась, прислушиваясь к чему-то, потом огляделась по сторонам и пришла в себя.

— Какой дурочкой я, наверно, кажусь! Правда, мистер Рэйберн? По лицу вижу, что вам надоело меня слушать. Но сегодня суббота, и я не стану вас задерживать.

— Другими словами, уважаемая мисс Рен,— сказал Юджин, готовый воспользоваться этим намеком,— вы хотите, чтобы я удалился?

— Да ведь сегодня суббота,— повторила она,— и мой ребенок скоро вернется домой. Он у меня нехороший, непослушный и его то и дело приходится бранить. Мне не хочется, чтобы вы с ним тут столкнулись.

— Это кукла? — Юджин перевел удивленный взгляд с хозяйки дома на Лиззи, в надежде, что ему объяснят, в чем тут дело.

Но так как Лиззи беззвучно, одними губами произ-

несла «ее отец», он не стал больше задерживаться и немедленно откланялся. На углу он остановился закурить сигару и, может статься, спросил самого себя, каковы же, собственно, его намерения? Если та́к, то ответ на это последовал весьма неопределенный и маловразумительный. Да разве может определить свои намерения человек, которому безразлично, что он вообще делает.

Лишь только Юджин завернул за угол, какой-то встречный, толкнув его, пьяным голосом пробормотал извинение. Юджин посмотрел незнакомцу вслед и увидел, что тот вошел в дверь, из которой он сам вышел минуту назад.

Пьяный переступил порог комнаты, и Лиззи тут же поднялась со стула.

— Не уходите, мисс Хэксем,— смиренно проговорил он, еле ворочая языком.— Не избегайте горемыки, потерявшего последнее здоровье. Удостойте несчастного больного своим обществом. Я... я... не заразный.

Лиззи сослалась на то, что ее ждут кое-какие дела, и пошла к себе наверх.

— Ну, как моя Дженни? — робко залепетал пьяный.— Как моя Дженни Рен, золото, а не дочка, бальзам для разбитого сердца.

На что хозяйка дома ответила с неумолимой суровостью, повелительно протянув руку:

— Не подходи ко мне! Ступай в свой угол! В угол, немедленно!

Жалкое существо попыталось было для виду воспротивиться этому, но, не смея перечить хозяйке дома, почло за благо отойти в угол и сесть на стул, на котором ему полагалось сидеть, когда он впадал в немилость.

— У-у! — воскликнула хозяйка дома, тыча в ту сторону пальцем.— У-у, дрянной старый мальчишка! У-у! сорванец, негодник! *В-вот* я ему задам!

Расслабленный, трясущийся всем телом пьянчуга бессильным движением протянул к ней руки, ища прощения и мира. Слезы стояли у него в глазах, капали на испещренные красными жилками щеки. Синеватая нижняя губа дрожала от всхлипываний. Эта жалкая, убогая развалина — вся, начиная со сбитых башмаков и кончая преждевременно поседевшими жидкими волосами,— являла


W.T GREEN.

собой зрелище полного унижения. Но причиной и поводом для таких пресмыкательств была не страшная по своему смыслу (если только тут имелся какой-то смысл) перемена ролей между отцом и ребенком,— нет! пьянчуге хотелось лишь одного — избежать проборки.

— Я знаю все твои фокусы и повадки! — воскликнула мисс Рен.— Я знаю, где ты пропадал! (На что не требовалось особенной проницательности.) Ах ты старикашка бессовестный!

Все в этом человеке было омерзительно, даже то, как он дышал,— натужно, хрипло, словно часы с испорченным заводом.

— Корпишь тут, корпишь за работой с утра до ночи,— продолжала хозяйка дома,— и ради чего? *В-вот* я ему задам!

В слове «в-вот», произносимом каждый раз с особой выразительностью, было что-то такое, что приводило пьянчугу в трепет. Лишь только хозяйка дома добиралась до этого словечка или уже была готова произнести его, он терялся окончательно.

— Хоть бы тебя в каталажку посадили и заперли там на замок! — говорила хозяйка дома.— Хоть бы тебя упрятали в темный подвал, в нору какую-нибудь с крысами, пауками и тараканами! Я-то знаю все их фокусы и повадки, вот бы они тебя там пощекотали! И не стыдно тебе?

— Стыдно, душенька,— промямлил отец.

— Ах, так! — вскричала хозяйка дома, наводя на него ужас силой своего гнева и голоса и неминуемым *«в-вот* я ему задам!»

— Обстоятельства... от меня не зависящие...— Это было все, что мог сказать в свое оправдание несчастный пьянчуга.

— Только поговори у меня! — еще сердитее перебила его хозяйка дома.— Я тебе такие устрою обстоятельства, от меня зависящие, что ты навек их запомнишь! Отправлю в полицию, там тебя оштрафуют на пять шиллингов, а платить тебе нечем, и я не заплачу, и упекут тебя на каторгу на всю жизнь. Хорошо тебе будет на каторге?

— Нет, плохо... Я больной... Недолго буду обременять! — возопил несчастный.

— Ну, довольно, довольно! — Хозяйка дома деловито постучала пальцами по столу, тряхнула головой и вздернула подбородок.— Ты сам знаешь, что от тебя требуется. Выкладывай деньги на стол, немедленно!

Пьянчуга начал покорно шарить по карманам.

— Наверно, все свое жалованье растранжирил,— продолжала хозяйка дома.— Клади сюда. Все, что осталось. До последнего фартинга.

С каким старанием начал пьянчуга собирать деньги по своим обтрепанным карманам! Вот, наверно, здесь... нет, пусто. В этом вряд ли, и лазить не стоит. Наконец все обследовано, а кармана с деньгами так и не нашлось.

— И это все? — вопросила хозяйка дома, когда на столе накопилась небольшая горка шиллингов и пенсов.

— Все,— последовал унылый ответ, сопровождаемый столь же унылым покачиванием головы.

— Сейчас проверим. Ну, ты же знаешь, что от тебя требуется. Выворачивай все карманы наизнанку, пусть так и болтаются! — распорядилась хозяйка дома.

Он повиновался. И если что-нибудь могло придать ему еще более жалкий и нелепый вид, то именно эта унизительная процедура.

— Да тут всего-навсего семь шиллингов и восемь с половиной пенсов! — воскликнула мисс Рен, сложив монеты стопкой.— Ах ты старый блудный сын! Ну погоди, теперь ты у меня посидишь впроголодь!

— Не надо впроголодь! — захныкал он.

— Если б тебя наказать как следует,— ответила ему на это мисс Рен,— ты бы у меня ничего, кроме вертелов, на которых продают мясо для кошек, и не увидел. Мясо кошкам, а тебе после них одни палочки. Ну ладно, ложись спать.

Пьянчуга выбрался из своего угла и снова заканючил, протянув к дочери руки:

— Обстоятельства... От меня не зависящие.

— Спать ложись, сию же минуту спать! — перебила его мисс Рен.— Не смей со мной разговаривать! Я тебя еще не простила. Ложись спать!

Чувствуя приближение очередного «в-вот», пьянчуга решил повиноваться. Хозяйка дома проводила его взглядом до лестницы и долго сидела и слушала, как он тяжело

поднимался по ступенькам, потом закрыл за собой дверь и рухнул на кровать. Через несколько минут в комнату спустилась Лиззи.

— Ужинать будем, Дженни?

— И в самом деле! — ответила мисс Дженни, передергивая плечиками.— Надо же как-то поддержать силы.

Лиззи накрыла скатертью низенькую скамейку, заменявшую хозяйке дома рабочий стол, подала обычный их скромный ужин и села на табуретку.

— Ну, ешь, Дженни. О чем ты задумалась, дорогая?

— Я думаю о том,— проговорила девочка, отрываясь от своих размышлений,— что я буду делать *с ним,* если он окажется пьяницей.

— Не будет он пьяницей,— сказала Лиззи.— Ты заранее в этом удостоверишься.

— Удостовериться-то удостоверюсь, но он может обмануть меня. Ох, милая, ведь я знаю этих молодцов, все их фокусы и повадки знаю. Они ужасные обманщики! — Маленький кулачок взлетел в воздух.— А если он меня все-таки обманет, сказать тебе, что я с ним сделаю? Дождусь, когда он заснет, раскалю докрасна ложку на огне, вскипячу в кастрюльке рому или еще чего-нибудь спиртного, чтобы ключом кипело, потом одной рукой открою ему рот,— хотя он и спать-то, наверно, будет с открытым ртом! — а другой волью туда полную ложку, так, чтобы горло ошпарило и чтобы из него дух вон!

— Вот ужас! Я уверена, что ты ничего такого не сделаешь,— сказала Лиззи.

— Не сделаю? Может, и не сделаю. А как хочется!

— И это неправда.

— Думаешь, не хочется? Ну, может быть. Ты ведь умница, всегда все знаешь. Только тебе не приходилось жить так, как мне, и спина у тебя не болит, и ноги тебя слушаются.

За ужином Лиззи старалась вызвать в девочке прежнее, куда более приятное и светлое настроение, но чары были нарушены. Хозяйка дома стала хозяйкой дома, омраченного позором и тяжкими заботами,— дома, в верхнем этаже которого спало жалкое существо, позорящее даже невинный сон своим глубоким падением и низменностью

своих страстей. Кукольная швея превратилась в особу на редкость сварливого характера — из мирских мирскую, из суетных суетную.

Бедная кукольная швея! Сколько раз те руки, которым следовало бы служить ей опорой, толкали ее все ниже и ниже; сколько раз плутала она на пути к добру и тщетно ждала помощи! Бедная, бедная кукольная швея!

ГЛАВА III

Меры приняты

В одно прекрасное утро Британия, сидя в задумчивой позе (быть может, так, как ее изображают на медных монетах), вдруг приходит к выводу, что без Вениринга в парламенте ей не обойтись. Вениринг, размышляет она, отличный «представитель» — в чем по нынешним временам не должно сомневаться,— следовательно, верная ее величеству палата общин будет без него как без рук. И вот Британия намекает одному известному ей джентльмену-законнику, что если Вениринг «выложит» пять тысяч фунтов, ему дозволят ставить после своей фамилии буквы «Ч. П.» * по самой сходной цене, а именно по две с половиной тысячи за букву. Британия и законник твердо знают: эти пять тысяч фунтов никому не достанутся, они исчезнут сами собой, как только их выложат,— исчезнут совершенно чудесным и колдовским образом.

Законник, пользующийся доверием Британии, прямо от этой дамы направляется к Венирингу; Вениринг почитает себя польщенным сверх меры, но требует отсрочки, чтобы выяснить, удастся ли ему «объединить вокруг себя друзей». В такую знаменательную в его жизни минуту, говорит он, ему прежде всего надлежит выяснить, «объединятся ли вокруг него друзья». Блюдя интересы своей клиентки, законник не может предоставить Венирингу много времени на выяснения, ибо Британия склонна обратиться к другому лицу, которое, как ей достоверно известно, готово выложить все шесть тысяч фунтов; однако на четыре часа Вениринга все же отпускают.

И вот Вениринг говорит миссис Вениринг: «Надо принять меры»,— и в мгновение ока уже сидит в кэбе. Ни минуты не медля, миссис Вениринг сует малютку няне, хватается своими орлиными пальцами за голову, стараясь остановить происходящее там бурление мыслей, приказывает подать карету и с видом безумным и фанатическим — не то Офелия, не то любая, какая вам угодно, античная матрона, собирающаяся возложить себя на жертвенник,— повторяет вслед за супругом: «Надо принять меры».

Тем временем Вениринг, приказавший своему кучеру, словно гвардии под Ватерлоо, крушить публику на улицах, во весь опор мчится на Дьюк-стрит в Сент-Джеймс-сквере. Там он застает Твемлоу, который только что высвободился из рук таинственного художника, производившего какие-то манипуляции с его волосами при помощи яичного желтка. Так как после этой процедуры Твемлоу полагается в течение двух часов сидеть со вставшими дыбом волосами, подвергая их медленной сушке, вид его как нельзя более соответствует получению разительных известий, ибо он похож одновременно и на Монумент с Фиш-стрит-Хилл и на Приама * в хорошо известных нам из классиков обстоятельствах, имеющих непосредственное отношение к пожару.

— Дорогой Твемлоу! — говорит Вениринг, хватая его за обе руки.— Скажите мне, как самый мой близкий и давний друг...

«Значит, конец сомнениям,— думает Твемлоу. Я — первый!»

— ...не согласится ли ваш кузен, лорд Снигсворт, стать номинальным членом моего комитета? У меня не хватает смелости просить лорда Снигсворта войти в комитет, я мечтаю только о его имени. Как по-вашему, он даст свое имя?

Твемлоу, сразу пав духом, отвечает:

— По-моему, нет.

— В политических убеждениях,— говорит Вениринг, до сих пор и не подозревавший, что у него имеются убеждения,— я ни в чем не расхожусь с лордом Снигсвортом, и, может быть, лорд Снигсворт не откажется дать свое имя для комитета на благо общества и, так сказать, из чувства долга перед обществом.

— Я вас понимаю, но...— Твемлоу растерянно чешет в затылке (он позабыл о желтке) и приходит в полное расстройство, убедившись, какие липкие у него волосы.

— Между старыми закадычными друзьями,— продолжает Вениринг,— в таком деле не должно быть недомолвок. Обещайте мне! Если я попрошу вас сделать для меня что-нибудь, что будет вам неприятно или хотя бы в малейшей степени обременительно, вы так прямо без всяких обиняков и скажете.

Твемлоу охотно соглашается выполнить его просьбу, и по всему видно, что он сдержит слово.

— Вас не затруднит написать письмо в Снигсворти-парк и попросить лорда Снигсворта оказать мне эту любезность? Разумеется, если он даст нам свое согласие, я буду знать, что обязан этим исключительно вам. Но вы, со своей стороны, постарайтесь внушить лорду Снигсворту, что от него ждут выполнения его общественного долга. Не возражаете?

И Твемлоу говорит, поднеся ко лбу руку:

— Вы просили ответить без всяких обиняков?

— Да, да, мой дорогой Твемлоу.

— И рассчитываете, что я так и отвечу?

— Разумеется, мой дорогой Твемлоу.

— Тогда, принимая во внимание все в целом — заметьте, *все в целом,*— осторожно начинает Твемлоу, как бы подчеркивая, что если б он принимал во внимание только частности, то просьба Вениринга была бы исполнена немедленно.— ...Принимая во внимание все в целом, я попрошу вас уволить меня от каких-либо сношений с лордом Снигсвортом.

— Боже правый! Ну разумеется! — восклицает Вениринг, до крайности разочарованный, но тем не менее с еще большим жаром пожимает Твемлоу обе руки.

Нет ничего удивительного в том, что бедняга Твемлоу не хочет навязываться с письмами своему знатному кузену (характер которого сильно испортился от подагры), ибо знатный кузен, выплачивающий ему ежегодно небольшую пенсию на прожитие, возмещает свои расходы чрезвычайной строгостью, заставляя родственника подчиняться чуть ли не военному уставу во время его визитов в Снигсворти-парк, а именно: вешать шляпу только на один определен-

ный колышек, сидеть только на одном определенном стуле, беседовать только на какую-нибудь одну определенную тему с определенными людьми и выполнять определенные обязанности, как-то: расточать хвалы размалеванным фамильным вывескам (не называть же их портретами!) и воздерживаться от употребления тончайших вин из фамильного погреба до тех пор, пока ему не предложат их самым настоятельным тоном.

— Но кое-что я все же смогу для вас сделать,— говорит Твемлоу.— Я приму меры.

Вениринг осыпает его благодарностями.

— Я поеду в клуб,— продолжает Твемлоу, воодушевляясь.— Сейчас посмотрим... Который час?

— Без двадцати одиннадцать.

— Я буду в клубе,— говорит Твемлоу,— без десяти двенадцать и просижу там весь день.

Вениринг чувствует, что друзья объединяются вокруг него, и восклицает:

— Благодарю вас, сердечно благодарю! Я знал, на кого можно положиться. Я сказал Анастазии перед тем, как ехать к вам — по такому важному для меня делу прежде всего, разумеется, к вам, мой дорогой друг! — я сказал Анастазии: «Надо принять меры».

— Правильно, совершенно правильно! — отвечает Твемлоу.— И как она — уже начала?

— Начала,— говорит Вениринг.

— Великолепно! — восторгается наш учтивый, скромный джентльмен.— В таких случаях женский такт неоценим. Если прекрасный пол на нашей стороне, это решает все.

— Но мне важно знать ваше мнение,— вдруг спохватывается Вениринг.— Как вы относитесь к тому, что я выставляю свою кандидатуру в палату общин?

— По моему мнению,— с чувством произносит Твемлоу,— это лучший клуб в Лондоне.

Вениринг снова благодарит его, бежит сломя голову вниз по лестнице и, вскочив в кэб, приказывает кучеру брать Сити приступом, не щадя британских граждан.

Тем временем Твемлоу, воодушевляясь все больше и больше, усиленно приглаживает волосы — хотя все его усилия почти ни к чему не приводят, потому что после

применения такого клейкого вещества, как яичный желток, они сильно взъерошены, а на ощупь будто покрыты глазурью,— и в назначенное время прибывает в клуб. Там он сейчас же запасается местечком у большого окна, пером, чернильницей, газетами и замирает в полной неподвижности, позволяя Пэлл-Мэллу * почтительно взирать на себя. Когда кто-нибудь из знакомых, входя в комнату, приветствует его кивком, он спрашивает: «Вы знаете Вениринга?» Знакомый говорит: «Нет. Член клуба?» Твемлоу отвечает: «Да. Проходит от Покет-Бричеза». Знакомый говорит: «А-а! Что ж, надеюсь, он не зря потратит деньги!» — зевает и не спеша идет к двери. Часам к шести вечера Твемлоу убеждается, как много он потрудился, «принимая меры», и сожалеет, что в свое время не избрал карьеры парламентского агента.

От Твемлоу Вениринг скачет в контору Подснепа и застает его там. Стоя у камина, Подснеп держит в руках газету, пробудившую в нем ораторский пыл по поводу сделанного им минуту назад поразительного открытия, что Италия это не Англия. С приличествующими случаю извинениями Вениринг прерывает поток его красноречия и сообщает ему, куда ветер дует. Уверяет Подснепа, что их политические убеждения одинаковы. Дает Подснепу понять, что его, Вениринга, политические убеждения складывались, когда он поучался, внимая ему, Подснепу. Жаждет знать, «объединится ли вокруг него» Подснеп.

И Подснеп говорит довольно сурово:

— Прежде всего выясним, Вениринг, чего вы от меня ждете — совета?

— Такой старый, близкий друг...— лепечет Вениринг.

— Да, да, все это прекрасно,— перебивает его Подснеп,— но вы уже решили принять условия, на которых вас берет Покет-Бричез, или вас интересует, что *я* посоветую,— принимать или отказываться?

Вениринг повторяет, что всеми силами души и всем сердцем своим он жаждет, чтобы Подснеп объединился вокруг него.

— Я буду откровенен с вами, Вениринг,— говорит Подснеп, насупив брови.— Надеюсь, вы понимаете, что раз меня нет в парламенте, значит мне это совершенно не нужно.

Ну, разумеется, Вениринг все понимает! Разумеется, Вениринг уверен, что Подснепу стоит только захотеть, и он займет там место как раз в такой срок, который люди легкомысленные и пустые называют мгновением ока!

— Не считаю нужным,— говорит совершенно умиротворенный Подснеп.— Кроме того, для человека с моим весом в этом не было бы ни малейшего смысла. Но я не намерен навязывать свои правила людям, занимающим иное положение в обществе. Вы считаете, что *вам* стоит пройти в парламент и что *ваше* положение это улучшит. Так, что ли?

Так, вынужден подтвердить Вениринг, думая лишь об одном, как бы объединить вокруг себя Подснепа.

— Следовательно, вы не нуждаетесь в моем совете,— говорит Подснеп.— Прекрасно! Я ничего не стану вам советовать. Однако вы обращаетесь ко мне за помощью. Прекрасно! Я приму соответствующие меры.

Вениринг немедленно осыпает Подснепа благодарностями и сообщает ему, что меры принимает и Твемлоу. Подснепу это не совсем приятно — как его смели опередить! Какая вольность по отношению к нему! — но в конце концов он примиряется с Твемлоу, ведь эта старая баба имеет хорошие связи и музыки не испортит.

— Особенно важных дел у меня сегодня нет,— добавляет Подснеп,— и я повидаюсь кое с кем из влиятельных людей. Мы званы на обед, но я пошлю миссис Подснеп одну, а сам как-нибудь отговорюсь и приеду обедать к вам в восемь часов. Надо извещать друг друга о ходе событий и обмениваться впечатлениями. Так... сейчас подумаем... Для разъездов по городу вам следовало бы подыскать одного-двух джентльменов порасторопнее и с хорошими манерами.

После короткого раздумья Вениринг останавливает свой выбор на Бутсе и Бруэре.

— Которых я встречал у вас? — спрашивает Подснеп.— Что ж, подойдут. Наймите каждому кэб, и пусть разъезжают по городу.

Вениринг не упускает случая отметить, какое это счастье иметь друга, способного подавать столь полезные в административном отношении советы, и прямо-таки ликует

при мысли о предстоящих разъездах Бутса и Бруэра, что, по его мнению, вполне в духе избирательной кампании и страшно похоже на настоящую деятельность. Легким галопцем выскочив от Подснепа, он обрушивается на Бутса и Бруэра, которые с восторгом объединяются вокруг него, то есть немедленно садятся в кэбы и исчезают в противоположных направлениях. Вслед за тем Вениринг отправляется к джентльмену-законнику — доверенному лицу Британии, улаживает с ним кое-какие щекотливые вопросы и составляет послание к независимым избирателям Покет-Бричеза, объявляя им, что он прибудет туда за их голосами, словно моряк, который возвращается в места, где протекало его детство. Фраза звучит нисколько не хуже от того, что Вениринг никогда в жизни не бывал в Покет-Бричезе и даже теперь не совсем ясно представляет себе, где находится этот Покет-Бричез.

В эти полные событий часы миссис Вениринг тоже не сидит сложа руки. Как только ее карета подкатывает к подъезду, она выкатывает на подъезд и дает команду: «К леди Типпинз». Эта прелестница живет на окраине фешенебельной Белгравии *, в доме, где внизу корсетная мастерская, за окном которой видна изящная, в голубой нижней юбке, красавица в натуральную величину, затягивающая на себе корсетные шнурки и с невинным удивлением взирающая через плечо на город. Что вполне понятно, когда одеваешься при таких обстоятельствах.

Леди Типпинз принимает? Леди Типпинз принимает, сидя в затемненной комнате и весьма предусмотрительно повернувшись спиной к свету (подобно красавице в окне нижнего этажа, хотя и совсем по другим причинам). Леди Типпинз так удивлена ранним визитом дорогой миссис Вениринг — ни свет ни заря, как выражается это очаровательное создание,— что веки у нее даже приподнимаются от волнения.

Миссис Вениринг сбивчиво рассказывает ей, что Венирингу предложили Покет-Бричез, что сейчас настало время объединиться, что Вениринг сказал: «Надо принять меры», что она приехала сюда, как мать и жена, умолять леди Типпинз принять меры, что их карета в полном распоряжении леди Типпинз, что она, владелица новехонького, элегантного экипажа, вернется домой пешком и, если по-

надобится, сотрет ноги в кровь, и тоже будет принимать меры (какие именно, не уточняется) до тех пор, пока не падет замертво у колыбели малютки.

— Душенька,— говорит леди Типпинз,— успокойтесь! Мы проведем его в парламент.— И леди Типпинз принимает меры: носится по городу весь день, не давая отдыха ни себе, ни лошадям Вenирингов, заезжает ко всем знакомым, весьма удачно демонстрирует свое уменье вести светскую беседу и свой зеленый веер и трещит без умолку: — Душенька моя, как вы думаете, кто я такая? Никогда не догадаетесь! Перед вами агент по избирательным делам! И можете себе представить, за какой город я ратую? Нет, вы только подумайте — за Покет-Бричез! А почему? Потому, что мой самый, самый близкий друг купил его. А кто мой самый, самый близкий друг во всем мире? Некто по фамилии Вениринг. А его жена мой второй самый близкий друг во всем мире. Боже правый! Я совсем забыла их малютку! Она тоже мой друг. Мы затеяли этот маленький фарс, чтобы все было как у людей, и я просто наслаждаюсь. Но забавнее всего то, мое сокровище, что этих Венирингов никто не знает, и они сами никого не знают. Но дом у них будто из восточной сказки, а обеды как из «Тысячи и одной ночи!» Вам, милочка, не любопытно на них посмотреть? Ах, доставьте мне удовольствие, познакомьтесь с ними! Приезжайте к ним обедать. Они вам не наскучат, только скажите, кого позвать. Мы пригласим своих гостей, а уж я постараюсь, чтобы хозяева к вам и близко не подходили. Вы просто должны посмотреть их серебряных и золотых верблюдов. Я называю обеденный стол моих Венирингов караваном. Умоляю вас, приезжайте обедать к Венирингам, к *моим* Венирингам! Это моя собственность, мои самые, самые близкие друзья во всем мире! А главное, душенька, обещайте мне голосовать за него и употребите все свое влияние, чтобы другие тоже голосовали. Мы не вложим в это предприятие и шести пенсов! Нет, нет, голубушка! Мы согласны пройти в парламент только после единодушного ура-ура-ура этих... как их там... неподкупных избирателей. Кажется, это так называется?

Обворожительная Типпинз убедила себя, будто бы объединение вокруг Вениринга и «принятие мер» заду-

мано исключительно ради того, чтобы все было как у людей, и, вероятно, в этом есть доля истины, но только незначительная доля. Прелестная Типпинз не подозревает, что расходами на кэбы и разъездами в них по городу кое-кто достигает или предполагает достичь — это, в сущности, одно и то же — гораздо более серьезной цели. Сколько дутых, сомнительных репутаций создано вот такими разъездами в кэбах по городу! Это особенно относится ко всем парламентским делам. Нужно ли ввести человека в парламент, или вывести из парламента, или вовсе обвести вокруг пальца, или же поддержать проект железной дороги, или провалить проект железной дороги, или добиться еще чего-нибудь в том же роде — самым верным средством считается скакать сломя голову взад и вперед; точнее говоря, нанимать кэбы и разъезжать в них по городу.

Это соображение, видимо, принято ко всеобщему руководству, так как Подснеп своим усердием побивает Твемлоу, хотя тому тоже кажется, будто он горы ворочает на благо Вениринга, а Подснепа в свою очередь побивают Бутс и Бруэр. В восемь часов все эти труженики съезжаются к обеду у Венирингов, но кэбы, нанятые для Бутса и Бруэра, разумеется, остаются ждать их, а с ближайшего постоялого двора носят ведрами воду и тут же у подъезда поливают лошадям ноги, чтобы Бутс и Бруэр могли незамедлительно сесть каждый в свой кэб и умчаться кто куда. Эти проворные гонцы приказывают Химику положить их шляпы где-нибудь на самом видном месте, чтобы потом не пришлось долго разыскивать, и обедают (правда, с завидным аппетитом) точно пожарные, отлучившиеся от своей машины только на минуту, в ожидании известий о вспыхнувшем где-то большом пожаре.

Когда все садятся за стол, миссис Вениринг замечает томным голосом, что еще несколько таких дней, и она не выдержит.

— Еще несколько таких дней, и никто из нас не выдержит,— говорит Подснеп.— Но в парламент мы его все-таки проведем.

— Мы проведем его в парламент,— говорит леди Типпинз, игриво помахивая зеленым веером.— Да здравствует Вениринг!

— Мы проведем его в парламент! — говорит Твемлоу.

— Мы проведем его в парламент! — говорят Бутс и Бруэр.

По совести говоря, трудно было бы выискать причину, которая помешала бы им провести Вениринга в парламент, так как Покет-Бричез уже успел обделать дельце и оппозиции его кандидату не предвидится. Однако все единодушно решают «принимать меры» до последней минуты, ибо, если меры не будут приняты, произойдет нечто... словом, нечто произойдет. С не меньшим единодушием все решают, что «принятие мер» в недалеком прошлом совершенно их измучило и им совершенно необходимо поддержать силы для «принятия мер» в ближайшем будущем,— следовательно, сейчас требуется особое подкрепление из винного погреба Вениринга. И вот Химик получает приказ подать к столу самые сливки из своих запасов, после чего всей честной компании становится не так-то легко выговорить слово «объединиться». Леди Типпинз, например, задорно настаивает на том, чтобы «облепиться» вокруг дорогого Вениринга, Подснеп желает «обедниться» вокруг дорогого Вениринга, Бутс и Бруэр заявляют о своем намерении «облениться» вокруг него, а сам Вениринг с большим чувством рассыпается в благодарностях своим преданным друзьям за то, что они согласились «обобдедениться» вокруг него.

В эти минуты всеобщего подъема Бруэр затмевает своей находчивостью всех и вся. Он сверяется с часами и говорит (подобно Гаю Фоксу), что наведается в палату общин и посмотрит, как там обстоят дела.

— Повертусь в кулуарах часок-другой,— добавляет Бруэр с чрезвычайно таинственным выражением лица,— и если там все благополучно, тогда я сюда не вернусь, а прикажу подать мне кэб завтра к девяти утра.

— Лучше и не придумаешь! — восклицает Подснеп.

Вениринг признается в своей полной неспособности когда-либо отблагодарить Бруэра за такую услугу. Слезы затуманивают нежный взор миссис Вениринг. Бутс явно завидует, теряет почву под ногами и уже котируется как нечто второсортное. Все толпятся у дверей, провожая Бруэра. Бруэр спрашивает кэбмена: «Лошадь свежая, успела отдохнуть?» — и оглядывает ее критическим оком. Кэбмен отвечает: «Свеженькая, как огурчик». Бруэр гово-

рит: «Гони во всю мочь в палату общин». Кэбмен вскакивает на козлы, Бруэр — на сиденье, вслед ему несутся приветственные клики, а мистер Подснеп говорит:

— Вот что значит находчивость! Попомните мое слово, сэр, этот человек пробьет себе дорогу в жизни!

Когда для Вениринга наступает пора промямлить жителям Покет-Бричеза приличествующую случаю гладенькую речь, в это глухое местечко его сопровождают только Подснеп и Твемлоу. Джентльмен-законник ждет их на станции железнодорожной ветки «Покет-Бричез» с коляской, к дверце которой, точно к стене, приклеена афишка «Да здравствует Вениринг!», и, сопровождаемые усмешками граждан Покет-Бричеза, они величественно следуют по улицам к хилой маленькой ратуше на костылях, приютившей под своими стенами несколько луковиц и шнурков для ботинок, что, по словам законника, являет собой рынок. И, стоя у окна этого здания, Вениринг обращается с речью к притихшему миру. Как только он снимает шляпу, Подснеп, по договоренности с миссис Вениринг, шлет этой преданной жене и матери депешу: «Начал».

Вениринг то и дело забредает в тупики, которыми обычно изобилуют ораторские выступления, а Подснеп и Твемлоу кричат: «Слушайте! Слушайте!» Когда же у него совсем заедает и он никак не может дать задний ход из очередного тупика, они с шутливой укоризной тянут нараспев: «Слу-шайте! Слу-шайте!», словно не сомневаясь в неподдельности всей этой процедуры и получая от нее особенное удовольствие. Но Вениринг все же ухитряется вставить в свою речь два чрезвычайно удачных пункта — настолько удачных, что есть все основания подозревать, не подсказал ли их ему законник, пользующийся доверием Британии, пока они с Венирингом переговаривались на лестнице.

Пункт первый таков: Вениринг проводит оригинальное сравнение между страной и судном, упорно именуя судно государственным кораблем, а премьер-министра — кормчим. Венирингу во что бы то ни стало хочется уведомить Покет-Бричез, что его друг справа от него (Подснеп), человек богатый. Поэтому он говорит:

— Джентльмены! Если шпангоуты государственного корабля тронула гниль, а кормчий его неискусен, разве

великие морские страховщики, которые занимают столь видное место среди наших известных всему миру королей коммерции,— разве они согласятся застраховать такое судно? Разве кто-нибудь согласится выдать под него ссуду? Пойти на риск и довериться ему? Помилуйте, джентльмены! Да если б я обратился с подобным предложением к моему почтенному другу справа от меня, который является одним из самых великих и самых уважаемых членов этой великой и всеми уважаемой корпорации, он ответил бы мне: «Безусловно, нет!»

Пункт второй таков: красноречивый факт, что Твемлоу состоит в родстве с лордом Снигсвортом, следует предать гласности. Вениринг рисует положение общественных дел, по всей вероятности, немыслимое ни при каких обстоятельствах (впрочем, ручаться за это нельзя, ибо нарисованная им картина не ясна ни ему самому, ни кому-либо другому), и продолжает следующим образом:

— Помилуйте, джентльмены! Да если бы я представил такую программу любому классу общества, ее осмеяли бы, на нее с презрением показывали бы пальцем! Если бы я представил такую программу какому-нибудь почтенному и разумному коммерсанту вашего города — нет! разрешите мне сказать — нашего города, как бы он ответил мне? Он ответил бы: «Долой!» Вот как бы он мне ответил, джентльмены! Преисполненный благородного негодования, он ответил бы мне: «Долой!» Но, предположим, я поднялся бы несколько выше по общественной лестнице. Предположим, я взял бы под руку моего уважаемого друга слева от меня и, пройдя с ним по родовым лесам его семьи и под развесистыми буками Снигсворти-парка, приблизился к величественному замку, пересек двор, распахнул двери, взбежал по ступенькам и, минуя одну комнату за другой, очутился бы, наконец, перед лицом знатного родственника моего друга — перед лицом лорда Снигсворта. И, предположим, я сказал бы этому вельможе: «Милорд! Введенный в ваш дом вашим близким родственником, моим другом слева от меня, я осмелюсь предложить вашей светлости эту программу. Каков был бы ответ его светлости? Да он ответил бы мне: «Долой!» Вот что он ответил бы, джентльмены! «Долой!» Повторив, несмотря на свой высокий сан, точное выражение достойного и разумного коммерсанта



нашего города, близкий и дражайший родственник моего друга слева от меня, ответил бы мне в гневе: «Долой!»

Этим блистательным ходом Веиеринг завершает свою речь, и мистер Подснеп шлет миссис Вениринг депешу: «Кончил».

Вслед за тем в гостинице Покет-Бричеза дают обед, на котором присутствует и джентльмен-законник, после чего в должной последовательности происходит выдвижение кандидата и объявление о его избрании. И, наконец, Подснеп извещает миссис Вениринг депешей: «Провели».

По приезде домой, в особняке Венирингов их ждет еще один роскошный обед, их ждет также леди Типпинз, их ждут Бутс и Бруэр. Каждый скромно приписывает заслугу избрания Вениринга в парламент только себе, но, в общем, все признают, что Бруэр превзошел самого себя, когда предложил наведаться в палату общин в тот вечер и посмотреть, как там обстоят дела.

В конце обеда гости выслушивают от миссис Вениринг весьма трогательную историйку. Миссис Вениринг вообще отличается слезливостью, а после недавних треволнений глаза у нее и вовсе на мокром месте. Перед тем как удалиться из-за стола под руку с леди Типпинз, она говорит растроганным и совершенно дрожащим голосом:

— Вы, наверно, сочтете меня глупенькой, но я просто не могу умолчать об этом. Когда я сидела вечером накануне выборов у колыбели нашей малютки, она спала очень беспокойно.

Химика, мрачно взирающего на общество, так и подмывает сказать «ветры» и потерять из-за этого место, но он вовремя спохватывается.

— У малютки начались чуть ли не судороги во сне, а потом она сжала свои крохотные лапки и улыбнулась.

Тут миссис Вениринг умолкает, и мистер Подснеп считает своим долгом осведомиться:

— С чего бы это?

— И тогда я спросила самое себя,— продолжает миссис Вениринг, ища глазами носовой платок,— неужели добрые феи сказали нашей малютке, что ее папа скоро будет Ч. П.?

Чувства обуревают миссис Вениринг с такой силой, что гости встают со своих мест, расчищая путь Веиерингу,

который бежит вокруг стола на помощь супруге и, предварительно пояснив, что труды последних дней оказались ей не по силам, выволакивает ее из столовой, пятясь задом, причем она весьма драматически скребет каблуками по ковру. Вопрос, удалось ли добрым феям сказать малютке о пяти тысячах фунтов и как она переварила это известие, остается невыясненным — его не обсуждают.

Бедный маленький Твемлоу, совершенно раскисший, умилен вышеописанной сценой и продолжает умиляться даже после того, как его благополучно доставляют в квартирку над конюшней на Дьюк-стрит в Сент-Джеймс-сквере. Но когда этот кроткий джентльмен ложится у себя дома на кушетку, в голову ему вдруг приходит ужасная мысль, вытесняющая все прочие, более безмятежные мысли.

— Боже милосердный! Да ведь как подумаешь на свободе, так выходит, он своих избирателей и в глаза не видал до того самого дня, когда мы с ним туда приехали!

Поднеся ко лбу руку, бесхитростный Твемлоу в полном смятении чувств шагает по комнате, потом снова ложится на кушетку и говорит со стоном:

— Этот человек или сведет меня с ума, или вгонит в гроб. Слишком поздно я с ним встретился. Он мне уже не по силам!

ГЛАВА IV

Купидон играет под суфлера

Говоря холодным языком света, миссис Лэмл не замедлила использовать знакомство с мисс Подснеп. Говоря нежным языком самой миссис Лэмл, они с милой Джорджианой вскоре слились воедино — сердцем, мыслями, чувствами, душой.

Как только Джорджиане удавалось вырваться из рабских уз подснепизма, сбросить с себя одеяло, которым ее пеленали в фаэтоне кремового цвета, и стать во весь рост; как только ей удавалось ускользнуть подальше от своей матушки-качалки, чтобы та не отдавила ей (если можно так выразиться) бедные замерзшие ножки,— она отправлялась к своей подруге миссис Альфред Лэмл. Миссис Под-

снеп ни в коей мере не препятствовала этому. Часто слыша, как пожилые остеологи, занимающиеся учеными изысканиями главным образом на званых обедах, называют ее «великолепным экземпляром», и признавая себя таковым, она вполне могла обходиться без дочери. А мистер Подснеп, узнав, где Джорджиана проводит время, преисполнился благосклонности к супругам Лэмл. То, что они, не будучи в состоянии завладеть им, почтительно цеплялись за краешек его мантии; то, что они, не смея купаться в лучах солнца — в лучах самого мистера Подснепа,— довольствовались слабым отражением белесой луны — его дочери,— казалось ему совершенно естественным, понятным и правильным. Он оценил скромность супругов Лэмл и стал лучшего мнения о них, видя, как они дорожат таким знакомством. И вот Джорджиана уезжала к своей подруге, а мистер Подснеп отправлялся на один обед, на второй обед, на третий обед, выступая под руку с миссис Подснеп и осаживая своим упрямым подбородком воротник и галстук с таким видом, словно он наигрывал на свирели триумфальный марш в собственную честь: «Бейте в бубны и литавры! Подснеп пожинает лавры!»

Характеру мистера Подснепа была свойственна одна особенность (особенность эта в той или иной форме плавает и в глубинах и на отмелях подснепизма): он не переносил даже намека на пренебрежительное отношение к своим друзьям и знакомым. «Как вы смеете! — казалось, говорил в таких случаях мистер Подснеп.— Что это значит! Я одобряю этого человека. Этот человек аттестован мною. Поднимая руку на этого человека, вы поднимаете руку на меня, Подснепа Великого. Я не так уж пекусь о достоинстве этого человека, мне важно соблюсти достоинство Подснепа». И, следовательно, если б кто-нибудь осмелился сомневаться при нем в Лэмлах, он почувствовал бы себя глубоко оскорбленным. В сущности говоря, таких скептиков и не находилось, ибо Ч. П. Вениринг — весьма солидный авторитет — утверждал, что они люди состоятельные, и, возможно, верил этому сам. А, собственно, почему бы ему и не верить, если он попросту ничего о них не знал?

Мистер и миссис Лэмл считали свой дом на Сэквил-стрит, Пикадилли, временной резиденцией. Покуда мистер

Лэмл жил холостяком, говорили они друзьям, этот дом вполне устраивал его, но теперь он им не годится. И они подыскивали себе роскошный особняк в самой фешенебельной части города и вот-вот готовы были снять или купить такой особняк, но почему-то не доводили дела до конца. Тем самым супруги Лэмл мало-помалу создали себе блистательную репутацию. При виде какого-нибудь пустующего роскошного особняка их друзья говорили: «Вот что надо Лэмлам!» — и тут же писали Лэмлам письмо, и Лэмлы ездили смотреть эти особняки, но, к несчастью, в них всякий раз обнаруживался тот или иной изъян. Короче говоря, им пришлось испытать столько разочарований, что они уже начинали подумывать о постройке собственного роскошного особняка и тем самым создали себе еще одну блистательную репутацию, так как многие из их знакомых стали выражать недовольство своими домами и заранее завидовали несуществующему особняку Лэмлей.

Красивое убранство, красивая мебель в доме на Сэквил-стрит закрывали с головой его злого духа, и если шепоток: «Я здесь, в шкафу», кое-когда и пробивался сквозь толщу драпировок, то слышали его лишь немногие, и, во всяком случае, не мисс Подснеп. Чем особенно пленилась мисс Подснеп в этом доме, кроме обаятельности своей подруги, так это ее счастьем в семейной жизни, что служило постоянной темой их разговоров.

— Ах! — воскликнула однажды мисс Подснеп.— Мистер Лэмл будто не муж, а возлюбленный! По крайней мере мне так кажется.

— Джорджиана, душенька! — сказала миссис Лэмл, предостерегающе подняв палец.— Надо быть внимательнее.

— Ах, боже мой! — испугалась мисс Подснеп и залилась румянцем.— Опять я что-нибудь не так?

— Забыли? — Миссис Лэмл шутливо покачала головой.— Альфред! Альфред! Вам не разрешается называть его мистер Лэмл, Джорджиана.

— Хорошо, Альфред. Слава богу, что я чего-нибудь хуже не ляпнула. Мама всегда меня упрекает, что я говорю невпопад.

— Я упрекаю, Джорджиана?

— Нет, нет! Вы не мама. И как это жалко, что вы не моя мама!

Миссис Лэмл наградила свою приятельницу очаровательной, нежной улыбкой, и мисс Подснеп постаралась по мере сил и возможностей ответить ей тем же. Они сидели за завтраком в будуаре миссис Лэмл.

— Итак, моя дорогая Джорджиана, Альфред соответствует вашему идеальному представлению о возлюбленном?

— Нет, я хотела сказать совсем не то, Софрония,— ответила Джорджиана, не зная, куда девать свои локти.— Я вообще не имею ни малейшего понятия о том, каким должен быть возлюбленный. Ничтожества, которых мама подводит ко мне на балах только для того, чтобы терзать меня,— разве это возлюбленные? А мистер...

— Опять, Джорджиана?

— А ваш Альфред...

— Вот это уже лучше, милочка.

— ...так вас любит. Он всегда так к вам внимателен, так изысканно любезен. Ведь правда?

— Правда, милочка,— подтвердила миссис Лэмл с каким-то странным выражением лица.— Мне кажется, он любит меня не меньше, чем я его.

— Какое это счастье! — воскликнула мисс Подснеп.

— А знаете, моя дорогая Джорджиана,— после небольшой паузы снова заговорила миссис Лэмл.— В вашем восхищении Альфредом и его нежностью есть что-то подозрительное.

— Нет, нет! Боже упаси!

— Не наводит ли это на мысль,— лукаво продолжала миссис Лэмл,— что сердечко моей Джорджианы...

— Не надо! — вся вспыхнув, взмолилась Джорджиана.— Пожалуйста, не надо! Уверяю вас, Софрония, я восхваляю Альфреда только потому, что он ваш муж и так предан вам.

Во взгляде Софронии блеснул огонек, словно она узнала нечто новое для себя. Но этот огонек сменился холодной улыбкой, когда она заговорила, глядя в тарелку и высоко подняв брови:

— Вы не поняли моего намека, душенька. Я хотела сказать: сердечко моей Джорджианы начинает чувствовать, что оно свободно.

— Нет, нет! — воскликнула Джорджиана.— Никогда, ни за что не позволю, чтобы со мной так говорили!

— Как это «так», моя Джорджиана? — осведомилась миссис Лэмл, улыбаясь все той же холодной улыбкой и не поднимая глаз от тарелки.

— Ну, вы знаете,— ответила бедняжка.— Если б кто-нибудь осмелился так со мной говорить, Софрония, мне кажется, я сошла бы с ума от досады, стыда и ненависти. Я вижу, как вы и ваш муж нежны друг с другом, и с меня этого вполне достаточно. Вы — совсем другое дело. А если бы такое случилось со мной, не знаю, что бы я сделала! Я стала бы просить, умолять: выгоните этого человека вон, затопчите его ногами!

А вот и Альфред! Незаметно прокравшись в будуар, он с шутливой улыбкой прислонился к креслу Софронии, и когда мисс Подснеп увидела его, поднес к губам локон, выбившийся у Софронии из прически, а мисс Подснеп послал воздушный поцелуй.

— Что это тут за разговоры о мужьях и о ненависти? — спросил неотразимый Альфред.

— А вам известно, сэр,— сказала его жена,— что подслушивание до добра не доводит? Впрочем, о вас... Признайтесь, сэр, вы давно здесь?

— Только что вошел, мое сокровище.

— Тогда я могу продолжать. Но, поспев сюда минутой-двумя раньше, вы услышали бы, какие хвалы вам расточала Джорджиана.

— Не знаю, можно ли это назвать хвалами; по-моему, нет,— трепетным голосом пролепетала мисс Подснеп.— Ведь я говорю о вашей преданности Софронии.

— Софрония! — вполголоса сказал Альфред.— Жизнь моя! — и поцеловал ей руку, на что она ответила ему поцелуем в цепочку от часов.

— Кого же, однако, надо гнать вон и топтать ногами? Надеюсь, не меня? — осведомился Альфред, садясь между ними.

— Спросите Джорджиану, друг мой,— ответила его жена.

Альфред трогательно воззвал к Джорджиане.

— Да нет, никого,— сказала мисс Подснеп.— Это так, глупости.

— Но если уж вы, наш баловень, настолько любопытны и решили добиться правды,— с улыбкой проговорила счастливая, любящая Софрония,— то знайте, что речь шла о тех, кто осмелится вздыхать о Джорджиане.

— Софрония, ангел мой,— сказал мистер Лэмл, сразу сделав серьезное лицо.— Вы, разумеется, шутите?

— Альфред, ангел мой,— ответила его жена.— Джорджиана, может быть, и шутила, а я — нет.

— Подумать только! — воскликнул мистер Лэмл.— Какие бывают странные стечения обстоятельств. Можете поверить, мое сокровище? Ведь я шел сюда как раз с тем, чтобы рассказать вам об одном воздыхателе нашей Джорджианы!

— Альфред,— ответила миссис Лэмл,— я всегда верю каждому вашему слову.

— Дорогая моя! А я — вашему.

Сколько прелести было в этом обмене любезностями и во взглядах, которыми они сопровождались! Ах, если бы злой дух, загнанный на верхний этаж, воспользовался таким удобным случаем, чтобы крикнуть: «Я здесь, в шкафу! Задыхаюсь взаперти!»

— Клянусь вам честью, мое сокровище...

— Я знаю, как вы дорожите вашей честью, друг мой,— сказала Софрония.

— Разумеется, знаете, душенька... Клянусь честью, что, входя в комнату, я еще на пороге хотел произнести имя молодого Фледжби. Расскажите Джорджиане, душенька, о молодом Фледжби.

— Нет, нет! Не надо! — вскричала мисс Подснеп, затыкая уши.— Не хочу!

Миссис Лэмл рассмеялась весело-превесело, притянула к себе руки покорной Джорджианы и, то соединяя их, то разводя широко в стороны, заговорила:

— Так вот слушайте, моя обожаемая глупышка! Жил-был на свете юноша, а звали этого юношу Фледжби. И с этим молодым Фледжби, человеком богатым, из родовитой семьи, были хорошо знакомы двое людей, нежно привязанных друг к другу, а их звали мистер и миссис Альфред Лэмл. И вот однажды этот молодой Фледжби, сидя в театре, видит в ложе, занятой мистером и миссис Альфред Лэмл, некую героиню, звали которую...

— Только не Джорджиана Подснеп! — чуть ли не со слезами на глазах взмолилась наша юная девица.— Нет, нет, нет! Только не Джорджиана Подснеп! Пусть это будет кто-нибудь другой! Да, да, да!

— Не кто другой,— лукаво улыбнулась миссис Лэмл, продолжая с ласковой укоризной во взоре соединять и разводить руки Джорджианы, будто ножки циркуля.— Не кто другой, а моя маленькая Джорджиана Подснеп. И вот этот молодой Фледжби подходит к Альфреду Лэмлу и говорит...

— Пож-жалуйста, не надо! — взвизгнула Джорджиана так пронзительно, словно этот вопль выдавили из нее тяжелым прессом.— Я его ненавижу! Зачем он это говорит!

— Что «это», душенька? — смеясь, спросила миссис Лэмл.

— Не знаю! — в отчаянии вскрикнула Джорджиана.— Но все равно я его ненавижу!

— Душенька моя,— сказала миссис Лэмл, не переставая смеяться самым очаровательным образом.— Бедняга всего-навсего говорит, что он поражен в самое сердце и...

— Как же мне теперь быть! — перебила ее Джорджиана.— Боже мой, боже! Он, наверно, круглый дурак!

— ...и умоляет пригласить его к обеду и четвертым в ложу, когда мы поедем в театр. Итак, завтра он обедает у нас и едет вместе с нами в оперу. Вот и все. Впрочем, надо еще добавить, что он — только представьте себе это, милая моя Джорджиана! — он в тысячу раз застенчивее, чем вы, и боится вас так, как вам в жизни своей никого не приходилось бояться.

Взволнованная мисс Подснеп все еще никак не могла успокоиться и нервно пощипывала себе руки, но мысль, что кто-то боится ее, все же показалась ей очень забавной. Воспользовавшись этим, Софрония, на сей раз с бо̀льшим успехом, начала расточать комплименты своей маленькой Джорджиане и подшучивать над ней, а потом и льстивый Альфред начал расточать ей комплименты и подшучивать над ней и, наконец, пообещал по первому ее требованию выгнать молодого Фледжби вон и затоптать его ногами. Таким образом, они как бы условились между собой по-дружески, что молодой Фледжби придет покло-

няться Джорджиане, а Джорджиана придет и будет служить предметом поклонения. Джорджиана, упоенная новизной того, что предстояло ей в будущем, получила в настоящем множество поцелуев от своей обожаемой Софронии и, ведя за собой лакея, всегда провожавшего ее домой (олицетворение недовольства — ростом в шесть футов и один дюйм), отправилась восвояси.

Когда счастливая чета осталась наедине, миссис Лэмл сказала своему супругу:

— Если я правильно понимаю эту девицу, сэр, ваши опасные чары возымели некоторое действие. Считаю вполне своевременным засвидетельствовать вашу победу, так как полагаю, что вам гораздо важнее довести до конца задуманный план, чем польстить своему тщеславию.

На стене перед ними висело зеркало, и миссис Лэмл поймала там самодовольную улыбку мистера Лэмла. Она послала ему взглядом бездну презрения, и он получил его в зеркале сполна. Секунду спустя супруги как ни в чем не бывало посмотрели друг на друга, словно они не имели никакого отношения к выразительному действу, отраженному зеркалом.

Очень может статься, что, говоря с таким сарказмом о их несчастной маленькой жертве, миссис Лэмл пыталась хоть чем-то оправдать собственное поведение. Может статься также, что это ей не совсем удалось, ибо трудно противостоять, когда тебе оказывают доверие,— такое доверие, какое ей оказывала Джорджиана.

Счастливая супружеская чета не обменялась больше ни словом. По-видимому, заговорщикам, понимающим друг друга без лишних слов, не так уж приятно разглагольствовать о цели своего заговора. Пришел следующий день; пришла Джорджиана, и пришел Фледжби.

За последнее время Джорджиана уже успела присмотреться к дому Лэмлей и к его завсегдатаям. В нижнем этаже этого дома была прекрасно обставленная, окнами во двор, комната с бильярдным столом, которая могла бы служить мистеру Лэмлу кабинетом или библиотекой, но не называлась не так и не этак, а просто комнатой мистера Лэмла; и женской головке, даже более трезвой, чем у Джорджианы, трудно было бы определить, кто такие завсегдатаи этой комнаты — прожигатели жизни или дельцы.

У комнаты и у ее посетителей замечалось много сходных черт. И в ней и в них было что-то кричащее, вульгарное, и она и они были насквозь прокурены сигарами и уделяли слишком много внимания лошадям. Последнее особенно ярко проявлялось в убранстве комнаты и в разговорах гостей. Приятели мистера Лэмла, видимо, не мыслили себе существования без кровных рысаков — так же, как и без сделок, которые они заключали между собой точно цыгане, на ходу, с налету, в самые неурочные часы дня и ночи. Одни из его приятелей, казалось, только и знали, что пересекать Ламанш по делам, связанным с парижской биржей, с испанскими и греческими, индийскими и мексиканскими бумагами, с номиналом, лажем, дисконтом и с $^3/_4$ и $^7/_8$ дисконтного процента. Другие только и знали, что торчать в Сити по делам, связанным с парижской биржей, с испанскими и греческими, индийскими и мексиканскими бумагами, с номиналом, лажем, дисконтом и с $^3/_4$ и $^7/_8$ дисконтного процента. Все они были непоседливы, хвастливы, распущенны, все много ели и пили и делали еду и питье предметом бесконечных пари. Деньги служили вечной темой их разговоров, причем назывались только цифры — денежные знаки подразумевались сами собой, как, например: «Том — это все сорок пять», или: «Джон — по двести двадцать на каждой». В мире, по их понятиям, существовало только две категории людей — те, что наживали неслыханные состояния, и те, что терпели неслыханные банкротства. Они вечно куда-то спешили и все же казались бездельниками, за исключением двоих-троих (толстогубых, с астматическим дыханием), а эти, вооружившись карандашами в золотых футлярчиках и с трудом держа их пальцами, унизанными массивными перстнями, вечно поучали остальных, как надо наживать деньги. И, наконец, все они держались очень высокомерно со своими грумами, а грумы в свою очередь были не так почтительны, не так вышколены, как у других хозяев, и им не хватало самой малости, чтобы стать настоящими грумами, так же как их хозяевам не хватало самой малости, чтобы стать настоящими джентльменами.

Молодой Фледжби не принадлежал к их числу. Молодой Фледжби — нескладный белобрысый юнец с маленькими глазками, с нежными, как персик, щеками (точнее

говоря, щеки его напоминали одновременно и персик и ту кирпично-красную стену, по которой эти деревца стелются) — был на редкость худощав (враги назвали бы его тощим) и имел склонность к самообследованию на предмет бакенбард и усов. Проверяя на ощупь свою физиономию, не появилась ли на ней долгожданная растительность, Фледжби всякий раз испытывал сильнейшие колебания духа, охватывающие всю гамму чувств от полной уверенности до отчаяния. Бывали случаи, когда он начинал с возгласа: «Слава Юпитеру! Наконец-то!», а потом погружался в бездну уныния, качал головой и терял всякую надежду. Смотреть на Фледжби в такие минуты, когда он стоял, облокотясь на каминную доску, словно на урну с прахом его мечты и грустно подперев рукой щеку, которая никак не хотела дать ростки, было поистине тяжело.

Но сегодня Фледжби появился на Сэквил-стрит совсем в другом виде. Разряжённый в пух и прах, с шапокляком под мышкой, он закончил обследование щек, полный надежд, и в ожидании приезда мисс Подснеп болтал с миссис Лэмл о всяких пустяках. Подсмеиваясь над его пустяковыми способностями в этом отношении и некоторой судорожностью манер, друзья, по общему согласию, дали ему в шутку (разумеется, у него за спиной) лестное прозвище «Очаровательный Фледжби».

— Сегодня жарко, миссис Лэмл,— сказал Очаровательный Фледжби. По мнению миссис Лэмл, вчера было гораздо жарче.— Да, пожалуй,— согласился Очаровательный Фледжби, проявляя большую находчивость,— а завтра, наверно, будет несусветная жара.— Он высек из себя одну крохотную искорку: — Выезжали сегодня, миссис Лэмл?

Миссис Лэмл ответила, что выезжала, но ненадолго.

— Некоторые люди,— продолжал Очаровательный Фледжби,— любят подолгу ездить, и, по-моему, только зря стараются.

Будучи в таком ударе, он мог бы превзойти самого себя следующей репликой, но в эту минуту лакей доложил о приезде мисс Подснеп. Миссис Лэмл кинулась обнимать свою дорогую маленькую Джорджи и, когда первые восторги улеглись, представила ей мистера Фледжби. Мистер

Лэмл появился на сцене последним,— он всегда запаздывал, и приятели его тоже всегда запаздывали, но иначе и быть не могло, так как они ждали закулисных сведений о парижской бирже, об испанских и греческих, индийских и мексиканских бумагах, о номинале, лаже, дисконте и о $^{3}/_{4}$ и $^{7}/_{8}$ дисконтного процента.

Без всяких промедлений подали недурной обед; искрометный мистер Лэмл сидел во главе стола, а за спиной у него стоял лакей, а за спиной у лакея стояли вечные сомнения по поводу того, заплатят ему жалованье или нет. Сегодня мистеру Лэмлу приходилось пускать в ход всю свою искрометность, так как Очаровательный Фледжби и Джорджиана заразились друг от друга — не только немотой, но и чрезвычайной странностью телодвижений. Джорджиана, сидя напротив Фледжби, прилагала неимоверные усилия, чтобы спрятать свои локти, что было совершенно несовместимо с употреблением ножа и вилки, а Фледжби, сидя напротив Джорджианы, старался всеми доступными ему средствами избегать ее взгляда и выдавал свою растерянность тем, что нащупывал несуществующие бакенбарды ложкой, винным бокалом и куском хлеба.

Вследствие всего этого мистеру и миссис Альфред Лэмл приходилось суфлировать им, и вот как они суфлировали:

— Джорджиана,— негромко начал мистер Лэмл, искрясь с головы до пят, точно арлекин, и вкрадчиво улыбаясь,— вы сегодня не такая, как всегда. Почему вы сегодня не такая, как всегда, Джорджиана?

Джорджиана пролепетала, что она сегодня самая обыкновенная. Она ничего особенного за собой не замечает.

— Не замечаете, моя дорогая Джорджиана? — воскликнул мистер Альфред Лэмл.— С вами было так приятно отдохнуть душой от толпы, где все на одно лицо! Вы всегда держались так естественно! Вы олицетворяли мягкость, простоту и неподдельность чувств!

Мисс Подснеп в смятении посмотрела на дверь, видимо соображая, не спастись ли ей бегством от этих комплиментов.

— Сейчас спросим,— мистер Лэмл повысил голос,— что думает по этому поводу мой друг Фледжби?

— Не надо! — чуть слышно взмолилась мисс Подснеп, но тут суфлерскую тетрадку взяла миссис Лэмл.

— Простите меня, Альфред, я еще не могу отпустить мистера Фледжби. Вам придется потерпеть минутку, мой милый. Мы с мистером Фледжби говорим по душам.

Фледжби, вероятно, вел свою часть беседы с неподражаемым искусством, так как уста его не произносили ни единого слова.

— Вы говорите по душам, Софрония? О чем же, моя дорогая? Фледжби, я ревную! О чем, Фледжби?

— Сказать ему, мистер Фледжби? — спросила миссис Лэмл.

Сделав вид, будто он и в самом деле что-то понимает, Очаровательный ответил:

— Да. Скажите.

— Хорошо. Мы говорили о том, если уж вам непременно нужно это знать, Альфред, что мистер Фледжби сегодня не такой, как всегда.

— Да ведь тот же вопрос я задал Джорджиане о ней самой! Что же ответил Фледжби, Софрония?

— Так я вам и скажу, сэр! Вы сами молчите, а меня расспрашиваете! Что ответила Джорджиана?

— Джорджиана уверяет, что она ведет себя как обычно, а я уверяю, что нет.

— То же самое,— воскликнула миссис Лэмл,— я сказала мистеру Фледжби!

И все-таки дело не шло на лад. Джорджиана и Фледжби не желали смотреть друг на друга — даже тогда, когда их искрометный хозяин предложил, чтобы они все вчетвером выпили по бокалу столь же искрометного вина. Поднимая глаза от своего бокала, Джорджиана смотрела на мистера Лэмла и на миссис Лэмл и была не в силах, не могла, не хотела, не желала посмотреть на мистера Фледжби. Поднимая глаза от своего бокала, Очаровательный смотрел на миссис Лэмл и на мистера Лэмла и был не в силах, не мог, не хотел, не желал посмотреть на Джорджиану.

Требовалось дальнейшее суфлирование. Купидона следовало подстегнуть. Поскольку директор труппы дал ему роль в спектакле, он был обязан сыграть ее.

— Софрония, дорогая моя,— сказал мистер Лэмл,— мне не нравится цвет вашего платья.

— Я взываю о поддержке к мистеру Фледжби,— сказала миссис Лэмл.

— А я,— сказал мистер Лэмл,— к Джорджиане.

— Джорджи, душенька,— вполголоса проговорила миссис Лэмл, обращаясь к своей любимице,— я надеюсь, вы не перейдете в лагерь оппозиции? Ну-с, мистер Фледжби?

Очаровательный осведомился, как называется этот цвет, не розовый ли? Да, подтвердила миссис Лэмл. Оказывается, он все знает! Самый настоящий розовый. Очаровательный высказал предположение, что розовый цвет это цвет розы. (Мистер и миссис Лэмл горячо поддержали его.) Очаровательный слыхал, будто розу называют царицей цветов. Значит, это платье можно назвать царским. «Браво, Фледжби!» (восклицание мистера Лэмла). Однако же мнение Очаровательного свелось к тому, что у всех у нас есть глаза — по крайней мере у большинства они есть... и... и... Дальше послышалось еще несколько «и», за которыми так ничего и не последовало.

— Ах, мистер Фледжби! — сказала миссис Лэмл.— Какое предательство! Вы отступились от моего бедного розового платьица и перешли на сторону голубого!

— Победа, победа! — воскликнул мистер Лэмл.— Ваше платье забраковано, моя дорогая!

— А что,— сказала миссис Лэмл, нежно касаясь руки своей любимицы,— что говорит по этому поводу Джорджи?

— Джорджи говорит,— ответил за мисс Подснеп мистер Лэмл,— что вам, Софрония, любой цвет к лицу, а если б она могла предвидеть столь милый, хоть и смутивший ее комплимент, платье на ней было бы другое. Нет, Джорджи, это вас не спасло бы, говорю я, ибо как бы вы ни нарядились, Фледжби все равно провозгласит цвет вашего платья своим любимым цветом. А что говорит сам Фледжби?

— Он говорит,— отвечала за мистера Фледжби миссис Лэмл и погладила своей любимице руку (тоже за мистера Фледжби).— Он говорит, что это вовсе не комплимент, а естественная дань восхищения, вырвавшаяся у него невольно. И он прав,— добавила она с еще большим

пылом, навязывая Фледжби и этот пыл.— Тысячу раз прав!

И все-таки даже теперь они не желали смотреть друг на друга. Мистер Лэмл, казалось, заскрежетал своими искрометными зубами, запонками, глазами, пуговицами — всем сразу, и бросил на эту парочку злобный взгляд из-под насупленных бровей, выражающий сильное желание стукнуть их лбами и таким образом заставить сойтись поближе.

— Вы уже слышали эту оперу, Фледжби? — спросил он и осекся, чтобы не буркнуть: «Черт вас подери!»

— Да как будто нет,— ответил Фледжби.— По правде говоря, я понятия не имею, что это за опера.

— И вы тоже, Джорджи? — спросила миссис Лэмл.

— Т-тоже,— чуть слышно пролепетала Джорджиана, потрясенная таким совпадением.

— Так, значит...— воскликнула миссис Лэмл в восторге от важного открытия, поступившего в ее распоряжение.— Значит, вы оба ее не слышали? Превосходно!

Это проняло даже малодушного Фледжби, и он почувствовал, что ему следует сделать решительный шаг. И он сделал его, сказав не то миссис Лэмл, не то окружающему воздуху:

— Я счастлив, что мне суждено...

Так как он замер на полуслове, мистер Лэмл собрал в кулак свои рыжие бакенбарды и, выглянув из-за них, словно из-за куста, подсказал ему:

— Роком?

— Да нет,— промямлил Фледжби,— не роком, а судьбой. Я счастлив, что судьба начертала в книге... ну, в той самой книге, которая у нее есть... что я впервые буду слушать эту оперу при столь памятных обстоятельствах, то есть в обществе мисс Подснеп.

На что Джорджиана ответила, зацепив мизинец за мизинец и обращаясь к скатерти:

— Благодарю вас, обычно я хожу в оперу только с вами, Софрония, и очень этому рада.

Волей-неволей удовлетворившись и таким скромным успехом, мистер Лэмл вывел мисс Подснеп из столовой, точно открыл ей дверцу клетки, а миссис Лэмл последовала за ними. Когда наверху подали кофе, мистер Лэмл не

спускал глаз с молодого Фледжби, и лишь только мисс Подснеп допила свою чашку, показал этому юному джентльмену пальцем (как глупому сеттеру), чтобы он принял ее. Требуемый от него подвиг мистер Фледжби совершил с успехом и даже приукрасил его по собственному почину, сообщив мисс Подснеп, что зеленый чай считается вредным для нервов. Однако мисс Подснеп совершенно непредумышленно ошеломила его вопросом: «Разве? А почему?» Мистер Фледжби замялся и ничего толком ответить не мог.

Доложили, что карета подана, и миссис Лэмл сказала:

— Не беспокойтесь, мистер Фледжби, у меня обе руки заняты, дай бог справиться с юбками и накидкой, ведите мисс Подснеп.— И Фледжби повел мисс Подснеп под руку, миссис Лэмл отправилась за ними, а мистер Лэмл, точно погонщик, шествовал последним, злобно поглядывая на свое маленькое стадо.

Однако в опере он снова засиял и заискрился и с помощью своей обожаемой супруги весьма искусно и ловко управлял разговором между Фледжби и Джорджианой. Они сидели в ложе так: миссис Лэмл, Очаровательный Фледжби, Джорджиана, мистер Лэмл. Миссис Лэмл задавала Фледжби наводящие вопросы, которые требовали односложных ответов. Мистер Лэмл проделывал то же самое с Джорджианой. Время от времени миссис Лэмл наклонялась к мистеру Лэмлу и говорила:

— Альфред, дорогой мой, мистер Фледжби совершенно справедливо заметил по поводу последней сцены, что истинной верности не нужно такое поощрение, какое, видимо, считается необходимым в опере.— На что мистер Лэмл отвечал: — Да, моя дорогая Софрония! Но Джорджиана говорит правильно: откуда героиня могла догадаться о чувствах героя? — На что миссис Лэмл возражала: — Совершенно верно, Альфред, но мистер Фледжби утверждает... то-то и то-то.— На что Альфред говорил: — Без сомнения, Софрония, но Джорджиана тонко подметила... то-то и то-то.— Таким образом молодой человек и молодая девица разговаривали довольно долго и изливались в тонких чувствах, ухитрившись ни разу не открыть рта, разве лишь, чтобы произнести да или нет, и то обращаясь к своим суфлерам, а не друг к другу.

Мистер Фледжби простился с мисс Подснеп у дверцы кареты. Лэмлы подвезли ее домой, и дорогой миссис Лэмл лукаво подтрунивала над ней, восклицая покровительственно нежным тоном: «Ах, моя маленькая Джорджиана! Моя маленькая Джорджиана!» Восклицания эти были немногословны, но под ними подразумевалось: «Вы покорили молодого Фледжби!»

Наконец супруги Лэмл вернулись к себе. Супруга — утомленная, хмурая — села в кресла и уставилась на своего мрачного повелителя, который схватил за горло бутылку с содовой и, точно свернув шею какому-то горемыке, стал пить его кровь. Вытирая мокрые усы с кровожадностью людоеда, он поймал на себе взгляд супруги, выжидающе помолчал и буркнул не слишком любезно:

— Ну, что?

— Неужели нельзя было найти кого-нибудь поумнее, а не этого олуха?

— Я знаю, что делаю. Не такой уж он олух, как вы полагаете.

— Уж не гений ли?

— Вы, кажется, изволите насмехаться? И вы, кажется, изволите смотреть на меня сверху вниз? Так знайте же: этот молодчик умеет блюсти свои интересы. Это сущая пиявка. Когда дело касается денег, этот молодчик под стать дьяволу.

— И вам тоже?

— Да. Почти в той же мере, в какой вы считали меня под стать себе. Он показался вам дурашливым юнцом сегодня, но на том его дурашливость и кончается. Там, где речь идет о деньгах, он далеко не олух. Что до всего прочего, то большего болвана, пожалуй, не найдешь, хотя его единственной цели в жизни это не вредит.

— А у этой девицы есть деньги, которыми она сможет распоряжаться?

— Да, у этой девицы есть деньги, которыми она сможет распоряжаться. Вы сегодня так хорошо потрудились, Софрония, что я отвечаю на ваш вопрос, хотя, как вам известно, такие вопросы обычно мне не нравятся. Вы сегодня так хорошо потрудились, Софрония, что, вероятно, устали. Ложитесь-ка спать.

ГЛАВА V

Меркурий суфлирует сам

Фледжби вполне заслуживал похвалу мистера Альфреда Лэмла. Это был самый подлый щенок из тех, что разгуливают на двух ногах. Инстинкт (понятие для всех нас ясное) ходит преимущественно на четырех ногах, а разум не иначе как на двух,— следовательно, подлости, поставленной на четыре ноги, никогда не достичь совершенства подлости двуногой.

Отец этого юного джентльмена давал деньги в рост и совершал деловые операции с матерью этого юного джентльмена в те времена, когда последний только еще дожидался в огромном, объятом тьмой преддверии нашего мира дня и часа своего рождения. Вдовствующая леди, не будучи в состоянии расплатиться с ростовщиком, вышла за него замуж, и в положенное время Фледжби был призван из огромного, объятого тьмой преддверия нашего мира пред лицо регистратора с книгой метрических записей. Если б не этот случай, любопытно было бы знать, как бы Фледжби распорядился своим досугом в веках, отделяющих нас от второго пришествия?

Мать Фледжби нанесла оскорбление своей родне браком с отцом Фледжби. Нет ничего легче, как оскорбить свою родню, если ваша родня хочет от вас отделаться. Родня матери Фледжби, считавшая раньше крайне оскорбительной для себя ее бедность, порвала окончательно с нею, когда она стала сравнительно богата. Мать Фледжби была из рода Снигсвортов. Она даже имела честь состоять в родстве с самим лордом Снигсвортом — настолько отдаленном, что этот вельможа мог бы без всяких угрызений совести отдалить ее еще больше и совсем вычеркнуть из родословной,— но все же она состояла с ним в родстве.

Среди прочих операций, совершенных отцом Фледжби и матерью Фледжби еще до брака, была ссуда, полученная последней на весьма невыгодных для нее условиях. Срок возврата этой ссуды истек вскоре после свадьбы, и отец Фледжби завладел всеми деньгами матери

Фледжби для своего только личного блага. Это привело супругов к постоянному обмену мнениями, вернее, к обмену досками от триктрака *, машинками для снимания сапог и другими метательными снарядами из домашнего обихода, а это в свою очередь привело к тому, что мать Фледжби весьма успешно сорила деньгами, а отец Фледжби весьма неуспешно старался обуздать ее. Ввиду всего вышеизложенного, детство Фледжби протекало бурно, однако штормы и валы в конце концов сошли в могилу, и теперь Фледжби процветал в одиночестве.

Наш молодой Фледжби снимал квартиру в Олбени (не где-нибудь, а в Олбени! *) и одевался весьма щеголевато. Однако вместо юношеской пылкости в нем горел холодный деляческий огонь; огонь этот, как известно, дает больше искр, чем настоящего тепла, и требует много топлива, но Фледжби не зевал и поддерживал его тщательно.

Мистер Альфред Лэмл приехал в Олбени позавтракать в обществе Фледжби. На столе были следующие предметы: маленький чайник, маленькая булка, два маленьких кружочка масла, два маленьких ломтика бекона, два до жалости маленьких яйца и обилие великолепного фарфора, купленного по случаю, за бесценок.

— Ну, что вы скажете о Джорджиане? — спросил мистер Лэмл.

— Должен вам признаться...— в раздумье начал Фледжби.

— Признавайтесь, дружище, признавайтесь!

— Вы меня не поняли. Я не в этом хотел признаться, а совсем в другом.

— Да в чем угодно, голубчик!

— Вот вы опять меня не поняли,— сказал Фледжби.— Я хотел признаться, что не собираюсь с вами об этом говорить.

Мистер Лэмл весь так и заискрился, но в то же время нахмурил брови.

— Слушайте, Лэмл,— продолжал Фледжби.— Вы большой хитрец и за словом в карман не лазите. Можно ли назвать меня хитрецом, это не важно, а вот словоохотливостью я не отличаюсь. Зато во мне есть одно хорошее качество, Лэмл: я умею держать язык за зубами. И намерен поступать так и впредь.

— А вы сметливый, Фледжби!

— Сметливый? Не знаю. Скажите лучше, молчаливый. Одно другого стоит. Поэтому, Лэмл, вы меня лучше ни о чем не расспрашивайте.

— Голубчик, да проще моего вопроса быть ничего не может!

— Все равно. Он прост только на первый взгляд, а по первому взгляду судить не всегда рекомендуется. Я недавно слышал, как в Вестминстер-Холле * допрашивали одного свидетеля. Вопросы ему задавали, казалось бы, самые простенькие, а когда он на них ответил, выяснилось, что они с подковыркой. Вот так-то! Значит, этому свидетелю надо было держать язык за зубами. Держал бы он язык за зубами и не попал бы в такую передрягу.

— Если бы я тоже держал язык за зубами, вы никогда бы не увидели девицы, о которой я спрашиваю,— помрачнев, заметил Лэмл.

— Нет, Лэмл,— сказал Очаровательный Фледжби, преспокойно ощупывая пушок на щеках,— ничего у вас не получится. Меня в спор не втянешь. Я спорить не мастер. А держать язык за зубами умею.

— Умеете? Еще как умеете! — Мистер Лэмл решил умилостивить его.— Вот, например, мы с вами выпиваем в большой компании. Чем больше вино развязывает язык нашим собутыльникам, тем вы становитесь молчаливее. Чем больше они выбалтывают, тем больше вы утаиваете.

— Понимать себя я разрешаю, Лэмл,— сказал Фледжби, хмыкнув,— а расспрашивать — нет. Да, вы правы, я веду себя именно так.

— Мы обсуждаем свои дела вслух, а о ваших никто из нас не знает.

— И от меня никогда не узнаете, Лэмл,— ответил Фледжби, снова хмыкнув.— Да, да, вы правы, я веду себя именно так.

— Именно так! — воскликнул Лэмл якобы в порыве откровенности и со смехом протянул руки вперед, показывая всему миру, какой редкостный человек этот Фледжби.— Если б я не знал моего Фледжби, неужели мне пришло бы на ум заключать с моим Фледжби некий выгодный договор?

— Гм! — Очаровательный Фледжби с хитрым видом покачал головой.— Нет, на эту удочку меня не поймаешь. Я человек не тщеславный. Тщеславие плохо окупается. Нет, нет, нет! Когда мне расточают комплименты, я еще крепче держу язык за зубами.

Альфред Лэмл отодвинул от себя тарелку (не такая уж большая жертва с его стороны, потому что на ней не так уж много всего было), засунул руки в карманы, откинулся на спинку стула и молча уставился на Фледжби. Через минуту он вынул из кармана левую руку и, собрав свои рыжие заросли в кулак, продолжал все так же молча смотреть на Фледжби. Потом сказал медленно, отчеканивая каждое слово:

— Какого — черта — этот — молодчик сегодня ломается?

— Слушайте, Лэмл,— проговорил Очаровательный Фледжби, подло щуря свои подлые глазки, сидевшие, кстати сказать, у самой переносицы.— Слушайте, Лэмл! Я прекрасно понимаю, что мне не удалось блеснуть вчера вечером так, как блистали вы с вашей супругой, которую я считаю женщиной чрезвычайно умной и обходительной. Где мне блистать рядом с вами. Я прекрасно знаю, что вы оба выказали себя с наилучшей стороны и прямо-таки отличились. Но если вам кажется, будто после этого со мной можно разговаривать таким тоном, то вы ошибаетесь. Я не кукла и не марионетка.

— И все это только из-за того,— возопил Альфред, вдоволь налюбовавшись подлостью, которая охотно прибегала к помощи подлецов, а теперь подло отказывалась от нее,— все это только из-за того, что я осмелился задать самый простой и самый естественный вопрос!

— Вам следовало подождать, когда я сам найду нужным заговорить об этом. И нечего навязываться ко мне со своими Джорджианами, будто они перешли к вам в полную собственность, а в придачу к ним и я.

— Хорошо. Когда вам заблагорассудится изъясниться по этому поводу,— проговорил Лэмл,— я к вашим услугам.

— Я уже изъяснился. Сказал, что вы прямо-таки отличились. И вы и ваша жена. И если вы и впредь будете так отличаться, я сделаю все от меня зависящее. Только не хвалитесь попусту.

— Я хвалюсь? — воскликнул Лэмл, пожимая плечами.

— И не воображайте,— продолжал его собеседник,— будто людьми можно вертеть, как марионетками, только потому, что в некоторых случаях жизни им не удается блеснуть, тогда как у вас это получается превосходно с помощью вашей умной и обходительной супруги. Значит, продолжайте в том же духе, и пусть миссис Лэмл продолжает в том же духе. Вот так-то! Когда я считал нужным, я держал язык за зубами, а когда надо было сказать что-то, я сказал и поставил на этом точку. А теперь,— с величайшей неохотой добавил Фледжби,— решайте, будете вы есть второе яйцо или нет.

— Не буду,— коротко ответил Лэмл.

— Правильно, а то как бы не пожалеть потом,— сказал Очаровательный, сразу повеселев.— Предлагать вам второй ломтик бекона было бы бессмысленным угодничеством с моей стороны, потому что вас замучает жажда. А хлеб с маслом будете?

— Не буду,— повторил Лэмл.

— А я буду,— сказал Очаровательный. И в этом шутливом подхвате реплики Лэмла прозвучала радость, так как если бы гость опять приналег на булку, Фледжби счел бы необходимым воздержаться от употребления хлеба до конца завтрака, а то и за обедом.

Ухитрялся ли этот молодой джентльмен (ведь ему было всего двадцать три года) сочетать в своей натуре стариковский порок — скаредность, с расточительностью, пороком, свойственным молодежи, загадка трудно разрешимая, так как проникнуть в его тайны было невозможно. Он понимал, что приличная внешность — это надежное капиталовложение, и любил хорошо одеваться. Однако все его движимое имущество, начиная с сюртука на плечах и кончая фарфором, который украшал его стол, покупалось по случаю, за бесценок, и каждая такая покупка, свидетельствуя о чьем-то разорении или чьем-то просчете, имела для Фледжби особую прелесть. Из-за скупости он играл на скачках очень осторожно, и если ему везло, становился еще прижимистее в делах, если же нет — морил себя голодом до следующего выигрыша. Странно, что деньги имели такую притягательную силу

для этого осла, неспособного по своей тупости и скупости тратить их с большей пользой. Но кто во всем животном царстве так любит навьючивать на себя деньги? Конечно, осел, который не видит иных начертаний на небе и на земле, кроме трех сухих букв «Ф. Ш. П.», означающих не «фешенебельность, шик, пороки», как это бывает сплошь и рядом, а всего лишь «фунты, шиллинги, пенсы». Лисы тоже большие стяжательницы, но не всякая лиса сравняется в стяжательстве с ослом.

Очаровательный Фледжби выдавал себя за молодого джентльмена со средствами, но на самом деле он разбойничал на бирже в качестве маклера и давал деньги в рост под высокие проценты. Во всех его знакомых, включая сюда и мистера Лэмла, было что-то разбойничье, так как все они пошаливали в веселой зеленой дубраве мошенничества, начинающейся на окраинах Сити и на Фондовой бирже.

— А вы, Лэмл,— сказал Фледжби, уписывая хлеб с маслом,— наверно, всегда были дамским угодником.

— Всегда,— ответил Лэмл, заметно помрачневший после недавней отповеди.

— Вам это ничего не стоит, правда? — продолжал Фледжби.

— Я имею честь нравиться прекрасному полу, сэр,— проговорил Лэмл, хоть и хмуро, но с видом человека, который в таких вещах не волен.

— И женились тоже удачно? — спросил Фледжби.

Лэмл улыбнулся (злобной улыбкой) и щелкнул себя по носу.

— Мой покойный родитель попал впросак с женитьбой,— сказал Фледжби.— Но Джор... как ее правильно — Джорджина или Джорджиана?

— Джорджиана.

— А я вчера все удивлялся, какое странное имя! Первый раз такое слышу. По-моему, оно должно кончаться на «ина».

— Почему?

— Да потому что музыкальный инструмент, на котором играешь,— конечно, если умеешь играть,— называется окарина,— заговорил Фледжби, медленно ворочая мозгами.— А болезнь, которой болеют,— конечно, когда

заразятся,— называется скарлатина. А с воздушного шара прыгаешь с парашюти... нет, не то. Так вот, эта Джорджетта... то есть Джорджиана...

— Вы хотели что-то сказать о Джорджиане,— недовольным тоном напомнил ему Лэмл, так и не дождавшись продолжения.

— Я хотел сказать о Джорджиане, сэр,— заговорил Фледжби, рассерженный намеком на свою забывчивость,— что она как будто не очень напористая. Не из тех, которые берут приступом.

— Она кротка, как голубица, мистер Фледжби.

— Ну, разумеется, что же вы еще можете сказать! — огрызнулся Фледжби, немедленно ставший на стражу своих интересов.— Но пусть будет так: говорю я, а слушаете — вы. А я говорю, имея перед глазами пример моего покойного родителя и моей покойной родительницы, что Джорджиана, кажется, не из тех, которые берут приступом.

Уважаемый мистер Лэмл был наглец и по природе своей, и по всем навыкам. Видя, как Фледжби смелеет все больше и больше, он понял, что заискиванием тут ничего не добьешься, и грозно уставился в маленькие глазки своего хозяина, пробуя, не подействует ли на него иное обращение. Удовлетворенный ответом, полученным от этих маленьких глазок, он пришел в бешенство и с такой силой ударил кулаком по столу, что посуда на нем задребезжала и пустилась в пляс.

— Вы слишком много себе позволяете, сэр! — крикнул мистер Лэмл, поднимаясь со стула.— Вы дерзкий негодяй! Как прикажете понимать ваше поведение?

— Слушайте,— запротестовал Фледжби.— Перестаньте буянить!

— Вы слишком много себе позволяете, сэр! — повторил мистер Лэмл.— Вы дерзкий негодяй!

— Да нет, слушайте! — взывал к нему Фледжби, сдавая позиции.

— Вы низкая, грубая скотина! — гремел мистер Лэмл, свирепо озираясь по сторонам.— Вы бы у меня получили хорошего пинка в зад, если бы ваш лакей дал мне шесть пенсов из хозяйских денег, чтобы я почистил потом сапоги,— потому что на вас и тратиться-то жалко!

— Нет, нет! — взмолился Фледжби.— Что вы говорите! Одумайтесь!

— Слушайте, мистер Фледжби,— сказал Лэмл, надвигаясь на него.— Поскольку вы осмеливаетесь перечить мне, я вам сейчас покажу, с кем вы имеете дело. Позвольте мне ваш нос!

Но Фледжби прикрыл нос ладонью и пробормотал, пятясь назад:

— Нет, пожалуйста, не надо!

— Позвольте мне ваш нос! — повторил Лэмл.

Все еще прикрывая эту часть своего лица ладонью и пятясь назад, мистер Фледжби твердил (по-видимому, схватив сильный насморк):

— Нед! Божалуйста, не дадо!

— И этот молокосос,— воскликнул Лэмл, останавливаясь и самым внушительным образом выпячивая грудь,— этот молокосос позволяет себе кривляться передо мной, тогда как я, из всех известных мне молокососов, одному ему предложил воспользоваться такой блестящей возможностью! Этот молокосос позволяет себе зазнаваться только потому, что у меня, в ящике письменного стола, лежит документ, написанный его грязной рукой,— его обязательство выдать мне мизерную сумму в уплату за одно событие, которое может свершиться только с моей помощью и с помощью моей жены. Этот молокосос, этот Фледжби, осмеливается дерзить мне, Лэмлу! Позвольте ваш нос, сударь!

— Нет! Стойте! Я прошу прощения! — униженно пролепетал Фледжби.

— Что вы сказали, сэр? — спросил мистер Лэмл, прикидываясь, будто ярость затуманила ему рассудок.

— Я прошу прощения,— повторил Фледжби.

— Громче, сэр! Кровь бросилась мне в голову от справедливого негодования. Я вас не слышу.

— Я сказал,— из учтивости Фледжби подчеркивал каждое слово,— прошу — прощения.

Мистер Лэмл выдержал паузу.

— Будучи джентльменом и человеком чести,— проговорил он, бросаясь в кресло,— я складываю оружие.

Мистер Фледжби, хоть и не так эффектно, но тоже сел в кресло и медленно, постепенно отнял руку от носа.

Чувство скромности помешало ему высморкаться сразу после того, как эта часть его лица удостоилась чуть ли не всенародного внимания. Впрочем, мало-помалу он преодолел свою нерешительность и позволил себе такую вольность.

— Лэмл,— залебезил мистер Фледжби, высморкавшись.— Надеюсь, мы с вами снова друзья?

— Мистер Фледжби,— провозгласил Лэмл,— ни слова больше.

— Я, кажется, слишком уж разошелся,— сказал Фледжби,— но это не намеренно.

— Ни слова, ни слова больше! — величественным тоном повторил мистер Лэмл.— Позвольте...— Фледжби вздрогнул.— Позвольте вашу руку.

Последовал обмен рукопожатиями и всяческими любезностями, в особенности со стороны мистера Лэмла, который был таким же трусом, как и Фледжби, и наравне с ним подвергался опасности навсегда проиграть борьбу за первенство в их отношениях. Впрочем, он вовремя собрался с духом и сумел использовать сведения, прочтенные в глазах своего собеседника.

К концу завтрака между ними установилось полное взаимопонимание. Было условлено, что мистер и миссис Лэмл продолжат свои махинации, будут ухаживать вместо Фледжби и обеспечат ему победу. Он же, со своей стороны, смиренно признавшись в нехватке светской любезности, умолял, чтобы его искусные помощники оказали ему всяческую поддержку.

Мог ли мистер Подснеп подозревать, какие козни плетутся вокруг его Молодой особы, какие капканы расставлены на ее пути! Он полагал, что его Молодая особа живет в покое и безопасности в храме подснепизма, выжидая того часа, когда она, Джорджиана, сочетается браком с избранником Подснепа, который предоставит ей пользоваться и владеть его достоянием нераздельно с ним. Молодую особу мистера Подснепа бросило бы в краску при одной только мысли, что можно иметь другие соображения по этому поводу, а не идти замуж за того, кого ей укажут, и, согласно брачному контракту, нераздельно с ним пользоваться и владеть его достоянием. Кто отдает эту женщину в жены этому мужчине? Я, Подснеп. И да

зачахнет в корне дерзновенное помышление, будто какое-либо иное, низшее существо может стать между нами!

День был субботний, а Фледжби смог выйти из дому, восстановив наперед бодрость духа и обычную температуру носа, только после полудня. Шагая по направлению к Сити, он двигался навстречу людскому потоку, выливавшемуся оттуда, и на Сент-Мэри-Экс попал лишь тогда, когда эта улица совсем обезлюдела и притихла. В нависшем над мостовой светло-желтом доме, около которого Фледжби задержал шаги, тоже стояла полная тишина. Шторы наверху были спущены, и дощечка с надписью «Пабси и К⁰» словно дремала за стеклом конторы в нижнем этаже, смотревшей своим единственным оком на сонную улицу.

Фледжби постучал, позвонил, Фледжби позвонил, постучал, но дверь ему не открывали.

Фледжби пересек узкую улочку и посмотрел на окна верхнего этажа, но оттуда никто не посмотрел на Фледжби. Он рассердился, снова пересек узкую улочку и, видимо вспомнив о своих недавних испытаниях, дернул за ручку звонка, будто это был нос у дома. Ухо, прижатое к замочной скважине, уверило его наконец, что внутри кто-то есть. Взгляд, устремленный в замочную скважину, вероятно, подтвердил показания уха, так как Фледжби сердито дернул дом за нос и дергал и дергал его до тех пор, пока в темном дверном проеме не появился нос, но уже человеческий.

— Эй вы, сударь! — крикнул Фледжби.— Это что за шутки?

Его слова относились к еврею в старомодном длиннополом лапсердаке с глубокими карманами —к почтенному старцу с большой блестящей лысиной, окаймленной длинными седыми волосами, переплетающимися с бородой; к старцу, который приветствовал его по-восточному учтиво, склонив голову и протянув руки ладонями вниз, словно стараясь этим исполненным благородства движением умилостивить своего разгневанного властелина.

— Как прикажете понимать ваше поведение? — бушевал Фледжби.

— Добрый хозяин,— отвечал старик.— Сегодня праздник, я никого не ждал.

— К черту праздники! — крикнул Фледжби, входя в дом.— Тебе-то что за дело до наших праздников! Запри дверь.

Старик повиновался, снова склонив голову. В передней за дверью висела его ветхая широкополая шляпа с низкой тульей, такая же старомодная, как и лапсердак; в углу стоял его посох — не палка, а настоящий посох. Фледжби вошел в контору, взобрался на высокую табуретку и сдвинул шляпу набекрень. По стенам конторы были развешаны нитки стекляруса, на полках стояли небольшие ящики, дешевые часы, дешевые цветочные вазы — все иноземный товар.

Фледжби в заломленной набекрень шляпе сидел на табурете, болтая ногой, и молодость его явно проигрывала по сравнению со старостью еврея, который стоял, склонив непокрытую голову, и поднимал глаза на хозяина лишь тогда, когда тот спрашивал его о чем-нибудь. Одежда на старике была такая же ветхая, как и шляпа, висевшая в передней, но, несмотря на свой убогий вид, он не вызывал к себе неприязненного чувства. А в молодом Фледжби, хоть и щеголевато одетом, было что-то мерзкое.

— Вы, сударь, так и не объяснили мне, что значит ваше поведение,— сказал Фледжби, почесывая голову полями шляпы.

— Хозяин, я пошел подышать воздухом.

— Уж не в погребе ли, где ничего не слышно!

— На крыше.

— Вот это я понимаю! Так-то ты печешься о деле!

— Хозяин,— серьезно и терпеливо отвечал старик,— для каждой сделки требуется по крайней мере два человека, а сегодня праздник, и я остался один.

— Вот оно что! Нельзя сразу быть и за продавца и за покупателя? Так, кажется, говорят у вас, у евреев?

— Если так говорят, значит это правда,— с улыбкой ответил старик.

— Не мешает вам сказать кое-когда и правду, уж очень много вы лжете,— заметил Очаровательный Фледжби.

— Хозяин,— сдержанно, но веско отвечал старик,— лжи очень много повсюду, у людей всех вероисповеданий.

Несколько огорошенный таким ответом, Очаровательный Фледжби снова почесал полями шляпы свою умную голову, чтобы выиграть время и собраться с мыслями.

— Да вот, например,— заговорил он наконец, словно последняя реплика ему и принадлежала.— Кому, кроме нас с тобой, приходилось слышать, что еврей может быть бедняком?

— Самим же евреям,— с улыбкой поднимая на него глаза, сказал старик.— Им часто приходится слышать о бедных евреях и помогать бедным евреям.

— Чепуха! — отрезал Фледжби.— Ты прекрасно понимаешь, к чему я клоню. Тебе очень хотелось бы прикинуться бедняком, да меня не проведешь. Признайся лучше, сколько ты заработал на моем покойном родителе. Может, тогда я стану лучшего мнения о тебе.

Вместо ответа старик склонил голову и, как прежде, протянул руки вперед.

— Перестань кривляться! Тут не школа для глухонемых,— сказал остроумный Фледжби.— Веди себя по-христиански... насколько тебе это удастся.

— Болезни и несчастья довели меня до нищеты,— ответил старик,— и весь мой капитал вместе с процентами перешел в руки вашего отца. А вы, наследник, были настолько милостивы, что простили мне долги и определили меня сюда.

Он сделал легкое движение руками, словно поднес к губам край воображаемой мантии, ниспадавшей с плеч благородного юноши, который сидел перед ним. Жест этот, при всей его смиренности, был настолько живописен, что не унизил старика.

— Больше от тебя, видно, ничего не добьешься, как ни старайся,— пробормотал Фледжби и бросил свирепый взгляд на своего собеседника, будто примериваясь, не выбить ли ему два-три зуба.— Признайся мне только вот в чем, Райя: кто-нибудь теперь считает тебя бедняком?

— Никто,— сказал старик.

— Вот так и надо,— одобрительно заметил Фледжби.

— Никто,— повторил старик, медленно и грустно покачав головой.— Все думают, это небылица. Если б я сказал: «Эти товары не мои»,— быстрым движением своей гибкой руки он показал на вещи, лежавшие по полкам,—

если б я сказал: «Это все принадлежит молодому джентльмену, христианину, который поставил меня торговать здесь и которому я обязан отчитываться в каждой проданной бусинке»,— мне рассмеялись бы в лицо. А когда сюда приходят по более серьезным делам, за ссудой, я говорю...

— Берегись, старик! — перебил его Фледжби.— Смотри не проболтайся!

— Сударь, от меня слышат только то, что вы сейчас сами услышите. Когда я говорю: «Я ничего не обещаю, я не могу решать за другого, я должен спросить хозяина. Все зависит от него, у меня нет своих денег, я бедный человек»,— мне не верят и так сердятся, что иной раз призывают гнев Иеговы на мою голову.

— Вот и отлично! — воскликнул Очаровательный Фледжби.

— А бывает и так, что мне говорят: «Неужели нельзя обойтись без этих уверток, мистер Райя? Бросьте, мистер Райя, бросьте! Ваш народ любит хитрить».— Мой народ! — «Если вы согласны дать ссуду, выкладывайте деньги, и поскорее! Если же не согласны, так и скажите!» Мне никогда не верят.

— Вот и хорошо,— сказал Очаровательный Фледжби.

— Мне говорят: «Понятно, мистер Райя, все понятно! Достаточно только посмотреть на вас, и все становится понятно».

«Молодец! Такого мне и надо! — подумал Фледжби.— И я тоже молодец, что выискал тебя. Я, может, соображаю не так быстро, но зато уж действую наверняка».

Ни звука из этого мысленного монолога не произнес мистер Фледжби вслух, из опасений, как бы его слуга не возомнил о себе. Но, глядя на старика, который неподвижно стоял перед ним со склоненной головой и потупленным взором, он думал, что если уменьшить ему хотя бы на дюйм лысину, укоротить на дюйм волосы, на дюйм полы лапсердака, на дюйм поля шляпы, на дюйм посох — тогда доходы его хозяина, Фледжби, уменьшатся на сотни фунтов.

— Слушай, Райя,— снова заговорил он, умиротворенный столь приятными для себя размышлениями.— Я хочу скупить побольше просроченных векселей. Займись этим.

— Будет сделано, сударь.

— Я подвел недавно кое-какие итоги и убедился, что эти операции, в общем, недурно окупаются. Надо их расширить. Кроме того, меня интересуют финансовые дела некоторых людей. Так что не зевай.

— Все будет исполнено без промедления, сударь.

— Намекни, где следует, что ты скупаешь просроченные векселя пачками — на вес, разумеется, если тебе дадут предварительно просмотреть их. Да, вот еще что. Счетные книги принеси мне на проверку, как всегда, в понедельник, к восьми часам утра.

Райя вынул из-за пазухи складную грифельную дощечку и сделал в ней пометку.

— Вот и все, что я хотел тебе сказать,— ворчливо буркнул Фледжби, слезая с табуретки.— Разве только добавлю еще: будьте любезны, сэр, дышать воздухом в таком месте, откуда слышен звонок, или стук дверного молотка, или и то и другое. Да, кстати, как это ты ухитряешься дышать воздухом на крыше? Высовываешь голову из дымовой трубы, что ли?

— Здесь крыша плоская, сударь, и я развел на ней маленький садик.

— Деньги там прячешь, старый лис?

— Мой клад, хозяин, вполне поместился бы в горстке земли, что я насыпал для своего сада,— отвечал Райя.— Двенадцать шиллингов в неделю — такое жалованье и мне, старику, прятать нечего.

— Хотел бы я знать, сколько ты на самом деле накопил,— сказал Фледжби, которого весьма устраивала собственная выдумка, будто старик богатеет на таком жалованье.— Ну, ладно! Надо еще полюбоваться твоим садом на крыше.

Старик растерянно попятился от него.

— Простите, сударь, но у меня там гости.

— Вот как! — воскликнул Фледжби.— А ты разве не знаешь, кто хозяин этого дома?

— Хозяин вы, сударь, а я здесь только слуга.

— То-то же! Я уж подумал, что ты упустил это из виду,— сказал Фледжби и, уставившись на бороду Райи, стал ощупывать себе щеки.— Принимает гостей! И где — в моем доме!

— Пойдемте, сударь, я покажу вам своих гостей! Вы

сами признаете, что они никому и ничему повредить не могут.

Склонившись на ходу в почтительном поклоне, так непохожем на все то, что мистер Фледжби мог бы проделать с помощью своих рук и головы, Райя стал подниматься вверх по лестнице. Глядя, как старик медленно шагает, опираясь на деревянные перила, подметая ступеньки длинными полами своего черного широкого, словно плащ, лапсердака, можно было подумать, что он возглавляет процессию, шествующую на поклонение гробнице какого-нибудь пророка. Но Очаровательный Фледжби, вместо того чтобы обременять свое воображение таким вздором, прикидывал в уме, когда у старика начала расти борода, и снова восхитился — до чего же он подходит для роли, на которую его определили.

Последние две-три ступеньки подвели их к низкой притолоке, и, согнувшись под ней, они вышли на крышу. Райя остановился, протянул руку и показал хозяину своих гостей.

Лиззи Хэксем и Дженни Рен. И для них добрый еврей, видимо инстинктивно подчиняясь древним традициям своей расы, постелил на крыше коврик. Сидя на нем возле такого неромантического предмета, как закопченная дымовая труба, по которой поднимался чахлый вьюнок, девушки вдвоем читали книгу — читали внимательно; у Дженни выражение лица было сосредоточенное, а у Лиззи — немного напряженное. На коврике лежали еще две-три книжки, стояла дешевая корзинка с дешевыми фруктами и вторая побольше, с нитками стекляруса и прочей блестящей мишурой. Несколько ящиков со скромными цветами и зеленью дополняли собой этот садик, а дымовые трубы, точно во вдовьих чепчиках, подрагивали колпачками на ветру и веером развевали вокруг себя клубы дыма, горделиво обмахиваясь ими и с удивлением поглядывая по сторонам.

Отведя глаза от книги, чтобы на память повторить прочитанное, Лиззи первая заметила, что на них смотрят. Она встала, а мисс Рен, не поднимаясь, весьма непочтительным тоном заявила важному владельцу дома:

— Не знаю, кто вы такой, но я все равно не встану, потому что у меня болит спина и ноги не слушаются.

— Это мой хозяин,— сказал Райя, выступая вперед.

(«Не похож! Разве хозяева такие бывают?» — подумала мисс Рен, скосив на Фледжби глаза и вздернув подбородок.)

— А это, сударь,— продолжал старик,— маленькая швея, которая и шьет только на маленьких. Дженни, расскажи хозяину сама.

— На кукол шью, только и всего,— коротко ответила Дженни.— С примеркой очень трудно, потому что фигуры у них ни то ни се. Каждый раз гадаешь, где же талия?

— А это ее подруга.— Старик указал на Лиззи.— Работящая девушка и скромная. Да они обе такие. Трудятся с утра до вечера, сударь, с утра до вечера, а найдется свободный часок, вот хоть сегодня, в праздник, так сразу за ученье.

— А что толку от этого? — заметил Фледжби.

— Кому как,— отрезала мисс Рен.

— Я познакомился с этими девушками, сударь,— продолжал старик, видимо стараясь вызвать кукольную швею на разговор,— когда они приходили ко мне покупать всякие обрезки и остатки для мастерской мисс Дженни. Наши остатки попадают в самое лучшее общество, сударь, к ее румяным маленьким заказчицам. Все это идет на отделку их шляпок и бальных платьев, в которых они, по словам мисс Дженни, бывают даже при дворе.

— А-а! — Фледжби пришлось напрячь все свои умственные способности, чтобы разобраться в этих кукольно-галантерейных делах.— Значит, у нее в корзине сегодняшние покупки?

— Значит, так,— подтвердила мисс Дженни.— И, значит, она за них заплатила.

— Ну-ка, дайте взглянуть,— скомандовал недоверчивый хозяин. Райя подал ему корзинку.— Сколько же за все?

— На два серебряных шиллинга не поскупилась,— ответила мисс Рен.

Отвечая на вопросительный взгляд Фледжби, Райя подтвердил ее слова двумя кивками. По одному кивку на шиллинг.



— Ну что ж,— сказал Фледжби, копаясь в корзине,— цена не плохая. Но и товару вам тоже не пожалели, мисс... как вас там?

— Имя не трудное — Дженни,— преспокойно подсказала ему эта юная особа.

— Товару вам не пожалели, мисс Дженни, хотя цена не плохая. А вы...— обращаясь ко второй гостье,— вы здесь тоже что-нибудь покупаете, мисс?

— Нет, сэр.

— И ничего не продаете, мисс?

— Нет, сэр.

Поглядев искоса на неотвязного Фледжби, Дженни тихонько тронула подругу за руку, потом потянула подругу к себе, и той пришлось опуститься на колени рядом с ней.

— Мы так счастливы, что можно приходить сюда отдыхать, сэр,— сказала кукольная швея.— Ведь вы даже представить себе не можете, как нам хорошо здесь. Правду я говорю, Лиззи? Тишина, воздух!

— Тишина! — повторил Фледжби, презрительно мотнув головой в сторону грохочущего Сити.— Воздух! Пф! — последнее относилось к дыму.

— Да,— сказала Дженни.— Зато высоко, высоко! Смотришь сверху, как облака проносятся над узкими улочками, не замечая их, и как золотые лучи тянутся к высоким горам, в небо, откуда дует ветер, и такое у тебя чувство, будто ты мертвая.— Девочка устремила глаза ввысь, подняв свою тонкую, прозрачную руку.

— Как же это мертвые себя чувствуют? — с оторопелым видом спросил Фледжби.

— Ах! Так покойно, так мирно! — воскликнула девочка и улыбнулась.— А душа преисполнена такой благодарности! Слышишь, как живые плачут, трудятся, окликают друг друга там, внизу, на темных, узких улицах, и жалеешь их от всего сердца. И кажется, будто цепи спадают с ног и всю тебя охватывает такое странное чувство — и радостно тебе и грустно.

Взгляд девочки упал на старика, который стоял, сложив руки на груди, и спокойно смотрел на нее.

— Да вот только минуту назад,— продолжала она, протянув к нему руку,— мне почудилось, будто он под-

нялся из могилы. Он вышел из этой низкой двери такой сгорбленный, усталый, потом вздохнул глубоко-глубоко, выпрямился, обвел глазами небо, подставил лицо ветру, и его жизни там, внизу, в темноте, пришел конец... А потом его снова позвали обратно,— добавила она, устремив на Фледжби взгляд, в котором не было и следа прежней просветленности.— Зачем вы его позвали?

— Он не поторопился на мой зов,— буркнул Фледжби.

— Ведь вы не мертвый,— сказала Дженни Рен.— Ну и возвращайтесь назад, к живым.

Сочтя такой намек вполне достаточным, мистер Фледжби кивнул на прощанье и отвернулся от них. Райя пошел проводить его вниз по лестнице, и лишь только они скрылись за дверью, позади послышался серебристый голосок девочки: «Скорей назад! От жизни к смерти!» — И эти слова еще долго неслись им вслед, мало-помалу затихая вдали: «Скорей назад! От жизни к смерти! Скорей назад! От жизни к смерти!»

В передней Фледжби остановился под старой широкополой шляпой и, машинально поигрывая посохом старика, проговорил:

— Красивая девушка... та, что в своем уме.

— Красивая и хорошая,— ответил Райя.

— Кто ее знает,— сказал Фледжби и свистнул.— Надеюсь, впрочем, она не настолько испорчена, чтобы навести на контору какого-нибудь молодчика, который взломает здесь все замки. Ты не зевай, смотри в оба. И не приглашай сюда никаких новых знакомых, будь это хоть раскрасавицы. Полагаю, ты держишь мое имя в тайне?

— Будьте уверены, сударь.

— Если они спросят, назови меня Пабси, или К^0, или еще как-нибудь, только не по-настоящему.

Его признательный слуга — а признательность чувство глубокое, сильное, стойкое у представителей этой национальности — склонил голову и на этот раз в самом деле поднес к губам край одежды Фледжби, но таким быстрым, легким движением, что тот ничего не заметил. И Очаровательный Фледжби вышел из конторы, восхищаясь собственным хитроумием, с каким ему удалось обвести еврея вокруг пальца, а старик снова побрел к лестнице.

Райя поднимался вверх по ступенькам, слыша все явственнее и явственнее мелодичный зов или напев, и когда он поднял голову, над ним, в сияющей рамке золотистых волос показалось лицо девочки, чистым голоском повторяющей одни и те же слова: «Скорей назад! От жизни к смерти! Скорей назад! От жизни к смерти!»

ГЛАВА VI

Загадка без отгадки

Мистер Мортимер Лайтвуд и мистер Юджин Рэйберн снова сидели вдвоем в Тэмпле. Однако на этот раз мы застали их вечерней порой не в конторе нашего видного адвоката, а в столь же мрачных апартаментах второго этажа, на черной двери которых, похожей на тюремную, была дощечка с надписью:

Частная квартира
М-р ЮДЖИН РЭЙБЕРН
М-р МОРТИМЕР ЛАЙТВУД
(Контора м-ра Лайтвуда напротив).

Судя по всему, помещение это было снято и обставлено совсем недавно. Белые буквы дощечки отличались чрезвычайной белизной и чрезвычайно сильным запахом; свежая лакировка столов и стульев заставляла (подобно свежести леди Типпинз) несколько сомневаться в ее естественности, а ковры и дорожки сразу бросались в глаза чрезмерной четкостью узоров. Впрочем, можно было не сомневаться, что Тэмпл, имеющий обыкновение умерять тон как неодушевленным, так и одушевленным предметам, не преминет в самом ближайшем будущем навести свои порядки и здесь.

— Ну что ж,— сказал Юджин, сидевший налево от камина.— Я чувствую себя более или менее сносно. Надеюсь, наш обойщик тоже ни на что не может пожаловаться.

— А с чего бы ему жаловаться? — спросил Лайтвуд, сидевший направо от камина.

— Да, разумеется,— задумчиво проговорил Юджин.— Ведь он не посвящен в наши финансовые дела и может пребывать в полном спокойствии.

— Мы ему заплатим,— сказал Мортимер.

— Заплатим? — удивленно протянул Юджин.— Да неужели?

— Во всяком случае, я намерен заплатить,— возразил Мортимер слегка обиженным тоном.

— Ах, я тоже намерен! — воскликнул Юджин.— Но у меня столько всяких намерений, что... что я ничего не намерен делать.

— Как так?

— У меня столько всяких намерений, мой дорогой Мортимер! Но они остаются всего лишь намерениями, а это равносильно ничегонеделанью.

Мортимер, удобно откинувшись на спинку кресла, с минуту смотрел на своего друга, тоже удобно откинувшегося на спинку кресла, потом вытянул ноги поближе к огню и сказал с улыбкой, которую Юджин Рэйберн, казалось бы, сам того не желая, всегда вызывал в нем.

— Однако твои причуды сильно раздули счет.

— И он называет мою домовитость причудой! — воскликнул Юджин, возводя очи к потолку.

— Наша идеальная маленькая кухонька,— продолжал Мортимер,— в которой никто никогда не будет стряпать...

— Друг мой! Дорогой мой друг! — перебил его Юджин, лениво приподняв голову со спинки кресла.— Сколько раз мне приходится повторять, что важна не сама кухня, а ее моральное воздействие!

— Моральное воздействие на кого — на тебя? — рассмеялся Лайтвуд.

— Окажи мне такую любезность,— с полной серьезностью проговорил Юджин, вставая с кресла,— пойдем обследуем ту часть наших апартаментов, которую ты столь опрометчиво подвергаешь осмеянию.— Он взял свечу и провел своего друга в маленькую узкую комнатку — четвертую в их квартире,— заботливо оборудованную под кухню.— Прошу полюбоваться,— сказал Юджин.— Миниатюрный бочонок для муки, скалка, ящичек для пряно-

стей, полочка с глиняной посудой, доска для резки мяса, кофейная мельница, кухонный шкафчик, в котором с большим вкусом расставлена посуда: кастрюли, сковородки, вертел, прелестный чайник и целая батарея колпаков для блюд. Все эти предметы могут оказать огромное моральное воздействие и пробудить во мне стремление к домовитости. Во мне, а не в тебе, ибо ты человек безнадежный. Откровенно говоря, я уже начинаю чувствовать на себе это воздействие. Будь любезен заглянуть в мою спальню. Видишь? Секретер красного дерева с множеством отделений, по одному на каждую букву алфавита. Для какой цели они предназначены? Допустим, приходит счет — хотя бы от некоего Джонса. Я сажусь за секретер, делаю на счете надпись «Джонс» и кладу этот документ в отделение на букву «Д». Почти то же самое, что получить расписку в уплате долга,— по крайней мере *меня* это вполне удовлетворяет. И я очень хотел бы, Мортимер,— Юджин сидел на кровати и вещал тоном философа, наставляющего ученика.— Я очень хотел бы, чтобы ты, следуя моему примеру, выработал в себе пунктуальность и методичность и, живя в окружении предметов, которые оказывают огромное моральное воздействие на человека, обрел стремление к домовитости.

Мортимер снова рассмеялся и ответил на тираду своего приятеля обычными в подобных случаях возгласами: «Ну можно ли так паясничать!», «Какой ты чудак!» Но вот он умолк, и лицо его сразу приняло серьезное, а может быть, и встревоженное выражение. Несмотря на дурную привычку напускать на себя пресыщенный, равнодушный вид,— привычку, ставшую его второй натурой, Мортимер был очень привязан к своему другу. Он подпал под влияние Юджина, когда они еще вместе учились в школе, и по сию пору подражал ему, восхищался им, любил его ничуть не меньше, чем в те давно минувшие дни.

— Юджин,— начал он,— постарайся быть серьезным хотя бы минуту, я хочу серьезно поговорить с тобой.

— Поговорить, да еще серьезно? — переспросил Юджин.— Моральное воздействие начинает сказываться! Ну, говори.

— Хорошо. Хотя ты все еще не настроился на серьезный лад.

— В этой тяге к серьезным беседам,— пробормотал Юджин, как бы в глубоком раздумье,— чувствуется благотворное влияние мучного бочонка и кофейной мельницы. Я удовлетворен!

— Юджин,— продолжал Мортимер, не смущаясь тем, что его перебили, и кладя руку на плечо друга, сидевшего перед ним па кровати.— Ты что-то утаиваешь от меня.

Тот посмотрел на него и ничего не сказал.

— Ты таился от меня все лето. Мы задумали провести отдых на лодке, и ты обрадовался этому, как в детстве, когда нас с тобой учили работать веслами, потом сразу охладел к поездке, явно тяготился ею и то и дело куда-то исчезал. Со свойственной тебе чудаковатостью, которую я так хорошо знаю и так люблю, ты твердил мне десятки раз, что боишься, как бы мы не надоели друг другу, что твои отлучки — это мера предосторожности. Но в конце концов я начал думать: может быть, за ними что-то кроется? Я тебя ни о чем не спрашиваю, сам ты молчишь. Однако факт остается фактом. Признайся, так это или не так?

— Клянусь тебе, Мортимер,— серьезно проговорил Юджин после короткой паузы,— что я и сам не знаю.

— Не знаешь, Юджин?

— Честное слово, не знаю. Верь мне! Я разбираюсь в самом себе гораздо хуже, чем в других людях.

— Ты что-то задумал?

— Задумал? Да как будто нет.

— Во всяком случае, у тебя появились какие-то интересы, которых раньше не было.

— Право, не знаю,— отвечал Юджин, подумав минутку, и неуверенно покачал головой.— Иногда мне казалось — да, иногда — нет. Временами мысли мои действительно были чем-то заняты, а потом я думал: «Вздор, надоело, зачем себя связывать!» Я признался бы тебе, но, честное слово, я сам ничего не знаю.

Он встал с кровати, тоже положил Лайтвуду руку на плечо и сказал:

— Принимай своего друга таким, какой он есть, дорогой Мортимер. Моя натура тебе хорошо известна. Ты знаешь, что скука гоняется за мной по пятам. Ты знаешь, что, став взрослым и признав себя ходячей загадкой, я изо всех сил старался разгадать ее и наскучил самому себе до

предела. Ты знаешь, что под конец я оставил эти попытки и на все махнул рукой. Как же можно требовать от меня ответа, если я до него не докопался? Помнишь старинную детскую загадку? «Думай, голову ломай,— кто я, кто я, отгадай!» Так вот, отгадать я не в силах.

Это фантастическое признание было настолько в духе беспечного Юджина, что Мортимер не решился счесть его ответ простой увerткой. Кроме того, Юджин говорил с подкупающей искренностью и оказывал особую честь своему другу, не распространяя на него своего пренебрежительно равнодушного отношения ко всему на свете.

— Пойдем, старина,— сказал Юджин.— Пойдем покурим. Посмотрим, что из этого получится. Может быть, после сигары наступит просветление, и тогда я немедленно во всем тебе признаюсь.

Они вернулись в гостиную и распахнули там окна, потому что камин горел жарко. Потом закурили сигары и, облокотившись о подоконник, стали смотреть на освещенный луной двор.

— Сигара не подействовала,— сказал Юджин после долгой паузы.— Не сердись, мой дорогой Мортимер, но признания у меня что-то не получается.

— Если не получается,— ответил тот,— значит ничего нет. И ничего не будет. Ничего такого, что могло бы причинить вред тебе или...

Юджин остановил Лайтвуда, коснувшись рукой его плеча, взял из цветочного горшка на подоконнике комок сухой земли и ловко швырнул им в маленькое пятно света внизу. Удовлетворившись своей меткостью, он повторил:

— Или?

— Или кому-нибудь другому.

— Каким же образом...— Юджин взял второй комок и не менее метко попал им в ту же мишень.— Каким же образом тут может пострадать кто-то другой?

— Не знаю.

— И кто...— Юджин швырнул третий комок.— Кто именно?

— Не знаю.

Задержав занесенную над головой руку с очередным комком земли, Юджин пытливо и несколько подозрительно

посмотрел в лицо другу. Тот ответил ему прямым, открытым взглядом.

— Двое запоздалых странников, плутая в лабиринте юриспруденции, зашли к нам во двор,— сказал Юджин, услышав звук чьих-то шагов, и посмотрел вниз.— Они изучают дощечки на двери номер один, разыскивая нужную им фамилию. Не найдя ее, переходят к двери номер два. На шляпу странника номер два, того, что поменьше ростом, я бросаю этот комок земли. Попадаю прямо в цель и с безмятежным видом продолжаю курить, устремив взор в небеса.

Странники взглянули вверх, на окна, сказали что-то друг другу и снова занялись осмотром дверей. По-видимому, результаты осмотра удовлетворили их, так как через минуту они скрылись из виду в подъезде.

— Дай им только выйти,— сказал Юджин,— я их обоих уложу на месте,— и приготовил два комочка земли.

Он не мог предполагать, что эти люди ищут его или Лайтвуда. Но, по-видимому, так оно и было, ибо вскоре в их дверь постучали.

— Не ходи, Юджин, сегодня моя очередь,— сказал Мортимер. Юджина не понадобилось уговаривать; ничуть не интересуясь тем, кто же это стучится к ним, он спокойно продолжал курить до тех пор, пока вернувшийся обратно Мортимер не тронул его за плечо. Тогда он поднялся с подоконника и с первого взгляда узнал вошедших.

Это были Чарли Хэксем и учитель.

— Ты помнишь этого юношу? — спросил Мортимер.

— Дай мне на него взглянуть,— невозмутимым тоном ответил Рэйберн.— А, да! Помню.

Он не собирался, как в первый раз, взять мальчика за подбородок, но тот, заподозрив его в этом, сердито вздернул локоть на уровень лица. Рэйберн со смехом перевел взгляд на Лайтвуда в надежде, что друг объяснит ему это странное посещение.

— Он хочет поговорить о чем-то.

— Разумеется, с тобой, Мортимер?

— Я сам так думал, но, оказывается, нет. Он хочет поговорить с тобой.

— Да, с вами,— подтвердил мальчик.— И я скажу все, что мне надо сказать, мистер Юджин Рэйберн!

Скользнув по нему взглядом, словно по пустому месту, Юджин посмотрел на стоявшего поодаль Брэдли Хэдстона. Потом повернулся к Лайтвуду и, стараясь как можно ленивее растягивать слова, спросил:

— А другой кто?

— Я друг Чарли Хэксема,— ответил Брэдли.— Я учитель Чарли Хэксема.

— В таком случае, уважаемый сэр, вам не мешало бы научить своих учеников хорошим манерам,— сказал Юджин.

Преспокойно попыхивая сигарой, он облокотился о каминную доску и посмотрел на учителя в упор. Это был жестокий своей холодной презрительностью взгляд, говоривший о том, что Юджин считал полным ничтожеством человека, который стоял перед ним. Тот в свою очередь посмотрел на Юджина, и взгляд его был не менее жесток, хотя вместо презрения в нем бушевала смертельная ревность и яростная злоба.

Примечательное обстоятельство! Ни Юджин Рэйберн, ни Брэдли Хэдстон не уделили ни единого взгляда мальчику. Во время дальнейшего разговора оба они, независимо от того, кто из них говорил или кто к кому обращался, смотрели только друг на друга. Они понимали друг друга безошибочно, и это скрытое от посторонних взаимопонимание ожесточало их.

— Мои ученики, мистер Юджин Рэйберн,— побелевшими, трясущимися губами проговорил Брэдли,— не лишены чувств, вполне естественных и высоких чувств, которых не заглушить учительскими наставлениями.

— Смею думать, что это относится ко всем их чувствам, не только высоким, но и низменным,— ответил Юджин, с наслаждением затягиваясь сигарой.— Вы, оказывается, совершенно точно знаете мое имя и фамилию. Будьте любезны назвать себя.

— Вряд ли вам интересно это знать, но...

— Вы правы.— Юджин сразу воспользовался его оплошностью и нанес удар со всей силой.— Меня ваше имя совершенно не интересует. Я могу называть вас просто учитель, тем более что это весьма почтенное звание. Вы правы, учитель.

Боль от этого удара была особенно чувствительна еще



и потому, что Брэдли Хэдстон, не остерегшись в запальчивости, сам дал к нему повод. Он сжал губы, чтобы они не дрожали, но дрожь все же пробежала по ним.

— Мистер Юджин Рэйберн,— сказал мальчик,— мне давно хотелось поговорить с вами. Так хотелось, что мы отыскали ваш адрес в справочнике и были у вас в конторе, а из конторы пришли сюда.

— Вы не пожалели трудов, учитель,— заметил Юджин, сдунув пушистый пепел с сигары.— Надеюсь, они не пропадут даром.

— И я очень рад,— продолжал мальчик,— что буду говорить в присутствии мистера Лайтвуда, потому что благодаря мистеру Лайтвуду вы и встретились с моей сестрой.

На один только миг Рэйберн отвел глаза от учителя, чтобы проверить, какое впечатление произвело последнее слово на Мортимера, а тот, услышав это слово, сейчас же повернулся лицом к камину и уставился на огонь.

— И благодаря мистеру Лайтвуду вы увиделись с ней во второй раз, потому что вы были с мистером Лайтвудом, когда нашли тело моего отца. На другой день я опять застал вас у сестры. С тех пор вы много раз виделись с ней. Вы встречаетесь с моей сестрой все чаще и чаще. И я хочу знать, зачем?

— Стоило ли трудиться, учитель? И ради чего? — протянул Юджин таким тоном, будто его все это совершенно не касалось.— Разумеется, вам лучше знать, но, по-моему, не стоило.

— Я не понимаю, мистер Рэйберн,— ответил Брэдли, свирепея все больше и больше,— почему вы обращаетесь ко мне?

— Не понимаете? — сказал Юджин.— Тогда я не буду к вам обращаться.

Он проговорил это таким презрительным и в то же время безмятежным тоном, что рука, сжимавшая приличную волосяную цепочку от приличных часов, с наслаждением накинула бы эту цепочку ему на шею и задушила бы его. Не считая нужным добавить больше ни слова, Юджин стоял, облокотившись о камин, попыхивая сигарой, и с невозмутимым видом смотрел на кипевшего

Брэдли Хэдстона, на его судорожно стиснутую правую руку,— до тех пор, пока тот не почувствовал, что теряет рассудок от ярости.

— Мистер Рэйберн,— снова заговорил мальчик,— мы знаем не только то, в чем я вас обвинил сейчас, а гораздо больше. Сестра еще не догадывается об этом, но нам все известно. Мы с мистером Хэдстоном решили дать образование моей сестре, и руководить ею будет сам мистер Хэдстон. Вот вы покуриваете сигару и всем своим видом показываете, что он не заслуживает вашего уважения, а лучшего учителя вам не найти, как ни старайтесь. Мы все обдумали, и что же оказывается? Что оказывается, мистер Лайтвуд? Оказывается, мою сестру уже кто-то учит без нашего ведома! Оказывается, мне, брату, и мистеру Хэдстону, лучшему учителю, какого только можно найти,— почитайте его аттестаты! — не удалось склонить мою сестру на свою сторону ради ее же блага! Оказывается, моя сестра самовольно и с большой охотой приняла помощь от кого-то другого и трудится, не жалея сил. Ведь я-то знаю, каких трудов это стоит, и мистер Хэдстон тоже знает! Разумеется, мы с мистером Хэдстоном догадались, что за ее уроки кто-то платит. Но кто же? Мы решили доискаться правды, и мы доискались, мистер Лайтвуд. Платит ваш друг, вот этот самый мистер Юджин Рэйберн. И я спрашиваю его, кто дал ему такое право, и зачем он так делает, и как он осмелился позволить себе это без моего согласия? Я стараюсь выбиться в люди собственными силами и с помощью мистера Хэдстона и не могу допустить, чтобы кто-то губил мое будущее, бросая тень на меня, на мое доброе имя! И все из-за сестры!

Эта по-мальчишески беспомощная, к тому же полная эгоизма речь могла произвести только самое жалкое впечатление. Однако Брэдли Хэдстон, привыкший иметь дело со школьниками, а не с людьми зрелого ума, выслушал ее с торжествующим видом.

— И вот я заявляю мистеру Юджину Рэйберну,— продолжал мальчик, вынужденный говорить в третьем лице, так как обращаться к Юджину прямо было бесполезно.— Я заявляю ему, что мне не нравятся его встречи с моей сестрой, и я требую, чтобы он прекратил всякое знаком-

ство с нею. Только пусть не думает, будто я опасаюсь, как бы моя сестра не заинтересовалась им.

(Мальчик презрительно усмехнулся, вслед за ним усмехнулся и учитель, а Юджин снова сдунул пушистый пепел с сигары.)

— Довольно и того, что мне это не нравится. Я значу для моей сестры гораздо больше, чем мистер Юджин Рэйберн может предположить. Я сам выйду в люди и ее выведу вместе с собой. Она знает это, знает, что ее будущее зависит от меня. Мы с мистером Хэдстоном отлично все понимаем. Моя сестра хорошая девушка, только большая фантазерка. Разумеется, она фантазирует не о каких-нибудь Юджинах Рэйбернах, ее голова полна романтических бредней о долге перед покойным отцом и о других таких же вещах. Мистер Рэйберн поощряет фантазии моей сестры, чтобы выиграть в ее глазах, и она считает себя обязанной ему. Может статься, ей даже приятно быть ему чем-то обязанной. Но я не желаю, чтобы моя сестра была обязана кому бы то ни было, кроме меня и мистера Хэдстона. И я заявляю мистеру Рэйберну: если он не прислушается к моим словам, ей же будет хуже. Пусть вникнет в это как следует. Ей же будет хуже!

Наступило молчание, по-видимому очень тягостное для Брэдли Хэдстона.

— А теперь, учитель,— проговорил Юджин, вынимая изо рта почти докуренную сигару и разглядывая ее,— может быть, вы уведете отсюда своего ученика?

— Мистер Лайтвуд! — Мальчик весь вспыхнул оттого, что ему не только не ответили, но и оставили его речь вовсе без внимания.— Надеюсь, вы учтете каждое слово, которое я сказал вашему приятелю, каждое слово, которое ваш приятель услышал от меня, хоть он и притворяется, будто ему ничего не было сказано. Вам придется учесть все это, мистер Лайтвуд, потому что вы, как я уже говорил, вы-то и свели вашего приятеля с моей сестрой. Только по вашей милости мы его и узнали. Видит бог, он нам вовсе не нужен, и скучать по нем мы не будем. А теперь, мистер Хэдстон, поскольку мистер Юджин Рэйберн волей-неволей выслушал то, что я хотел ему сказать, а я высказал все до последнего слова, нам больше нечего здесь делать, и мы можем уйти.

— Сойди вниз, Хэксем, а я задержусь тут на минутку,— ответил ему Брэдли. Мальчик покорился с негодующим видом и, стараясь топать как можно громче, вразвалку вышел из комнаты. Лайтвуд отвернулся к окну, облокотился на подоконник и выглянул во двор.

— Вы думаете, я не больше стòю, чем грязь у вас под ногами.— Брэдли старался говорить раздельно и внятно, иначе он не выговорил бы ни слова.

— Поверьте мне, учитель,— ответил ему Юджин,— я о вас вовсе не думаю.

— Неправда! — сказал тот.— Вы сами понимаете, что это неправда!

— Фи! Как грубо! — проговорил Юджин.— Впрочем, где вам это понять.

— Во всяком случае, мистер Рэйберн, я понимаю хотя бы то, что мне нечего тягаться с вами в надменности и в умении оскорблять людей. Мальчик, который только что вышел отсюда, мог бы за каких-нибудь полчаса посрамить вас своими познаниями в науках, но вы отнеслись к нему как к существу низшему. Вам, вероятно, ничего не стоит поступить точно так же и со мной.

— Весьма возможно,— согласился Юджин.

— Но я не мальчик, сэр,— добавил Брэдли, сжимая цепочку в правой руке.— И я *заставлю* себя выслушать.

— Учителей слушают в классе,— сказал Юджин.— На вашем месте я бы этим удовольствовался.

— А я не удовольствуюсь,— ответил Хэдстон, побелев от ярости.— Неужели вы думаете, что человек, который избрал такое поприще и изо дня в день следит за собой и сдерживает себя во всем, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности,— неужели вы думаете, что такой человек лишен человеческих чувств?

— На мой взгляд,— сказал Юджин,— вы даже слишком пылки. Хорошему учителю не пристало давать волю своим чувствам.— И с этими словами он швырнул окурок в камин.

— С вами, сэр, я действительно таков. И я уважаю себя за это, сэр. Но ведь среди моих учеников нет дьяволов.

— А среди учителей? — спросил Юджин.

— Мистер Рэйберн!

— Да, учитель?

— Сэр! Меня зовут Брэдли Хэдстон.

— Как вы совершенно справедливо изволили заметить, уважаемый, мне до этого нет никакого дела. Что вы еще хотите сказать?

— Еще?.. Боже! Какое это несчастье! — перебил самого себя Брэдли, дрожа всем телом и вытирая мокрое от пота лицо.— Какое несчастье, что я не могу справиться с собой и выказываю свою слабость человеку, который держится с таким спокойствием, хотя ему за всю его жизнь не пришлось испытать того, что я испытал за один день! — Он выкрикнул это с болью и судорожно вцепился руками в грудь, словно собираясь растерзать себя на части.

Юджин Рэйберн не сводил с него глаз, видимо заинтересовавшись им.

— Мистер Рэйберн, я хочу сказать вам кое-что и от своего имени.

— Ну, говорите, говорите! — Глядя, как учитель пытается взять себя в руки, Юджин снизошел до того, что даже выказал легкое нетерпение.— И позвольте мне напомнить вам: дверь открыта, а ваш юный друг дожидается вас на лестнице.

— Я шел сюда, сэр, и думал: если мистер Юджин Рэйберн не пожелает выслушать мальчика, то со мной ему никто не позволит так обойтись, и пусть он узнает от меня, что, повинуясь чувству, мой ученик поступает разумно и правильно.— Брэдли стоило огромных усилий сказать это.

— Теперь все? — спросил Юджин.

— Нет, сэр,— яростно выкрикнул учитель.— Я разделяю возмущение моего ученика по поводу ваших визитов к его сестре и по поводу той назойливости... хуже, чем назойливости! — с которой вы навязываете ей свои услуги.

— *Теперь* все? — спросил Юджин.

— Нет, сэр. Я должен сказать вам, что вы не имеете никакого права так поступать и что ваше поведение оскорбительно для его сестры.

— Вы наставляете не только брата, но и сестру? Или, может быть, вам *хочется* стать ее наставником? — сказал Юджин.

Кровь бросилась Брэдли Хэдстону в лицо так бурно, словно этот удар был нанесен кинжалом.

— Как вас понимать? — Больше учитель ничего не мог выговорить.

— Желание вполне естественное, ничего не скажешь,— преспокойно продолжал Юджин.— Его сестра... пожалуй, это слово слишком часто у вас на языке... Его сестра так выделяется в своей среде, она так отлична от той мелкоты, которая окружает ее, что ваше желание вполне естественно.

— Вы издеваетесь над моей безвестностью, мистер Рэйберн?

— Ну что вы, учитель! Ведь я о вас ничего не знаю и не стараюсь узнать.

— Вы попрекаете меня моим происхождением, моим воспитанием. Так знайте же, сэр, что, несмотря ни на что, я пробил себе дорогу в жизни. У меня есть все основания считать себя выше вас, я с бо̀льшим правом могу гордиться собой.

— Каким образом можно чем-то попрекать человека, когда ничего о нем не знаешь, и как можно побивать его камнями, когда их нет в руке,— такая задача под силу только учителю. Ну, *теперь* все?

— Нет, сэр. Если вам кажется, что этот мальчик...

— Которому, право, скоро наскучит ждать,— вежливо вставил Юджин.

— Если вам кажется, что у этого мальчика нет друзей, мистер Рэйберн, то вы ошибаетесь. Я ему друг, и вы скоро убедитесь в этом.

— А вы скоро убедитесь в том, что он ждет вас на лестнице,— повторил Юджин.

— Вы, вероятно, полагали, сэр, будто с неопытным мальчиком, у которого нет ни друзей, ни наставников, можно не церемониться. Но ваши низкие расчеты неправильны, предупреждаю вас. Вам придется иметь дело и со взрослым мужчиной. Вам придется иметь дело со мной. Я поддержу его и, если понадобится, добьюсь, что он будет отомщен. Я протяну ему руку помощи. Мое сердце открыто для него.

— Какое совпадение! И дверь тоже открыта,— сказал Юджин.

— Я презираю ваши увертки! — воскликнул учитель.— У вас хватает низости глумиться над моим низким

происхождением. Вы презренный человек! Если мы приходили напрасно и все останется по-прежнему, я буду действовать так, как действовал бы, когда б считал вас своим личным врагом, хоть вы и не заслуживаете такой чести.

С этими словами он круто повернулся и вышел, шагая с нарочитой угловатостью, назло Юджину, стоявшему в спокойной, непринужденной позе, и тяжелая дверь захлопнулась за ним, словно заслонка горна, скрывая за собой его раскаленную добела ярость.

— Вот одержимый! — сказал Юджин.— Воображает, будто его матушка известна всем и каждому!

Он окликнул Мортимера Лайтвуда. Тот отошел от окна, куда деликатно удалился во время предыдущего разговора, и стал медленно ходить по комнате.

— Мои нежданные гости, кажется, утомили тебя,— сказал Юджин, закуривая вторую сигару.— Если в качестве контрпретензии (прости мне судейскую терминологию) ты захочешь пригласить к чаю леди Типпинз, я обязуюсь ухаживать за ней.

— Юджин, Юджин, Юджин! — воскликнул Мортимер, продолжая шагать взад и вперед.— Как это тяжело! И подумать только, что я мог проявить такую слепоту!

— При чем тут слепота, милый? — осведомился его невозмутимый друг.

— Ты помнишь свои слова той ночью в харчевне на берегу Темзы? — сказал Лайтвуд, останавливаясь.— О чем ты спросил меня тогда? Не кажусь ли я самому себе, при мысли об этой девушке, этакой дрянной комбинацией предателя с карманным воришкой?

— Да, припоминаю,— ответил Юджин.

— Кем же ты считаешь себя теперь, когда думаешь о ней?

Прямого ответа на этот вопрос не последовало. Его друг несколько раз затянулся сигарой, а потом сказал:

— Ты ошибаешься, Мортимер. Более порядочной девушки, чем Лиззи Хэксем, нет во всем Лондоне. Нет более порядочной девушки и среди моих родных и среди твоих.

— Допустим. Что же дальше?

— А вот теперь,— сказал Юджин, с сомнением во взгляде следя за Мортимером, снова зашагавшим по ком-

нате,— теперь ты опять заставляешь меня отгадывать загадку, перед которой я давно спасовал.

— Юджин, ты решил обольстить и бросить эту девушку?

— Разумеется, нет, друг мой!

— Ты решил жениться на ней?

— Разумеется, нет, друг мой!

— Ты решил преследовать ее?

— Друг мой! Никаких таких решений я не принимал. Я вообще не способен что-либо решать. Если бы в голове у меня вдруг возникло какое-либо решение, я изнемог бы от умственных усилий и немедленно махнул бы на него рукой.

— Ах, Юджин, Юджин!

— Мортимер, дорогой мой! Умоляю тебя, оставь этот меланхолически укоризненный тон. Я могу сказать тебе только то, что знаю, и покаяться в своем неведении относительно самого себя. Помнишь ту старинную песенку, которая почему-то считается веселой, а на деле самая мрачная из всех, какие только мне приходилось слышать?

Гоните меланхолию! *
Зачем нам тосковать
И жизнь с ее безумством
Слезами обливать!
Так пойте, пойте весело.
Тра-ля-тра-ля-ля-ля...

«Тра-ля-тра-ля-ля-ля» петь не стоит, мой дорогой Мортимер, тем более что эти звукосочетания довольно бессмысленны. Давай лучше споем про загадку, которая нам не по силам.

— Ты встречаешься с этой девушкой, Юджин? Значит, то, что говорили эти люди, правда?

— Я признаюсь моему почтенному и ученому другу и в том и другом.

— Так чем же это кончится? Что ты делаешь? Куда ты идешь?

— Мой дорогой Мортимер! Можно подумать, что этот учитель занес сюда заразу — ты закидал меня вопросами, как на экзамене! Тебе надо выкурить еще одну сигару для восстановления душевного равновесия. Вот возьми, прошу тебя. Прикури о мою, она еще не потухла. Та-ак! А теперь воздай мне должное и согласись, что я изо всех сил

стремлюсь к самосовершенствованию и что недавние события пролили свет на нашу кухонную утварь, которую до сих пор ты видел как в тумане и потому поторопился — да, да, поторопился! — осмеять. Сознавая свои недостатки, я окружил себя вещами, моральное воздействие коих способствует зарождению в человеке домовитости. Этому моральному воздействию, а также благотворному влиянию моего закадычного друга можешь спокойно препоручить меня со своими наилучшими пожеланиями.

— Ах, Юджин! — ласково проговорил Лайтвуд, остановившись перед ним, так что теперь их обоих окутывало облачко сигарного дыма.— Почему ты не хочешь ответить на мои вопросы? Чем же это кончится? Что ты делаешь? Куда ты идешь?

— Дорогой Мортимер! — сказал Юджин, разгоняя рукой дым, чтобы друг ясно видел его лицо, его открытый взгляд.— Верь мне, я ответил бы на них ни минуты не медля, если бы только мог. Но для этого мне надо снова попробовать разгадать одну мучительную загадку, на которую я давно махнул рукой. Вот она: Юджин Рэйберн.— Он похлопал себя по лбу и по груди.— «Думай, голову ломай! Кто я, кто я, отгадай!» Нет! Разве отгадаешь? И пытаться нечего!

ГЛАВА VII,

в которой двое заключают дружеский договор

Расписание занятий, установленное мистером Боффином и его чтецом, мистером Сайласом Веггом, претерпело изменения в связи с изменившимся образом жизни мистера Боффина, и Римская империя стала приходить теперь в упадок больше по утрам, в великолепном аристократическом особняке, а не в вечерние часы и не в «Приюте Боффина», как было заведено раньше. Впрочем, иногда, ища хотя бы ненадолго передышки от стеснительных условностей моды, мистер Боффин с наступлением темноты сам появлялся в «Приюте» и, усевшись на тот же деревянный ларь, внимал рассказу о быстро клонившихся к закату судьбах безвольных, растленных властителей

мира, которые уже находились при последнем издыхании. Если бы Вегг получал меньшую мзду от своего патрона или больше подходил бы для должности чтеца, он, вероятно, считал бы посещения мистера Боффина приятными и лестными для себя. Но, будучи шарлатаном, получающим за свое шарлатанство хорошее жалованье, мистер Сайлас Вегг весь кипел от таких посещений. Это только подтверждало общее правило, что плохой слуга, у кого бы он ни находился в услужении, всегда ополчается против своего хозяина. Даже те правители, те вельможные и достопочтенные особы, которые занимают высокие посты по праву рождения и выглядят сущими ослами, даже они, все до единого,— недоверием ли, ничем не оправданным, тупой ли надменностью,— выказывают враждебность к *своему хозяину*. То, что верно по отношению к слуге и к господину в государственных масштабах, с полным правом можно распространить и на всех слуг и господ, какие только есть на белом свете.

Когда мистер Сайлас Вегг, наконец, получил свободный доступ в «наш дом», как он привык называть особняк, у стен которого просидел много лет под открытым небом, и когда он, наконец, убедился, насколько там все до мелочей не соответствует его прежним представлениям (чего, в сущности, и следовало ожидать), этот дальновидный и хитрый субъект, набивая себе цену и подготавливая почву для вымогательства, стал то и дело предаваться меланхолическим воспоминаниям о прошлом, словно и сам он и особняк одновременно потерпели крушение в жизни.

— Ведь это, сэр, был когда-то наш дом! — говорил Сайлас своему патрону, в грустном раздумье покачивая головой.— Ведь это, сэр, тот самый дом, откуда у меня на глазах выходили и куда входили такие знатные особы, как мисс Элизабет, маленький мистер Джордж, тетушка Джейн и дядюшка Паркер! (Все имена, разумеется, плод его досужей фантазии.) И, подумать только, чем все это кончилось! Ах, боже мой, боже мой!

Причитания мистера Вегга были исполнены такого глубокого чувства, что добрейший мистер Боффин жалел его от всего сердца и уже начинал опасаться, не причинил ли он своему чтецу непоправимого вреда покупкой этого дома.

Две-три дипломатические беседы, которые мистер Вегг, положив на это немало труда, выдал за результат счастливого стечения обстоятельств, якобы приведших его в Клеркенуэл, дали ему возможность окончательно договориться с мистером Венусом.

— Принесите меня в «Приют» в субботу вечерком,— сказал Сайлас, когда сделка была закончена.— И если вы не прочь выпить со мной по-дружески старого ямайского рому, я на угощение не поскуплюсь.

— Ведь вам известно, сэр, что я невеселый собутыльник,— ответил мистер Венус,— но ладно, так и быть.

Так оно и было. Подошла суббота, а в субботний вечер к калитке «Приюта» подошел и мистер Венус. Мистер Вегг выходит на его звонок, отпирает калитку и, увидев под мышкой у мистера Венуса какую-то дубинку в оберточной бумаге, сухо произносит:

— Гм! Я думал, вы приедете в кэбе.

— Нет, мистер Вегг,— отвечает Венус.— Мне не по чину разъезжать со свертками в кэбах.

— Ну, конечно, конечно,— недовольно бурчит Вегг, но все же не решается добавить вслух: «Да по чину ли тебе и пешком-то ходить с такими свертками!»

— Вот ваше приобретение, мистер Вегг,— говорит Венус, с учтивым поклоном передавая ему сверток,— и должен сказать, что мне очень приятно вернуть эту вещь туда, откуда она... э-э... произошла.

— Благодарствую,— отвечает Вегг.— Но теперь, когда наша сделка совершена, не могу не отметить по-дружески, что, если бы я предварительно посоветовался с каким-нибудь законником, вам, пожалуй, не удалось бы удержать у себя этот предмет. Правда, интересный казус с точки зрения закона?

— Напрасно вы так думаете, мистер Вегг. Я купил вас в открытую, мы с вами обо всем договорились.

— В нашей стране, сэр, не разрешается покупать человеческую плоть и кровь — во всяком случае, заживо,— заявляет Вегг, покачивая головой.— А как насчет костей?

— С точки зрения закона?

— С точки зрения закона.

— Я не настолько сведущ в законах, чтобы высказываться по этому поводу, мистер Вегг,— говорит Венус,

густо краснея и несколько повышая голос,— но по сути дела выскажусь, а суть дела такова, что я послал бы вас... сказать куда?

— Да нет, не стоит,— миролюбиво отвечает мистер Вегг.

— ...прежде чем вручать вам этот сверток, не получив причитающейся мне за него суммы. Не знаю, как там обстоит по части законов, но в сути дела я разбираюсь, и тут вы меня с толку не собьете.

Так как мистер Венус находится в раздраженном состоянии (несомненно, из-за несчастной любви) и так как выводить его из себя не в интересах мистера Вегга, последний замечает успокоительным тоном:

— Да я упомянул об этом маленьком юридическом казусе просто так, применительно к нашей пенни... пеннитенциарной системе.

— Тогда, мистер Вегг, пусть эта система обойдется вам не в пенни, а в шиллинг,— возражает ему мистер Венус,— потому что, сказать по совести, мне ваши маленькие юридические казусы ценой в пенни не нравятся.

Войдя с холода в комнату, где тепло и светло от камина и газового рожка, мистер Венус сменяет гнев на милость и, одобрительно отозвавшись о жилище мистера Вегга, вспоминает, как он (Венус) говорил, что ему (Веггу) здорово повезло с его новой должностью.

— Я не жалуюсь,— отвечает Вегг.— Впрочем, мистер Венус, не забывайте поговорку про бочку меда и ложку дегтя. Вот вам горячая вода, рому подливайте сами и садитесь поближе к камину. Трубочкой любите побаловаться?

— Нет, не любитель,— отвечает тот,— но разок-другой затянусь, с вами за компанию.

И вот мистер Венус подливает себе рому, и Вегг подливает себе рому; мистер Венус закуривает и пускает клубы дыма, и Вегг закуривает и тоже пускает клубы дыма.

— Значит, мистер Вегг, даже в вашей бочке меда не обошлось без ложки дегтя, как вы сами изволили заметить?

— Тайны! — отвечает Вегг.— Не нравится мне все это, мистер Венус. Не нравится мне, что прежних обитателей дома, в котором мы с вами сидим, может, отправили

на тот свет глухой ночью, а я даже не знаю, чьих это рук дело.

— Вы кого-то подозреваете, мистер Вегг?

— Нет,— отвечает этот джентльмен.— Мне известно, кто тут выгадал, но подозревать я никого не подозреваю.

С этими словами мистер Вегг подносит трубку ко рту, устремляет взгляд на огонь и самым решительным образом придает лицу выражение милосердия, словно ему удалось ухватить эту главную нашу добродетель за юбку и удержать около себя силой в ту минуту, когда она, к своему прискорбию, почла долгом бежать от него.

— Кроме того,— продолжает Вегг,— могу сообщить вам собственные наблюдения касательно некоторых лиц и некоторых обстоятельств. Только наблюдения, и больше ничего, мистер Венус. Вот, скажем, на одного человека, не станем его здесь называть, сваливается с неба огромное наследство. А на меня сваливается с неба жалованье и еженедельный рацион угля. Кто из нас личность более достойная? Не тот, кого мы не станем здесь называть. Вот какое я произвел наблюдение,— только наблюдение, без всяких посягательств. У меня мое жалованье и еженедельный рацион угля. У него — наследство. Вот так у нас и получилось.

— Мне бы ваше хладнокровие, мистер Вегг!

— Слушайте дальше,— продолжает ораторствовать Сайлас и, войдя в раж, взмахивает трубкой и деревянной ногой, причем последняя так и норовит опрокинуть его самым недостойным образом навзничь, вместе со стулом.— Вот вам еще одно наблюдение, без всяких посягательств с моей стороны. На того, кого мы здесь не называем, будут наседать со всех сторон. Собственно, на него уже наседают. Тот, кого мы не станем здесь называть, имеет под рукой меня — человека, который, натурально, рассчитывает на повышение в должности, и, как вы, может быть, скажете, заслуживает повышения...

(Мистер Венус бормочет что-то в утвердительном смысле.)

— ...тот, кого мы не станем здесь называть, пренебрегает мною, несмотря на все эти обстоятельства, и предпочитает мне какого-то наседающего незнакомца. Который из нас двоих личность более достойная? Который из

нас двоих, угождая тому, кого мы не станем здесь называть, читал про римлян, и военных и штатских, до хрипоты в горле, будто его пичкали одними опилками с тех пор, как отняли от груди? Уж, разумеется, не наседающий незнакомец! И тем не менее он там как у себя дома, устроился в отдельной комнате, занял прочное положение и загребает чуть ли не тысячу фунтов в год. Меня же до поры до времени сунули в «Приют», точно старый стул,— авось когда-нибудь пригожусь. Значит, истинные достоинства в счет не идут. Вот так у нас и получается. Я волей-неволей наблюдаю все это, потому что у меня такая привычка — все наблюдать, но я ни на что не посягаю. Вам приходилось бывать здесь раньше, мистер Венус?

— Не дальше калитки, мистер Вегг.

— Значит, в калитку не входили, мистер Венус?

— Нет, мистер Вегг, только заглядывал во двор из любопытства.

— И что вы там видели?

— Ничего кроме мусорной свалки.

Мистер Вегг вращает глазами, продолжая свои безуспешные поиски в комнате, потом вращает глазами, оглядывая с ног до головы мистера Венуса, словно подозревая, не утаивает ли тот что-нибудь.

— Вы же были знакомы со старым мистером Гармоном, сэр,— продолжает Сайлас,— и вам следовало бы из вежливости нанести ему визит. Ведь вы человек вежливый.— Этот комплимент должен умаслить мистера Венуса.

— Правильно, сэр,— отвечает Венус, подслеповато прищуриваясь и запуская всю пятерню в свою пропыленную шевелюру.— Я и был раньше вежливым, но одно известное вам письмо озлобило меня. Вы понимаете, на что я намекаю, мистер Вегг? На некое заявление, сделанное в письменной форме, касательно того, что некая особа не желает, чтобы ее равняли с известным вам предметом. С тех пор во мне ничего не осталось, кроме желчи.

— Ну, что-нибудь да осталось,— сочувственно говорит мистер Вегг, стараясь утешить мистера Венуса.

— Ничего не осталось,— повторяет тот.— Может, людям покажется это жестокостью с моей стороны, но я готов кидаться на своих лучших друзей. Клянусь вам!

Невольно взмахнув своей деревяшкой, чтобы оборо-

ниться от мистера Венуса, который в подтверждение произнесенной им человеконенавистнической декларации вскакивает на ноги, мистер Вегг запрокидывается назад вместе со стулом, покряхтывая встает, с помощью безобидного мизантропа, и уныло потирает затылок.

— Вы потеряли равновесие, мистер Вегг,— говорит Венус, подавая ему трубку.

— Потеряешь! — ворчит Сайлас.— Когда гость вдруг ни с того ни с сего взвивается, точно паяц на пружинке! Вы, мистер Венус, пожалуйста, больше так не вскакивайте.

— Прошу прощения, мистер Вегг, но уж очень я озлобился.

— Это все понятно, черт побери! — не унимается Вегг.— Но кто владеет собой, пусть озлобляется сидя. А что до того, кого с чем равняют, так вам угодно выражаться обиняками, а мне,— опять потирая затылок,— не угодно ходить с синяками.

— Постараюсь это запомнить, сэр.

— Да, уж будьте так любезны.— Мистер Вегг переходит с иронического тона на свой обычный, приглушает раздражение и снова берется за трубку.— Так мы говорили, что старик Гармон был вашим приятелем?

— Я бы сказал не приятелем, а знакомым, мистер Вегг. При встречах мы разговаривали, а время от времени бывали у нас и кое-какие дела. Любознательный был человек насчет всяких находок в мусоре. Любознательный и скрытный.

— Ах, скрытный! — восклицает Вегг, с алчным придыханием в голосе.

— Да, и по виду и по всем повадкам.

— Гм! — Сайлас снова вращает глазами.— А вот эти находки среди мусора... Вам никогда не приходилось слышать от него, друг мой, как он их обнаруживал? Когда живешь в таком таинственном месте, это небезынтересно знать. Например, где он находил разные вещи? Или, например, как он принимался за дело? Раскапывал горы мусора сверху или раскапывал их снизу? Тыкал палкой? — Пантомима, которой сопровождаются эти слова, достигает здесь особой выразительности и мастерства.— А может быть, он разгребал лопатой? Ну-с, что же он делал, мой

дорогой мистер Венус, разгребал лопатой или,— может, вы бы сказали мне, как другу,— тыкал палкой?

— Я бы сказал, ни то и ни другое, мистер Вегг.

— Ну, как товарищу, мистер Венус... да подливайте рому, рому надо подбавить!.. Почему ни то и ни другое?

— Я полагаю, потому, сэр, что все находки, какие были, обнаруживались во время просеивания и сортировки. Ведь мусор, кажется, пропускают через решета и сортируют?

— Вот увидите свалку сами и тогда скажете свое окончательное мнение. Подбавить надо, подбавить!

Приговаривая «подбавить надо, подбавить!», мистер Вегг — скок-скок на своей деревяшке — придвигает стул все ближе и ближе к мистеру Венусу, словно предлагая подбавить не рому в стакан, а самого себя к мистеру Венусу.

— Когда, повторяю, живешь в таком таинственном месте, не мешает знать о нем все,— говорит Сайлас, лишь только его гость, пользуясь радушием хозяина, подливает себе рому в стакан.— Так вот, скажите мне — как брату,— что он, только находил разные вещи среди мусора или и сам туда кое-что припрятывал?

— Пожалуй, мог и припрятывать, мистер Вегг.

Мистер Вегг насаживает очки на нос и восхищенным взглядом окидывает мистера Венуса с головы до ног.

— Будучи, подобно мне, смертным, которому я подаю руку впервые за сегодняшний день, неизвестно почему презрев сей акт, полный безграничного доверия к ближнему своему,— говорит Вегг, беря руку мистера Венуса ладонью кверху, чтобы ударить по ней с размаху, и тут же ударяя.— Так вот, как ближний, именно ближний, ибо я порываю более низменные узы между собой и тем, кто ступает, гордо подняв голову, и кого, единственного, я могу назвать своим близнецом. Так вот, поскольку вы привержены ко мне, а я к вам,— скажите, что он там прятал?

— Я могу только предполагать, мистер Вегг.

— Как человек, который говорит, положа руку на сердце,— восклицает Вегг, причем драматичности этого возгласа нисколько не мешает то обстоятельство, что на самом-то деле человек сидит, положа руку на стакан с ро-

мом,— облеките свое предположение в слова, мистер Венус, и произнесите их.

— Этот старый джентльмен был из той породы людей, сэр,— хлебнув рому, медленно отвечает наш анатом,— которые, по моему мнению, не стали бы упускать здешние богатые возможности для припрятывания денег, различных ценностей, а то и бумаг.

— Будучи украшением рода человеческого,— провозглашает мистер Вегг, снова берет руку мистера Венуса ладонью кверху, точно намереваясь заняться хиромантией, и заносит свою для удара.— Будучи человеком, коего мог иметь в виду поэт, сочинивший известные всей нашей нации морские стихи:

> Держи по ветру и брасопь нок-реи *,
> Готовься к бою, доблестный матрос!
> На абордаж, друзья, смелее!
> Цепляйтесь гаком, мистер Венус, за корму и нос!

Другими словами, я рассматриваю вас в свете этих стихов, как «могучий дуб английский» *, и как таковой, мистер Венус, объясните, что значит «бумаги»?

— Принимая во внимание, что старый джентльмен то и дело лишал наследства своих ближайших родственников и глушил в себе естественные привязанности,— отвечает мистер Венус,— у него, вероятно, было составлено много разных завещаний и дополнительных распоряжений к ним.

Ладонь мистера Вегга звучно шлепает по ладони мистера Венуса, и Вегг горячо восклицает:

— Близнецы во всем, и в мнениях и в чувствах. Подливайте рому, подливайте!

Придвинув деревяшку и стул вплотную к мистеру Венусу, мистер Вегг собственной рукой поспешно разливает ром, передает стакан гостю, чокается с ним, подносит свой стакан ко рту, ставит его на стол, потом кладет обе руки мистеру Венусу на колени и обращается к нему с такой речью:

— Мистер Венус! Не из-за того, что мне предпочли какого-то незнакомца, хотя, на мой взгляд, этот незнакомец личность более чем сомнительная. Не из-за денег, хотя деньги всегда пригодятся. Не в собственных интересах,

хотя я никогда не упускал случая порадеть о самом себе. А все во имя правды!

С безучастным видом мигнув своими подслеповатыми глазками — сразу обоими, мистер Венус вопрошает:

— Что «все», мистер Вегг?

— Дружеский договор, который я вам предлагаю. Вы понимаете, в чем его суть?

— Вы сначала сами доберитесь до его сути, а там посмотрим.

— Если здесь можно что-нибудь найти, пусть находка будет наша общая. Давайте заключим дружеский договор и будем искать вместе. Давайте заключим дружеский договор и поделим доходы поровну. Во имя правды! — Так вещает Сайлас, преисполнившись благородных чувств.

— Следовательно...— Мистер Венус поднимает глаза на мистера Вегга после минутной паузы, во время которой он сидел, погруженный в раздумье и запустив все десять пальцев в волосы, словно ему удавалось ухватить нужную мысль, только ухватив голову обеими руками.— Следовательно, если в мусоре что-нибудь отыщется, мы с вами будем держать свою находку в тайне? Так, мистер Вегг?

— Смотря по тому, какая находка, мистер Венус. Скажем, деньги, или серебро, или драгоценности так же могут стать нашей собственностью, как и чьей-нибудь еще.

Мистер Венус в изумлении потирает правую бровь.

— Это все во имя правды, мистер Венус. Потому что в противном случае находка уйдет вместе с мусором, и покупатель получит то, на что он никак не рассчитывал и чего он не покупал. А тогда, мистер Венус, восторжествует неправда.

— А если обнаружатся бумаги? — спрашивает мистер Венус.

— Посмотрим, какого они будут содержания, и предложим их заинтересованным лицам,— не задумываясь, отвечает Вегг.

— Во имя правды, мистер Вегг?

— Не иначе, мистер Венус. Если заинтересованные лица не захотят использовать эти бумаги во имя правды,— их дело. Мистер Венус! У меня сложилось о вас определенное мнение, но выразить его словами нелегко. С первого своего прихода — помните тот вечер, когда вы, если

можно так выразиться, омывали чаем свой могучий ум,— я решил, что вам надо поставить перед собой какую-нибудь цель, чтобы воспрянуть духом. Вот наш дружеский договор и будет для вас той великой целью, которая поможет вам воспрянуть духом, сэр!

И тут мистер Вегг заводит речь о том, что ему давно подсказал его изворотливый ум: он говорит о блестящих данных мистера Венуса для таких изысканий. Он распространяется о ремесле мистера Венуса, требующем большого терпения и ловкости пальцев, о его уменье подгонять одна к другой отдельные мелкие части, о том, что ему всегда приходилось иметь дело с различными костями и суставами; о том, что незначительные, казалось бы, приметы могут навести его на открытие больших тайников.

— А ведь я,— говорит Вегг,— я на это не гожусь. За что бы я ни взялся — палкой ли прощупывать, лопатой ли разгребать,— нет во мне тонкости! Сразу будет видно: в мусоре кто-то копался. Вот когда вы приметесь за дело — разумеется, свято придерживаясь заключенного между нами дружеского договора и памятуя о своем ближнем,— тогда все пойдет по-иному.— Далее мистер Вегг скромно упоминает о помехах, которые чинит ему деревянная нога, когда приходится лазать по приставным лестницам и прочим шатким приспособлениям, и намекает еще на одну особенность, присущую этому столярному изделию, а именно: лишь только ее призывают к действию, скажем, влекут на прогулку по кучам золы, она утопает в этом податливом веществе, пригвождая своего обладателя к месту. Вслед за тем мистер Вегг отмечает поразительный факт, что он услышал легенду о кладах в мусорной свалке еще до своего переезда в «Приют», и ни от кого другого, как от мистера Венуса.

— И это неспроста,— добавляет Сайлас, скорчив мину, которая должна изображать благочестие. Вернувшись под конец к вопросу о торжестве правды, мистер Вегг мрачно предсказывает, что, по всей вероятности, им удастся раскопать кое-какие улики против мистера Боффина, с присущей ему скромностью снова говорит, насколько этому человеку было выгодно совершить убийство, и предвкушает, как участники дружеского договора предадут убийцу в руки правосудия. Но это, подчеркивает

мистер Вегг, будет сделано отнюдь не ради вознаграждения, хотя отказ от него и свидетельствовал бы об отсутствии у них моральных устоев.

Мистер Венус слушает его разглагольствования с величайшим вниманием, собрав свои пропыленные волосы в два пучка, похожие на собачьи уши. Когда мистер Вегг, умолкнув, широко разводит руками, словно показывая, что у него душа нараспашку, а потом складывает их на груди в ожидании ответа мистера Венуса, тот подмигивает ему обоими глазами и только после этого начинает говорить.

— Насколько я понимаю, мистер Вегг, вы уже пытались приступить к делу сами? И убедились на собственном опыте, какие тут представляются трудности?

— Ну что вы! Это даже попыткой нельзя назвать! — отвечает мистер Вегг, несколько смущенный намеком.— Я только так прошелся, посмотрел, вот и все.

— И ничего, кроме трудностей, не обнаружили?

Вегг утвердительно кивает головой.

— Просто не знаю, что вам ответить, мистер Вегг,— говорит Венус после короткого раздумья.

— Соглашайтесь! — восклицает Вегг.

— Если бы не мое озлобление, я бы отказался. Но, будучи человеком озлобленным и доведенным до безумия, до отчаяния, мистер Вегг, я, кажется, соглашусь.

На радостях Вегг наливает рому в оба стакана, повторяет церемонию чоканья и мысленно от всей души пьет за здоровье и за успех в жизни той девицы, которая довела мистера Венуса до его теперешнего умонастроения, столь соответствующего обстоятельствам.

Вслед за тем дружеский договор обсуждается пункт за пунктом. Пункты эти таковы: полное сохранение тайны, обоюдная верность и настойчивость. Мистеру Венусу предоставляется свободный доступ в «Приют» в любое время дня и ночи, на предмет изысканий, кои надлежит проводить с соблюдением всяческой осторожности, чтобы не привлечь внимания соседей.

— Шаги! — вдруг восклицает Венус.

— Где? — вскрикивает Вегг, подскакивая на месте.

— Во дворе. Шш!

Дружеский договор надо бы скрепить рукопожатием — руки уже протянуты. Но теперь оба отдергивают их,

закуривают потухшие трубки и откидываются на спинки стульев. Шаги — сомнений быть не может. Они приближаются; чьи-то пальцы стучат по оконному стеклу.

— Войдите! — говорит Вегг, подразумевая «войдите в дверь». Но тяжелая старинная рама медленно поднимается, и из ночного мрака в окно так же медленно просовывается чья-то голова.

— Скажите, пожалуйста, мистер Вегг дома? Ах, это вы сами!

Даже если бы посетитель вошел в дом обычным способом, участникам дружеского договора стало бы не по себе. Но то, что он стоит, навалившись грудью на подоконник, и пристально смотрит в комнату из темноты, окончательно обескураживает их. Особенно мистера Венуса, который вынимает трубку изо рта, откидывает голову назад и таращит глаза на незнакомца, словно это не кто иной, как индийский младенец, явившийся сюда затем, чтобы увести своего хозяина домой.

— Добрый вечер, мистер Вегг. Будьте так любезны, почините задвижку на калитке, а то она не запирается.

— Мистер Роксмит? — еле выговаривает Вегг.

— Да, это мистер Роксмит. Я не хочу вам мешать и заходить не буду. Я взялся выполнить одно поручение по дороге домой. Подошел к калитке и думаю, можно ли войти без звонка? А вдруг у вас собака?

— Нету, к сожалению,— бормочет Вегг, повернувшись спиной к окну.— Тсс! Мистер Венус! Это тот самый, который наседает!

— Мы знакомы? — спрашивает секретарь, глядя на мистера Венуса.

— Нет, мистер Роксмит. Это мой приятель. Коротаем вместе вечерок.

— А! Ну тогда извините меня. Мистер Боффин просил передать, чтобы вы не задерживались по вечерам дома в ожидании его прихода. Ему вдруг пришло в голову, как бы он, сам того не желая, не стал помехой в ваших делах. На будущее время давайте условимся, что если мистер Боффин придет без предупреждения и застанет вас дома — хорошо, не застанет — так тому и быть. Я взялся сообщить вам это. Вот и все.

Секретарь говорит «спокойной ночи» и, опустив оконную раму, исчезает. Друзья превращаются в слух: его шаги затихают у калитки, и калитка за ним захлопывается.

— И вот этому-то человеку, мистер Венус,— говорит Вегг, когда все смолкает,— предпочли меня! Разрешите спросить, как он вам показался?

Мистер Венус, по-видимому, сам этого не знает, потому что, сделав несколько попыток ответить, он не может пробормотать ничего более вразумительного, чем «странная личность».

— Не личность, а двуличность, сэр! — восклицает Вегг, позволяя себе в ожесточении чувств такую игру слов.— Вот в чем его суть. Личность это еще так-сяк, а двуличностей я не терплю. Он завзятый пройдоха, сэр!

— Значит, сэр, он вам чем-то подозрителен? — спрашивает Венус.

— Чем-то? — повторяет Вегг.— Чем-то? Какое бремя спало бы с моей души — говорю вам это как другу,— если бы моя рабская приверженность истине не вынуждала меня ответить: всем подозрителен!

Полюбуйтесь, до чего сентиментально-слезливы становятся бесхвостые страусы, ища места, куда бы спрятать голову! Вегг испытывает поистине неизъяснимое удовлетворение, радуясь буре чувств, которая охватывает его при мысли о том, что мистер Роксмит завзятый пройдоха.

— В эту звездную ночь, мистер Венус,— замечает Сайлас, ведя участника дружеского договора по двору и так же, как он, ощущая на себе воздействие многократных возлияний,— в эту звездную ночь просто тяжко думать, что наседающие незнакомцы и завзятые пройдохи могут преспокойно возвращаться домой, будто они самые что ни на есть порядочные люди!

— Зрелище этих небесных светил,— говорит мистер Венус, глядя вверх и роняя шляпу с головы,— с особой силой приводит мне на ум ее сокрушительные слова о том, что она не хочет и сама себя равнять и чтобы ее равняли с каким-нибудь ске...

— Знаю, знаю! Можете не повторять,— говорит Вегг, пожимая ему руку.— Вы только представьте, как эти

звезды укрепляют меня в моем решении действовать во имя правды против того, кого мы не будем здесь называть. Я не злобствую, отнюдь нет. Но вы видите, как они мерцают? Им есть что вспомнить! И что же они вспоминают, сэр?

Мистер Венус подхватывает заунывным голосом:

— Ее слова, написанные ее собственной рукой, что она не хочет и сама себя равнять и чтобы...— Но тут Сайлас с достоинством перебивает его:

— Нет, сэр! Они вспоминают наш дом, маленького мистера Джорджа, тетушку Джейн и дядюшку Паркера. Вспоминают все погубленное, все принесенное в жертву ничтожному червю и баловню фортуны!

ГЛАВА VIII,

в которой совершается похищение, впрочем вполне невинное

Ничтожный червь и баловень фортуны, или, выражаясь менее язвительно, Никодимус Боффин, эсквайр, он же Золотой Мусорщик, успел настолько обжиться в своем великолепном аристократическом особняке, насколько это позволяла ему его натура. Он не мог не чувствовать, что особняк, подобно великолепному аристократическому кругу сыра, слишком велик для его скромных потребностей и порождает несметное количество паразитов, но рассматривал этот недостаток как своего рода пожизненный налог на наследство. И он мирился с ним, тем более что миссис Боффин наслаждалась своей новой ролью, а мисс Беллу теперешний образ жизни приводил в восторг.

Эта юная девица оказалась ценным приобретением для четы Боффинов. Она была такая хорошенькая, что нравилась всюду, где бы ни появилась, а понятливость и ум правильно подсказывали ей, как вести себя в новой обстановке. Облагораживала ли такая новизна ее сердце, это вопрос вкуса, остающийся открытым, что же до вопросов вкуса там, где дело касалось внешности и манер, тут сом-

неваться в облагораживающем влиянии новой обстановки не приходилось.

И вскоре мисс Белла стала указывать миссис Боффин, как себя вести, более того — мисс Белла стала испытывать чувство неловкости и ответственности за миссис Боффин, когда та делала что-нибудь не так. Правда, существо с характером мягким и рассудком здравым не могло совершать очень уж серьезные промахи даже в обществе аристократических визитеров — крупнейших авторитетов по части утонченного обхождения,— единодушно признававших, что Боффины «очаровательно вульгарны» (вульгарность таких отзывов, безусловно, заслуживала другого эпитета). Но, оступаясь на гладком льду общепринятых условностей, на котором чада подснепов обязаны, во имя спасения своих аристократических душ, скользить то по кругу, то гуськом, миссис Боффин неизменно тянула за собой и мисс Беллу (так по крайней мере той казалось) и заставляла ее испытывать немалое замешательство под взглядами более искусных конькобежцев, принимавших участие в этих спортивных упражнениях.

По молодости лет мисс Белла, разумеется, не могла задумываться над тем, не ложно ли ее положение у мистера Боффина и насколько оно прочно. И так как она не щадила родительского дома, когда ей еще не с чем было его сравнивать, то в ее насмешках над ним и неблагодарности, сказавшейся в предпочтении ему чужого крова, не замечалось ничего нового.

— Бесценный человек этот Роксмит,— сказал мистер Боффин месяца три спустя, после переезда к ним Беллы.— Только я еще не раскусил его как следует.

Белла тоже не успела его раскусить, и поэтому слова мистера Боффина заинтересовали ее.

— Так печься о моих делах— печься денно и нощно не смогли бы и пятьдесят секретарей вместе взятых,— продолжал мистер Боффин.— И в то же время иной раз будто преграду положит посреди улицы между собой и мной, когда я собираюсь чуть ли не под ручку его взять.

— То есть как, сэр? — удивилась Белла.

— Да видите ли, душенька,— пояснил мистер Боффин,— он ни с кем не желает здесь встречаться, только с вами. Когда у нас бывают гости, мне бы хотелось видеть

мистера Роксмита на его обычном месте за столом, а он — ни за что.

— Если мистер Роксмит считает себя выше нашего общества,— заявила мисс Белла, тряхнув головкой,— я бы на вашем месте оставила его в покое.

— Нет, душенька, не в том дело,— проговорил мистер Боффин после короткого раздумья.— Он вовсе не считает себя выше нашего общества.

— Так, может быть, он считает себя ниже его? — сказала мисс Белла.— Ему лучше знать.

— Нет, душенька, опять не то. Нет, нет,— повторил мистер Боффин, снова подумав и покачав головой,— Роксмит человек скромный, но самоуничижением он не страдает.

— Так в чем же тогда дело, сэр? — спросила мисс Белла.

— Убей меня бог, не знаю! — воскликнул мистер Боффин.— На первых порах он не желал встречаться только с одним мистером Лайтвудом. А теперь всех избегает, кроме вас.

«Ого-го! — протянула мысленно мисс Белла.— Вот оно что! Скажите на милость! — Ведь мистер Мортимер Лайтвуд обедал у Боффинов раза два-три, а кроме того, она встречалась с ним в других домах, и он оказывал ей внимание.— Довольно смело со стороны какого-то секретаря — и папиного жильца — ревновать меня!»

То, что папина дочка так пренебрежительно отзывалась о папином жильце, могло показаться странным, но эта странность была не единственной в характере девушки испорченной вдвойне: испорченной сначала бедностью, а потом богатством. И пусть наше повествование позволит этим странностям распутаться самим собой.

«Подумать только! — мысленно восклицала исполненная презрения мисс Белла.— Папин жилец предъявляет на меня какие-то права и не подпускает ко мне женихов! Нет, в самом деле, это уж чересчур! Мистер и миссис Боффин открывают передо мной такую широкую дорогу, и вдруг — кто же? — секретарь и папин жилец позволяет себе вмешиваться в мои дела!»

А ведь не так давно Беллу взволновало открытие, что она нравится этому секретарю и папиному жильцу. Но

тогда в ее жизни еще не играл никакой роли ни великолепный аристократический особняк, ни портниха миссис Боффин.

И все же, несмотря на свою кажущуюся скромность, этот секретарь и папин жилец личность чрезвычайно навязчивая, по мнению мисс Беллы. Каждый раз в окне его кабинета горит свет, когда мы возвращаемся со спектакля или из оперы, и каждый раз он тут как тут — помогает нам выйти из кареты. Каждый раз миссис Боффин сияет при виде его и обращается к нему с приветливостью, поистине возмутительной, как будто планы этого человека можно принимать всерьез и одобрять!

— Вы никогда не просите меня передать что-нибудь вашим домашним, мисс Уилфер,— сказал однажды секретарь, встретив ее случайно, с глазу на глаз, в большой гостиной.— Я буду счастлив выполнить любое поручение.

— Как это понимать, мистер Роксмит? — осведомилась мисс Белла, томно опуская глаза.

— Как понять слово «домашние»? Я говорю о доме вашего отца в Холлоуэе.

Она вспыхнула от этого упрека, сделанного так искусно, что его можно было принять за прямой, чистосердечный ответ на ее вопрос, и сказала еще холоднее, подчеркивая каждое слово:

— О каких передачах и поручениях вы изволите говорить?

— О приветах и поклонах родным, которые, как я полагаю, вы так или иначе передаете,— тем же спокойным тоном ответил секретарь.— Мне было бы очень приятно, если бы вы воспользовались такой оказией. Ведь я, как вам известно, ежедневно бываю и тут и там.

— Незачем об этом напоминать мне, сэр.

Она слишком поторопилась осадить «папиного жильца» и сама это почувствовала, встретив его спокойный взгляд.

— Мои родные не так уж часто присылают мне... как вы изволили выразиться? — ах да, поклоны и приветы,— заявила мисс Белла, спеша найти себе оправдание в том, что ею пренебрегают.

— Они часто справляются о вас, и я сообщаю им то немногое, что знаю.

— Надеюсь, ваши сообщения правдивы! — воскликнула Белла.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом, так как малейшее сомнение обернулось бы против вас.

— Нет, разумеется, не сомневаюсь. Я заслужила упрек, он вполне справедлив. Извините меня, мистер Роксмит.

— Ваши извинения выказывают вас с такой хорошей стороны, что я не могу не принять их,— с чувством проговорил он.— Простите меня за эти слова, они вырвались невольно. Но вернемся к тому, с чего мы начали. Ваши родные, вероятно, думают, что я рассказываю вам о них, передаю приветы и прочие весточки. Но мне не хочется беспокоить вас, а вы сами о доме никогда не спрашиваете.

— Завтра, сэр,— сказала Белла, глядя на него так, словно он чем-то уязвил ее,— я собираюсь навестить своих домашних.

— Вы говорите это...— он запнулся,— мне или для передачи им?

— Как вам будет угодно.

— Значит, и родным и мне? И можно передать им это?

— Если хотите, пожалуйста, мистер Роксмит. Но я так или иначе приеду завтра.

— Тогда я предупрежу их.

Секретарь постоял минуту, видимо давая Белле возможность продолжить разговор, если она того пожелает. Но девушка молчала, и он вышел из гостиной. Оставшись одна, мисс Белла, к своему удивлению, убедилась, что из этой короткой беседы можно сделать два любопытных вывода. Первый: когда мистер Роксмит уходил, вид у нее был, несомненно, покаянный, и сердцем она тоже чувствовала раскаяние. Второй: у нее и в мыслях не было навестить родных до тех пор, пока она не сказала ему об этом, как о чем-то решенном. «Не понимаю ни себя, ни его! — недоумевала она.— Ему никто не давал права властвовать надо мной! И почему вдруг я стала считаться с ним, когда мне до него нет никакого дела?»

По настоянию миссис Боффин Белла должна была совершить свою поездку в карете, и на другой день она отправилась домой с большой помпой. Миссис Уилфер и мисс Лавиния долго обсуждали возможность и невозмож-



ность приезда Беллы в столь роскошном экипаже, но, завидев карету из окна, за которым они прятались в ожидании, решили задержать ее у дверей как можно дольше для того, чтобы подавить таким великолепием соседей и вызвать среди них переполох. Вслед за тем обе дамы, спустившись в так называемую гостиную, приготовились принять мисс Беллу с подобающим случаю полным безразличием.

Гостиная эта была очень маленькая и очень убогая, а лестница, которая туда вела,— очень узенькая и совсем покосившаяся. Сам домишко со всем его убранством был жалкой противоположностью великолепному аристократическому особняку. «Просто не верится,— подумала Белла,— что я когда-то могла жить здесь».

Мрачная величественность миссис Уилфер и прирожденная дерзость Лавви не улучшили настроения Беллы. Белле надо было хоть немножко помочь, но на помощь к ней никто не пришел.

— Какая нам оказана... честь! — произнесла миссис Уилфер, подставляя дочери щеку, не более приятную и желанную для поцелуя, чем ложка с оборотной стороны.— Ты, вероятно, скажешь, Белла, что твоя сестра Лавви заметно выросла.

— Мама,— перебила ее мисс Лавиния,— ваш раздраженный тон меня нисколько не удивляет, Белла его вполне заслужила, но, серьезно вас прошу, оставьте меня в покое и не выдумывайте глупостей, будто я выросла! В моем возрасте уже не растут.

— Я сама выросла после замужества,— строго провозгласила миссис Уилфер.

— Ну и прекрасно, мама,— сказала Лавви,— только на вашем месте я бы об этом не распространялась.

Надменный взгляд, которым эта величественная женщина ответила на слова дочери, мог бы смутить противника менее дерзкого, но на Лавинию он не произвел ни малейшего впечатления, и, предоставив матушке кидать надменные взгляды столько, сколько ей покажется нужным при данных обстоятельствах, она как ни в чем ни бывало обратилась к сестре:

— Надеюсь, Белла, ты не сочтешь для себя унизительным, если я тебя поцелую? Спасибо! Ну, как ты поживаешь, Белла? И как поживают твои Боффины?

— Молчать! — вскричала миссис Уилфер.— Довольно! Я не потерплю такой вольности!

— Ах, скажите на милость! Тогда — как поживают твои Споффины? — отпарировала Лавви.— Если уж мама возражает против твоих Боффинов.

— Наглая девчонка! Мегера! — произнесла миссис Уилфер с поистине угрожающей суровостью.

— Мегера я или пантера,— тряхнув головкой, преспокойно ответила Лавиния,— меня это очень мало трогает и мне совершенно все равно, кем быть. Но после замужества я не вырасту — так и знайте!

— Не вырастешь? Ах, не вырастешь? — величественно вопросила миссис Уилфер.

— Нет, мама, не вырасту. Ни за что на свете.

Миссис Уилфер взмахнула перчатками и перешла на величественно патетический тон.

— Что прикажете ожидать матери? — так вещала она.— Старшая моя дочь предпочитает мне гордецов и богачей, младшая — меня презирает. Все одно к одному.

— Мама! — заговорила, наконец, Белла.— Мистер и миссис Боффин богатые люди, это бесспорно, но никто не давал вам права называть их гордецами. Да вы и сами должны знать, что они вовсе не гордецы.

— Короче говоря, мама,— вмешалась Лавви, без всякого предупреждения переметнувшись на сторону своего недавнего противника,— вы должны знать, что мистер и миссис Боффин само совершенство, а если не знаете, то позор на вашу голову.

— Да, правильно,— сказала миссис Уилфер, великодушно принимая перебежчицу в свое лоно.— Нам, кажется, действительно следует считать их совершенством. Вот почему, Лавиния, я возражаю против твоих вольностей. Миссис Боффин (о физиономии которой я, увы, не могу говорить с должным спокойствием), миссис Боффин и твоя мать не состоят в дружеских отношениях. Вряд ли можно хотя бы на минуту предположить, что она и ее супруг осмеливаются называть нашу семью «Уилферы». И потому я не снизойду до того, чтобы называть их «Боффины». Нет, нет! Подобная... фамильярность, вольность, бесцеремонность — назовите как угодно — предполагала

бы такие взаимоотношения, каких на самом деле не существует. Я выражаюсь понятно?

Не вняв ни единому слову из этого весьма внушительного и красноречивого заявления, Лавви снова обратилась к сестре:

— Белла, а ты все же так ничего и не сказала о своих... как их там?

— Я не желаю говорить о них здесь,— ответила Белла, стараясь сдержать негодование и притопывая ножкой.— Таких людей незачем приплетать к нашим дрязгам. Они слишком добры и слишком хороши для этого.

— Зачем же выражать свою мысль именно так? — ядовито вопросила миссис Уилфер.— Нужны ли тут околичности? Правда, это очень учтиво и любезно, но зачем же выражать свою мысль именно так? Почему не сказать прямо, что они слишком добры и слишком хороши *для нас?* Мы понимаем намек. Зачем же прибегать к обинякам?

— Мама,— сказала Белла, топнув ножкой,— вы и святого способны довести до умопомрачения! И вы и Лавви!

— Злосчастная Лавви! — жалостливым голосом возопила миссис Уилфер.— Ей всегда достается. Бедное мое дитя! — Но Лавви так же неожиданно, как и в первый раз, переметнулась на сторону другого противника, весьма резко заметив при этом:

— Уж *меня-то,* мама, можете не опекать, я и сама за себя постою.

— Я изумляюсь,— проговорила миссис Уилфер, адресуя на сей раз свои замечания старшей дочери, как, в общем, более надежной, чем совершенно необузданная Лавви.— Я изумляюсь, Белла, что ты нашла время и желание оторваться от мистера и миссис Боффин и посетить нас. Я изумляюсь, что наши права на тебя, столкнувшись с недосягаемыми по высоте правами мистера и миссис Боффин имеют какое-то значение. Мне, разумеется, следует быть благодарной за такой успех в соперничестве с мистером и миссис Боффин. (Почтенная женщина с особым ожесточением напирала на первую букву в слове «Боффин», точно в букве «Б» и таился корень ее недовольства носителями этой фамилии и точно Доффин, Моффин или Поффин было бы гораздо легче снести.)

— Мама,— сердито заговорила Белла,— вы просто вынуждаете меня сказать, что мне не следовало приезжать домой и что больше я домой не приеду, во всяком случае в папино отсутствие, потому что мой бедный дорогой папочка человек благородный и никогда не станет завидовать моим великодушным друзьям, никогда не станет злобствовать на них. Папа слишком деликатен и мягок, чтобы попрекать меня теми скромными требованиями, которые они ко мне предъявляют, и тем очень нелегким положением, в котором я очутилась совсем не по своей вине. Я всегда любила бедного дорогого папочку больше, чем вас обеих, вместе взятых, и я его люблю и всегда буду любить.

И тут Белла, уже не черпая больше никакого утешенья в своей очаровательной шляпке и в нарядном платье, залилась слезами.

— Я уверена, Р. У.,— воскликнула миссис Уилфер, возводя глаза ввысь и обращаясь куда-то в пространство,— я уверена, что, если бы вы присутствовали здесь и слышали, как вашу жену и мать вашего семейства принижают по сравнению с вами, вы испытали бы потрясение всех чувств! Но судьба уберегла вас, Р. У., и обрушилась на меня.

И тут миссис Уилфер залилась слезами.

— Ненавижу этих Боффинов! — воскликнула мисс Лавиния.— Пусть мне не позволяют называть их Боффинами! Я все равно буду называть их Боффинами! Боффины, Боффины, Боффины! Они зловредные, эти Боффины! Эти Боффины восстановили против меня Беллу, и я заявляю Боффинам прямо в лицо...— Это не совсем соответствовало положению вещей, но следует учесть, в каком волнении находилась юная мисс Лавиния.— Я заявляю, что они противные Боффины, вульгарные Боффины, гнусные Боффины, отвратительные Боффины! Вот!

И тут мисс Лавиния залилась слезами.

Калитка в палисаднике скрипнула, и они увидели секретаря, быстро поднимавшегося по ступенькам.

— Так как у нас никого нет в услужении, я сама открою ему дверь.— Тряхнув головой, миссис Уилфер утерла слезы и с жертвенным видом поднялась со стула.— Нам нечего скрывать. Если он обнаружит следы волнения

у нас на лицах, пусть делает из этого любые выводы.— Она выплыла за дверь и через минуту снова вплыла в комнату, провозгласив, точно герольд: — Мистер Роксмит имеет передать сверток мисс Белле Уилфер.

Мистер Роксмит вошел сразу после доклада и, разумеется, понял, что тут происходило. Однако он, со свойственной ему деликатностью, сделал вид, будто ничего не заметил, и обратился к мисс Белле:

— Мистер Боффин собирался еще утром положить этот сверток в карету. Ему хотелось сделать вам маленький подарок на память — тут кошелек, мисс Уилфер. Но так как он не успел выполнить свое намерение, я решил поехать за вами вдогонку.

Белла взяла сверток и поблагодарила секретаря.

— Мы здесь повздорили, мистер Роксмит, но не больше, чем всегда. У нас это водится, как вам известно. Я уезжаю. До свиданья, мама. До свиданья, Лавви.— И, поцеловав их обеих, мисс Белла шагнула к двери. Секретарь хотел было проводить ее, но так как миссис Уилфер, выступив вперед, проговорила с достоинством: «Прошу прощенья! Разрешите мне воспользоваться своими материнскими правами и проводить дочь до кареты, которая ее ожидает»,— он извинился и отступил в сторону. Какое это было великолепное зрелище, когда миссис Уилфер распахнула настежь дверь и, простерев перчатки, громко провозгласила: «Служитель миссис Боффин! — А потом, когда он предстал пред ней, добавила кратко, но величаво: — Мисс Уилфер выходит!» — и сдала дочь на его попечение, точно страж в юбке, выпускающий государственного преступника из Тауэра. Этот церемониал произвел совершенно парализующее действие на соседей, и те не могли оправиться от оцепенения минут двадцать, тем более что достойнейшая миссис Уилфер, охваченная поистине серафическим экстазом, все это время возвышалась на верхней ступеньке лестницы.

Сев в карету, Белла развязала маленький сверток. Там был изящный кошелек, а в кошельке — бумажка в пятьдесят фунтов. «Вот папа удивится! — подумала она.— Поеду в Сити и сама преподнесу ему этот приятный сюрприз!»

Точный адрес «Чикси, Веніринг и Стоблс» ей не был известен. Зная только, что контора где-то недалеко от Минсинглейн, она велела кучеру остановиться на углу этой мрачной улицы и отправила «служителя миссис Боффин» на поиски «Чикси, Веніринг и Стоблс», приказав ему передать на словах, что если Р. Уилфер сможет выйти, его будет ждать дама, желающая поговорить с ним. Это таинственное известие, услышанное из уст ливрейного лакея, произвело такой переполох в конторе, что вдогонку за Рамти-Растяпой немедленно выслали соглядатая юного возраста с наказом рассмотреть как следует, что это за дама, и явиться с докладом обратно. Волнение нисколько не улеглось, когда соглядатай ворвался в контору со словами:

— Хороша пташка! Сидит в карете — шик, блеск!

Сам Растяпа, с пером за ухом, в порыжелой шляпе, прибежал на угол, совершенно запыхавшись, и только тогда узнал свою дочь, когда его втащили в карету за галстук и чуть ли не задушили в объятиях.

— Голубка моя! — пролепетал он, еле переводя дух.— Боже милостивый! Какая ты стала! Просто обворожительная женщина! А я думал, что наша дочка теперь загордилась и позабыла свою мать и сестру!

— Я только что от них, папочка.

— Ах, вот что! Ну и как... как мама? — неуверенно спросил Р. У.

— Очень злющая, папа. Обе злющие, и она и Лавви.

— Да, на них иногда немножко находит. Белла, ты была к ним снисходительна, друг мой?

— Нет. Я, папа, тоже злилась. Мы все три были злющие. Папа, знаешь что? Я хочу, чтобы ты поехал со мной пообедать куда-нибудь.

— Да я, друг мой, собственно, уже закусил... даже неудобно признаваться в этом в такой роскошной карете... простой колбасой.— Р. Уилфер смиренно понизил голос, глядя на канареечного цвета обивку экипажа.

— Ну это все равно что ничего, папа!

— Да, иной раз кажется, что и маловато, друг мой,— признался Р. У., проводя рукой по губам.— Но когда обстоятельства, в которых ты не волен, нагромождают препятствия между тобой и ростбифом, ничего другого не

остается, как смирить свой дух и удовольствоваться,— тут он снова понизил голос из уважения к карете,— простой колбасой.

— Бедный мой папочка! Слушай, молю тебя, отпросись на весь день и давай проведем его вместе!

— Ну, что ж, голубчик, помчусь в контору, попрошу, чтобы меня отпустили.

— Хорошо. Но пока ты еще не умчался...— Она взяла его за подбородок, стащила с него шляпу и, верная своей старой привычке, начала ерошить ему волосы.— Пока ты не умчался, скажи мне, что я хоть и взбалмошная и нехорошая, но тебя, папа, никогда не обижала.

— Друг мой, я подтверждаю это от всего сердца. И разреши мне еще заметить,— добавил он, покосившись на окно,— что, когда обворожительная женщина, разряженная в пух и прах, треплет человека за волосы посреди Фенчерч-стрит, это может привлечь внимание прохожих.

Белла рассмеялась и надела на него шляпу. Но лишь только отец засеменил прочь, что-то трогательное в его ребячески пухлой фигурке, в его потрепанной одежде вызвало у нее слезы на глазах. «Ненавижу этого секретаря! Он не смеет так думать обо мне! — проговорила она мысленно.— И все же в этом есть доля правды!»

А вот и отец — ни дать ни взять мальчуган, отпущенный с уроков!

— Все в порядке, друг мой. Ничего не сказали — разрешили беспрекословно.

— Ну-с, папа, теперь надо найти такое укромное местечко, где я могла бы отпустить карету и подождать тебя, пока ты пойдешь по одному моему поручению.

Вопрос потребовал некоторых раздумий.

— Видишь ли, друг мой, ты стала такая обворожительная женщина, что местечко следует отыскать самое укромное.— Наконец ему пришло на ум: — Возле парка, что у Тринити-Хаус, на Тауэр-Хилле.— И они поехали туда, а там Белла отпустила кучера, послав с ним записку миссис Боффин, что она осталась с отцом.

— А теперь, папа, слушай внимательно и обещай клятвенно во всем мне повиноваться.

— Обещаю клятвенно, друг мой!

— Ты ни о чем не спрашиваешь, берешь вот этот кошелек, идешь в ближайшую лавку, где торгуют всем самым, самым хорошим, покупаешь и надеваешь там самое красивое готовое платье, самую красивую шляпу и самые красивые ботинки (обязательно лакированные!) и возвращаешься сюда.

— Но, Белла, дорогая моя...

— Папа! — шутливо погрозив ему пальцем.— Ты обещал мне. Хочешь стать клятвопреступником?

Глаза маленького чудака увлажнились слезами, но дочка осушила их поцелуями (хотя и сама тут же прослезилась) и отпустила его. Примерно через полчаса он появился столь блистательно преобразившийся, что восхищенная Белла обошла его кругом раз двадцать и только после этого в порыве восторга прижалась к нему.

— Вот теперь, папа,— сказала она, взяв его под руку,— вези свою обворожительную женщину обедать.

— Куда же мы поедем, друг мой?

— В Гринвич! * — храбро воскликнула Белла.— И будьте добры заказать своей обворожительной женщине все самое лучшее!

— А тебе не хотелось бы, друг мой,— робко проговорил Р. У., когда они шли к пристани,— чтобы твоя мама была сейчас с нами?

— Нет, папа, сегодня ты должен принадлежать мне целиком. Ведь я всегда была твоей любимицей, а ты всегда был моим любимцем. Мы и раньше частенько удирали с тобой вдвоем из дому. Помнишь, папа?

— Да, да, как же! Удирали по воскресеньям, когда твоя мама... когда на твою маму немножко находило,— повторил он эту деликатную формулу, предварительно откашлявшись.

— А ведь в те времена я вела себя плохо, папа. Требовала, чтобы ты таскал и таскал меня на руках. Играла с тобой в лошадки, когда тебе хотелось посидеть и почитать газету. Помнишь, папа?

— Случалось, мой друг, случалось и так. Но, боже милостивый! Какая ты была славная девочка! Какой славный товарищ!

— Товарищ? А я как раз и хочу быть твоим товарищем сегодня!

— И будешь, голубка, будешь! Твои братья и сестры до некоторой степени тоже были моими товарищами, все по очереди, но только до некоторой степени. Твоя мать всю свою жизнь была мне таким товарищем, который у любого человека мог бы заслуживать только... только поклонение, и... и каждое слово которого любой человек должен был бы хранить в памяти... и... и строить по нему свою жизнь... если бы...

— Если бы такой образец был этому человеку по душе? — подсказала Белла.

— Д-да... пожалуй,— задумчиво протянул Р. У., не совсем удовлетворенный подсказкой.— Или, скажем, если бы такой образец соответствовал натуре того человека. Предположим, например, что какому-нибудь человеку всегда хочется маршировать. Такому твоя мама была бы неоценимым товарищем. Но если бы он любил просто ходить или вдруг захотел бы припуститься рысцой, ему было бы трудновато держаться в ногу с твоей мамой. Или еще так, Белла,— добавил он после недолгого раздумья.— Допустим, человек проходит всю свою жизнь не рука об руку с товарищем, а под какую-нибудь музыку. Прекрасно! Допустим, что музыка, предопределенная ему, была бы похоронным маршем из «Саула» *. Хорошо! В некоторых, исключительных случаях такая музыка была бы очень подходящей — лучше и не придумаешь. Но соразмеряться с ней каждодневно, в домашнем обиходе не всегда удобно. Например, если б человеку приходилось ужинать после трудового дня под похоронный марш из «Саула», пища, пожалуй, села бы у него комом в желудке. Или захотелось ему вдруг рассеяться, спеть шуточную песенку, сплясать, а музыка все та же — похоронный марш из «Саула». Это, пожалуй, сбило бы его с такта в самый разгар веселья.

«Бедный папа!» — подумала Белла, прижимаясь к нему еще теснее.

— А о тебе, мой друг, я скажу одно,— кротко, без тени жалобы в голосе продолжал херувим.— Ты всегда была такая отзывчивая! Такая отзывчивая!

— Нет, папа, у меня скверный характер. Мне бы все только ныть да капризничать. До сих пор я над этим почти не задумывалась, но сегодня посмотрела на тебя из окна

кареты, когда ты шел по улице, и вдруг почувствовала угрызения совести.

— Вот и напрасно, друг мой. Я и слушать этого не хочу!

Какой папа был разговорчивый и довольный в тот день и какой нарядный во всем новом! Да может статься более счастливого дня он не знал за всю свою жизнь, не исключая даже того — знаменательного! — когда его мелодраматическая избранница шествовала к брачному алтарю под похоронный марш из «Саула»!

Маленькое путешествие по реке было восхитительно, и маленькая комнатка окнами на Темзу, где их усадили обедать, тоже была восхитительна. Все было восхитительно. Парк был восхитительный, пунш был восхитительный, рыба под белым соусом восхитительная, вино восхитительное. Но всего восхитительнее была на этом празднестве сама Белла! Она весело болтала с папой, называла себя не иначе как обворожительной женщиной, требовала, чтобы он заказывал то одно, то другое блюдо, заявляя каждый раз, что обворожительную женщину обязательно надо угощать всем самым вкусным,— короче говоря, довела папу до полного упоения тем, что он действительно приходится папой такой обворожительной женщине.

А потом, когда они сидели, глядя на корабли и пароходы, уходившие в море вместе с отливом, обворожительная женщина стала фантазировать о том, какие путешествия предстоят им с папой. Вот папа — владелец того неуклюжего угольщика с квадратными парусами, отплывает в Ньюкасл * за черным золотом, которое обогатит его. Вот папа уходит на этой красивой трехмачтовой шхуне в Китай за опиумом и, вернувшись, навсегда разделывается с фирмой «Чикси, Вениринг и Стоблс», а своей прелестной дочке привозит горы всяких шелков и шалей. А вот и трагическая судьба Джона Гармона рассеялась как сон; он приезжает домой и убеждается, что лучше этой обворожительной женщины нет никого во всем мире, а обворожительная женщина убеждается, что нет никого во всем мире лучше Джона Гармона, и они уезжают на собственной стройной шхуне взглянуть на собственные виноградники. Шхуна расцвечена флагами, на палубе играет оркестр, и папе отведена самая большая каюта. Или Джон

Гармон снова покоится в могиле, и богатейший негоциант (имя его остается неизвестным) влюбляется в обворожительную женщину и женится на ней, и он так сказочно богат, что все, что только ходит по реке под парусами или на парах,— все это принадлежит ему, и еще у него есть целая флотилия увеселительных яхт, и вон та маленькая бойкая яхта с белоснежными парусами называется «Белла» в честь его жены, которая устраивает на ней пышные приемы, точно современная Клеопатра. Или еще так: когда вот то транспортное судно подчалит к Грэйвзенду *, на него поднимется важный и очень богатый генерал (имя его тоже остается неизвестным), который не захочет торжествовать будущую победу на поле битвы без своей жены, а жена его все та же обворожительная женщина, и ей суждено стать божком всех этих красных мундиров и синих бушлатов. А может статься, будет и так: видишь, буксирный пароход тянет судно? Как по-твоему, куда оно пойдет? Оно пойдет туда, где коралловые рифы и кокосовые орехи и тому подобные чудеса, а зафрахтовал его некий счастливчик по имени папа (сам он на борту, и как его уважает команда!). Он доставит из дальних стран груз ароматичного сандалового дерева — товара невиданно прекрасного и неслыханно выгодного, и этот груз принесет папе целое состояние, да иначе и быть не может, потому что купила и снарядила это судно все та же обворожительная женщина, которая замужем за каким-то индийским раджой, а он весь с головы до ног в кашемировых шалях, в тюрбане, украшенном сверкающими изумрудами и брильянтами, смуглый — настоящего кофейного цвета, и предан ей бесконечно, хотя, пожалуй, слишком уж ревнив. Так фантазировала Белла к великому удовольствию папы, а он, уподобившись султану из восточной сказки, окунул бы голову в чашу с водой * столь же охотно, сколь и мальчики, которые ныряют за брошенными в Темзу монетами.

— Я вижу, друг мой,— сказал он после обеда,— что мы потеряли тебя навсегда. Надо полагать, ты к нам больше не вернешься?

Белла покачала головой. Она сама не знает. Трудно ответить на этот вопрос. Она может сказать только одно: мистер и миссис Боффин исполняют малейшее ее жела-

ние, ей ни в чем нет отказа, а об ее отъезде домой они не желают и слышать.

— А теперь, папа,— продолжала она,— выслушай от меня одно признание. Более корыстной маленькой дряни, чем я, нет на всем белом свете.

— Вот уж никогда бы про тебя этого не сказал! — ответил ее отец, глянув сначала на свои обновки, а потом на стоявший перед ним десерт.

— Я понимаю твою мысль, папа, но дело не в том. Деньгами ради самих денег я не дорожу, а вот то, что на них можно купить, это мне нужно.

— По-моему, все мы таковы,— возразил ей Р. У.

— Нет! Со мной, папа, никто не сравнится! О-о! — Белла сложила губы трубочкой, выкрикнув это «о-о!».— Я такая корыстная!

Бросив на нее грустный взгляд, Р. У. не нашел ничего лучше, как спросить:

— Когда же ты начала замечать это за собой?

— Вот, вот, папа! В том-то вся и беда! Живя дома и ничего, кроме бедности, не зная, я ворчала, но, по правде говоря, не так уж сетовала на судьбу. Живя дома и предвкушая будущее богатство, я смутно рисовала себе, сколько всего можно сделать на такие деньги. Но вот мои надежды на большое состояние рассыпались прахом, оно попало в другие руки, и теперь, когда мне ежедневно приходится видеть, сколько благ оно приносит людям, теперь я стала корыстной маленькой дрянью.

— Это все твое воображение, друг мой.

— Уверяю тебя, папа, ты ошибаешься! — сказала Белла, высоко подняв свои тоненькие брови и скорчив испуганную гримасу.— Это правда. Я только и делаю, что строю всякие корыстные планы.

— Бог мой! Но какие?

— Сейчас узнаешь, папа. Тебе я не постыжусь рассказать, потому что мы с тобой всегда были друг у друга любимчиками и потому, что ты больше похож не на папу, а на младшего толстощекого братишку. И еще,— со смехом добавила Белла, шутливо грозя ему пальцем,— еще потому, что ты в моей власти. Мы с тобой убежали тайком. И если ты нажалуешься на меня, я нажалуюсь на тебя. Скажу маме, что ты обедал в Гринвиче.

— Нет, друг мой,— проговорил Р. У. с легкой дрожью в голосе,— об этом лучше и не заикаться.

— Ага! — воскликнула Белла.— Я знала, сэр, что вам это не понравится! Так будьте добры хранить мою тайну, а я обещаю хранить вашу. Посмейте только предать обворожительную женщину — она обернется змеей! Ну-с, папа, теперь можешь поцеловать меня, а я займусь твоими волосами, потому что, пока меня не было дома, их совсем запустили.

Р. У. покорно подставил голову своему куаферу, и куафер, продолжая болтать, в то же время ловко наматывал пряди волос себе на указательные пальцы и вдруг отдергивал их в разные стороны. Клиент при этом каждый раз морщил нос и хмурился.

— Я, папа, чувствую, что без денег мне жизнь не в жизнь. Выпрашивать их, брать взаймы или воровать я не способна. И я решила выйти замуж по расчету.

Р. У. взглянул на дочь исподлобья, стараясь не мешать ее манипуляциям с его волосами, и проговорил укоризненно:

— Белла, дорогая моя!

— Я решила, папа, что, если мне нужны деньги, надо искать мужа с деньгами. И теперь я только и высматриваю, кого бы мне пленить побогаче.

— Белла! Дорогая моя!

— Да, папа, так обстоят дела. Вот это милое создание, которое ты видишь перед собой, самая корыстная дрянь, какая только может быть на свете, и все ее помыслы, все ее расчеты направлены в одну точку. Ну и пусть! Я ненавижу, я презираю бедность, и я не буду жить в бедности, если можно найти себе мужа с деньгами! А теперь, папа, ты у меня стал такой пушистый, что вполне можешь поразить своим видом лакея и заплатить ему по счету.

— Но, Белла, друг мой, такие мысли в твоем возрасте! Это меня просто пугает!

— Я же тебе говорила, папа, а ты мне не верил,— сказала Белла, с ребячливой серьезностью надув губки.— Ужасно, правда?

— Да, мой друг, если б ты сознавала, что говоришь, или действительно так думала, это было бы ужасно.

— Уверяю тебя, папа; я именно так и думаю. Любовь бывает только в сказках. И драконы, изрыгающие пламя, бывают только в сказках! — презрительно воскликнула Белла, хотя ее лицо и фигурка отнюдь не соответствовали таким словам.— А вот бедность и богатство — это не сказка, а действительность.

— Друг мой, ты меня просто пугаешь своим...— начал было ее отец, но она не дала ему договорить.

— Папа, признайся, ты женился по расчету?

— Ты прекрасно знаешь, друг мой, что нет.

Белла промурлыкала начало похоронного марша из «Саула» и заявила, что папин ответ еще ничего не доказывает. Но, увидев, какое сосредоточенное и грустное стало у него лицо, она обняла его за шею и вернула ему прежнее хорошее настроение своими поцелуями.

— Я пошутила, папа, не принимай этого всерьез. Но запомни: ты не будешь на меня жаловаться, и я не буду на тебя жаловаться. И больше того! Обещаю признаваться тебе во всем. Какие бы корыстные планы ни зародились у меня в голове, я поделюсь ими с тобой, но только по секрету.

Вынужденный довольствоваться этой уступкой со стороны обворожительной женщины, Р. У. позвонил в колокольчик и уплатил по счету.

— Все, что тут осталось, папа,— сказала Белла, когда лакей вышел,— все это тебе.— И, положив на стол кошелек, она пристукнула по нему кулачком, после чего сунула его папе в карман нового жилета.— Купишь подарки нашим, заплатишь долги, вообще распоряжайся этими деньгами как найдешь нужным. И имей в виду, папа, что они достались мне без всяких ухищрений с моей стороны, иначе твоя скупая дочка не тратила бы их так легко и свободно.

Вслед за тем она обеими руками притянула к себе отца и, бесцеремонно тормоша его, застегнула на нем пиджак на все пуговицы, чтобы не было видно жилетного кармашка с деньгами. Потом кокетливо завязала ленты своего капора, выгодно оттеняющие ямочки на щеках, и повела Р. У. обратно в город. Подойдя к дому мистера Боффина, Белла повернула отца спиной к дверям, ласково взяла его за уши, точно за ручки, и стала чмокать в обе

щеки, так что он только глухо постукивал затылком о дверной косяк. Потом, покончив с этим, она напомнила ему еще раз об их договоре, рассмеялась и весело отпустила его.

Впрочем, не так уж весело, потому что, глядя, как отец идет по темной улице, она утирала слезы. Не так уж весело, потому что, прежде чем постучаться в дверь, она несколько раз повторила: «Бедный папа! Бедный папочка! Как тебе нелегко живется!» Не так уж весело, потому что роскошная мебель резнула ей глаза своим великолепием, словно напрашиваясь на сравнение с убогой обстановкой родного дома. Не так уж весело, потому что поздно вечером, сидя у себя в комнате, она совсем затосковала и даже горько плакала, коря то покойного старика Гармона за то, что он облагодетельствовал ее в своем завещании, то покойного молодого Гармона за то, что он умер и не женился на ней.

«Противоречивые у меня желания! — думала Белла.— Но в моей жизни и судьбе столько всяких противоречий, что ничего удивительного в этом нет».

ГЛАВА IX,

в которой сирота оставляет завещание

На следующий день, когда секретарь с раннего утра трудился в Трясине, ему сказали, что в прихожей его ждет юноша, назвавшийся Хлюпом. Лакей, который явился с докладом, сделал приличную паузу, прежде чем произнести это имя, давая тем самым понять, что оно было навязано ему силой и что если бы у того юноши хватило здравого смысла и вкуса обзавестись каким-нибудь другим именем, он пощадил бы чувства человека, обязанного докладывать о нем.

— Миссис Боффин будет очень рада ему,— совершенно спокойно проговорил секретарь.— Пригласите его сюда.

Когда мистера Хлюпа ввели в кабинет, он стал у самой притолоки, выставив напоказ множество разнокалибер-

ных, совершенно неожиданных и нелепых пуговиц, рассеянных по всему его костюму.

— Хорошо, что ты пришел,— приветливо обратился к нему Джон Роксмит.— Я все поджидал тебя.

Оказалось, что Хлюп давно к ним собирался, да сирота (он назвал его «наш Джонни») болел последнее время, а ему хотелось прийти с вестью о его выздоровлении.

— Значит, он поправился? — спросил секретарь.

— Нет, болеет.

Хлюп замотал головой, а потом сказал, что, по его мнению, Джонни «подхватил ее от питомцев». Когда его спросили, кого это «ее»? — он ответил, что она у Джонни по всему телу, а больше всего на груди. Когда от него потребовали дальнейших пояснений, он сообщил, что местами так расползлось — монетой не покроешь. Когда его попросили вернуться к именительному падежу, он заявил, что она красная-красная, прямо багровая, и добавил: «Пока снаружи, это еще ничего, сэр, только бы внутрь не бросилась».

Джон Роксмит поинтересовался, лечат ли ребенка? «Да, да! — воскликнул Хлюп.— Один раз к доктору носили». И как доктор назвал эту болезнь? Хлюп на минуту растерялся, потом, спохватившись, ответил: «Не сыпь, а какое-то длинное слово». Роксмит спросил, может быть, корь? «Нет,— последовал уверенный ответ,— какая там корь, гораздо длиннее, сэр!» (Хлюп придавал этому обстоятельству особое значение, считая, видимо, что оно делает честь маленькому больному.)

— Вот миссис Боффин огорчится! — сказал Роксмит.

— Миссис Хигден тоже так считает, сэр. Потому она и скрывала это от нее, все надеялась, что дело пойдет на поправку.

— Но ведь Джонни поправится? — быстро проговорил Роксмит.

— Надеемся,— ответил Хлюп.— Только бы внутрь не бросилась.— Затем он сказал, что кто от кого «подцепил» — Джонни от питомцев или питомцы от Джонни — неизвестно, но питомцев сразу же отправили домой, и дома они «свалились». Все это время, продолжал он, миссис Хигден ни днем, ни ночью не спускает нашего

Джонни с колен, а катать белье приходится теперь ему, одному Хлюпу, и «времечко у него сейчас горячее». При последних словах этот неказистый с виду образец преданности густо покраснел и заулыбался, довольный, что и от него есть какая-то подмога в доме.

— Вчера вечером, совсем уж поздно,— снова заговорил Хлюп,— кручу я колесо, а сам слушаю, то ли это от катка шум, то ли наш Джонни так дышит. Поведешь сначала, и ничего, все ладно, а потом будто вздрогнет, и звук какой-то с перебоями, и вдруг захрипит, загудит, и опять все затихнет. Под конец я уж совсем перестал их отличать одного от другого. И наш Джонни тоже совсем запутался — иной раз каток припустит погромче, а он говорит: «Бабушка, душно!» Миссис Хигден подхватит его повыше, скажет мне: «Хлюп, пережди малость», и мы все трое примолкнем. А как только наш Джонни начнет дышать ровнее, я опять берусь за колесо, и опять все сызнова.— Под конец рассказа взгляд у Хлюпа стал неподвижный, на губах появилась неопределенная улыбка. Потом лицо у него сморщилось, и, притворившись, что ему жарко, он неуклюже, но старательно размазал обшлагом слезы, выступившие на глазах.

— Вот беда! — воскликнул Роксмит.— Надо пойти рассказать миссис Боффин. А ты останься здесь.

Хлюп так и простоял на месте, разглядывая обои на стене, пока секретарь не вернулся с миссис Боффин. А следом за миссис Боффин в комнату вошла молоденькая девушка (по имени Белла Уилфер), разглядывать которую было гораздо приятнее, чем самые красивые обои.

— Бедный мой маленький Джон Гармон! — воскликнула миссис Боффин.

— Да, сударыня,— сочувственно поддакнул Хлюп.

— А как тебе самому кажется, очень он плох? — с присущей ей сердечностью спросила добрая женщина.

На такой вопрос надо было ответить правду, что не соответствовало намерениям Хлюпа, и, запрокинув назад голову, он испустил мелодический вой, завершившийся всхлипываньем.

— Неужто так плохо? — воскликнула миссис Боффин.— Почему же Бетти Хигден сразу мне этого не сказала!

— Она, видно, боялась, сударыня,— с запинкой проговорил Хлюп.

— Чего же тут бояться? Боже мой!

— Она, видно, боялась, сударыня,— робко повторил Хлюп,— как бы не повредить нашему Джонни. Ведь с болезнями столько хлопот, столько издержек! Ей часто приходилось видеть, что люди отворачиваются от больных.

— Но она должна была знать,— сказала миссис Боффин,— что я ничего не пожалею ради ребенка!

— Да, сударыня, а все-таки ей, верно, думалось по привычке, как бы не повредить Джонни,— дай, мол, я сама попытаюсь его выходить, и никто ничего не проведает.

Хлюп знал, о чем говорил. Спрятаться куда-нибудь, как прячется больное животное, уползти с глаз долой, забиться подальше и умереть, так чтобы никто тебя не видел,— вот что подсказывал этой женщине инстинкт. Прижать к груди милого ее сердцу больного ребенка, скрыть его, точно преступника, лишить всего, кроме своей ласки и терпения,— вот как понимала эта невежественная женщина идею материнской любви, преданности и долга. Милорды, почтенные господа и члены попечительных советов! Позорные факты, о которых нам приходится читать в газетах круглый год, из недели в неделю, постыдные проявления чиновничьего бездушия народу забыть труднее, чем нам. И вот где корень слепых, бессмысленных, застарелых предрассудков, составляющих столь разительный контраст с нашим великолепием и имеющих столь же мало поводов для возникновения — боже, спаси королеву и посрами неблагодарных! — сколь их имеет дым, прежде чем подняться над костром.

— Бедняжке нельзя там оставаться,— сказала миссис Боффин.— Мистер Роксмит, голубчик, посоветуйте, как нам быть!

Секретарь уже успел об этом подумать, и совещание не затянулось. Он все подготовит за полчаса, и тогда можно будет ехать в Брентфорд. «Возьмите, пожалуйста, и меня»,— попросила Белла, почему и было приказано подать карету, чтобы поместились все. Хлюп же тем временем пировал один в комнате секретаря, получив полную возможность убедиться в существовании наяву таких волшебных вещей, как мясо, овощи, пиво и пудинг, рисо-

вавшихся ему до сих пор лишь в мечтах. К концу пиршества пуговицы его стали с еще большей назойливостью напрашиваться на всеобщее внимание, кроме двух-трех вблизи пояса, которые скромно спрятались в образовавшиеся там складочки.

Карета и секретарь появились без задержки. Он сел на козлы, а Хлюп украсил собой багажник. И вот их экипаж снова остановился у «Трех Сорок»; миссис Боффин и мисс Белле помогли выйти, и они вчетвером пошли к домику миссис Бетти Хигден.

Но по дороге надо было зайти в игрушечную лавку и купить того самого благородного скакуна, описание статей и сбруи которого в свое время примирило с гостями сироту, тогда еще полного мирских интересов,— купить Ноев ковчег и еще желтую птичку-пищалку и еще солдатика, так отлично обмундированного, что, будь он в натуральную величину, его товарищи гвардейцы никогда бы не распознали в нем куклу. Нагруженные этими дарами, они подняли щеколду на двери домика миссис Хигден и увидели хозяйку, которая сидела в самом дальнем и самом темном углу комнаты, держа на коленях бедного Джонни.

— Бетти! Ну как он, мой маленький? — спросила миссис Боффин, подсев к ней.

— Плохо ему! Плохо! — ответила Бетти.— Боюсь я, что не бывать маленькому ни моим, ни вашим. Ведь один он остался, все родные ушли к всевышнему, вот и его с собой зовут, уводят отсюда.

— Нет, нет! — воскликнула миссис Боффин.

— А почему же тогда он сжимает кулачок, словно цепляется за чей-то палец, которого мои глаза не видят? Да посмотрите сами! — Бетти раскутала горевшего, как в огне, ребенка и показала на его правую ручку, прижатую к груди.— Вот все время так, а меня будто и нет тут.

— Он спит?

— Вряд ли. Ты не спишь, Джонни?

— Нет,— не открывая глаз, жалобно протянул ребенок.

— Джонни, посмотри, кто пришел — леди. И лошадку принесла.

К появлению леди Джонни отнесся с полным равнодушием, но лошадка другое дело. Приподняв отяжелевшие



веки, он медленно улыбнулся при виде этого ослепительного существа и захотел взять его в руки. Лошадка была слишком большая, пришлось поставить ее на стул, чтобы он мог хоть полюбоваться ею и потрогать гриву. Но и на это его сил не хватило.

Джонни пробормотал что-то с закрытыми глазами, миссис Боффин не поняла его, Бетти, нагнувшись, переспросила и стала внимательно вслушиваться. Он повторил свои слова раз... другой... и лишь после третьего раза они поняли, что Джонни увидел тогда не только лошадку, а гораздо больше, чем можно было предположить, так как он спрашивал: «Кто эта «касивая леди»?» «Касивой», или красивой, леди оказалась Белла; такая похвала умилила бы мисс Беллу при всех обстоятельствах, но после обеда «обворожительной женщины» с отцом, после того, как сердце «обворожительной женщины» дрогнуло при виде его, такого жалкого, старенького, эти слова растрогали ее еще больше. Все движения Беллы были полны естественности и теплоты, когда она присела на каменный пол и обняла Джонни, который с детским восхищением перед всем юным и прекрасным протянул руки к «касивой» леди.

— Бетти, милая! — Миссис Боффин тронула старушку за плечо, решив, что теперь она уступит.— Мы приехали за Джонни. Его надо увезти отсюда и поместить туда, где за ним будет хороший уход.

Не дав ей добавить ни слова, Бетти Хигден с горящими глазами вскочила со стула и метнулась к двери, прижимая больного ребенка к груди.

— Не подходите ко мне! — дико вскрикнула она.— Я знаю, что вы задумали. Оставьте меня! Я лучше руки наложу на себя и на него, на мое сокровище!

— Постойте, постойте! — успокаивающе проговорил Роксмит.— Вы нас не поняли.

— Мне ли не понять! Мне ли не знать, что это такое, сэр! Не в первый раз я спасаюсь от них! Нет! Не бывать там ни мне, ни ребенку, пока в Англии есть где утопиться!

Стыд, беспредельный ужас, гримаса отвращения исказили изможденное лицо старухи, и смотреть на него было бы страшно, если бы все эти чувства пылали лишь в ней

одной. Но в том-то и дело, милорды, почтенные господа и члены попечительных советов, что такое безумие «поражает», как у нас принято говорить, и других наших ближних, и довольно часто!

— Всю жизнь мне от них нет покоя, но живой я и сама им не дамся и своих не отдам! — не унималась Бетти.— Не о чем нам больше говорить! Кабы знать, зачем вы придете, не пустила бы вас, заперла бы окна и двери и лучше бы с голоду здесь умерла!

Но, взглянув на доброе лицо миссис Боффин, она умолкла, опустилась на пол у порога, припала головой к ребенку, баюкая его, и смиренно проговорила:

— Может, я и ошиблась... ведь со страху себя не помню. А если так, да простит мне господь. Много ли надо, чтобы меня напугать, голова кругом идет... которую ночь глаз не смыкаю, около него сидя.

— Не надо, не надо, Бетти,— сказала миссис Боффин.— Успокойся! Не будем больше об этом говорить. Ну, ошиблась, что же тут такого? На твоем месте каждый испугался бы, каждый мог бы совершить такую ошибку.

— Да благословит вас бог! — сказала старуха, потянувшись к ней.

— А теперь, Бетти,— продолжала эта добрая душа, ласково взяв ее руку в свои,— слушай, что мне на самом-то деле хотелось сказать и с чего надо было начать сразу, будь я немного пособразительней. Мы хотим поместить Джонни в такое место, где будут одни дети. Где выхаживают больных детей, где добрые доктора и сиделки проводят всю свою жизнь с детьми, только о детях и пекутся, только их и лечат.

— Неужто есть такое место? — в изумлении спросила старуха.

— Да, Бетти, клянусь тебе, что есть, сама увидишь. Я бы взяла Джонни к себе, но там ему будет лучше, гораздо лучше, чем у меня дома.

— Берите его и увозите куда угодно, родная моя,— сказала Бетти, горячо целуя благотворящую руку.— У меня сердце не каменное. Я гляжу на ваше лицо, вслушиваюсь в ваш голос, и верю вам. Всегда буду верить, пока глаза мои видят, а уши слышат.

Роксмит поспешил воспользоваться одержанной победой, понимая, как безжалостно было потрачено время. Он послал Хлюпа за каретой, чтобы ее подали к дверям домика, велел Бетти укутать ребенка потеплее, одеться самой, собрал игрушки и показал малышу, что его сокровища поедут вместе с ним. В один миг все было готово; когда карета появилась у дверей, они вышли и сразу же тронулись в путь, а Хлюпу, оставшемуся дома, была дана полная возможность облегчить свое наболевшее сердце бурной деятельностью у катка.

Лихого скакуна, Ноев ковчег, желтую птичку и гвардейского солдатика приняли в детской больнице не менее радушно, чем их маленького хозяина. Но Роксмиту врач сказал вполголоса:

— Это надо было сделать несколько дней назад. А теперь уже поздно.

Тем не менее ребенка вместе с игрушками отнесли в чистую светлую комнату, и там Джонни очнулся не то ото сна, не то от забытья, на мягкой кроватке с положенной поперек доской, а на этой доске — чтобы развеселить и подбодрить его — уже были расставлены: Ноев ковчег, благородный скакун, желтая птичка и гвардейский солдатик, который так лихо взял на-караул, словно он принимал участие в параде на глазах у всей страны. Над изголовьем кроватки висела красивая цветная картинка, и на ней был нарисован мальчик — вылитый Джонни! — сидевший на коленях у ангела, который, должно быть, очень любил маленьких детей. И как это чудесно! — лежать и видеть: сколько здесь таких, как Джонни,— целая семья! — и они тоже лежат на мягких кроватках (только двое играют в домино, сидя в маленьких креслицах у камина), и на всех кроватках положены поперек доски, а на досках стоят кукольные домики, и лохматые собачки, лай которых мало чем отличается от писка, исходящего из нутра желтой певуньи, и целые армии оловянных солдатиков, восточные акробаты, крохотные чайные приборы и множество всяких земных благ.

Джонни восторженно пролепетал что-то тихим голоском, и няня, сидевшая у изголовья кровати, не расслышав, переспросила его. Выяснилось, что он хотел знать, кто эти дети — его братья и сестры? Ему ответили — да. Кто

же их собрал здесь — бог? И ему снова ответили — да. Потом он спросил, перестанут ли они болеть? И на этот вопрос ему ответили утвердительно, дав понять, что он тоже скоро перестанет болеть.

Способность поддерживать разговор была еще так слабо развита у Джонни и до болезни, что теперь он мог изъясняться только односложными словами. Но его надо было помыть, переодеть, ему надо было дать лекарство, и хотя за свою жизнь, такую короткую и суровую, он не знал ухода более умелого и нежного, вынести все это ему было бы трудно и больно, если б не одно удивительное событие, целиком завладевшее его вниманием. Событием этим было ни больше, ни меньше, как появление на его собственной доске всех тварей земных, шествовавших попарно в его собственный ковчег: возглавлял процессию слон, а заключала ее, из вежливости к своим более рослым спутникам — невеличка муха. Один совсем маленький братец со сломанной ногой, лежавший на соседней кровати, был просто очарован этим зрелищем и своими восторгами придал ему еще большую прелесть. А потом пришел покой и сон.

— Я вижу, Бетти, ты совсем не боишься оставить здесь нашего малыша,— прошептала миссис Боффин.

— Нет, сударыня, я делаю это по доброй воле и благодарю вас от всего сердца, от всей души!

Они поцеловали Джонни и вышли из комнаты, а на следующее утро Бетти собиралась прийти спозаранку проведать его, и только один Роксмит знал, что сказал врач: «Это надо было сделать несколько дней назад. А теперь уже поздно».

Но, зная это, зная, что забота о больном ребенке послужит утешением доброй миссис Боффин, которая была единственной отрадой детских лет одинокого Джона Гармона, ныне покойного, Роксмит решил навестить к ночи тезку Джона Гармона и посмотреть, как он себя чувствует.

Члены семьи, собранной здесь богом, лежали тихо, но не все из них спали. В ночной тишине слышались только легкие женские шаги; над маленькими кроватками склонялось доброе молодое лицо. В неярком свете навстречу ему поднималась то одна, то другая головка, получала

поцелуй — маленькие больные любят ласку! — и снова покорно опускалась на подушку. Малыш со сломанной ногой никак не мог улечься поудобнее и то и дело стонал, но потом повернулся лицом к Джонни, надеясь утешиться созерцанием ковчега, и вскоре заснул. На многих кроватках игрушки так и остались неубранными, и эти наивно-фантастические фигурки казались такими странными здесь, словно они вышли из детских сновидений.

Доктор тоже пришел вечером посмотреть, как себя чувствует Джонни. Они с Роксмитом стали рядом, с состраданием глядя на него.

— Ты что, Джонни? — спросил Роксмит, обняв силившегося приподняться ребенка.

— Ему...— ответил Джонни.— Отдайте...

Доктор, понимавший детей с полуслова, взял лошадку, ковчег, желтую птичку и гвардейского солдатика и осторожно поставил все это на соседнюю кроватку, где лежал малыш со сломанной ногой.

Джонни улыбнулся усталой, но довольной улыбкой, вытянулся, словно укладываясь спать, потом чуть приподнялся на поддерживающей его руке, протянул Роксмиту губы и сказал:

— Поцелуй касивую леди.

Распорядившись всем своим достоянием и устроив свои дела в здешнем мире, Джонни покинул его с этими словами на устах.

ГЛАВА X

Преемник

Кое-кого из собратьев его преподобия Фрэнка Милви тяготило совершение похоронной службы, так как им казалось, будто они слишком много обещают умершим в загробной жизни. Но его преподобие Фрэнк, считавший, что среди прочих (скажем, тридцати девяти) обязанностей священника есть такие, которые, если призадуматься над ними, еще больше растревожат совесть, отгонял от себя эти мысли.

Его преподобие Фрэнк Милви, человек кроткий, терпеливый, с грустью видел много плевелов и чужеядных растений в винограднике, где ему приходилось трудиться, и не тщился показать, что эти труды наделяют его холодной мудростью. Он знал лишь одно: чем больше ему дает его скромный человеческий опыт, тем яснее проступает перед ним то, что открыто Всеведению.

И если бы не над Джонни, а над другим покойником, с другой, более горькой судьбой, довелось ему читать слова, которые смущали кое-кого из его собратьев, но озаряли светом множество сердец, он выполнил бы свой долг с чувством сострадания и со смирением. Читая же эти слова над могилкой Джонни, его преподобие Фрэнк вспоминал не свою бедность, а своих шестерых детей, и слезы застилали ему глаза. И в глубоком раздумье стояли они оба — он и его милая, умненькая жена,— глядя на свежевырытую могилу, и в таком же глубоком раздумье вернулись рука об руку домой.

Горе посетило аристократический особняк, зато в «Приюте» царила радость. Мистер Вегг рассуждал сам с собой: если кому-то понадобился сирота, так он тоже сирота, а лучшего сироты и желать нечего. На самом-то деле! Слоняются люди по Брентфорду, разыскивают там сирот, которые не имеют на них никаких прав, не приносили им никаких жертв,— и не видят у себя под носом сироту, поступившегося ради них мисс Элизабет, маленьким мистером Джорджем, тетушкой Джейн и дядюшкой Паркером.

Мистер Вегг захихикал, когда ему сообщили печальную весть. Больше того! Один свидетель, который останется пока неназванным, утверждал впоследствии, что, воспользовавшись своим уединением в «Приюте», мистер Вегг вытянул, как балерина, деревянную ногу и, приплясывая на другой, настоящей ноге, проделал не то издевательский, не то ликующий пируэт.

Все эти дни Джон Роксмит относился к миссис Боффин не как секретарь к жене своего патрона, а скорее как сын к матери. В его обхождении с ней всегда, с самого первого дня, чувствовалась сдержанная, почтительная нежность; то, что было странного в ее платье и манерах, словно и не казалось ему странным. Во время их

бесед в его взгляде иногда проскальзывала спокойная, легкая усмешка, и все же радость, которую ему доставляло общение с этой бесхитростной, ласковой, как солнышко, женщиной, могла бы с одинаковой естественностью проявиться и в слезах и в улыбке. Свое полное сочувствие стремлению миссис Боффин взять в дом маленького Джона Гармона и вырастить его Роксмит подтвердил и на словах и на деле, и теперь, когда это доброе стремление завершилось так печально, он отзывался о нем не менее тепло, не менее уважительно, за что миссис Боффин была бесконечно благодарна ему.

— Большое вам спасибо, мистер Роксмит,— сказала миссис Боффин.— Большое, большое спасибо. Я вижу, вы любите детей.

— По-моему, их все любят.

— Должны бы любить,— сказала миссис Боффин,— да мы не всегда делаем то, что должны. Ведь правда?

Джон Роксмит ответил:

— Есть, к счастью, другие люди, те, кто восполняет недостатки своих ближних. Мистер Боффин рассказывал мне, что были дети, которых вы очень любили.

— Он сам их не меньше любил! Да ведь у него всегда так: все хорошее на меня сваливает. А почему вы такой печальный, мистер Роксмит?

— Разве?

— Я сужу по голосу. У вас было много братьев и сестер?

Он покачал головой.

— Вы были единственным ребенком?

— Нет, был еще один. Но он давно умер.

— А отец с матерью живы?

— Умерли.

— Может, из родни кто есть?

— Никого не осталось. Да у меня ее, кажется, и не было. Я о родственниках никогда не слышал.

В эту минуту в комнату легкими шагами вошла Белла. Они не заметили ее, и она отступила к дверям, не зная, как ей быть — остаться или уйти.

— Не обижайтесь на меня, старуху,— продолжала миссис Боффин,— и скажите правду. Мистер Роксмит, у вас не было неудачи в сердечных делах?

— Нет, не было. Почему вы об этом спрашиваете?

— А вот почему: вы иной раз бываете такой... как бы это сказать?.. понурый, что ли. Это в ваши-то годы! Вам, верно, и тридцати нет?

— Тридцати еще не исполнилось.

Решив, что теперь самая пора дать знать о своем присутствии, Белла кашлянула, чтобы привлечь их внимание, извинилась и спросила, не уйти ли ей — она, кажется, прервала деловой разговор?

— Нет, не уходите,— сказала миссис Боффин.— К делу мы сейчас только приступим, и вас, Белла, это касается теперь не меньше, чем меня. Но я хочу, чтобы и мой Нодди присутствовал на нашем совете. Будьте так добры, сходите кто-нибудь за моим Нодди.

Роксмит взялся исполнить это поручение и вскоре вернулся в обществе трусившего рысцой мистера Боффина. Белла почему-то заволновалась, думая, о чем же сейчас пойдет речь? И успокоилась лишь тогда, когда миссис Боффин заговорила.

— Садитесь-ка рядом со мной, душенька,— начала эта достойная женщина, с удобством устраиваясь на широкой оттоманке посреди комнаты и беря Беллу под руку.— А ты, Нодди, сядешь здесь, а мистер Роксмит вон там. Так вот о чем нам надо поговорить: я получила письмецо от мистера и миссис Милви, такое ласковое, что слов нет! Мистер Роксмит прочитал мне его вслух, потому что я плохо разбираю по-письменному. Они предлагают подыскать другого ребенка, которого я могла бы назвать как мне хочется и взять на воспитание... и, узнав об этом, я крепко задумалась.

— А уж если задумалась, держись! — послышался восхищенный шепот мистера Боффина.— Ей только начать трудно, а дальше мысли из нее так и прут, как пар из паровоза.

— Да... задумалась я,— повторила миссис Боффин, просияв от комплимента мужа.— И надумала я две вещи. Первая вот какая: не хочется мне больше воскрешать имя Джона Гармона. Несчастливое это имя, назовешь им еще одного малыша, а оно опять принесет горе, и будешь себя потом корить.

— А скажите,— с озабоченным видом обратился мистер Боффин к секретарю, всецело полагаясь на его суждение,— суеверием тут не пахнет?

— Миссис Боффин руководствуется чувством,— мягко ответил Роксмит.— Это имя всегда было несчастливым, а теперь с ним связаны новые тяжелые воспоминания. Оно отжило свой век. Стоит ли воскрешать его? Мисс Уилфер, разрешите вас спросить, как вы считаете?

— Мне это имя не принесло счастья,— сказала Белла, вспыхнув.— Во всяком случае до тех пор, пока оно не привело меня сюда. Но дело не в этом. Мы назвали Джоном Гармоном бедного малыша, а он так растрогал меня своей лаской, что я, кажется, буду ревновать, если Джоном Гармоном назовут другого ребенка. Я не смогу называть его именем, которое стало мне дорого.

— Ваше мнение тоже такое? — снова обратился мистер Боффин к секретарю, внимательно глядя на него.

— Я повторяю, тут надо полагаться на чувство,— ответил Роксмит.— И мне кажется, что чувства мисс Уилфер очень тонки и благородны.

— Теперь послушаем твое мнение, Нодди,— сказала миссис Боффин.

— Мое мнение, старушка,— заявил Золотой Мусорщик,— твое мнение.

— Значит,— сказала миссис Боффин,— мы все согласны, что воскрешать имя Джона Гармона не нужно. Пусть покоится в могиле. Мистер Роксмит говорит, что надо полагаться на чувство, но, боже ты мой! сколько на свете таких дел, где лишь на чувство и надо полагаться! Ну, хорошо! А теперь, голубушка моя Белла, и вы, мистер Роксмит, послушайте, что я еще надумала. Когда мы с мужем впервые заговорили о моем желании усыновить мальчика-сиротку в память Джона Гармона, я сказала: «Как утешительно думать, что какому-нибудь бедняжке пойдут на пользу деньги Джона и он не будет такой несчастный, заброшенный, каким был Джон!»

— Браво! — воскликнул мистер Боффин.— Так и сказала, слово в слово! Бис!

— Подожди, Нодди,— возразила ему миссис Боффин.— Это еще не все, не вовремя ты со своим «бисом». Я от собственных слов не отказываюсь, как тогда гово-

рила, так и сейчас скажу. Но вот умер наш малютка, и стало мне думаться: а может быть, я тут больше всего сама себя ублажала? Все разыскивала такого ребенка, чтобы и личиком помилее и чтобы приглянулся мне. Ведь если хочешь сделать добро, так делай это ради самого добра, а уж о том, что тебе нравится или не нравится, забудь!

— А может быть,— сказала Белла, и, может быть, тут она вспомнила те странные отношения, которые когда-то связывали ее с ныне покойным Джоном Гармоном.— ...Может быть, воскрешая это имя, вы хотели дать его ребенку не менее милому вам, чем его тезка. Ведь к нему вы всегда питали нежные чувства.

— Вот какая вы добрая, голубушка!— сказала миссис Боффин, пожимая ей руку.— Нашли чем меня оправдать! Может статься, так оно и было. Конечно, доля правды здесь есть, но только доля, а не вся правда. Впрочем, сейчас это не важно, ведь мы решили, что с именем Джон Гармон надо покончить.

— И оставить его только в воспоминаниях,— задумчиво проговорила Белла.

— Вы лучше меня сказали, голубушка. «И оставить его только в воспоминаниях». Ну, так вот, я и надумала: если брать на себя заботы о каком-нибудь сироте, пусть он будет для меня не баловнем, не забавой, а ребенком, которому надо помочь ради него самого.

— И не обязательно, чтобы хорошенький? — спросила Белла.

— Нет,— твердо ответила миссис Боффин.

— И не обязательно, чтобы располагал к себе? — спросила Белла.

— Нет,— повторила миссис Боффин.— Не обязательно. Уж как будет, так будет. Есть один хороший мальчик, которого судьба не побаловала такими достоинствами, но он честный, работящий и заслуживает того, чтобы ему помогли. Вот я и решила, если о себе не думать, значит ему и надо помочь.

Тут в дверях появился лакей, который не так давно был оскорблен в своих лучших чувствах. Он подошел к Роксмиту и извиняющимся тоном доложил о госте с предосудительным именем «Хлюп».

Все четверо участников совещания переглянулись между собой и замолчали.

— Позвать его сюда, миссис Боффин? — спросил Роксмит.

— Да,— сказала она. После чего лакей удалился, потом снова появился в сопровождении Хлюпа и вышел, преисполненный негодования.

Заботами самой миссис Боффин Хлюп был одет в черную пару, и портной, шивший ее, получил от Роксмита приказ пустить в ход все свое искусство, чтобы по возможности скрыть на ней пуговицы и застежки. Но хилость фигуры Хлюпа взяла верх над всеми ухищрениями портновской науки, и теперь он стоял перед членами совещания точно Аргус *, ослепляя их поблескиванием, подмаргиванием, сверканьем и мерцаньем сотни ярких металлических глаз. Изысканный вкус какого-то неизвестного шляпника снабдил его головной убор черной лентой, закупленной, вероятно, оптом; лента была плоеная от тульи до полей и сзади заканчивалась бантом, при виде которого воображение человеческое пасовало и разум поднимал бунт. Особые силы, присущие ногам Хлюпа, уже успели собрать его брюки гармошкой у щиколоток, а на колени напустить мешками; руки, наделенные такими же способностями, вздернули рукава к локтям, обнажив кисти. Ко всему этому великолепию следует добавить чрезвычайно короткие фалдочки да зияющий провал на том месте, где полагается быть животу,— и портрет Хлюпа будет готов.

— Ну, как там Бетти, дружок? — спросила его миссис Боффин.

— Спасибо, ничего,— ответил Хлюп.— Шлет вам поклон, благодарит за чай и за все заботы и справляется о здоровье вашего семейства.

— Ты только что пришел, Хлюп?

— Да, сударыня.

— Значит, пообедать еще не успел?

— Нет, сударыня, но собираюсь. Разве я забуду, как вы мне наказывали: не уходи, пока тебя не угостят мясом, пивом и пудингом... Нет! Их четыре было! Я же помню — сам подсчитывал, когда ел. Мясо — раз, пиво — два, овощи — три... а кто же четвертый? Пудинг! Вот кто чет-

вертый! — Тут Хлюп запрокинул назад голову, широко открыл рот и засмеялся, сам не свой от восторга.

— А питомцы? Как они, бедняжки? — спросила миссис Боффин.

— Все обошлось, сударыня! Поправляются!

Миссис Боффин переглянулась с остальными тремя членами совещания и потом проговорила, поманив к себе мальчика.

— Хлюп!

— Да, сударыня!

— Подойди поближе, Хлюп. Скажи, тебе хотелось бы обедать здесь каждый день?

— Каждый день, и чтобы все четыре, сударыня? О сударыня! — Чувства, нахлынувшие на Хлюпа, вынудили его стиснуть в руках шляпу и согнуть правую ногу в колене.

— Да. И чтобы тебя взяли сюда совсем и заботились бы о тебе, если ты заслужишь наши заботы?

— О сударыня!.. А как же миссис Хигден? — Хлюп сразу забыл о своем восторге и, попятившись назад, с озабоченным видом закачал головой.— Миссис Хигден-то как же? Она на первом месте. Лучшего друга, чем миссис Хигден, у меня и быть не может. За нее, за миссис Хигден, надо крутить. Если за нее не будешь крутить, что с ней станется? — При одной только мысли, что на миссис Хигден может свалиться такая непоправимая беда, Хлюп побледнел и пришел в страшное волнение.

— Ты прав, Хлюп, прав! — сказала миссис Боффин.— И не мне тебя отговаривать! Но мы об этом позаботимся. Если подыщем кого-нибудь, кто будет крутить за Бетти Хигден, ты переберешься сюда на постоянное житье, а ей и по-другому можно помогать, не только тем, что каток крутить.

— Да все равно! — воскликнул ликующий Хлюп.— Ведь крутить-то приходится по ночам. Здесь я буду днем с утра до вечера, а как ночь, так крутить. Спать я не захочу, бог с ним, со сном! А уж если приспичит вздремнуть,— после минутного раздумья смущенно добавил он,— что ж, вздремну у катка. Сколько раз так бывало — кручу и сплю, да еще как сладко!

В порыве благодарности Хлюп поцеловал у миссис

Боффин руку, потом шагнул в сторону, чтобы дать простор своим чувствам, запрокинул назад голову, широко открыл рот и разразился унылым воплем. Это делало честь его сердцу, но предвещало соседям немалое беспокойство в будущем, так как лакей, заглянувший в комнату, извинился за свое непрошеное появление и пояснил его тем, что «ему показалось, будто здесь кошки».

ГЛАВА XI

Кое-что о сердечных делах

Из маленькой пришкольной квартирки с маленькими оконцами, похожими на игольное ушко, и маленькой дверью, похожей на переплет букваря, маленькая мисс Пичер зорко наблюдала за предметом своих тайных воздыханий. Любовь — хоть она, как говорят, и страдает слепотой — страж бдительный, и мисс Пичер не давала этому стражу ни минуты отдыха в слежке за мистером Брэдли Хэдстоном. По натуре своей мисс Пичер не была соглядатаем, ей не было свойственно ни коварство, ни интриганство, ни злобствование — просто она любила Брэдли без взаимности, отдавая ему весь тот несложный, бесхитростный запас чувств, по которому ей никогда не приходилось сдавать экзамены и удостаиваться аттестатов. Если б ее верная грифельная доска обладала свойствами лакмусовой бумаги, а грифель — свойствами симпатических чернил, сколько неожиданных для учеников маленьких трактатов проступило бы сквозь столбики сухих цифр на этой доске от одного только соседства с пылким сердцем мисс Пичер! — ибо после уроков, наслаждаясь тихим досугом в тихом пришкольном домике, она не раз поверяла своей конфидентке — грифельной доске — вымышленные описания того, как однажды, в благоуханные вечерние сумерки, у огорода за углом появились две человеческие фигуры, из которых одна — мужская, склонилась к другой — женской, несколько полноватой и низенькой, и чуть слышно прошептала: «Эмма Пичер! Ты согласна стать моею?» После чего голова женской фигуры поникла на плечо,

принадлежащее мужской фигуре, и все дальнейшее утонуло в ликующем пении соловьев. Ученицы мисс Пичер и не подозревали, что Брэдли Хэдстон незримо присутствует даже на уроках. Взять, к примеру, географию. Опережая лаву, Брэдли Хэдстон торжествующе вылетал из Этны и Везувия, без всякого вреда для себя варился в горячих источниках Исландии и величественно проплывал по Гангу и Нилу. Что задано по истории — о могущественном властелине мира? Вот он перед вами — в панталонах цвета соли с перцем и при часах на волосяной цепочке, обвитой вокруг шеи. Каллиграфия? Большинство учениц мисс Пичер научились выводить заглавные «Б» и «Х» на полгода раньше, чем все остальные буквы алфавита. А устный счет под началом мисс Пичер частенько превращался в закупку совершенно баснословного по своему богатству гардероба для Брэдли Хэдстона: восемьдесят четыре галстука по два шиллинга девять с половиной пенсов каждый, две дюжины серебряных часов по четыре фунта пятнадцать шиллингов и шесть пенсов, семьдесят четыре черных шляпы по восемнадцать шиллингов, и много тому подобных излишеств.

Бдительный страж, пользующийся ежедневной возможностью косить глаза в сторону Брэдли, вскоре известил мисс Пичер, что за последнее время вид у Брэдли стал еще более озабоченный и что он ходит потупившись, с хмурым лицом, точно ломая голову над какими-то трудными задачами, которые не встречаются в школьном курсе. Сопоставив то и другое — причем в графу «то» были отнесены теперешний вид Брэдли и его частое общение с Чарли Хэксемом, а в графу «другое» вписан их недавний визит к сестре Хэксема,— страж поделился с мисс Пичер своими подозрениями, что виной всему этому вышеупомянутая сестра.

— А любопытно знать,— сказала однажды мисс Пичер, отвлекаясь от составления еженедельного классного отчета,— как зовут сестру Хэксема?

Неизменно присутствующая и неизменно преданная Мэри-Энн, сидевшая за шитьем, подняла руку.

— Да, Мэри-Энн?

— Ее зовут Лиззи, мисс Пичер.

— Такое имя вряд ли существует, Мэри-Энн,— нази-

дательным тоном, нараспев протянула мисс Пичер.— Разве при крещении могут дать имя «Лиззи», Мэри-Энн?

Мэри-Энн положила шитье на стол, поднялась, зацепила левую руку крючком за локоть правой, как на уроке, и ответила:

— Нет, это уменьшительное, сударыня.

— Кто ее так назвал? — по привычке продолжала мисс Пичер, но вовремя спохватилась, потому что Мэри-Энн с чисто богословским рвением уже была готова распространиться на тему о восприемниках и восприемницах при обряде крещения.— Уменьшительное от какого имени?

— От Элизабет или от Элизы, мисс Пичер.

— Правильно, Мэри-Энн. Имелись ли в раннюю пору христианской церкви святые Лиззи, сомнительно, весьма сомнительно.— Какое глубокомыслие проявила мисс Пичер в этом вопросе! — Следовательно, изъясняясь по возможности точнее, мы скажем, что сестру Хэксема зовут Лиззи, но при крещении имя ей дано другое. Так, Мэри-Энн?

— Так, мисс Пичер.

— И где же,— продолжала мисс Пичер, довольная своей весьма прозрачной уловкой, будто этот маленький экзамен должен был пойти на пользу не ей самой, а Мэри-Энн,— где живет эта девица, которую зовут Лиззи — уменьшительное от Элизабет или Элизы? Подумай хорошенько, прежде чем ответить.

— На Черч-стрит, Смит-сквер, недалеко от Милбэнка, мисс Пичер.

— На Черч-стрит, Смит-сквер, недалеко от Милбэнка,— повторила мисс Пичер, словно это было давно известно ей по учебнику.— Совершенно верно. А чем эта девица занимается? Не торопись, Мэри-Энн.

— Она работает в портняжной мастерской, в Сити, мисс Пичер.

— А-а! — задумчиво протянула мисс Пичер, но тут же подхватила утвердительным тоном: — В портняжной мастерской, в Сити. Да-а?

— А Чарли...— снова заговорила Мэри-Энн и осеклась под взглядом мисс Пичер.— Я хотела сказать — Хэксем, мисс Пичер.

— То-то же, Мэри-Энн! Я очень рада, что ты хотела сказать именно так. А Хэксем?..

— ...говорит,— продолжила Мэри-Энн,— что он не доволен своей сестрой, что сестра не слушается его, а слушается кого-то другого, и что...

— Мистер Хэдстон идет! — воскликнула мисс Пичер, метнув взгляд в зеркало.— Ты очень хорошо отвечала, Мэри-Энн. У тебя вырабатывается отличная привычка четко излагать свои мысли. Ну, на сегодня довольно.

Умолкнув и снова сев на место, скромная Мэри-Энн принялась водить иглой, и ее рука все ходила и ходила взад и вперед даже тогда, когда на порог упала тень, предвещающая, что немедленно вслед за ней надо ожидать и появление учителя.

— Здравствуйте, мисс Пичер,— сказал он, входя следом за своей тенью и занимая ее место.

— Здравствуйте, мистер Хэдстон. Мэри-Энн,— стул!

— Благодарю вас,— сказал Брэдли, чопорно присаживаясь на самый кончик.— Я к вам на минутку. Зашел по дороге попросить вас об одном одолжении, в надежде, что вы, как добрая соседка, не откажете мне.

— Зашли по дороге, мистер Хэдстон? — переспросила мисс Пичер.

— Да. По дороге к... туда, куда я иду.

«На Черч-стрит, Смит-сквер, недалеко от Милбэнка»,— мысленно проговорила мисс Пичер.

— Чарльз Хэксем пошел достать кое-какие книги и вернется обратно, по всей вероятности, раньше меня. Так как дома никого больше нет, я взял на себя смелость сказать ему, что оставлю ключ у вас. Вы разрешите это?

— Разумеется, мистер Хэдстон. Вы хотите прогуляться, сэр?

— Да, и прогуляться и... по делу.

«По делу на Черч-стрит, Смит-сквер, недалеко от Милбэнка»,— снова повторила про себя мисс Пичер.

— Изъяснив вам свою просьбу,— Брэдли положил ключ на стол,— я пойду. Нет ли у вас каких поручений, мисс Пичер? Может быть, вы воспользуетесь оказией?

— Благодарствуйте, мистер Хэдстон. А вы куда направляетесь?

— К Вестминстеру.

«Милбэнк»,— в третий раз повторила мысленно мисс Пичер.

— Нет, благодарствуйте, мистер Хэдстон. Я не хочу беспокоить вас своими просьбами.

— Вы не причините мне ни малейшего беспокойства,— сказал учитель.

«Ах! — воскликнула мисс Пичер, но не вслух.— Зато вы лишили меня покоя!» — И хоть она ничем не выдала себя, ни взглядом, ни улыбкой, сердце ее беспокойно забилось, когда он вышел из комнаты.

Она правильно отгадала, куда он держит путь. Он шел прямо к дому кукольной швеи, поскольку это позволяло хитроумие его предков, оставивших здесь лабиринт пересекающихся улиц,— шел опустив голову, занятую только одной мыслью. Эта мысль не покидала его с тех пор, как он увидел Лиззи Хэксем. Ему казалось, что все, что можно было подавить в себе, он подавил, все, что можно было обуздать в себе, он обуздал, и вот в одну минуту, в один миг это уменье владеть собой исчезло. Любовь с первого взгляда — тема избитая, и говорилось о ней достаточно, мы только добавим, что в некоторых натурах, сходных с натурой Брэдли, в которой тлел затаенный огонь, эта страсть, вдруг вспыхнув и забушевав, как пожар на ветру, может сбросить оковы и с других страстей. В противоположность натурам слабым, заурядным, способным потерять голову из-за очередной ложной идеи — в наши дни она обычно принимает форму преклонения перед кем-нибудь за что-нибудь, по существу и не содеянное, а если и содеянное, то кем-то другим,— в противоположность им, натуры менее заурядные могут оставаться безучастными и вдруг, под влиянием минуты, разгореться неудержимым огнем.

Учитель шагал по улицам, думая свою думу, и на измученном его лице можно было прочесть, как тяжко терпеть поражение в борьбе. Его снедало тайное чувство негодования и стыда перед самим собой за то, что страсть к сестре Чарли Хэксема взяла над ним верх, и все же он устремлял мысли к тому, как бы утолить эту страсть.

Когда он предстал перед кукольной швеей, она сидела за работой одна. «Ого! — проговорила мысленно эта проницательная юная особа.— Вот кто к нам пожаловал!

А ведь я, любезный, все твои повадки и фокусы давно знаю!»

— Сестры Хэксема...— сказал Брэдли Хэдстон,— нет дома?

— Ишь отгадал! Настоящий кудесник! — воскликнула мисс Рен.

— Разрешите мне подождать ее, я хочу с ней поговорить.

— Хотите поговорить с ней? Что ж, садитесь. Надеюсь, это желание будет обоюдным.

Брэдли Хэдстон бросил недоверчивый взгляд на хитрое личико, снова склонившееся над работой, и спросил, стараясь побороть свои сомнения и нерешительность:

— Надеюсь, тут нет намека на то, что мой приход будет неприятен сестре Хэксема?

— Вот опять! — Мисс Рен досадливо прищелкнула пальцами.— Слышать не могу, когда вы ее так называете, потому что мне ваш Хэксем не нравится!

— Вот как?

— Да! — Мисс Рен сморщила носик, выражая этим свою неприязнь к Хэксему.— Эгоист. Только о себе и думает. Хотя все вы такие!

— Все такие? Значит, я вам тоже не нравлюсь?

— Так себе,— со смешком ответила мисс Рен и пожала плечами.— Я вас почти не знаю.

— А я и не подозревал, что мы все такие,— сказал Брэдли, немного задетый ее упреком.— Может быть, не все, а только некоторые?

— То есть все, кроме вас? — съязвила девочка.— Гм! ну-ка, взгляните этой леди в лицо. Это госпожа Правда. Достопочтенная. В полном параде.

Брэдли посмотрел на куклу, которая только что лежала на рабочем столике лицом вниз, пока ей зашивали платье на спине,— посмотрел и снова перевел взгляд на мисс Рен.

— Вот! Я ставлю достопочтенную госпожу П. на стол, спиной к стенке, так, чтобы она смотрела прямо на вас своими голубыми глазами,— продолжала мисс Рен и, сопровождая слова действиями, ткнула два раза иголкой в воздух, точно выкалывая глаза учителю.— А теперь из-

вольте сказать мне в присутствии свидетельницы, госпожи П., зачем вы сюда пришли?

— Поговорить с сестрой Хэксема.

— Да не может быть! — выпалила мисс Рен, вздернув подбородок.— По какому же делу?

— По делу, которое касается ее самой.

— О госпожа П.! — воскликнула мисс Рен.— Вы слышите это?

— Поговорить с ней ради ее же блага,— продолжал Брэдли, и приноравливаясь к тону кукольной швеи и сердясь на то, что таилось за ее словами.

— О госпожа П.! — воскликнула она.

— Ради ее блага,— повторил Брэдли, начиная горячиться,— и ради блага ее брата, а я сам тут не заинтересован.

— Знаете, госпожа П.,— сказала швея,— если уж на то пошло, придется повернуть вас лицом к стене.— И не успела она сделать это, как в комнату вошла Лиззи Хэксем.

Лиззи с удивлением посмотрела на Брэдли Хэдстона, на Дженни, которая грозила Хэдстону кулачком, поднеся его к самым глазам, и на достопочтенную госпожу П., стоявшую лицом к стене.

— Лиззи, вот тут один совершенно незаинтересованный человек,— сказала проницательная мисс Рен,— пришел поговорить с тобой, радея о твоем благе и о благе твоего брата. Подумай только! Мне кажется, что при такой хорошей и серьезной беседе посторонние лица присутствовать не должны, и если ты, дружок, проводишь постороннее лицо наверх, оно удалится немедленно.

Лиззи взяла руку, протянутую к ней за помощью, посмотрела на кукольную швею с вопросительной улыбкой, но с места не двинулась.

— Ты же знаешь, когда постороннее лицо ходит без поддержки, оно ужасно ковыляет,— продолжала мисс Рен,— потому что у него спина болит и ноги не слушаются. И если ты не поможешь ему, Лиззи, оно удалится не очень грациозно.

— Ему лучше всего остаться здесь,— ответила Лиззи, отпуская руку мисс Дженни и легко проводя ладонью по ее кудрям. Потом, обратившись к Брэдли: — Вы от Чарли, сэр?

Брэдли нерешительно встал, посмотрел на нее исподлобья, подал ей стул и вернулся на место.

— Строго говоря,— ответил он,— я пришел от Чарли, потому что мы с ним расстались около часу назад, но Чарли не давал мне никаких поручений. Я пришел сам по себе.

Мисс Дженни Рен положила локти на рабочий столик, подперла подбородок руками и сидела так, скосив глаза на учителя. Лиззи же смотрела ему прямо в лицо.

— Дело заключается в том...— Во рту у Брэдли пересохло, он с трудом выговаривал слова, что еще больше усиливало его связанность и неловкость.— Дело обстоит так, что у Чарли — смею думать — нет от меня никаких секретов, и он доверил все это мне.

Брэдли замолчал, и Лиззи спросила его:

— Что «это», сэр?

— Мне казалось,— ответил учитель, снова посмотрев на нее исподлобья и тщетно стараясь выдержать ее взгляд.— Мне казалось, что вдаваться в подробности по этому поводу было бы излишне и, может, даже нескромно с моей стороны. Я имею в виду ваш отказ от планов брата, коим вы предпочли планы мистера... если не ошибаюсь, мистера Юджина Рэйберна.

Притворившись, будто он действительно не уверен в этом имени, учитель снова поднял глаза на Лиззи и тут же опустил их.

Так как она молчала, заговорить пришлось ему, и он заговорил, чувствуя еще большее замешательство.

— Ваш брат поделился со мной своими планами, как только они возникли у него. Точнее говоря, он завел об этом речь, когда я впервые пришел сюда... когда мы с ним возвращались обратно и когда я... когда впечатление от встречи с его сестрой еще не утратило для меня своей свежести.

Это было сделано, может быть, без всякого умысла, но тут маленькая швея отняла руку от подбородка, медленно, точно в раздумье, повернула достопочтенную госпожу П. лицом к обществу и приняла прежнюю позу.

— Я одобрил его мысль,— продолжал Брэдли, посмотрев на куклу и бессознательно задержав на ней свой хмурый взгляд дольше, чем на Лиззи.— Одобрил потому, что

кто же, как не ваш брат, должен составлять такие планы, а я к тому же надеялся помочь осуществить их. Трудно передать, с каким удовольствием, трудно передать, с каким рвением я взялся бы за это! И не могу не признать, что, когда вашего брата постигло разочарование, оно постигло и меня. Я признаюсь в этом без всякой утайки, ничего не скрывая от вас.

То, что ему удалось столько сказать, по-видимому, приободрило его. Во всяком случае, продолжал он гораздо тверже, выразительнее, хотя то и дело сжимал зубы, а его правая рука то и дело надавливала на ладонь левой, точно ему было больно и он сдерживался, чтобы не закричать.

— Я человек, умеющий сильно чувствовать, и это разочарование было для меня ударом. Я еще не оправился после него. Но мне непривычно выставлять свои чувства напоказ. Некоторые люди вынуждены многое подавлять в себе. Очень многое. Впрочем, вернемся к вашему брату. Он принял все это так близко к сердцу, что высказал свое возмущение мистеру... если не ошибаюсь, Юджину Рэйберну. Высказал в моем присутствии. Но это ни к чему не привело. Как догадается каждый, у кого открыты глаза на истинную сущность мистера... мистера Юджина Рэйберна.

Он снова взглянул на Лиззи, и на этот раз выдержал ее взгляд. Но его пылающее лицо побледнело, потом бледность сменил огненный румянец, и так несколько раз подряд, до тех пор, пока кровь окончательно не отхлынула от его щек.

— И последнее: я решил прийти сюда один и воззвать к вам. Я решил прийти сюда один и убедить вас: сойдите с пути, на который вы ступили, и вместо того, чтобы доверяться совершенно чужому человеку — тому, кто нагло обошелся с вашим братом, и не только с ним,— доверьтесь вашему брату и другу вашего брата.

Лиззи Хэксем менялась в лице вместе с Брэдли, и теперь в ее взгляде был гнев и даже страх, а пуще всего неприязнь к этому человеку. Но когда она заговорила, голос ее звучал твердо.

— Я не сомневаюсь, мистер Хэдстон, что вы пришли сюда с добрыми намерениями. И не имею права в этом

сомневаться, зная вашу дружбу с Чарли. А Чарли мне остается сказать только одно: я приняла помощь, которая ему так претит, еще до того, как у него появились планы относительно меня, во всяком случае до того, как я о них узнала. Помощь была предложена мне так уважительно, так деликатно! Кроме того, у меня были веские причины принять ее, и Чарли следовало бы тоже уважать эти причины. Вот и все, что я могу сказать ему.

У него дрожали губы, когда он слушал ее ответ, в котором не было сказано ни слова о нем, а только о брате.

— Если б Чарли пришел сам,— заговорила она снова, как будто вспомнив что-то,— я бы рассказала ему, какая у меня и у Дженни опытная и терпеливая учительница и сколько трудов она кладет на нас. Скоро мы сможем заниматься сами, без нее. Чарли должен разбираться в учителях, и для его успокоения я бы сказала ему, что наша наставница вышла из заведения, где специально готовят учителей.

— Разрешите мне спросить вас,— Брэдли выжимал из себя слова, точно перемалывая их на заржавевшей мельнице,— разрешите спросить вас... Надеюсь, вы не сочтете это обидным для себя... Не позволите ли вы... Нет! Если вы не сочтете это обидным для себя, то лучше сказать так: я был бы счастлив воспользоваться возможностью приходить сюда вместе с вашим братом и отдавать вам все свои ничтожные способности и весь свой опыт.

— Благодарю вас, мистер Хэдстон.

— Впрочем,— продолжал он после паузы, украдкой вцепляясь пальцами в сидение стула, словно с тем, чтобы разломать его на куски, и сумрачно глядя на потупившуюся Лиззи.— Впрочем, мои скромные услуги, вероятно, не встретят благосклонности с вашей стороны.

Она ничего не ответила, и несчастный смотрел на нее, молча терзаясь своей страстью. Потом он вынул из кармана платок и вытер им лоб и ладони.

— Тогда я позволю себе добавить только одно, но это самое важное. Тут есть особые причины, по которым нельзя допустить того, что вы делаете, тут замешаны личные отношения, вам еще неизвестные. Они могут натолкнуть вас... я не говорю — *должны* натолкнуть... на иное решение. О том, чтобы продолжать наш разговор при тепе-

решних обстоятельствах, нечего и думать. Но я прошу вас, обещайте мне ничего не решать окончательно до следующей встречи.

— С кем? С Чарли, мистер Хэдстон?

— Нет!..— Он вовремя осекся и добавил: — Да! И с Чарли тоже. Дайте мне возможность поговорить об этом еще раз в следующую нашу встречу, при более благоприятных обстоятельствах, и тогда вы все узнаете.

— Я не понимаю вас, мистер Хэдстон,— ответила Лиззи, качая головой.

— Удовольствуйтесь пока этим, а в следующий раз поймете все,— перебил он ее.

— Что «все»? О чем вы, мистер Хэдстон?

— Вы... вы узнаете в следующий раз...— И в порыве безудержного отчаяния он воскликнул: — Я так и не мог... не мог довести дело до конца! На мне лежит какое-то проклятие! — Потом, почти молящим голосом: — Прощайте!

Он протянул ей руку. И когда она с явным колебанием, даже с неохотой, коснулась ее, странная дрожь пробежала по его телу, лицо его, мертвенно-бледное, исказилось точно от боли. И он ушел.

Кукольная швея сидела в той же позе, глядя на затворившуюся за ним дверь, до тех пор, пока Лиззи не села рядом с ней, отодвинув ее столик в угол. Тогда, глядя на Лиззи так же пристально, как сначала на Брэдли, потом на дверь, мисс Рен со свойственной ей внезапностью вздернула подбородок, откинулась на спинку кресла, сложила руки на груди и изрекла следующее:

— Гм! Если *мой* — я, дружок, говорю о том, кто будет за мной ухаживать,— если мой окажется таким, как *этот,* пусть лучше оставит меня в покое. Разве *такой* согласится быть на побегушках и заботиться обо мне? Такой сразу вспыхнет и взлетит на воздух.

— Ну вот, ты и отделаешься от него,— сказала Лиззи ей в тон.

— Не так все это просто,— возразила мисс Рен.— Разве он один взлетит на воздух? Нет, он и меня заодно прихватит. Мне его повадки и фокусы давно известны.

— Ты думаешь, он погубит тебя? — спросила Лиззи.

— Намеренно вряд ли, дружок,— ответила мисс

Рен.— Но когда в доме, где насыпаны груды пороха, чиркают спичками,— все равно где ими чиркать, что в соседней комнате, что здесь.

— Какой странный человек,— задумчиво проговорила Лиззи.

— Подальше бы от него. Лучше бы он был иностранный,— сказала эта язвительная юная особа.

По вечерам, когда они сидели дома одни, Лиззи любила расчесывать и приглаживать густые, длинные локоны кукольной швеи. Вот и теперь она развязала ленточку, которой Дженни связывала волосы во время работы, и они золотым ливнем хлынули на сутулую спину девочки, так нуждавшуюся в этой красе.

— Нет, Лиззи, сегодня не надо,— сказала Дженни,— давай лучше посидим у огня и поболтаем.— С этими словами она тоже распустила черные волосы подруги, и они двумя тяжелыми волнами упали Лиззи на грудь. Как бы любуясь контрастом, Дженни прижалась щекой к черным волосам Лиззи и незаметным движением закрыла себе лицо своими кудрями.

— Давай поговорим,— сказала Дженни,— о мистере Юджине Рэйберне.

Что-то сверкнуло среди светлых волос, лежавших на черных волосах, и если это была не звезда — откуда же ей там взяться! — значит, это был чей-то глаз, а если глаз, значит — глаз Дженни Рен, зоркий и блестящий, как у маленькой птички.

— Почему вдруг о мистере Рэйберне? — спросила Лиззи.

— Просто так, захотелось! Любопытно, он богатый?

— Нет, не богатый.

— Бедный?

— Да, для джентльмена, пожалуй, бедный.

— Ах, верно! Ведь он джентльмен! Не нам чета, правда?

Покачивание головой, задумчивое покачивание головой, и тихий ответ:

— Да, да, правда.

Кукольная швея сидела, обняв подругу за талию. Теперь она прижала ее к себе еще крепче, в то же время ухитрившись незаметно дунуть на свои волосы, и тогда

глаз, сверкавший среди светлых кудрей, стал еще ярче, взгляд его еще внимательней.

— *Мой* будет не из джентльменов. А если окажется джентльменом, я такого быстро спроважу. Впрочем, мистер Рэйберн не мой. Его я не пленила. А любопытно, Лиззи, кто-нибудь сумел его пленить?

— Очень возможно, что и сумел.

— Да? Вот бы узнать — кто?

— Разве не может быть, что какая-нибудь леди увлеклась им и он тоже ею увлекся?

— Пожалуй, может. Хотя не знаю. Лиззи! А если бы ты была леди, как бы ты к нему относилась?

— Я — леди? — со смехом повторила девушка.— Какая ты фантазерка!

— Да, фантазерка! А ты все-таки скажи, ну просто так, для интереса.

— Это я-то — леди! Я — дочь бедняка, я, которая работала за гребца в отцовской лодке. Я, которая была на Темзе вместе с моим бедным отцом и вместе с ним вернулась домой в тот вечер, когда мне пришлось впервые увидеть этого человека! И как я смутилась, поймав на себе его взгляд, так смутилась, что встала и вышла из комнаты!

«Значит, он и в тот вечер на тебя смотрел, хоть ты и не леди!» — подумала мисс Рен.

— Какая же я леди! — вполголоса продолжала Лиззи, глядя на огонь.— Ведь с могилы моего несчастного отца еще не смыто позорное пятно, и смыть его мне помогает этот человек! И вдруг я — леди!

— Ну, пусть я фантазерка, а все-таки! — упорствовала мисс Рен.

— Ты слишком многого от меня хочешь, Дженни, слишком многого. Моей фантазии не хватит на это.— При свете неяркого огня она улыбнулась задумчивой, грустной улыбкой.

— Но мне хочется потешить себя, Лиззи, и ты со мной не спорь, потому что я горемыка и мой непослушный ребенок сегодня меня совсем измучил. Посмотри на огонь, как тогда, когда вы жили в своем старом домишке — бывшей ветряной мельнице. Помнишь, ты рассказывала? Посмотри туда... как это у вас называлось, когда вы фантазировали с братом, который мне не нравится?

— Ямка в углях?

— Да, да! Посмотри туда, и ты увидишь там леди.

— Это гораздо проще, Дженни, чем вообразить знатной леди самое себя.

Сверкающий глаз не мигая смотрел вверх, на обращенное к огню задумчивое лицо.

— Ну? — сказала кукольная швея.— Нашлась там наша леди?

Лиззи кивнула головой и спросила:

— Сделать ее богатой?

— Да, пусть будет богатая, ведь он-то бедный.

— Она богатая-пребогатая. Сделать ее красивой?

— Уж если ты, Лиззи, красивая, так ей и подавно надо быть красавицей.

— Она красавица-раскрасавица.

— А что она говорит о нем? — тихонько спросила Дженни и устремила еще более пристальный взгляд на обращенное к огню лицо.

— Она так рада, так рада своему богатству, потому что эти деньги послужат ему. Она так рада, так рада своей красоте, потому что он сможет ею гордиться. Ее бедное сердце...

— Ее бедное сердце? — переспросила мисс Рен.

— Ее сердце, правдивое, любящее — отдано ему. Она с радостью умерла бы вместе с ним... Нет! Лучше умереть ради него! Она знает его недостатки, но как им не быть, когда он жил отщепенцем, ни во что не верил, никого не любил, никого не уважал! И она, богатая, красивая леди, с которой мне никогда не сравняться, говорит ему: «Дай мне занять это пустое место в твоем сердце, пойми, как мало я думаю о себе, испытай, на что я ради тебя готова, сколько я ради тебя претерплю,— и, может быть, тогда я помогу тебе стать лучше — я, которая настолько хуже тебя, что меня и в мыслях вряд ли кто поставит рядом с тобой!»

Слушая эти самозабвенные слова, видя восторг и волнение на обращенном к огню лице, девочка откинула свободной рукой свои волосы, и в ее сосредоточенном взгляде проступил чуть ли не ужас. И как только Лиззи умолкла, она опустила голову и простонала:

— О боже мой! Боже мой!

— У тебя что-нибудь болит, Дженни? — спросила ее подруга, словно пробуждаясь от сна.

— Да, болит, только это не прежняя боль. Уложи меня, уложи поскорее. И посиди со мной. Запри дверь и никуда не уходи.— Потом, спрятав лицо, она прошептала: — Лиззи, Лиззи! Бедная Лиззи! Любимые мои детки, спуститесь сегодня по длинным сверкающим лучам, только не ко мне, а к ней! Она нуждается в вас больше, чем я!

С просветленным лицом кукольная швея протянула руки ввысь, потом снова повернулась к Лиззи, обняла ее за шею и припала к ней на грудь.

ГЛАВА XII

Главным образом о стервятниках

Плут Райдергуд жил в самой сердцевине, в самом нутре гавани Лаймхауз, среди такелажников, среди ремесленного люда, мастерившего мачты, весла, блоки, среди судовых плотников и парусников — точно в корабельном трюме, битком набитом самыми разношерстными представителями рода человеческого, многие из которых были не лучше его, многие гораздо лучше, но худших, чем он, там вовсе не попадалось. Не считая для себя такой уж высокой честью дружбу с Плутом, обитатели гавани, хоть и не слишком разборчивые в выборе приятелей, сплошь и рядом холодно поворачивались к нему спиной, вместо того чтобы обменяться горячим рукопожатием, и почти никогда не пили с ним в компании, разве только на его счет. Но некоторых здешних жителей, движимых духом гражданского долга и личной добродетели, даже столь сильный побудитель не мог заставить водиться с презренным доносчиком. Впрочем, у этой высокой морали были свои изъяны, ибо носители ее считали свидетеля правдивого, предстающего пред лицом правосудия, таким же плохим товарищем и прохвостом, как и лжесвидетеля.

Если бы не дочь, о которой мистер Райдергуд любил упоминать, гавань могла бы оказаться для него сущей могилой в смысле подыскания средств к жизни. Но мисс Пле-

зент Райдергуд занимала там кое-какое положение, имела кое-какие связи. Она была закладчица — из мелких мелкая — и содержала так называемую ссудную лавку, где выдают грошовые суммы под такие же грошовые вещи, оставляемые в залог. К двадцати четырем годам Плезент имела за плечами пятилетний опыт в такого рода делах. Ссудную лавку основала еще ее матушка, и по смерти своей родительницы Плезент сама обосновалась там, унаследовав от покойной капитал в пятнадцать шиллингов, припрятанных в подушке,— факт, о котором умирающая успела сообщить дочери более или менее членораздельным шепотом, до того как водянка — результат пристрастия к джину и нюхательному табаку — повергла ее в состояние, несовместимое ни с членораздельностью, ни с дальнейшим пребыванием в этом мире.

В молодости покойная миссис Райдергуд, возможно, и взялась бы объяснить, почему они с мужем дали дочери такое имя *, а возможно, и нет. Сама Плезент и вовсе ничего не знала,— назвали Плезент, и дело с концом. С ней никто не советовался ни по этому вопросу, ни по тому, который касался ее появления на нашей планете и необходимости обзавестись каким-нибудь именем. Точно так же Плезент стала обладательницей того, что в просторечии именуется «глаз с косинкой» (отцовское наследие), от чего она, по всей вероятности, отказалась бы, если бы ее вкусы и желания приняли в расчет. Вообще же, мисс Райдергуд была не такая уж дурнушка, хотя она и отличалась землистым цветом лица, худобой, суетливостью и выглядела вдвое старше своих лет.

Инстинкт или же натаска заставляют охотничьих собак преследовать некоторые живые существа — разумеется, до известных пределов,— и подобно им Плезент Райдергуд (да не сочтут такое сравнение обидным для нее), повинуясь инстинкту или натаске, считала моряков — разумеется, тоже до известных пределов — своей добычей. Стоило показать ей человека в матросском бушлате, и она — выражаясь образно — запускала в него зубы. И все же, принимая во внимание обстоятельства жизни Плезент, ее нельзя было назвать ни коварной, ни злой. А посудите сами, сколько всего приходилось учитывать в таком нелегком жизненном опыте. Стоило показать Плезент Райдергуд

свадебный кортеж на улице, и она видела в нем только двух человек, получивших законное дозволение на ссоры и потасовки. Стоило показать ей крестины, и она видела в них только крошечного язычника, которому дадут имя, по существу совершенно излишнее, так как укрепится за ним какое-нибудь бранное прозвище, и этот крошка, не желанный ни отцу, ни матери, будет всем мешать и получать справа и слева одни пинки и колотушки до тех пор, пока не вырастет настолько, чтобы раздавать пинки и колотушки собственноручно. Стоило показать ей похороны, она и тут видела только не окупающую себя церемонию, похожую на маскарад, где все в черном,— единственный парадный прием, устроенный покойником за всю его жизнь, который хоть и придает временное благообразие участникам, но требует огромных издержек. Стоило показать ей какого-нибудь отца семейства, и она видела в нем только копию собственного отца, который с самого ее младенчества лишь урывками, от случая к случаю вспоминал о своем отцовском долге, а долг этот заключался, по его понятиям, в применении кулака или ремня и, будучи выполненным, не приносил Плезент ничего кроме боли. Итак, принимая во внимание все эти обстоятельства, следует сказать, что Плезент Райдергуд выросла совсем не такой дурной девушкой. В ее натуре была даже романтическая жилка — если допустить, что романтика ухитряется проползать в гавань Лаймхауз,— и может статься, когда мисс Райдергуд стояла летними вечерами в дверях своей лавки, сложив руки на груди и подняв глаза от зловонной улицы к закатному небу, перед ее мысленным взором появлялись туманные видения далеких островов в южных и других морях (в подробности географического характера она не вдавалась), где было бы так приятно бродить среди хлебных деревьев рука об руку с другом сердца, поджидая, не занесет ли туда попутный ветер какой-нибудь корабль из суетных портов цивилизованного мира,— потому что без моряков, за счет которых можно поживиться, для мисс Плезент и рай был бы не в рай.

И вот однажды вечером, хоть и не летним, она снова появилась у низенькой двери своей лавки и сразу привлекла к себе внимание человека, стоявшего на противоположной стороне улицы. Вечер выдался пронизывающе

холодный, темный, ветреный. Подобно большинству обитательниц гавани Лаймхауз, Плезент Райдергуд была присуща одна особенность, а именно: волосы ее, собранные сзади в неряшливый пучок, то и дело рассыпались, и прежде чем предпринять что-нибудь, ей приходилось сначала приводить их в порядок. Так и сейчас — выйдя из лавки поглазеть на улицу, она, по существующему в гавани обычаю, обеими руками заводила себя на затылке, словно часы. И так сильна была власть этого обычая, что в случае драки или тому подобных уличных волнений гàванские дамы со всех сторон мчались к месту происшествия, приводя в порядок прическу, а многие из них к тому же держали гребенки в зубах.

Лавчонка мисс Райдергуд, на редкость убогая, с низким потолком, до которого можно было достать рукой, выглядела немногим лучше какого-нибудь подвала или погреба, куда спускаешься по ступенькам. И все же, в ее чуть освещенном окне, среди двух-трех ярких шейных платков, поношенного матросского платья, нескольких грошовых хронометров и компасов, двух скрещенных трубок, банки табаку, бутылки орехового соуса, ужасающих карамелек и тому подобных сомнительных благ, служивших для сокрытия основных операций ссудной лавки, виднелась надпись: «Квартира и стол для моряков».

Увидев Плезент Райдергуд, человек перешел улицу так быстро, что не дал ей времени завести себя на затылке.

— Отец дома? — спросил он.

— Должен быть дома,— ответила Плезент, опуская руки.— Входите.

Уклончивость ответа объяснялась тем, что Плезент учуяла в незнакомце моряка. Ее отца дома не было, и она знала это.

— Садитесь к огню,— последовало радушное предложение, когда незнакомец вошел в лавку.— Такие, как вы, всегда у нас желанные гости.

— Спасибо,— поблагодарил он.

Во всей его повадке было что-то матросское, и руки у него были как у матроса, хоть и не заскорузлые. Плезент безошибочно распознавала моряков по виду, и ей сразу бросилась в глаза не только необычная гладкость кожи этих рук, правда, загорелых, но и чисто матросская их

мускулистость и гибкость, когда, сев в кресло, ее гость положил левую руку на левую ногу, чуть повыше колена, а правую — на деревянный подлокотник, так что кисть свободно свесилась вниз с чуть подобранными к ладони пальцами, словно только что державшими канат.

— Вам, наверно, нужна квартира со столом? — осведомилась Плезент, заняв наблюдательный пункт у камина.

— Я еще сам не знаю,— ответил незнакомец.

— Может, вы ищете ссудную лавку?

— Нет,— сказал он.

— Да,— согласилась с ним Плезент,— для этого вы слишком хорошо одеты. Но если вам понадобится квартира или ссудная лавка, у нас здесь и то и другое.

— Знаю, знаю,— проговорил незнакомец, осматриваясь по сторонам.— Я тут не впервые.

— Закладывали что-нибудь? — спросила Плезент, прикидывая в уме, каков мог быть заклад и проценты на него.

— Нет.— Он покачал головой.

— Что вы у нас не квартировали, это я почти наверняка могу сказать.

— Никогда не квартировал.— Незнакомец снова покачал головой.

— Так зачем же вы сюда приходили? — спросила Плезент.— Я что-то вас не припоминаю.

— И не мудрено. Дело было ночью, я стоял вон там, у двери, на нижней ступеньке, ждал одного товарища по плаванью, а он заходил сюда поговорить с вашим отцом... Но мне эта лавка хорошо запомнилась,— добавил он, продолжая с любопытством оглядываться по сторонам.

— Это, наверно, давно было?

— Да, давненько. Когда я вернулся из последнего плаванья.

— Значит, вы теперь не плаваете?

— Нет. Одно время лежал в лазарете, а потом работал на берегу.

— Это и по рукам видно.

Пронизывающий взгляд, мимолетная улыбка и перемена позы заставили ее замолчать.

— У вас зоркий глаз. Да! По рукам сразу видно.

Его взгляд встревожил Плезент, и она испытующе уставилась ему в лицо. В этой перемене позы, хоть и внезап-



ной, не было ни следа растерянности, и больше того — как только он снова свободно откинулся на спинку кресла, в нем почувствовалась скрытая уверенность в себе и сила, почти грозная.

— Что же, ваш отец скоро придет?

— Не знаю. Не могу сказать.

— Как же так? Вы мне ответили: «Должен быть дома», следовательно, если он вышел, то недавно?

— Я думала, он вернулся,— пояснила Плезент.

— Ах, вы думали, он вернулся! Следовательно, его дома не было? Как же так?

— Хорошо, не буду вас обманывать. Отец на реке.

— Промысел у него все тот же? — спросил незнакомец.

— О чем это вы? — Плезент попятилась от него.— И что вы, собственно, от нас хотите?

— Повредить вашему отцу я не хочу. И уверять вас, что мог бы ему повредить, тоже не хочу. Мне надо поговорить с ним. Скромное желание, правда? Секретов тут никаких нет, и вы можете присутствовать при нашей беседе. И говорю вам прямо, мисс Райдергуд, выжать что-нибудь из меня, поживиться на мой счет вам не удастся. Ваша ссудная лавка и ваши квартиры со столом обойдутся без такого клиента, как я. И вообще по вашей части на мне и шести пенсов не заработаешь. Оставьте это попечение, и у нас с вами дела пойдут на лад.

— Но вы все-таки моряк? — упорствовала Плезент, точно этого было достаточно, чтобы иметь на него какие-то виды на предмет поживы.

— И да и нет. Был когда-то моряком и, может, опять буду. Но я не по вашей части. Уж поверьте мне на слово.

Разговор достиг того переломного момента, когда волосы мисс Плезент вполне могли рассыпаться по плечам. Так и случилось: они рассыпались у нее по плечам, и она стала закручивать их, исподлобья глядя на незнакомца. Пристально рассматривая ладно сидевшую на нем матросскую одежду, мисс Плезент углядела большой нож в ножнах, висевший у него наготове у пояса, и свисток на шнурке, надетом на шею, и короткую, свинцовую дубинку с шипами, выглядывающую из кармана широкой верхней

куртки или бушлата. Он сидел, спокойно глядя на нее, но эти видимые глазу дополнения к его костюму, эта густая шапка волос и бакенбарды цвета пакли придавали ему грозный вид.

— Поверьте мне на слово,— повторил незнакомец.

Плезент молча кивнула. Следом за ней и он молча кивнул головой. Потом поднялся и стал ближе к камину, сложив руки на груди и поглядывая то в огонь, то на Плезент, которая, тоже со сложенными на груди руками, стояла, прислонившись к каминной доске.

— Чтобы не скучать в ожидании вашего отца,— вдруг заговорил он,— расскажите-ка мне, как у вас тут теперь — частенько моряков грабят, убивают?

— Нет,— ответила Плезент.

— А все-таки, случается?

— Поговаривают, будто в Уэппинге * и Рэтклифе, вообще в тех местах, неспокойно. Да пойди разбери, где тут правда, где ложь!

— Вот именно! Да и кому это нужно — грабить, убивать?

— И я того же мнения,— подхватила Плезент.— Была бы нужда! А ведь моряки, дай бог им здоровья, и сами при себе ничего удержать не могут.

— Правильно! Обчищать их и так можно, без смертоубийства,— сказал незнакомец.

— Конечно, можно,— согласилась Плезент.— Их обчистят, а они опять на корабль и опять при деньгах. Корабль самое хорошее место для моряка, и чем скорее он туда попадет, тем лучше. В плавании ему самое житье.

— Знаете, почему я об этом спрашиваю? — Незнакомец поднял глаза от огня.— Со мной однажды тоже вот так разделались и бросили, думали, что мертвый.

— Да неужто? — воскликнула Плезент.— Где же это с вами случилось?

— Где случилось? — задумчиво повторил незнакомец, поглаживая правой рукой подбородок, а левую опуская в карман куртки.— По-моему, где-то здесь, поблизости. В какой-нибудь миле отсюда.

— Вы пьяный были? — спросила Плезент.

— Мне чего-то подсыпали. Вина я не пил. Одного глотка хватило, чтобы одурманить. Понимаете?

Плезент, нахмурившись, покачала головой. Это должно было означать, что она все поняла и негодует.

— Надо по-честному, а это никуда не годится! Разве можно так поступать с матросом!

— Такие чувства делают вам честь,— сказал незнакомец с хмурой улыбкой, потом добавил вполголоса: — Тем более что ваш отец, по-видимому, их не разделяет. Да, мне тогда нелегко пришлось. Я всего лишился и еле отстоял свою жизнь — так ослаб.

— А эти люди хоть поплатились? — спросила Плезент.

— Расплата последовала страшная,— с еще большей серьезностью ответил незнакомец,— но я тут ни при чем.

— А кто же? — спросила Плезент.

Он указал пальцем вверх, медленно опустил руку и, снова взявшись за подбородок, устремил взгляд на огонь. Плезент Райдергуд уставилась на него своим, унаследованным от отца, косым взглядом, чувствуя, что поведение этого человека, державшегося так таинственно, строго и спокойно, все больше и больше начинает тревожить ее.

— Ну, как бы там ни было,— сказала она,— а я, признаться, рада, что они поплатились, и не хочу этого скрывать. Такие злодеяния только кладут тень на наше дело. Я, как и сами моряки, против всяких покушений на них. Меня еще покойная матушка наставляла: с моряками, говорила она, надо вести дело по-честному и чтобы никаких грабежей, никаких побоев.— Что касается честного ведения дел, то мисс Плезент охотно брала бы и брала, когда предоставлялась возможность,— по тридцать шиллингов в неделю за комнату со столом, которые не стоили и пяти шиллингов, и совершала операции в ссудной лавке на столь же справедливых основах. И все же совесть у мисс Райдергуд была такая чувствительная и сердце такое нежное, что стоило кому-нибудь нарушить ее принципы, как она становилась поборницей прав матросского племени и ополчалась тогда даже против отца, которому редко осмеливалась перечить.

Говорить дальше Плезент помешал сердитый отцовский возглас: «Ну, ты, попугай!», и отцовский головной убор, который его рука запустила ей прямо в лицо. Привыкшая к тому, что он только таким способом и выражает свое по-

нимание родительского долга, Плезент утерлась волосами (как водится, рассыпавшимися у нее по плечам) и опять закрутила их в пучок на затылке. Таков был второй обычай, которого придерживались обитательницы гавани в пылу словесных или кулачных поединков.

— Вот научили попугая болтать! — пробормотал мистер Райдергуд и, подняв шапку с полу, подскочил к дочери боком, норовя толкнуть ее локтем и головой, потому что разговоры на такую деликатную тему, как ограбление моряков, приводили его в бешенство, а сегодня к тому же он был не в духе.— Чего расстрекоталась! Сложила ручки и готова стрекотать, как попугай, хоть до утра. Делать тебе больше нечего!

— Оставьте ее в покое,— сказал незнакомец.— Мы с ней разговаривали. Какая в этом беда?

— Оставить в покое? — возмутился мистер Райдергуд, оглядывая его с головы до ног.— А вы разве не знаете, что она моя дочь?

— Знаю.

— А то, что я не позволю своей дочери болтать, как попугай, тоже знаете? И не только ей не позволю, а и никому другому. Да вы, собственно, кто такой? Да вам, собственно, что здесь надо?

— А вы замолчите, тогда я скажу,— резко осадил его незнакомец.

— Ладно,— сказал мистер Райдергуд, несколько струсив.— Помолчу — послушаю. Только не болтайте, как попугай.

— Выпить хотите? — посмотрев на него в упор, также резко отчеканил незнакомец.

— Еще бы! — воскликнул мистер Райдергуд.— Будто я когда отказывался от выпивки! (Нелепость вопроса возмутила его.)

— Что будете пить? — спросил незнакомец.

— Херес,— в тон ему ответил мистер Райдергуд,— если вас на это хватит.

Незнакомец сунул руку в карман, вынул полсоверена и попросил мисс Райдергуд не отказать в любезности принести бутылку хереса.— Не раскупоренную,— добавил он, выразительно поглядев на ее отца.

— Об заклад готов побиться, что вы стреляный воро-

бей! — пробормотал тот, кривя губы в хмурой улыбке.— Видел я вас раньше или нет?.. Н-нет, не видел.

Незнакомец ответил:

— Да, не видели.— И они продолжали угрюмо смотреть друг на друга до тех пор, пока Плезент не вернулась.

— Достань рюмки с полки,— приказал дочери мистер Райдергуд.— Мне дай ту, что без ножки. Человеку, который добывает хлеб в поте лица своего, и такая сойдет.— Эти слова, казалось бы, свидетельствовали о скромности и самопожертвовании, но, как не замедлило выясниться, ставить безногую рюмку с вином на стол было нельзя, ее приходилось опоражнивать сразу после наполнения, вследствие чего мистер Райдергуд ухитрялся пить втрое больше гостя.

Держа свой Фортунатов кубок * наготове, он сел за стол ближе к огню, незнакомец занял место напротив, а Плезент устроилась на табуретке между ним и камином. Фон этой мизансцены — шейные платки, шляпы, куртки, рубашки и прочее тому подобное старье «из закладов» — чем-то смутно напоминал подслушивающих людей, особенно в том углу, где висела блестящая клеенчатая куртка и шляпа,— ни дать ни взять какой-нибудь неуклюжий матрос, который так заинтересовался беседой за столом, что замер на месте спиной к обществу, успев только просунуть руки в рукава и поднять плечи до самых ушей.

Для начала гость поднес бутылку к свече, посмотрел вино на свет и обследовал пробку. Удостоверившись в ее целости, он медленно вынул из внутреннего кармана куртки заржавленный складной нож, открыл в нем штопор и откупорил бутылку. Потом опять обследовал пробку, вывинтил из нее штопор, положил то и другое на стол и протер горлышко изнутри уголком платка, завязанного у него узлом на шее,— все это обстоятельно, не спеша.

Глядя на своего неторопливого гостя, поглощенного всеми этими манипуляциями, Райдергуд сначала сидел спокойно, вытянув руку с зажатой в ней наготове безногой рюмкой. Но вот мало-помалу рука его стала тянуться назад, рюмка опускалась все ниже и ниже, и, наконец, он поставил ее на стол, донышком вверх. Также постепенно вниманием его завладел складной нож. И когда незнакомец поднял бутылку, готовясь наполнить рюмки, Райдергуд

встал, нагнулся над столом, чтобы разглядеть нож как следует, и потом перевел взгляд на своего гостя.

— Что такое? — спросил тот.

— А нож-то знакомый! — сказал Райдергуд.

— Еще бы не знакомый!

Он мотнул головой, показывая Райдергуду на рюмку, и наполнил ее до краев. Райдергуд выпил все до капли и снова начал:

— Этот нож...

— Подождите,— сдержанно проговорил незнакомец.— Я хочу выпить за вашу дочь. Будьте здоровы, мисс Райдергуд.

— Этот нож я видал у одного матроса, у Джорджа Рэдфута.

— Правильно.

— Этого матроса я хорошо знал.

— Правильно.

— Какая же его постигла судьбина?

— Его постигла смерть. Жестокая смерть. Смотреть на него после этого,— ответил незнакомец,— было страшно.

— После чего «после этого»? — спросил Райдергуд, сдвигая брови.

— После того, как его убили.

— Убили? Кто убил?

Вместо ответа незнакомец пожал плечами, наполнил безногую рюмку, и Райдергуд, выпив ее, перевел изумленный взгляд с дочери на гостя.

— Вы что же, так прямо и заявляете мне, честному человеку...— начал было он, сжимая в кулаке пустую рюмку, как вдруг куртка гостя приковала к себе его взгляд. Он навалился на стол, стараясь разглядеть ее поближе, дотронулся до рукава, отвернул обшлаг, посмотрел подкладку (незнакомец терпел все это с полным хладнокровием) и воскликнул: — Сдается мне, что куртка тоже Джорджа Рэдфута!

— Угадали! Он был в ней в тот последний раз, когда вы его видели, но больше вам не придется его видеть на этом свете.

— Сдается мне, что вы попросту признаетесь в убийстве! — воскликнул Райдергуд, но тем не менее позволил налить себе вина.

Вместо ответа незнакомец снова пожал плечами, не проявив ни малейшего замешательства.

Райдергуд с минуту смотрел на своего гостя во все глаза, потом выпил вино залпом и пробормотал:

— Убей меня бог, не знаю, как мне быть с этим молодчиком! Ну, выкладывайте карты на стол! Скажите что-нибудь повразумительнее!

— Скажу,— негромко, но веско проговорил его гость, наклоняясь к нему через стол.— Вы лжец!

Неподкупный свидетель вскочил со стула и взмахнул рукой, точно собираясь швырнуть рюмку незнакомцу в лицо. Тот даже бровью не повел, а только многозначительно и строго погрозил Райдергуду пальцем, после чего этот образец неподкупности сразу одумался, сел на место и поставил рюмку на стол.

— Признавайтесь, когда вы явились к тому адвокату в Тэмпле со своими выдумками,— продолжал незнакомец так уверенно, что это хоть кого могло вывести из себя,— у вас были сильные подозрения насчет вашего дружка? Признавайтесь, ведь были?

— У меня — подозрения? Насчет какого дружка?

— Повторите, чей это нож? — потребовал незнакомец.

— Этот нож принадлежал тому и был собственностью того, кого я вам назвал.— Райдергуд не мог придумать ничего умнее, как обойти в своем ответе имя убитого.

— Повторите, чья это куртка?

— Эта носильная вещь тоже принадлежала тому и ею владел... тот, кого я назвал,— тупо, точно на допросе в Олд-Бейли *, повторил Райдергуд.

— Я подозреваю, что вы приписали убийство ему и решили: вот хитрец, как он ловко выпутался! Но для того, чтобы выпутаться таким способом, большой хитрости не требовалось. Он поступил бы гораздо хитрее, если бы встал из могилы на одну-единственную минуту.

— Нечего сказать, в хорошем положении я очутился! — пробормотал мистер Райдергуд и поднялся из-за стола, готовый защищаться до последнего.— Всякие наглецы напялят на себя куртку с покойника, с его собственным ножом в кармане, приходят в дом к живому честному человеку, который добывает хлеб в поте лица своего, несут бог весть что, возводят на честного человека бог

весть какую напраслину! Почему это я должен был его подозревать?

— Потому, что вы знали,— ответил гость,— потому, что вы с ним действовали заодно, и потому, что вас своей личиной он не обманывал. Потому, что в ту ночь, в которую по вашим соображениям и произошло убийство, он явился сюда прямо с корабля и спрашивал у вас, где бы ему найти комнату. Разве с ним не было другого человека?

— Был, да не вы! Под присягой готов подтвердить,— ответил Райдергуд.— Вы меня запугиваете, а, на мой взгляд, дело-то против вас оборачивается. Джордж Рэдфут, видите ли, пропал без вести, и никто его не хватился! Да разве с матросами так не случается сплошь и рядом? На больший срок пропадают, и то ничего. Записываются в команду под чужой фамилией, уходят в дальнее плавание, да мало ли что! А потом, глядишь, опять появился на свет божий, и никто этому не удивляется. Спросите мою дочь. Без меня вы с ней, как попугаи, болтали. Пусть теперь этот попугай вам ответит. Вы меня заподозрили, будто я его заподозрил! А, думаете, я вас ни в чем не подозреваю? Вы говорите, что Джордж Рэдфут убит. Так будьте любезны ответить, кто его убил, и откуда вам известно, что он убит? У вас в кармане его нож, а на плечах его куртка. Будьте любезны ответить, как они к вам попали! Дайте мне бутылку! — Тут мистер Райдергуд, по-видимому, впал в искреннее заблуждение, сочтя вино своей собственностью.— А ты! — Он повернулся к дочери, наливая херес в безногую рюмку.— Вот только доброго вина жаль, а то швырнул бы в тебя бутылкой! Настрекотала ему с три короба! Много ли такому надо, чтобы заподозрить невинного? Послушал попугая, и готово дело. А уж если я кого в чем заподозрю, так сумею доказать, я человек честный, добываю хлеб в поте лица своего, как все честные люди.— Он снова налил себе хересу, отпил половину, подержал вино во рту, прежде чем проглотить, и, заглянув в рюмку, медленно всколыхнул ее содержимое, а Плезент, прическа которой после такой отповеди немедленно пришла в беспорядок, стала закручивать волосы на затылке, как закручивают хвост лошади, прежде чем вести ее на ярмарку.

— Ну? Кончили? — спросил незнакомец.

— Нет,— ответил Райдергуд.— Не кончил. До конца еще далеко. Сначала я хочу узнать, что приключилось с Джорджем Рэдфутом и каким образом вам достались его пожитки?

— Может, когда и узнаете, только не сейчас.

— А еще я хочу узнать,— продолжал Райдергуд,— не собираетесь ли вы приписывать дело этого... как его там...

— Дело Гармона, отец,— подсказала Плезент.

— Молчи, попугай! — рявкнул он.— Держи язык на привязи! Так вот, сударь, я хочу знать, не приписываете ли вы это преступление Джорджу Рэдфуту.

— Может, когда и узнаете, только не сейчас.

— А уж не убийца ли вы сами? — с угрожающим жестом проговорил Райдергуд.

— Тайна этого преступления известна мне одному,— ответил незнакомец, строго покачав головой.— И мне одному известно, что в ваших выдумках нет ни слова правды. Мне одному известно, что они ложны от начала до конца, и вы сами в них не верите. Вот и все, что вам удастся узнать от меня сегодня.

Мистер Райдергуд с минуту сидел в раздумье, уставившись своим косым глазом на гостя, потом налил себе вина и в три глотка опорожнил рюмку.

— Закрой лавку! — вдруг крикнул он дочери, поставив свой безногий сосуд на стол.— Запри дверь на ключ и не отходи от нее. А если вам все это известно, сударь,— обратился он к незнакомцу, становясь между ним и дверью,— почему вы не пошли к адвокату Лайтвуду?

— И это известно только мне одному,— последовал хладнокровный ответ.

— Ну, а если убийство Гармона не ваших рук дело, тогда своим обличением вы можете зашибить пять, а то и все десять тысяч фунтов. Это вам известно? — спросил Райдергуд.

— Известно. И когда я потребую вознаграждение, там будет и ваша доля.

Честный человек умолк и шагнул чуть ближе к незнакомцу и чуть дальше от двери.

— Мне все известно,— спокойно повторил незнакомец,— и то, что за вами и Джорджем Рэдфутом числится

не одно черное дело, и то, что вы, Роджер Райдергуд, оклеветали ни в чем не повинного человека в расчете на вознаграждение, и то, что я могу уличить вас во всем этом — и уличу, сам буду свидетелем, клянусь вам! — если вы будете противиться мне.

— Отец! — взмолилась Плезент, все еще стоявшая у двери.— Уступи ему! Не противься! Не то накличешь на себя еще не такую беду! Отец!

— Замолчи, попугай! Цыц! — крикнул мистер Райдергуд, в бешенстве не зная, к кому из них кинуться. Потом заканючил, приниженно, льстиво: — Помилуйте, сударь! Вы так и не сказали, что вам от меня нужно! Это несправедливо, это вам не к лицу — говорите, будто я противлюсь, а чему противлюсь, не объясняете!

— Мне нужно немного,— сказал незнакомец.— То ли вы обвинили человека, то ли нет — не поймешь, и этого так оставить нельзя. Вы погнались за денежками, а теперь возьмите свои поклепы обратно.

— Слушайте, друг...

— Какой я вам друг! — сказал незнакомец.

— Ну, тогда капитан,— не сдавался Райдергуд.— Капитаном-то можно вас называть? Это звание почетное, вам оно в самый раз. Капитан! Ведь человек-то давно умер! Нет, вы по чести скажите! Умер Старик или нет?

— Да,— нетерпеливо отрезал тот.— Умер. Ну и что же из этого?

— Разве слова могут повредить покойнику? Я, капитан, хочу, чтобы вы мне по чести ответили.

— Слова могут повредить памяти покойного, и они могут повредить его детям, которые живы. Сколько их было у этого человека?

— У кого, капитан, у Старика?

— О ком же еще речь! — воскликнул незнакомец и чуть не ударил Райдергуда ногой, словно тот пресмыкался перед ним не только морально, но и физически.— Я слышал о сыне и дочери. Мне надо знать точно, и я спрашиваю вашу дочь, предпочитая разговаривать с ней. Сколько детей оставил Хэксем?

Плезент взглядом попросила у отца разрешения ответить, и честный человек гневно крикнул:

— Ты что же не отвечаешь капитану, черт тебя по-

дери! Когда не надо, так она, шельма, стрекочет не хуже попугая!

После такого поощрения мисс Райдергуд сообщила, что у Хэксема было двое детей: дочь Лиззи и сын — подросток.— Оба смирные, порядочные,— добавила она.

— Какое ужасное пятно лежит на них! — воскликнул незнакомец, и эта мысль так взволновала его, что он встал и заходил по комнате взад и вперед, повторяя вполголоса: — Ужасно! Просто ужасно! Но кто мог это предвидеть! — Потом остановился и спросил: — Где они живут?

Плезент снова пояснила, что с Хэксемом жила только дочь и сразу же после его смерти она уехала из гавани.

— Это я знаю,— сказал гость.— Я был у них в доме, когда опознавали труп. А нельзя ли разведать, где она сейчас живет, только без огласки?

Разумеется, можно. Как она думает, сколько ей на это потребуется времени? Самое бо̀льшее день. Вот и хорошо! Он зайдет за ответом и надеется, что к его приходу она все выяснит. Райдергуд молча выслушал их разговор и затем подобострастно обратился к «капитану»:

— Капитан! Что бы я там ни наговорил на Старика, он всегда был порядочным мерзавцем, всегда промышлял воровством, и вы этого не забывайте. Я, может, хватил через край, когда был у тех двоих хозяев — у мистера Лайтвуда и у другого хозяина,— но что мною руководило? — заботился о правосудии или, если это угодно, распалился, как всякий человек, когда у него есть надежда сорвать большой куш для своей семьи. Опять же вино у тех почтенных джентльменов не пошло мне на пользу, хотя они вряд ли чего-нибудь в него подмешали, этого я не утверждаю. И вы, капитан, вот еще о чем не забывайте: разве я стоял на своем, когда Старику пришел конец? Разве я говорил тем двоим почтенным джентльменам: «Что я показал, то показываю и теперь. Что вы записали с моих слов, от того я не отступлюсь». Нет! Я им заявил по-честному и — заметьте, капитан,— без всяких уверток: «Может, тут произошла ошибка, может, в моих показаниях что и не так записано. Я лжесвидетельствовать не хочу, нет! Может, вы после этого перестанете меня уважать, но, что поделаешь, лжесвидетельствовать я все равно не стану». И если уж на то пошло,— заключил мистер Райдергуд, ви-

димо в доказательство своей хорошей репутации,— так меня теперь многие не уважают, и вы, капитан, не уважаете, если я правильно вас понял. Но, по мне, лучше это, чем лжесвидетельствовать. Вот и все. Если, на ваш взгляд, я действовал со злым умыслом, назовите меня злоумышленником.

— Вы должны подписать бумагу,— сказал незнакомец, не вняв его тираде.— Бумагу, в которой будет написано, что все ваши показания ложны. Ее передадут несчастной девушке. В следующий раз я приду к вам с этой бумагой за вашей подписью.

— Когда прикажете вас ждать, капитан? — спросил Райдергуд, на всякий случай опять становясь между ним и дверью.

— Долго ждать не придется. Не бойтесь, я не обману.

— А имя свое вы мне не назовете, капитан?

— Нет, не назову. И не собираюсь называть.

— Вы сказали «должен подписать»! Слова-то какие серьезные! — торговался Райдергуд, продолжая нерешительно топтаться между дверью и незнакомцем.— Когда человеку говорят, ты должен сделать то, другое, третье, это получается вроде приказания. Вам самому так не кажется?

Незнакомец остановился, не дойдя до двери, и посмотрел ему прямо в глаза.

— Отец! Отец! — крикнула Плезент, поднося дрожащую руку к губам.— Не спорь! Накличешь на себя еще не такую беду!

— Выслушайте меня, капитан! Выслушайте, не уходите! — залебезил мистер Райдергуд, уступая незнакомцу дорогу.— Я только вот что хочу сказать: а как же насчет награды? Вы ведь сначала не поскупились, обещали!

— Когда я ее потребую...— он не добавил «собака», но это слово ясно подразумевалось в ответе,— там будет и ваша доля.

Не сводя глаз с Райдергуда, незнакомец снова повторил вполголоса, на этот раз даже с каким-то яростным восхищением перед столь совершенным образцом человеческой низости: «Нет, каков лжец!» — и, сопроводив свой комплимент покачиванием головы, быстро вышел из лавки. Но с Плезент он попрощался приветливо.

Честный человек, который добывал хлеб в поте лица своего, стоял, точно оцепенев, до тех пор, пока его мысли не перешли к безногой рюмке и недопитой бутылке хереса. Из мыслей и рюмка и бутылка немедленно перешли к нему в руки, остатки хереса — в желудок. Покончив с этим, честный человек очнулся от оцепенения и понял, что виной всему происшедшему болтливый попугай. Не желая упускать возможности исполнить свой родительский долг, он швырнул в Плезент парой матросских башмаков. Она увернулась и заплакала, бедняжка, утираясь волосами вместо носового платка.

ГЛАВА XIII

Соло и дуэт

По улицам гулял такой ветер, что, когда незнакомец ступил из лавки в темноту и грязь гавани, его чуть не внесло обратно. Повсюду оглушительно хлопали двери, мигали, а то и вовсе гасли фонари, раскачивались вывески, вода в канавах, подхваченная вихрем, разлеталась брызгами, как дождь. Не смущаясь всем этим и даже радуясь, что из-за непогоды на улицах пусто, незнакомец пытливо оглядывался по сторонам.

— Эти места я помню,— бормотал он.— Я не был здесь с той самой ночи, да и раньше (до той ночи) не бывал, но эти места запомнились мне крепко. Куда же мы свернули, когда вышли из лавки? Вправо,— как я сейчас поворачиваю, но больше я ничего не помню. Может быть, мы шли вот по той улице? Или этим проулком?

Он попробовал и тот и другой путь, но сбился окончательно и пришел на старое место.

— Помню, из окон верхних этажей торчали шесты, на которых сушилось белье, помню приземистую харчевню в узком тупичке и как оттуда неслось пиликанье скрипки и шарканье ног по полу. Но вот проулок, где торчали шесты, вот та самая харчевня, а мне этого мало — все мерещится какая-то стена, темный дверной проем, лестница и комната.

Он зашагал в другом направлении, но память и тут не пришла ему на помощь,— слишком много попадалось по дороге стен, темных дверных проемов и лестниц. И как все, кто блуждает наугад, он кружил и кружил вокруг одного места, каждый раз возвращаясь туда, откуда начинал свои поиски.

— Так описываются в книгах побеги из тюрем,— сказал он.— Короткий путь беглецов в ночной темноте всегда оказывается нескончаемым путешествием по кругу. Видимо, в этом есть какой-то скрытый закон.

И тут незнакомец, которого недавно разглядывала мисс Плезент Райдергуд, исчез — ни волос, серых, как пакля, ни такого же цвета бакенбард. Он оставил на себе только матросскую куртку и сразу превратился в такое точное подобие бесследно пропавшего мистера Джулиуса Хэнфорда, равное которому трудно было бы сыскать во всем мире. Выбрав минуту, когда ветер загнал его в один из закоулков, где не было ни души, незнакомец сунул свои косматые волосы и бакенбарды в карман. И в ту же самую минуту он стал секретарем — секретарем мистера Боффина,— ибо Джон Роксмит превратился в такое точное подобие бесследно пропавшего мистера Джулиуса Хэнфорда, равное которому трудно было бы сыскать во всем мире.

— Все нити, ведущие к месту моей смерти, потеряны,— продолжал он.— Впрочем, так ли это важно теперь? Но раз уж я пришел сюда, не побоявшись разоблачения, почему бы мне не проделать хоть часть нашего тогдашнего пути? — Эти странные слова положили конец его поискам. Он вышел из гавани, зашагал к церкви и там остановился, глядя сквозь высокие чугунные ворота на кладбище. Он разглядел в темноте высокую колокольню, похожую на призрак, сопротивляющийся порывам ветра, надгробные памятники, белеющие точно мертвецы в саванах, и сосчитал удары колокола — пробило девять часов.

— Мало кому из смертных приходилось испытать то, что испытываю сейчас я,— сказал он.— Ненастным вечером смотреть на кладбище, сознавать, что тебе, подобно этим мертвецам, нет места среди живых, и помнить к тому же, что ты сам лежишь похороненный где-то, как они лежат здесь. Трудно свыкнуться с этой мыслью. Какой при-

зрак, расхаживая неузнанным среди людей, мог бы чувствовать себя более одиноким, более чужим, чем я!

Но это романтическая сторона дела, а есть еще другая, вполне реальная, и она полна таких сложностей, что хоть я и ломаю над ними голову изо дня в день, а придумать ничего не могу. Надо заняться этим сейчас, по дороге домой. Нечего скрывать от себя, что, как многие, вернее, как почти все люди,— я уклоняюсь от разрешения самых трудных задач, которые задает нам жизнь. Но попробую себя заставить. Не уклоняйся, Джон Гармон, не уклоняйся! Додумай все до конца.

Возвращаясь в Англию из-за границы, куда мне сообщили о полученном мною богатом наследстве,— возвращаясь в страну, с которой меня связывали только самые тяжелые чувства, я боялся отцовских денег, боялся воспоминаний об отце, не доверял навязанной мне в жены корыстной девушке, не доверял намерению отца принудить меня к такому браку, не доверял самому себе, замечая, что алчность уже начинает овладевать мною, что во мне угасает признательность к тем благородным, честным друзьям, любовь которых была для нас с сестрой единственным светлым лучом в детстве. Я возвращался растерянный, в полном смятении, опасаясь и себя и всех, с кем мне пришлось бы здесь встретиться, помня только то, что богатства моего отца приносили людям одно лишь несчастье. Теперь подожди, Джон Гармон, и продумай все как следует. Так ли это было на самом деле? Да, именно так.

На корабле третьим помощником капитана служил некто Джордж Рэдфут. Я услышал его имя впервые, примерно за неделю до нашего отплытия, когда один из клерков пароходного агентства назвал меня «мистер Рэдфут». Дело было так: я поднялся в тот день на пароход посмотреть свою каюту. На палубе клерк подошел ко мне сзади, тронул меня за плечо и со словами: «Мистер Рэдфут, взгляните-ка», показал мне какие-то бумаги. А дня через два после этого, когда наш пароход стоял еще в порту, узнал мое имя и Рэдфут, но от другого клерка, который тоже подошел к нему сзади, тронул его за плечо и сказал: «Простите, мистер Гармон...» Видимо, мы с ним были

одного роста и сложения, но на том наше сходство и заканчивалось, потому что когда нас видели вместе, разница между нами сразу становилась очевидной.

Как бы то ни было, обмен репликами по поводу этой путаницы легко послужил предлогом для знакомства, к тому же погода тогда стояла жаркая, а Джордж Рэдфут устроил меня в прохладную каюту, рядом со своей собственной; потом оказалось, что Джордж Рэдфут получил образование в Брюсселе, так же, как и я, и, так же, как и я, научился говорить по-французски, потом Джордж Рэдфут поведал мне свою историю — сколько в ней было правды и сколько вымысла, один бог ведает! — историю, похожую чем-то на мою. Я и сам служил когда-то во флоте. Таким образом, мы с ним стали беседовать откровенно, а этому способствовало еще то обстоятельство, что и он и все до единого на пароходе уже успели прознать, зачем я еду в Англию. Мало-помалу ему стали известны мои тревоги и зревшее у меня в мыслях намерение посмотреть на свою суженую и составить хоть какое-то представление о ней, прежде чем она узнает во мне Джона Гармона (а заодно и испытать миссис Боффин, подготовив ей радостный сюрприз). И вот мы составили следующий план: переодеться простыми матросами (Рэдфут брался сопровождать меня в Лондоне), подыскать жилье где-нибудь по соседству с Бэллой Уилфер, попасться ей на глаза, использовать встречу, как только представится случай, и посмотреть, что из этого выйдет. Если ничего не выйдет, я ничего не проиграю, и все ограничится только отсрочкой моего визита к Лайтвуду. Точно ли это изложено? Да, совершенно точно.

Для Рэдфута выгода тут заключалась в том, что я должен был на некоторое время исчезнуть (исчезнуть на день, на два), сразу же после высадки на берег, чтобы никто меня не узнал, не опередил и не испортил всего дела. Поэтому я сошел с парохода с маленьким чемоданом (как показали потом стюард Поттерсон и пассажир Джейкоб Киббл) и стал ждать Рэдфута в темноте у той самой церкви в гавани Лаймхауз, что сейчас у меня за спиной.

Так как в прежние годы я всегда старался обходить лондонский порт стороной и совсем не знал его, Рэдфут еще с парохода показал мне шпиль этой церкви. Теперь,

в случае нужды, я, может быть, и вспомнил бы улицы, по которым шел к ней один от Темзы, а вот как мы вдвоем с Рэдфутом добрались от церкви до лавки Райдергуда, этого я себе не представляю — не представляю, куда мы поворачивали, как петляли. Он, очевидно, всячески старался сбить меня с толку.

Но оставим эти домыслы, не надо примешивать их к фактам. Вел ли он меня прямым путем или окольным — какое это имеет теперь значение? Возьми себя в руки, Джон Гармон.

Когда мы зашли к Райдергуду и Рэдфут заговорил с этим мерзавцем якобы только о том, где нам поселиться, разве у меня были какие-нибудь подозрения на его счет? Нет! Ни малейших подозрений не было до тех самых пор, пока к этому не представилось повода. По-моему, он взял у Райдергуда какой-то пакетик с порошком, с каким-то снадобьем, которым впоследствии и одурманил меня, но все же я в этом далеко не уверен. Сегодня я мог приписать ему только давнее сообщничество с Райдергудом — приписать наверняка, без всякого риска ошибиться, так как они были явно на короткой ноге, да и слава у Райдергуда дурная, как мне теперь известно. Но одурманили меня или нет, это так и остается невыясненным. Подозрения мои основываются всего лишь на двух фактах. Первый: когда мы вышли из лавки, Рэдфут переложил из одного кармана в другой какой-то пакетик. Второй: теперь мне известно, что Райдергуд уже был однажды арестован за участие в ограблении какого-то горемыки матроса, которого предварительно чем-то одурманили.

Мы прошли от лавки не больше мили, в этом я твердо уверен, а потом помню стену, темный дверной проем, лестницу и комнату. Лил дождь, ночь была темная, хоть глаз выколи. Вспоминая все это, я и сейчас слышу, как дождевые струи хлещут по булыжной мостовой тупика. Комната выходила окнами то ли на Темзу, то ли на какой-то канал, то ли на доки; был отлив. Еще не потеряв ощущения времени, я знал, что в тот час вода в Темзе должна стоять на самом низком уровне, и в ожидании кофе подошел к окну, отдернул занавеску (темно-коричневую занавеску) и увидел, как свет фонарей отражается внизу, в оставшейся после отлива тине.

У Рэдфута была холщовая сумка с одеждой. А я ничего с собой не захватил, так как собирался купить матросское платье. «Мистер Гармон, вы же насквозь промокли! А меня спас брезентовый плащ,— как сейчас слышу эти слова! — Возьмите мою одежду, переоденьтесь. Может, она вам и завтра пригодится и не надо будет покупать новую. А пока вы переодеваетесь, я потороплю, чтобы скорее подавали горячий кофе». Я стал переодеваться, и вскоре он вернулся в сопровождении какого-то смуглого, почти черного человека в белой полотняной куртке, который поставил поднос с дымящимся кофе на стол и даже ни разу не взглянул на меня. Так ли это было, ничего не упущено? Нет, все точно, все так и было.

Теперь перейду к впечатлениям болезненным, бредовым. Эти впечатления так сильны, что им можно верить, хотя они перемежаются провалами, которые не оставили никакого следа в моей памяти и не поддаются временным измерениям.

Едва я успел выпить кофе, как Рэдфут начал расти, пухнуть, и вдруг меня точно толкнуло к нему. Мы схватились около двери. Он высвободился из моих рук, потому что я бил наугад, ничего перед собой не видя, кроме ходившей ходуном комнаты и вспыхивавших между нами языков пламени. Я замертво рухнул на пол. Меня перевернули ногой, оттащили за шиворот в угол. Я слышал чьи-то голоса. Опять меня кто-то перевернул. Я увидел человека — своего двойника, лежавшего на кровати в моей одежде. И вдруг тишины, длившейся не знаю сколько — дни, недели, месяцы, годы? — этой тишины как не бывало: в комнате началась отчаянная драка. У моего двойника отнимали мой чемодан. В свалке меня топтали ногами, через меня падали. Я слышал звуки ударов, и мне казалось, что это рубят дерево в лесу. Я не мог бы тогда назвать свое имя, не мог бы даже вспомнить, как меня зовут. Я слышал звуки ударов, и мне чудилось, будто я лежу в лесу, а рядом со мной дровосек рубит дерево топором.

Нет ли тут ошибки в чем-нибудь? Нет, все точно, если не считать того, что мне трудно избежать слово «я». Это был не я. Меня тогда не существовало.

А потом вниз, по какому-то желобу... оглушительный шум, сноп искр перед глазами, в ушах потрескивание раз-

горающегося огня, и только тогда в мозгу у меня пронеслась мысль: «Джон Гармон тонет! Джон Гармон, не сдавайся! Джон Гармон, призови бога на помощь и спасай свою жизнь!» Кажется, я кричал это во весь голос, вне себя от ужаса, и вдруг то непонятное, что давило, сковывало меня, исчезло, и я — не кто иной, как я! — забился в воде!

Река быстро несла меня, бессильного, изнемогающего от дурноты и непреодолимой сонливости. Поверх черной воды я видел огни на обоих берегах, проносившиеся так быстро, будто они спешили убежать и оставить меня в темноте на верную смерть. Отлив все еще продолжался, но где мне было понять это в те минуты! И когда я, одолев с помощью божией мощный напор воды, ухватился за одну из лодок, стоявших у причала, меня втянуло под нее и чуть живого выбросило по другую сторону.

Долго ли я пробыл в воде? Не знаю. Во всяком случае, простыть до мозга костей я успел. Но холод оказался благодетельным для меня, потому что студеный ночной воздух и дождь помогли мне прийти в чувство на каменных плитах причала. Когда я дополз до ближайшей харчевни, меня там приняли, разумеется, за пьяного, свалившегося в реку, так как я не имел понятия, где нахожусь, не мог выговорить ни слова — отрава подействовала и на язык — и принимал сегодняшнюю ночь за вчерашнюю, благо было так же темно и так же хлестал дождь. А на самом деле с тех пор прошли целые сутки.

Сколько раз ни приходилось мне высчитывать время, которое я провел в этой кофейне, каждый раз выходило, что никак не меньше двух дней. Проверю снова. Да, так и есть. Ведь именно там, лежа в постели, я решил использовать постигшую меня беду, притворившись без вести пропавшим, и таким образом испытать Беллу. Страдая робостью с тех самых пор, когда мы с моей несчастной сестрой были еще детьми, я не мог не ужасаться при мысли о том, что нас с Беллой навязали друг другу и что наш брак увековечит проклятье, тяготеющее над богатствами моего отца, так как они всегда приносили людям одно лишь зло.

И по сей день никак не могу представить, что то место, где я выбрался из воды, и тот притон, куда меня заманили,



находятся на противоположных берегах Темзы. Даже сейчас, когда я иду по направлению к дому и река остается позади, мне думается, неужели она протекает между мной и теми местами и море тоже на той стороне? Но не буду отвлекаться и перескакивать от прошлого к настоящему.

Я не смог бы привести в исполнение свой план, если бы на мне не остался непромокаемый нательный пояс с деньгами. Деньги небольшие — сорок с чем-то фунтов. Не так уж много для человека, унаследовавшего сто с чем-то тысяч! Но я был рад и сорока фунтам. Без них мне пришлось бы открыть свое инкогнито. Без них я не попал бы в Биржевую кофейню, не снял бы комнату у миссис Уилфер.

В кофейне я прожил около двух недель до того самого дня, когда увидел труп Рэдфута в полицейском участке. Под влиянием страшных галлюцинаций, возникавших в моем мозгу,— тоже одно из следствий отравления — мне казалось, что это время тянулось бог знает как долго, но на самом деле прошло дней двенадцать, не больше. С тех пор мои страдания постепенно утихли, а если возвращались, то лишь на короткий срок, и теперь, надеюсь, я от них освободился, хотя даже теперь бывают минуты, когда мне приходится делать над собой усилие и сдерживаться, прежде чем заговорить, иначе не скажешь того, что нужно сказать.

Вот я опять отвлекаюсь и не довожу мысль до конца. Но конец близок, зачем сбиваться с пути! Итак, вперед, никуда не сворачивая!

Я ежедневно просматривал газеты — не напечатают ли о моем исчезновении, но ничего такого не было. И вот, выйдя однажды вечером погулять (показываться на улицах засветло было опасно), я увидел на Уайтхолле толпу, собравшуюся у какого-то объявления. А в этом объявлении описывался я, Джон Гармон, изуродованный труп которого был обнаружен в Темзе при крайне подозрительных обстоятельствах; описывалось мое платье, перечислялись бывшие при мне бумаги, указывалось место, где меня выставили для опознания. Презрев осторожность, я, как безумный, кинулся туда, и там к галлюцинациям, особенно сильным в те дни, примешалось страшное обличье мино-

вавшей меня смерти, и я понял, что кто-то убил Рэдфута, позарившись на деньги, из-за которых он хотел покончить со мной, и что, может статься, нас обоих спустили по темному желобу в темные воды Темзы, глубокие и быстрые в часы отлива.

В тот вечер мне стоило немалых трудов заставить себя сохранить свою тайну, хотя ни подозрений, ни улик у меня не было, и я не знал ровным счетом ничего, кроме того, что убитый это не Джон Гармон, а Рэдфут. На второй день, пока я колебался, не зная, как мне быть, и на третий день, пока я все еще колебался, вся страна, видимо, решила счесть меня покойником. В результате дознания было установлено, что я покойник, правительство признало меня покойником. Стоило мне прислушаться из своей комнаты к голосам на улице, и не проходило пяти минут, как меня называли покойником.

Итак, Джон Гармон умер, Джулиус Хэнфорд бесследно исчез, и на свет появился Джон Роксмит. Разве можно было предугадать, какое он причинит зло посторонним людям! Но об этом ему рассказали со слов Лайтвуда, и он счел своим долгом исправить это зло.

Значит, все продумано до конца? Вплоть до сегодняшнего дня? Ничего не упущено? Нет, ничего. Ну, а как быть с тем, что простирается за сегодняшний день? Продумать до конца будущее труднее, чем продумать до конца прошлое, хотя задача эта займет меньше времени. Джон Гармон умер. Надо ли Джону Гармону возвращаться к жизни?

Если «да», то для чего? Если «нет», то почему?

Обсудим сначала первое. Для того, чтобы пролить свет на преступление человека, который уже недосягаем для правосудия, но мать которого, может быть, еще жива. Для того, чтобы направить светоч правосудия на мощенный булыжником тупик, лестницу, коричневую оконную занавеску и смуглого, почти черного человека. Для того, чтобы получить отцовские деньги и совершить низкий поступок — купить на них красивую девушку, которую я люблю,— да, люблю, ничего не поделаешь. Разум бессилен против этой любви. Вопреки разуму, я люблю девушку, которая скорее полюбит нищего на углу, чем меня ради меня самого. Вот какому делу послужат эти деньги, и как это под стать тем делам, которым они служили издавна!

Теперь обсудим второе — почему Джону Гармону не следует возвращаться к жизни. Потому, что он сам допустил, чтобы его верные старые друзья вступили во владение наследством. Потому, что они рады своему богатству, употребляют его на благо другим, стирают давнюю ржавчину и грязь, лежавшую на нем. Потому, что они по сути дела удочерили Беллу Уилфер и позаботятся о ее будущем. Потому, что по натуре своей Белла привязчива, сердце у Беллы не злое, и при благоприятных обстоятельствах доброе начало может развиться в ней. Потому, что ее недостатки усугубила только та роль, которую отвел ей в своем завещании мой отец, теперь же она с каждым днем становится все лучше и лучше. Потому, что брак с Джоном Гармоном — об этом я слышал из ее собственных уст — был бы жестоким издевательством, которое всегда тяготело бы над нами, издевательством, которое унизило бы и меня и мою жену в наших собственных глазах и в глазах друг друга. Потому, что, если Джон Гармон вернется к жизни и не женится на Белле, наследство перейдет в те самые руки, что владеют им теперь.

Чего мне желать? Мертвый, я убедился, что мои старые друзья сохраняют к Джону Гармону такую же любовь, верность и преданность, как и при его жизни, и творят добро из уважения к его памяти, к его имени. Мертвый, я убедился, что они не только не опорочили этого имени, перешагнув через могилу Джона Гармона в алчном стремлении к благополучию и богатству, но, подобно простодушным детям, то и дело замедляют шаги на своем новом жизненном пути и вспоминают свою былую привязанность к несчастному, запуганному ребенку. Мертвый, я услышал от девушки, которая могла бы стать женой Джона Гармона, отталкивающую своей неприглядностью истину, что Джон Гармон купил бы ее, как султан покупает рабыню, не заботясь, любит она его или нет.

Чего же мне еще желать? Если бы мертвые знали, как к ним относятся живые, кто из их сонма мог бы сказать, что он обрел на земле более бескорыстную верность? Неужели мне этого мало? Если б я вернулся тогда, эти благородные люди встретили бы меня, как родного, поплакали бы надо мной, отдали бы мне все с радостью. Но я не вернулся, и они с чистой совестью заняли мое место. Пусть

все так и останется, как есть, и для них и для Беллы. Но что же мне делать дальше? Вот что: прилагая все усилия к тому, чтобы меня не разоблачили, довольствоваться своей скромной ролью секретаря до тех пор, пока мои друзья не свыкнутся с переменой, происшедшей в их жизни, пока полчища вымогателей всех родов и обличий не найдут себе новую жертву. К тому времени моя система ведения дел, к которой я приучаю и буду день ото дня приучать их, настолько наладится, что они сами смогут управлять ею, как безотказно работающим механизмом. Я знаю: стоит мне воззвать к их щедрости, и отказа не будет. Когда наступит время, я попрошу у них ровно столько, сколько мне будет нужно, чтобы вернуться на свое прежнее поприще, и Джон Роксмит удовольствуется этой стезей. Но Джон Гармон к жизни не вернется.

Чтобы никогда, даже в самом далеком будущем не мучиться сомнениями, а вдруг Белла согласилась бы принять меня в свое сердце, если б я попросил ее стать моей женой, я спрошу ее об этом прямо, и окончательно уверюсь в том, что мне слишком хорошо известно и так. А теперь все продумано от начала и до конца, и на душе у меня стало легче.

Живой мертвец был до того погружен в разговор с самим собой, что ничего не замечал вокруг и сопротивлялся порывам ветра так же машинально, как и сворачивал с одной улицы в другую. Но, очутившись в Сити возле стоянки кэбов, он задержал шаги в раздумье — ехать ли ему прямо к себе на квартиру или в особняк мистера Боффина. Наконец выбор был сделан на том основании, что матросскую куртку, перекинутую у него сейчас через руку, лучше оставить в особняке, чем везти с собой в Холлоуэй, так как миссис Уилфер и мисс Лавиния, снедаемые любопытством, пожирали глазами каждую вещь, принадлежавшую их жильцу.

Войдя в особняк, он узнал, что мистер и миссис Боффин куда-то уехали, но мисс Уилфер дома и сидит в гостиной. Мисс Уилфер не поехала с мистером и миссис Боффин по нездоровью и вечером справлялась, у себя ли мистер Роксмит.

— Передайте мисс Уилфер мои наилучшие пожелания и скажите, что я вернулся.

В ответ мисс Уилфер тоже прислала мистеру Роксмиту свои наилучшие пожелания вместе с просьбой подняться к ней перед уходом, если это не причинит ему особого беспокойства.

Какое же тут беспокойство! И мистер Роксмит поднялся наверх.

Она была очень хорошенькая, она была очень, очень хорошенькая в тот вечер! Ах! Если б отец покойного Джона Гармона оставил наследство сыну без всяких оговорок! Если бы его сын независимо от отцовской воли узнал эту достойную любви девушку и имел бы счастье сам удостоиться ее любви!

— Бог мой! Вы нездоровы, мистер Роксмит?

— Нет, совершенно здоров. Но мне сказали, к моему огорчению, что вам самой нездоровится.

— Пустяки! У меня разболелась голова — теперь уже все прошло, а в театре такая духота, вот я и решила остаться дома. Я спросила о вашем самочувствии потому, что вы очень бледны.

— В самом деле? У меня был хлопотливый вечер.

Она сидела у камина на низком диване, рядом с которым стоял сверкающий инкрустацией чудо-столик с ее вышиванием и книжкой. Ах, что за жизнь была бы у покойного Джона Гармона, если б он имел завидное право сесть на этот диван, обнять эту тоненькую талию и спросить: «Надеюсь, ты скучала без меня, дорогая? Как ты уютно здесь устроилась, богиня нашего семейного очага!»

Но Джон Роксмит, не имеющий ничего общего с покойным Джоном Гармоном, держался на почтительном расстоянии от этого дивана. На небольшом расстоянии в смысле пространства, но огромном — в смысле отчужденности от той, что сидела перед ним.

— Мистер Роксмит,— сказала Белла, беря со столика свое вышивание и сосредоточенно разглядывая его уголок за уголком,— я все искала случая объяснить, почему я была так резка с вами во время нашего недавнего разговора. Вы не имеете права думать обо мне дурно, сэр.

Не то обиженный, не то капризный взгляд, который она метнула на него при этих словах, привел бы в восторг покойного Джона Гармона.

— Если бы вы знали, как хорошо я о вас думаю, мисс Уилфер.

— Да, правда, вы, должно быть, очень высокого мнения обо мне, мистер Роксмит, если полагаете, что, живя в роскоши, я забываю о своем родном доме!

— Кто вам сказал, что я так полагаю?

— Во всяком случае, полагали,— ответила Белла.

— Я взял на себя смелость указать вам на одно маленькое упущение, которое вы сделали — совершенно невольно, непреднамеренно. Вот только и всего.

— А разрешите вас спросить, мистер Роксмит,— сказала Белла,— почему вы взяли на себя такую смелость? Надеюсь, мой вопрос не покажется вам обидным, ведь я повторяю ваши собственные слова.

— Потому, что я питаю к вам глубокий, искренний, душевный интерес, мисс Уилфер. Потому, что мне хочется видеть вас всегда достойной самой себя. Потому, что я... позволите продолжать?

— Нет, сэр! — воскликнула Белла, вся вспыхнув.— Вы и так сказали больше, чем нужно. Я прошу прекратить этот разговор. Если в вас есть хоть капля великодушия, хоть капля чести, вы не добавите ни слова!

Глядя на это горделивое личико с опущенными глазами и на блестящие каштановые локоны, колыхавшиеся на прелестной шейке в такт взволнованному дыханию, покойный Джон Гармон, вероятно, замолчал бы надолго.

— Я хочу объясниться с вами, сэр, раз и навсегда,— продолжала Белла,— и не знаю, как к этому приступить. Я просидела здесь весь вечер с твердым намерением объясниться с вами, чувствуя, что объяснение необходимо. Дайте мне только подумать минуту.

Он все молчал, она все сидела отвернувшись и лишь изредка делала легкое движение, точно порываясь поднять голову и заговорить. И, наконец, она заговорила:

— Вам известно мое положение здесь, сэр, и вам известно мое положение дома. Я вынуждена объясняться с вами сама, так как мне некого попросить сделать это за меня. С вашей стороны невеликодушно, с вашей стороны нечестно относиться ко мне так, как вы относитесь.

— Разве моя преданность вам, мое увлечение вами говорят об отсутствии великодушия, об отсутствии честности?

— Возмутительно! — воскликнула Белла.

Такой ответ на его слова мог бы показаться покойному Джону Гармону слишком презрительным и высокомерным.

— Теперь я вынужден продолжать,— сказал секретарь,— хотя бы ради того, чтобы оправдаться и защитить самого себя. По-моему, мисс Уилфер, даже такому человеку, как я, нельзя ставить в вину честное признание в своих чувствах.

— *Честное* признание! — повторила Белла, подчеркнув первое слово.

— А разве это не так?

— Будьте добры прекратить ваши допросы,— ответила Белла, прибегнув к оскорбленному тону.— Надеюсь, сэр, вы сочтете вполне извинительным с моей стороны то, что я требую избавить меня от этого.

— Ах, мисс Уилфер, нельзя быть такой жестокой! Я переспросил только потому, что вы сами подчеркнули это слово. Хорошо, не буду настаивать на своем вопросе. Но что сказано, то сказано. Я не могу, я не хочу брать назад свое признание в глубокой преданности вам.

— Мне оно не нужно! — сказала Белла.

— Я был бы слеп и глух, если бы не приготовился заранее к такому ответу. Не казните меня, ведь моя вина несет наказание в самой себе.

— Какое наказание? — спросила Белла.

— Разве то, что мне приходится переносить сейчас, не есть наказание? Впрочем, виноват, я не хочу снова подвергать вас допросам.

— Вы подхватили неосторожно брошенное мною слово,— сказала Белла, чувствуя легкий укор совести,— чтобы выставить меня... бог знает в каком свете. Я сказала так, без всякого умысла. Если это дурно с моей стороны, прошу прощения. Но вы повторяете мои слова с умыслом, а это непростительно! Что же касается остального, то, пожалуйста, поймите, мистер Роксмит,— мы говорим обо всем этом в первый и последний раз.

— В первый и последний раз,— повторил он.

— Да! Я вас умоляю, сэр,— с жаром продолжала Белла,— перестаньте преследовать меня. Умоляю! Не пользуйтесь своим положением в этом доме для того, чтобы сделать мою жизнь здесь неприятной и тягостной.



Умоляю вас! Перестаньте навязывать мне свое внимание, да еще так подчеркнуто, что это замечаю не только я, но может заметить и миссис Боффин.

— Неужели я заслужил ваш упрек?

— Ну еще бы! — ответила Белла.— Если миссис Боффин ничего не заметила, мистер Роксмит, то не по вашей вине.

— Надеюсь, это впечатление ложное. По-моему, я не подавал к нему повода. Во всяком случае, не хотел бы подавать. Но впредь можете быть совершенно спокойны. Что было, то прошло.

— Рада это слышать,— сказала Белла.— У меня совсем другие виды на будущее, зачем же вам портить свою жизнь?

— Мне портить жизнь? — воскликнул секретарь.— Мою жизнь? — Белла подметила странный тон, которым он произнес эти слова, и не менее странную улыбку. Под ее взглядом улыбка эта исчезла.— Простите меня, мисс Уилфер,— продолжал он, глядя ей в глаза,— но у вас, несомненно, есть основания, чтобы так жестоко упрекать меня, а я их не знаю. Отсутствие великодушия и честности? В чем же оно сказывается?

— Я не желаю отвечать на такие вопросы,— проговорила Белла, надменно опуская глаза.

— Я не стал бы задавать их, но вы сами вынуждаете меня к этому. Пожалейте меня, ответьте... Ответьте, хотя бы из чувства справедливости.

— Ах, сэр! — после минутного колебания сказала Белла, снова глядя на него.— Разве это великодушно и честно — использовать против меня власть, которую вам дает благосклонность мистера и миссис Боффин и ваше уменье вести их дела!

— Использовать власть против вас?

— Разве это великодушно и честно — клонить все к тому, чтобы подкрепить их одобрением свое искательство, которое, как вы уже знаете, мне не нравится и которое я решительно отвергаю!

Покойный Джон Гармон мог бы многое вытерпеть, но такое подозрение ранило бы его в самое сердце.

— Я не знаю, так ли это на самом деле, надеюсь, что нет,— но разве было великодушно и честно поступать на

должность секретаря, предвидя заранее, что я буду жить здесь и невыгодой моего положения можно будет воспользоваться!

— Воспользоваться низко, жестоко,— сказал секретарь.

— Да,— подтвердила Белла.

Минуту секретарь молчал, потом заговорил снова:

— Вы ошибаетесь, мисс Уилфер. Если б вы знали, как вы ошибаетесь! Впрочем, вашей вины тут нет. Я, может быть, и заслуживаю лучшего отношения к себе, но почему,— вам этого не дано знать.

— А вам, сэр,— возразила ему Белла, снова преисполняясь негодования,— вам дано знать, почему и как я очутилась здесь. Говорят, будто вы знаете чуть ли не наизусть каждую строку и букву этого завещания и вообще все дела мистера Боффина. Так неужели же вам недостаточно того, что меня оставили кому-то в наследство точно лошадь, собаку или птицу! Неужели вы тоже решили распоряжаться мною и строите какие-то планы на мой счет, лишь только я перестала быть притчей во языцех и посмешищем для всего Лондона! Неужели мне суждено на веки вечные переходить из одних рук в другие!

— Вы не правы, мисс Уилфер,— сказал секретарь.— Если бы вы знали, как вы не правы!

— Я с радостью убедилась бы в своей неправоте,— ответила Белла.

— Вряд ли это когда-нибудь случится. Прощайте. Я, разумеется, постараюсь, чтобы мистер и миссис Боффин ничего не узнали о нашем объяснении. С тем, в чем вы меня упрекаете, покончено навсегда, можете быть уверены в этом.

— Тогда я рада, что высказалась, мистер Роксмит. Это было трудно, мучительно трудно, но это следовало сделать. Если я вас обидела, простите меня. Я неопытна в жизненных делах, немного избалована, иной раз бываю взбалмошна, но я совсем не такая дурная, как кажется некоторым, в том числе и вам.

Секретарь вышел из гостиной, после того как Белла, с присущим ей своенравием и непоследовательностью, снизошла до такого признания. Оставшись одна, она откинулась на диванные подушки и воскликнула:

— Кто бы мог подозревать, что в обворожительной женщине сидит такой дракон! — Потом поднялась, бросила на себя взгляд в зеркало и сказала, обращаясь к своему отражению: — Ну, чего же ты надулась, дурочка! — потом быстро прошлась по комнате и вздохнула: — Ах, если бы папа был здесь, мы бы с ним поговорили о браках по расчету! Но, слава богу, его нет, а то я растрепала бы ему волосы, бедняжке! — А потом она откинула в сторону свое вышивание, швырнула следом за ним книгу, села на диван, запела какую-то песенку, сфальшивила на первых же нотах и окончательно не сладила с ней.

А Джон Роксмит? Что делал в это время Джон Роксмит?

Он спустился в свой кабинет и там закопал Джона Гармона еще глубже. Потом взял шляпу, вышел из особняка и по дороге в Холлоуэй, или не в Холлоуэй — ему было все равно, куда идти,— набросал горы земли на могилу Джона Гармона. Эта прогулка закончилась только на рассвете. И он так трудился всю ночь, засыпая землей могилу Джона Гармона, что к утру над Джоном Гармоном вырос целый Монблан. Но могильщик Джон Роксмит все еще продолжал подбрасывать и подбрасывать землю, облегчая себе работу погребальной песнью, а слова у нее были такие: «Завали его, придави его так, чтобы он не встал!»

ГЛАВА XIV

Непоколебимое решение

То, что всю ночь напролет Роксмит заваливал землей могилу Джона Гармона, не способствовало крепкому сну, но утром могильщик все-таки задремал ненадолго и поднялся, окончательно утвердившись в своем решении. Что было, то прошло, призрак не потревожит покоя мистера и миссис Боффин; невидимый и безгласный, этот призрак помедлит еще немного около жизни, которую он оставил, а потом навсегда покинет те пределы, где ему нет места.

Секретарь Роксмит снова продумал все с начала и до конца. С ним случилось то, что случается со многими

людьми, если они не учитывают заранее совокупной силы всех обстоятельств, влияющих на иные жизненные положения. Когда недоверчивость — след тяжелого детства и того пагубного, только пагубного влияния, которое отцовские деньги и сам отец распространяли на всех, кто так или иначе соприкасался с ними,— натолкнула его на мысль прибегнуть к обману, это было задумано как нечто совершенно безобидное, это было рассчитано на несколько часов или на несколько дней, это затрагивало только девушку, которую ему навязала отцовская прихоть и которой он сам был навязан отцовской прихотью, и, наконец, это было задумано из честных побуждений, ради ее же блага. Если б он увидел, что брак с ним может сделать эту девушку несчастной (потому ли, что она отдала сердце другому или по каким-нибудь иным причинам), ему осталось бы только сказать самому себе: «Чего же ожидать от этих роковых денег, кроме зла! Пусть лучше они достанутся тем, кто защищал и пригревал своей дружбой меня и мою сестру!» Когда расставленная ему ловушка так далеко продвинула его первоначальный замысел, что на всех лондонских стенах появились полицейские объявления о смерти Джона Гармона, он принял нежданную помощь судьбы, не подумав о том, насколько это укрепит мистера и миссис Боффин в положении наследников. Когда же он увидел и узнал их заново и со своей выгодной для наблюдения позиции не обнаружил на их совести ни пятнышка, перед ним встал вопрос: «Неужели мне надо возвращаться к жизни только для того, чтобы обездолить этих людей?» Какое благо можно было противопоставить столь тяжкому испытанию? Он слышал из уст самой Беллы — в тот вечер, когда пришел к ним снимать квартиру и стоял за дверью,— что она вышла бы за него замуж лишь по расчету. С тех пор он под видом секретаря Роксмита пытался пробудить в ней чувство к себе, и она не только отвергла его попытки, но и пришла в негодование. Купить Беллу в жены — позор; наказывать ее — низость, ему ли идти на это? Но, вернувшись к жизни и приняв отцовское условие, он свершит первое, а вернувшись к жизни и отвергнув эти условия, свершит второе.

Еще одно последствие, которое никак нельзя было предвидеть: в его предполагаемом убийстве запутали ни в

чем не повинного человека. Надо получить от доносчика отказ от его прежних показаний, загладить причиненное зло и восстановить истину. Но ведь не задумай он этого обмана, невинному человеку не сделали бы зла. Значит, все те передряги и огорчения, которых ему стоит его обман, следует принять мужественно, как неизбежность, и не жаловаться.

Таковы были утренние раздумья Джона Роксмита, и за это утро гора, выросшая ночью над могилой Джона Гармона, поднялась еще выше.

Выйдя из дому раньше обычного, он встретил у калитки херувима. Им оказалось по дороге, и они отправились вместе.

Перемену в наружности херувима нельзя было не заметить. Сам он стеснялся своего нарядного вида и счел нужным скромно сообщить:

— Это все подарки моей дочери Беллы, мистер Роксмит.

Его слова приятно поразили секретаря, потому что он помнил о пятидесяти фунтах и потому что он все еще любил Беллу. Нечего и говорить, это было проявление слабости с его стороны,— некоторые авторитеты всегда считают такие чувства проявлением слабости,— но он любил Беллу.

— Не знаю, мистер Роксмит, приходилось ли вам читать книги, где описываются путешествия по Африке? — спросил Р. У.

— Кое-что читал.

— Помните? Король Георг, или король Мальчик с пальчик, или король Самбо, или Билл, или Бык, или Ром, или Хлам? Какую кличку матросы ни придумают, под такой эти короли там и ходят.

— Где — там?

— Да везде. В этой самой Африке. Их там повсюду можно встретить, потому что черные короли товар дешевый и...— заключил Р. У. изменившимся тоном,— и, по-моему, дрянной.

— Совершенно с вами согласен, мистер Уилфер. Но вы хотели сказать...

— Я хотел сказать, что такие короли большей частью щеголяют в одном лондонском цилиндре, или в одних ман-

честерских подтяжках, или при одной эполете, а то напялят мундир ногами в рукава или сотворят еще что-нибудь столь же несуразное.

— Да, бывает,— подтвердил секретарь.

— Я шепну вам по секрету, мистер Роксмит,— продолжал повеселевший херувим,— что, когда все мои дети жили при мне и всех их приходилось кормить, поить, я до чрезвычайности напоминал африканского короля. Вы, человек холостой, даже не подозреваете, каких ухищрений мне стоило, чтобы иметь на себе больше одной приличной вещи сразу!

— Охотно вам верю, мистер Уилфер.

— А говорю я об этом только для того,— в порыве чувств заключил Р. У.,— чтобы вы знали, какая у меня милая, нежная и заботливая дочка. Если она у нас и была избалована, так самую малость, и теперь я не ставлю ей этого в вину. Нет, нет! Ни под каким видом! А какая моя Белла красавица! Надеюсь, вы со мной согласитесь, мистер Роксмит, что Белла у меня красавица?

— Разумеется, соглашусь. С этим кто угодно согласится.

— Вот, вот! — сказал херувим.— Да тут и сомневаться нечего. А какая ей выпала удача в жизни, мистер Роксмит! Какие перед моей Беллой открываются виды на будущее!

— Лучших друзей, чем мистер и миссис Боффин, мисс Уилфер трудно было бы найти.

— Ни за что не найти! — от всей души воскликнул херувим.— И знаете, я начинаю подумывать, что все к лучшему. Если бы мистер Джон Гармон был жив...

— Он умер, и слава богу! — отрезал секретарь.

— Нет, этого я не говорю, это уж слишком! — сказал херувим, как бы возражая против такого решительного и безжалостного заявления.— Но он мог бы не приглянуться Белле, а Белла — ему. Да мало ли что могло быть! А теперь, я надеюсь, она сама найдет себе избранника.

— И, может быть... простите, что я об этом спрашиваю, но, поскольку вы оказываете мне такое доверие... может быть, у нее уже есть избранник? — с запинкой проговорил секретарь.

— Нет, что вы! — ответил Р. У.

— Бывает так,— осторожно заметил секретарь,— иная

девушка найдет своего избранника, а отцу об этом не скажет.

— Нет, у нас так быть не может, мистер Роксмит. Между мной и Беллой по всем правилам заключен союз и договор о взаимном доверии. Мы утвердили его совсем недавно. Он вошел в силу вот с этих... с этих пор,— херувим легонько похлопал себя по лацканам пиджака и по карманам.— Нет, нет, она еще никого не нашла. Правда, Джордж Самсон... это было в те дни, когда мистера Джона Гармона...

— Которому лучше бы не родиться на свет! — нахмурившись, проговорил секретарь.

Р. У. бросил на него недоуменный взгляд, удивляясь, с чего это он так озлобился на несчастного покойника, и продолжал:

— В те дни, когда мистера Джона Гармона разыскивали, Джордж Самсон действительно увивался вокруг Беллы, и Белла позволяла ему увиваться. Но этому и тогда никто не придавал особого значения, а теперь и подавно. Ведь Белла, мистер Роксмит,— девушка с большими запросами, я почти наверно могу предсказать, что она выйдет за какого-нибудь богача. И уж на сей раз перед ней предстанет и человек и его состояние, так что выбор будет сделан не вслепую. Мне сюда. Очень жаль с вами расставаться. Всего хорошего, сэр!

Секретарь отправился своим путем, не очень-то ободренный этой беседой, и, придя в особняк Боффинов, застал там поджидающую его Бетти Хигден.

— Не сочтите это за дерзость, сэр, но нельзя ли мне поговорить с вами хоть минутку,— начала Бетти.— Я буду вам очень признательна.

— Хоть целый час,— ответил секретарь, провел ее в свой кабинет и усадил в кресло.

— Я, сэр, насчет Хлюпа,— сказала Бетти,— и нарочно пришла одна. Дай, думаю, встану, пока он спит, и уйду. Мне не хочется, чтобы Хлюп знал, о чем будет речь.

— Откуда только у вас силы берутся! — воскликнул секретарь.— Вы будто мне ровесница!

Бетти Хигден печально покачала головой.

— Для своих лет, сэр, я еще крепкая, но молодость моя, благодарение богу, позади.

— И вы благодарите бога за это?

— Да, сэр. Ведь если б я была молодая, вся моя жизнь началась бы сначала, и до конца оставалось бы еще, ох, сколько! Но зачем толковать обо мне, старухе! Я пришла насчет Хлюпа.

— А что с ним, Бетти?

— Дело такое, сэр: придумал он, что сможет принять благодеяние вашей доброй хозяйки и вашего доброго хозяина и работать у меня тоже, и никакими силами этого у него из головы не выбьешь. Да разве он сможет так? Волей-неволей чем-нибудь надо поступиться — или надеждой на хороший заработок, или мною. А меня он ни за что не хочет бросать.

— Его надо уважать за такое решение,— сказал секретарь.

— Уважать, сэр? Да я, пожалуй, тоже так считаю, но потакать ему в этом нельзя. Вот я и надумала: если он не согласен мною поступиться, так я сама им поступлюсь.

— Как же это, Бетти?

— Убегу от него.

Вглядевшись в полное непоколебимого мужества лицо старухи, в ее ясные глаза, пораженный секретарь повторил:

— Убежите?

— Да, сэр,— ответила Бетти, кивнув головой. И в этом кивке, в твердо сжатых губах была такая решимость, в силе которой сомневаться не приходилось.

— Ну, полно, полно! — запротестовал секретарь.— Это надо еще обдумать. Спешить некуда, попробуем сначала разобраться во всем как следует, а потом решим, что делать.

— А вы рассудите, голубчик,— сказала Бетти.— Не сердитесь на меня, но ведь по годам я вам в прабабушки гожусь. Вы, голубчик, рассудите сами. Ремесло у меня тяжелое, не прибыльное, и если б не Хлюп, давно бы я бросила работу. Но она кормила нас с ним. Теперь, когда я осталась одна, когда даже мой Джонни и тот ушел,— лучше мне быть на ногах и уставать побольше, чем сидеть все время у очага да складывать белье. А сказать вам почему? Потому, что становлюсь я как мертвая, забытье находит от такой жизни, и начинает мне вдруг казаться, будто на руках у меня то Джонни, то его мать — моя

внучка, то моя дочь... или вдруг покажется, будто я сама, ребенком, лежу на руках у матери. И тогда все во мне цепенеет — и мысли и чувства, вскочишь с места, и так страшно становится: неужто, думаю, ты не лучше тех нищих стариков и старух, которых забирают в работные дома? Вам, верно, приходилось видеть, как они бродят по улицам, когда их выпускают погреться на солнышке,— испуганные, жалкие. Я в молодые годы была проворная, не любила сидеть без дела. Так я и вашей хозяйке похвасталась, как только глаза мои увидели ее доброе лицо. Я и теперь могу ходить по двадцать миль. На ногах-то лучше, чем сидеть дома и пропадать с тоски. И вязальщица я хорошая, навяжу всего побольше и буду торговать. Если ваша хозяйка и ваш хозяин дадут мне взаймы шиллингов двадцать, на такие деньги можно целую корзину товара справить. Буду ходить с ней по разным местам, похожу, похожу,— притомлюсь, и перестанет у меня все холодеть внутри. И на кусок хлеба себе заработаю. Что же еще надо старухе?

— Так вот как вы задумали уйти из дому! — сказал секретарь.

— Лучше-то не придумаешь! Голубчик! Лучше ничего не придумаешь! Я ведь знаю, и вы тоже знаете, что ваша хозяйка и ваш хозяин всем бы меня обеспечили, если б мы такое между собой допустили! Королевой бы прожила остаток дней! Но мы такого между собой не допустим! Ни я, ни близкие мои сроду чужими щедротами не жили. И если бы меня теперь склонили на это, я предала бы и самое себя, и детей своих покойных, и внуков!

— Может случиться так, что это будет вполне извинительно и неизбежно... в конце концов,— осторожно намекнул секретарь, сделав легкое ударение на последних словах.

— А я надеюсь, никогда этого не будет! И не потому, что гордость во мне говорит, нет! — просто сказала старуха.— Я не могу против самой себя идти, я хочу своими силами продержаться до последнего своего часа, вот и все.

— А уж Хлюп,— добавил секретарь ей в утешение,— Хлюп только и будет о том мечтать, как бы ему поскорее выйти в люди и стать для вас тем, чем вы для него были.

— Уж на этот счет будьте спокойны, сэр! — радостно воскликнула Бетти.— Только пусть поторапливается, потому что годы у меня немалые. Но пока что я крепкая, и ни дождь, ни холод, ни дальние дороги мне не страшны. Уж вы будьте так любезны, поговорите с вашей хозяйкой и с вашим хозяином, скажите им, о чем я прошу их и зачем мне это нужно.

Секретарь понял, что спорить с этой героиней бесполезно и, придя к миссис Боффин, посоветовал ей не препятствовать решению Бетти Хигден,— хотя бы первое время.

— Я знаю, вам было бы гораздо приятнее взять на себя заботы о ней,— добавил он,— но, по-моему, долг велит оказать уважение независимому человеческому духу.

Миссис Боффин не устояла перед таким доводом. Они с мужем тоже были когда-то тружениками и, живя среди мусорных насыпей, сберегли в чистоте свою бесхитростную совесть и честь. И если у них был какой-то долг по отношению к Бетти Хигден, этот долг им надлежало выполнить.

— Бетти! — сказала миссис Боффин, войдя вместе с Джоном Роксмитом в кабинет и словно приласкав старуху взглядом.— Бетти, я все понимаю, но зачем же убегать из дому!

— Хлюпу так будет легче,— ответила миссис Хигден, покачав головой.— А может, мне самой легче. Объясняйте как хотите, дело ваше.

— Когда же ты думаешь уходить?

— Да теперь же,— последовал ясный и прямой ответ.— Сегодня, голубушка моя, или завтра. Слава богу, мне не привыкать стать! Я исходила все здешние места, когда никакой другой работы, кроме как на огородах и в хмельниках, не было.

— Если я даже отпущу тебя, Бетти... Мистер Роксмит считает, что нельзя не отпустить...

Бетти низко присела перед ним.

— ...мы не потеряем тебя из виду. Мы не хотим совсем расставаться с тобой, мы хотим все знать о тебе.

— Хорошо, голубушка моя, только писем вы от меня не ждите. Наш брат и в молодые годы не больно горазд писать. Но ведь я буду приходить в город. Не бойтесь! Не

упущу случая поглядеть на ваше доброе лицо и сил набраться. А кроме того,— с уверенностью заключила Бетти,— ведь мне придется выплачивать мой долг вам, значит я обязательно буду вас навещать.

— Что же, так тому и быть? — все еще колеблясь, спросила миссис Боффин секретаря.

— По-моему, да.

Снова посовещались и, наконец, решили, что так тому и быть, и миссис Боффин позвала Беллу составить список вещей, которые потребуются Бетти на ее новом поприще.

— Ты не бойся за меня, голубушка,— сказала эта стойкая душа, взглянув на Беллу.— Вот пристроюсь я со своей корзиной на каком-нибудь сельском рынке, буду там сидеть-посиживать и наторгую не меньше любой фермерши.

Секретарь воспользовался случаем, чтобы выяснить один практический вопрос, а именно: к чему Хлюп выказывает способности?

— Из него вышел бы хороший столяр,— ответила миссис Хигден,— если б нашлись деньги на ученье.— Она помнит, как Хлюп брал инструменты у соседей, чтобы починить каток или сломанный стул, и так ловко ими орудовал, просто любо-дорого было глядеть! Игрушки питомцам мастерил из всякого хлама, чуть не каждый день! А один раз в переулке у них собралось человек десять — полюбоваться, как он починил шарманку у итальянца с обезьянкой.

— Вот и хорошо! — сказал секретарь.— Значит, его нетрудно будет пристроить.

Так как теперь над могилой Джона Гармона поднимались высокие горы, секретарь решил поскорее покончить со всеми его делами и разделаться с ним навсегда. Он подготовил пространную бумагу на подпись плуту Райдергуду (не сомневаясь, что тот скрепит ее своим именем после еще одного и на сей раз более короткого вечернего визита к нему) и потом задумался — кому же вручить эту бумагу? Сыну или дочери Хэксема? Решено без задержки — дочери. Но от встречи с дочерью Хэксема лучше воздержаться — осторожность никогда не помешает! — потому что сын Хэксема видел Джулиуса Хэнфорда, а когда сестра расскажет ему о полученной бумаге, это разбудит таящиеся у них подозрения, что в свою очередь может при-

вести к нежелательным последствиям. «Чего доброго,— мысленно проговорил секретарь,— меня еще схватят за участие в убиении собственной персоны!» Значит, бумагу надо послать дочери по почте. Плезент Райдергуд взялась узнать, где она живет, и бумага будет послана ей в запечатанном конверте без единого сопроводительного слова. До сих пор все ясно.

Он знает о дочери Хэксема только со слов миссис Боффин, передавшей ему рассказы мистера Лайтвуда, который, по-видимому, славится как рассказчик и взял патент на эту историю. История действительно интересная, и любопытно было бы узнать ее дальнейшее развитие — например, получит ли дочь Хэксема оправдательный документ и останется ли довольна им. Но для того, чтобы выяснить это, надо воспользоваться каким-нибудь другим источником, помимо Лайтвуда. Лайтвуд тоже видел Джулиуса Хэнфорда, Лайтвуд разыскивал Джулиуса Хэнфорда через газеты, и он, секретарь, всячески избегал этого Лайтвуда. «Но с этим Лайтвудом случай может столкнуть меня в любой день недели, в любой час дня».

Теперь надо подумать, как бы отыскать другой источник. Сын Хэксема готовится стать учителем, и кто-то руководит его занятиями. Секретарь запомнил это, потому что в рассказах Лайтвуда о семье Хэксема ему больше всего понравилось то, как сестра устроила судьбу брата. Хлюпа надо подучить грамоте. Если он, секретарь, наймет ему того самого учителя, новый источник будет открыт. Дальше потребовалось справиться, знает ли миссис Боффин его имя. Нет, зато она знает, где находится школа. Больше ничего и не надо. Секретарь тут же написал директору этой школы, и вместо ответа Брэдли Хэдстон явился к нему в тот же вечер самолично.

Секретарь рассказал учителю, что от него требуется: давать у себя на дому уроки юноше, которого мистер и миссис Боффин хотят вывести на дорогу. Учитель согласился взять такого ученика. Секретарь спросил, каковы его условия? Учитель изложил их. Итак, с этим делом покончено.

— Разрешите узнать, сэр,— сказал Брэдли Хэдстон,— кому я обязан рекомендацией?

— Да будет вам известно, что я здесь лицо второстепенное — служу секретарем у мистера Боффина. Мистер

Боффин тот самый джентльмен, который унаследовал состояние... вы, вероятно, слышали об этом... состояние Гармона.

— Мистер Гармон,— сказал Брэдли (и как он удивился бы, узнав, с кем разговаривает!),— был убит, и труп его нашли в Темзе.

— Был убит, и труп его нашли в Темзе.

— Так это...

— Нет,— секретарь не дал ему докончить и улыбнулся,— рекомендация не его. Мистер Боффин слышал о вас от некоего мистера Лайтвуда. Вы, кажется, знакомы с мистером Лайтвудом или слышали о нем?

— К сожалению, слышал, сэр. Я не знаком с мистером Лайтвудом, и не горюю об этом. Ничего дурного о самом мистере Лайтвуде я сказать не могу, но некоторые его друзья мне отвратительны. Вернее, один его друг. Близкий друг.

Даже теперь, спустя долгое время, он еле выговорил эти слова,— такую ярость (сдержать которую ему стоило мучительных трудов) пробуждало в нем воспоминание о том, как небрежно и презрительно держался с ним Юджин Рэйберн.

Секретарь понял, что разбередил больное место, и хотел переменить тему разговора, но Брэдли не так-то легко было отвлечь, он упрямо продолжал свое:

— Хоть этот человек и отвратителен мне, я все же скажу вам, как его зовут. Этого человека зовут Юджин Рэйберн.

Секретарь помнил Юджина Рэйберна. В его болезненных впечатлениях, связанных с той ночью, когда он преодолевал в себе действие отравы, образ Юджина виднелся точно в тумане, но все же он запомнил его имя, и его голос, и как Юджин вместе со всеми осматривал труп Хэксема, и где Юджин стоял, и что он говорил.

— А скажите, мистер Хэдстон,— спросил секретарь, снова пытаясь перевести разговор на другое,— как зовут сестру Хэксема?

— Ее зовут Лиззи,— ответил учитель, и лицо его передернулось.

— Говорят, она незаурядная девушка — это правда?

— Да. Во всяком случае, настолько незаурядная, что куда до нее мистеру Юджину Рэйберну! Впрочем, он и с любым заурядным человеком не выдержит сравнения. На-

деюсь, сэр, вас не обидит, если я спрошу, почему вы ставите эти два имени рядом?

— Да так получилось,— ответил секретарь.— Я заметил, что Юджин Рэйберн — тема для вас неприятная, и попытался заговорить о другом, но, кажется, невпопад.

— А вы знаете мистера Рэйберна, сэр?

— Нет.

— Следовательно, нельзя предполагать, что вы поставили эти два имени рядом, основываясь на каких-либо его намеках?

— Разумеется, нет!

— Я осмелился спросить об этом,— сказал Брэдли, глядя себе под ноги,— потому что такой пустой, хвастливый и наглый человек способен на все. Я... я надеюсь, вы не истолкуете меня превратно, сэр. Я... я весьма заинтересован в Чарльзе Хэксеме и его сестре, и все, что их касается, вызывает во мне сильные чувства. Очень сильные чувства.— Дрожащей рукой Брэдли вынул из кармана носовой платок и утер лоб.

Взглянув ему в лицо, секретарь подумал, что перед ним действительно забил источник и что источник этот, сверх всяких ожиданий, оказался мутным, глубоким, бурным и трудным для разведок. А Брэдли, еще не справившись со своим волнением, вдруг ответил ему вызывающим взглядом. Он точно спрашивал его: «Что вы такого во мне увидели?»

— Чарльз Хэксем — вот кто, собственно, послужил вам рекомендацией,— сказал секретарь, как ни в чем не бывало возвращаясь к первоначальному предмету их разговора.— Мистер и миссис Боффин слышали от мистера Лайтвуда, что этот юноша ваш ученик. Я же расспрашиваю о нем и о его сестре не по долгу службы и не от лица мистера Боффина, а сам по себе, в своих собственных интересах. Почему тут затронуты мои интересы, объяснять не стоит. Вы знаете, как был обнаружен труп мистера Гармона и какое касательство имел к этому их отец — Старик Хэксем?

— Сэр,— ответил Брэдли, так и не успокоившись,— все обстоятельства этого дела известны мне досконально.

— Тогда скажите, мистер Хэдстон, приходится ли сестре Хэксема страдать из-за нелепого — вернее, ни на чем

не основанного обвинения, которое сначала возвели на ее отца, но затем в основном сняли?

— Нет, сэр,— чуть ли не с гневом отрезал Брэдли.

— Рад это слышать.

— За сестрой Хэксема...— Брэдли раздельно выговаривал каждое слово, точно читая по книге,— ...нет ничего такого, что не позволило бы поставить ее рядом с собой человеку с безукоризненной репутацией, человеку, собственными силами пробившему себе дорогу в жизни. Заметьте! Я говорю «поставить ее рядом с собой», а не «поднять до себя». Ей не приходится и не придется терпеть позора, если только она сама не навлечет его на свою голову. А раз человек с безукоризненной репутацией считает возможным смотреть на нее как на равную и раз он твердо убежден, что ее не в чем упрекнуть, по-моему этого вполне достаточно.

— И такой человек есть? — спросил секретарь.

Брэдли Хэдстон сдвинул брови, выпятил свой массивный подбородок и, уставившись себе под ноги, проговорил с решительностью, казалось бы и неуместной в данном случае:

— И такой человек есть!

У секретаря не было больше причин и поводов продолжать эту беседу, и на том она кончилась. Через три часа лохматый парик цвета пакли снова нырнул в ссудную лавку, и в тот же вечер отказ Плута Райдергуда от прежних показаний лежал в почтовой конторе, запечатапный в конверт, на котором был написан новый адрес Лиззи Хэксем.

Все эти дела так поглотили Джона Роксмита, что он увиделся с Беллой только на следующий день. По молчаливому уговору они старались держаться подальше друг от друга, но так, чтобы мистер и миссис Боффин не заметили перемены в их отношениях. Проводы Бетти Хигден только способствовали этому. Белла с охотой помогала ей укладываться, остальные тоже были заняты ее сборами, и им было не до Беллы с Роксмитом.

— Миссис Хигден,— сказал Роксмит, когда все они столпились около Бетти,— все, кроме Беллы, которая, стоя на коленях перед стулом, вместе с ней складывала вещи в корзину.— Вам надо будет иметь при себе хоть письмо

с вашим адресом. Я напишу там от имени мистера и миссис Боффин, что они ваши друзья,— слово «покровители» им, пожалуй, не понравится.

— Да, да, да! — воскликнул мистер Боффин.— Нельзя ли без покровителей! Все что угодно, а от этого увольте!

— Этого добра и без нас хватает, правда, Нодди? — сказала миссис Боффин.

— Правда, старушка,— подтвердил Золотой Мусорщик.— Чего другого, а этого хватает.

— А ведь некоторым людям нравится, когда у них есть покровители? — спросила Белла, поднимая на него глаза.

— Только не мне! А кому нравится, пусть поразмыслят над этим как следует,— ответил мистер Боффин.— Покровители и покровительницы, вице-покровители и вице-покровительницы, усопшие покровители и усопшие покровительницы, экс-вице-покровители и экс-вице-покровительницы! Как прикажете понимать все эти словеса? А ведь ими полны те толстые книги, которыми разные благотворительные общества завалили Роксмита! Если мистер Том Ноукс пожертвовал пять шиллингов, вот вам и покровитель, и если миссис Джек Стайлз пожертвовала пять шиллингов, вот вам и покровительница! Что за чепуха такая! Как это назвать? Бесстыдство — другого названия не придумаешь!

— А ты не кипятись, Нодди,— остановила его миссис Боффин.

— Не кипятись! — воскликнул он.— Да тут взорваться недолго! Куда ни сунешься, везде натыкаешься на покровителей! А я не хочу, чтобы мне покровительствовали. Если я покупаю билет на музыку, на цветочную выставку или на какое-нибудь другое увеселение, и покупаю за большие деньги, при чем тут всякие покровители и покровительницы, ведь не они за меня платили! Если кто делает доброе дело, пусть только ради добра и старается. А если дело дурное, его никакие покровители с покровительницами не поправят. Опять же, начнут строить какое-нибудь новое заведение и, глядишь, про все забыли — и для кого оно строится и как оно строится,— самое важное тут покровители и покровительницы. Хоть бы кто сказал мне, неужто в других странах покровители с покровительни-

цами тоже такую силу взяли, как в нашей? А уж как этим покровителям и покровительницам самих себя не совестно, просто не понимаю! Пилюли это, что ли, или средство для ращения волос, или снадобье для укрепления нервов, что о них трубят на всех перекрестках!

Облегчив себе душу этим монологом, мистер Боффин, по своему обыкновению, рысцой пробежался по комнате и вернулся на прежнее место.

— А что до письма, Роксмит,— сказал он,— так вы это правильно. Дайте ей такое письмо, заставьте ее взять такое письмо, суньте ей такое письмо в карман силой! Она может заболеть. Ведь вы на самом деле можете заболеть, миссис Хигден! Не упрямьтесь, не спорьте со мной! Можете заболеть, можете!

Старуха рассмеялась и сказала, что с благодарностью возьмет письмо.

— Вот и хорошо! — воскликнул мистер Боффин.— Вот и умница! Только благодарить надо не нас — мы сами до этого не додумались, благодарите мистера Роксмита.

Письмо написали, прочли его вслух и отдали ей.

— Ну, как? — спросил мистер Боффин.— Не жалеете?

— Что беру письмо? Нет, сэр, оно складно написано.

— Да не о письме речь, а о том, что вы задумали! — сказал мистер Боффин.— Хватит у вас сил на это?

— Сил у меня только прибавится, сэр, и цепенеть больше не буду. А другого выхода нет.

— Напрасно вы так говорите,— стоял на своем мистер Боффин.— Есть и другой выход. Например, в «Приюте» было бы не худо поселить домоправительницу. Может, вы посмотрите наш «Приют», а заодно познакомитесь с отставным литератором Веггом, который там живет? У него деревянная нога.

Преодолев даже такой соблазн, старая Бетти закуталась в шаль и надела свой черный капор.

— Все же я вас ни за что бы не отпустил,— сказал мистер Боффин,— а если отпускаю, так только ради Хлюпа. Вот увидите, оглянуться не успеем, как он обучится ремеслу и человеком станет. Бетти, что это у вас? Неужто кукла?

Это был гвардеец, который стоял на часах у кроватки Джонни. Осиротелая старуха показала игрушку и снова

прикрыла ее шалью. Потом она простилась с миссис Боффин, с мистером Боффином, с Роксмитом и напоследок обвила свои морщинистые руки вокруг стройной юной шейки Беллы и повторила слова Джонни: «Поцелуй касивую леди!»

Секретарь смотрел с порога на юное личико «касивой леди» в кольце старческих рук и продолжал смотреть на «касивую леди», когда она осталась одна, а отважная Бетти вышла на улицу и, устремив прямо перед собой свой ясный, твердый взгляд, отправилась в путь, спасаясь от душевного оцепененья и от нищеты.

ГЛАВА XV

Вот как обстоит дело

Брэдли Хэдстон не переставал думать о следующей встрече с Лиззи Хэксем. Просить о ней его заставило чувство, близкое к безнадежности, и с тех пор оно не давало ему покоя. И вот, вскоре после разговора с секретарем, под вечер серого осеннего дня Брэдли и Чарли Хэксем вышли из дому, что не укрылось от глаз мисс Пичер, и отправились на это безнадежное свидание.

— А кукольная швея не удостаивает своей благосклонностью ни меня, ни тебя, Хэксем,— сказал Брэдли.

— Противная горбунья! Да к тому же дерзкая, мистер Хэдстон! Я боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку и помешает нам — с нее станет! Решил, лучше предложу вам пойти в Сити сегодня вечером и встретить сестру на полпути.

— Так я и думал,— сказал Брэдли, натягивая перчатки на свои дрожащие от волнения руки.— Так я и думал.

— Только моя сестрица с ее нелепыми фантазиями и могла отыскать себе такую чудную товарку,— продолжал Чарли.— Ей, видите ли, надо жертвовать собой ради других. Она сама мне так сказала в тот день, когда мы с вами были у нее.

— Почему же она должна жертвовать собой ради какой-то кукольной швеи? — спросил Брэдли.

— А-а! — воскликнул мальчик, весь вспыхнув.— Обычные романтические бредни! Сколько я ни толковал ей об этом, все попусту. Но сегодня, мистер Хэдстон, мы с вами поставим на своем, а остальное как-нибудь наладится.

— Ты по-прежнему полон надежд, Хэксем.

— Разумеется, сэр! Все на нашей стороне.

«Все, кроме твоей сестры, пожалуй»,— подумал Брэдли. Но только подумал, а сказать не сказал.

— Все на нашей стороне,— с мальчишеской самоуверенностью повторил Чарли.— Солидное положение, выгоды такого родства для меня, здравый смысл — решительно все!

— Правда, твоя сестра всегда выказывала преданность тебе,— сказал Брэдли, хватаясь хоть за эту тень надежды.

— Ну еще бы, мистер Хэдстон! Она послушная. И теперь, когда вы удостоили меня своим доверием и поделились своими мыслями со мной первым, я опять скажу: все на нашей стороне!

И Брэдли снова подумал: «Все, кроме твоей сестры, пожалуй».

Пыльно-серый, чахлый вечер в лондонском Сити не способен внушать надежды. В запертых на замки товарных складах и конторах есть что-то мертвенное, а присущая нам, англичанам, боязнь ярких красок придает всему траурный вид. Колокольни и шпили церквей, стиснутых домами,— темные, закоптелые, как и само небо, которое того и гляди навалится на них, ничуть не разряжают сумрачности городского пейзажа; у солнечных часов, погруженных в густую тень на церковной стене, такой вид, точно они обанкротились и на веки вечные отказались от своих обязательств; жалкие привратники и метельщики сметают в канавы клочья газет и прочие жалкие отбросы, а отбросы человеческие, еще более жалкие, наклоняются над этим мусором, роются, шарят там в поисках чего-нибудь еще годного на продажу. Толпы, двигающиеся из Сити, похожи на узников, выпущенных на свободу, и мрачная Ньюгетская тюрьма кажется не менее подходящей резиденцией

для могущественного лорд-мэра, чем его великолепный особняк.

Таким-то вечером, когда городская пыль оседает на волосах, слепит глаза, въедается в кожу, когда ветер крушит своими колесами листья, разлетевшиеся по закоулкам с чахлых городских деревьев, учитель и ученик вышли на Леднхолл-стрит и направились к востоку от нее — подкарауливать Лиззи. Придя на место немного раньше, чем нужно, они спрятались за угол и стали ждать ее появления. Даже самые элегантные из нас сильно проигрывают, если им приходится выглядывать из-за угла, а уж для такого, как Брэдли, эта позиция была и вовсе не выгодна.

— Вон она, мистер Хэдстон. Пойдемте ей навстречу.

Едва они показались, Лиззи сразу увидела их и явно встревожилась. Но она поздоровалась с братом, как всегда тепло, и коснулась протянутой руки Брэдли.

— Чарли, милый, куда это ты? — спросила она.

— Никуда. Мы пришли повидаться с тобой.

— Повидаться со мной, Чарли?

— Да. Мы тебя проводим. Только не веди нас по людным улицам, где так шумно, что и поговорить нельзя. Выбирай где потише. Вон у той церкви большой мощеный двор и там никого нет. Пойдемте туда.

— Но это нам совсем не по пути, Чарли.

— Нет, по пути,— нетерпеливо ответил мальчик.— Если мне по пути, значит и тебе тоже.

Она не отпустила руки брата и чуть ли не с мольбой посмотрела на него. Чтобы не встретиться с ней взглядом, он обратился к учителю:

— Идемте, мистер Хэдстон.— Брэдли пошел не рядом с ней, а рядом с Чарли, руку которого она все еще держала в своей. Через двор они прошли на мощеное кладбище с земляной насыпью в середине, по грудь вышиной, обведенной чугунной решеткой. Там, высоко над уровнем всего живого, было отведено удобное и здоровое место для мертвецов и надгробных памятников, причем последние заметно отклонялись от перпендикуляра, точно стыдясь тех лживых слов, что были выбиты на них.

Брат, сестра и учитель в напряженном и неловком молчании прошли вдоль всей решетки, и тогда мальчик остановился и сказал:

— Лиззи, мистер Хэдстон хочет поговорить с тобой. Я не стану мешать ни тебе, ни ему и пойду погуляю тут поблизости, а потом вернусь. Я знаю, о чем мистер Хэдстон будет говорить, и от всей души одобряю это и надеюсь, что ты тоже одобришь... Нет, не надеюсь, а верю! Мне незачем напоминать тебе, Лиззи, что я многим обязан мистеру Хэдстону и желаю ему успеха во всех его делах. И надеюсь... нет! верю, что ты желаешь ему того же.

— Чарли,— ответила она, удерживая его за руку,— тебе лучше остаться. А мистеру Хэдстону лучше не говорить того, что он хочет сказать.

— А откуда ты знаешь, о чем он собирается говорить? — спросил мальчик.

— Может быть, и не знаю, но...

— Может быть, не знаешь? Разумеется, Лиз! Ты бы так не ответила, если бы знала. Ну, пусти меня, не глупи! Удивляюсь тебе! Ведь мистер Хэдстон на нас смотрит!

Лиззи отпустила его руку, и мальчик отошел от них, сказав:

— Будь умницей, Лиз, будь хорошей сестрой!

Она с Брэдли остались вдвоем, но он заговорил только после того, как она подняла на него глаза.

— Когда мы виделись с вами в последний раз,— начал Брэдли,— я сказал, что еще не все объяснил вам, не объяснил того, что, может быть, повлияет на ваше решение. С этим я и пришел сегодня — высказать все до конца. Надеюсь, вы не станете судить обо мне по тому, как я говорю с вами — нерешительно, несмело. Я проигрываю в ваших глазах. Мне хочется предстать перед вами в самом выгодном свете, а я роняю себя. И в этом все мое несчастье.

Наступило молчание. Лиззи медленно двинулась вперед, и учитель так же медленно пошел рядом с ней.

— Я могу показаться вам эгоистом, потому что начинаю с рассуждений о самом себе,— продолжал он.— Мне самому кажется, что я говорю совсем не то и совсем не так, как надо. Но сладить с собой я не в силах. Что поделаешь? Вы моя погибель.

Она вздрогнула — такая страсть была в этих последних словах и в движении рук, которыми они сопровождались.

— Да! Вы моя погибель... погибель... погибель! Я не знаю, что с собой делать, я перестаю доверять самому

себе, я не владею собой, когда вижу вас или только думаю о вас. А мои мысли теперь непрестанно полны вами. Я не могу избавиться от этих мыслей с первой нашей встречи! Какой это был день для меня! Какой злосчастный, гибельный день!

Что-то похожее на жалость примешалось к чувству отвращения, которое он вызывал в ней, и она сказала:

— Мистер Хэдстон, мне очень жаль, но я никак не хотела причинить вам зло.

— Вот! — с отчаянием крикнул он.— Теперь получается, будто я в чем-то вас упрекаю, вместо того чтобы раскрыть перед вами душу! Сжальтесь надо мной! У меня все выходит не так, как нужно, когда дело касается вас! Такова уж моя участь!

Стараясь взять себя в руки и то и дело поглядывая на слепые окна домов, выходивших на кладбище,— точно на их тусклых стеклах было написано что-то, что могло помочь ему,— он прошел рядом с ней до самого конца решетки и только тогда заговорил снова.

— Я постараюсь высказать вам все. Вы должны это услышать, мне нельзя больше молчать. Может быть, я кажусь вам жалким, может быть, в вашем присутствии я выгляжу совершенно беспомощным, но знайте — есть немало людей, которые хорошего мнения обо мне, есть люди, которые очень меня уважают. Знайте, что я собственными силами завоевал себе положение в жизни, которое стоило завоевать! Поверьте этому, прошу вас!

— Я верю вам, мистер Хэдстон! Я давно знаю обо всем этом от Чарли.

— Поверьте мне, прошу вас, что если б я предложил разделить со мной мое положение — такое, как оно есть, мой домашний очаг — такой, как он есть, мои чувства — такие, как они есть,— самой уважаемой, самой образованной, самой достойной молодой женщине из тех, что работают на одном поприще со мной, такое предложение, по всей вероятности, было бы принято. И принято с радостью.

— Я не сомневаюсь в этом,— проговорила Лиззи, опуская глаза.

— Мне часто приходило на ум — не решиться ли на такой шаг, не устроить ли свою жизнь подобно тому, как ее устраивают многие люди моего звания? Будем учитель-

ствовать с женой в одной школе, я в мужских классах, она — в женских. Оба занятые интересной для нас работой.

— Что же вас остановило? — спросила Лиззи Хэксем.— Почему вы до сих пор так не сделали?

— И хорошо, что не сделал! — Брэдли говорил попрежнему страстно и по-прежнему взмахивал руками, точно стряхивая по каплям кровь своего сердца на камни, к ее ногам.— Последнее время я только в этом и нахожу хоть какое-то утешение! Только в этом! Если б я решился на такой шаг, а потом это безумие овладело бы мной на мою погибель, мне ничего не стоило бы разорвать семейные узы, словно тонкую нить!

Она испуганно посмотрела на него и подалась назад. Он воскликнул, как бы отвечая на ее невысказанные слова:

— Нет, нет! Это произошло бы независимо от моей воли. Ведь не зависит же от моей воли то, что я сейчас здесь. Вы притягиваете меня к себе. Если б я сидел в глухом каземате, вы исторгли бы меня оттуда! Я пробился бы сквозь тюремные стены и пришел бы к вам! Если б я был тяжело болен, вы подняли бы меня с одра болезни, я сделал бы шаг и упал к вашим ногам!

Дикая сила, звучавшая в словах этого человека,— сила, с которой спали все оковы,— была поистине страшна. Он замолчал и ухватился рукой за выступ кладбищенской ограды, точно собираясь выворотить камень.

— Ни одному человеку не дано знать до поры до времени, какие в нем таятся бездны. Некоторые так никогда и не узна́ют этого. Пусть живут в мире с самими собой и благодарят судьбу. Но мне эти бездны открыли вы. Вы заставили меня познать их, и с тех пор это море, разбушевавшееся до самого дна,— он ударил себя в грудь,— не может успокоиться.

— Мистер Хэдстон, я не хочу больше вас слушать! Остановитесь, замолчите! Так будет лучше для нас обоих. Пойдемте поищем моего брата.

— Нет, подождите! Мне надо высказать все. Я не знаю покоя с того самого дня, как заговорил об этом и остановился, не высказавшись до конца. Вы встревожились? Мое несчастье заключается еще и в том, что, говоря с вами

или о вас, я запинаюсь на каждом слове, а если даю себе волю, то дохожу до безумия! Вон фонарщик. Он сейчас уйдет. Умоляю вас, сделаем еще один круг. Вы напрасно тревожитесь. Я могу сдержать себя и сдержу, обещаю вам.

Она покорилась его мольбе — что же ей оставалось? — и они еще раз обошли кладбище, молча ступая по каменным плитам. Фонарщик зажег один за другим фонари; при их свете суровая серая колокольня будто отступила вдаль, и они опять остались наедине. Он не произнес ни слова до тех пор, пока не дошел до того места, где несколько минут назад прервал свою речь, и там опять задержал шаги и опять ухватился за выступ ограды. И потом, начав говорить, он смотрел не на нее, а на этот выступ, и все сильнее впивался в него пальцами.

— Вы знаете, что я хочу сказать. Я люблю вас. Какой смысл вкладывают в эти слова другие люди, мне неведомо, а я вкладываю в них вот что: меня влечет к вам непреодолимая сила, она владеет всем моим существом, и противостоять ей нельзя. Вы можете послать меня в огонь и в воду, вы можете послать меня на виселицу, вы можете послать меня на любую смерть, вы можете послать меня на все, чего я до сих пор страшился, вы можете послать меня на любую опасность, на любое бесчестье. Мысли мои мешаются, я перестал быть самим собой, вот почему вы моя погибель. Но если вы примете мое предложение и согласитесь стать моей женой, в вашей же власти будет подвигнуть меня на все самое лучшее, самое доброе. Я вполне обеспечен, и вы ни в чем не будете нуждаться. Репутация у меня безукоризненная, она послужит вам надежной защитой. Когда вы увидите меня за работой, которую я выполняю хорошо, когда увидите, как меня уважают, может быть вы будете даже гордиться мною. Я не пожалею сил на это. Все доводы против такого предложения я откинул и делаю его от чистого сердца. Ваш брат всецело на моей стороне, и весьма вероятно, что мы с ним будем жить и работать вместе. Во всяком случае, я не оставлю его без своей помощи, без своей моральной поддержки. По-моему, больше того, что сказано, сказать нельзя. Лишними словами только все испортишь, а я и так говорил плохо. Добавлю только одно: если серьезность моих намерений

что-то значит для вас, то верьте — они серьезны, предельно серьезны!

Куски извести из-под камня, который он все выворачивал из ограды, посыпались на мостовую, как бы в подтверждение его слов.

— Мистер Хэдстон...

— Подождите! Прежде чем отвечать мне, давайте еще раз обойдем кладбище. У вас будет лишняя минута подумать, а мне это поможет хоть немного собраться с силами.

Она снова уступила его мольбе, и они снова вернулись на прежнее место, и снова он вцепился пальцами в выступ ограды.

— Так как же,— спросил он, не отводя глаз от камня,— да или нет?

— Мистер Хэдстон, я благодарю вас со всей искренностью, я благодарю вас со всей признательностью и надеюсь, что вы скоро найдете себе достойную жену и будете счастливы с ней. А я должна сказать — нет.

— Может быть, вам надо время на раздумье — неделю, несколько дней? — спросил он сдавленным голосом.

— Нет, не надо.

— Это окончательное решение? И нет надежды, что вы измените его в мою пользу?

— Это решение окончательное, мистер Хэдстон, и я вынуждена сказать вам, что не изменю его.

— Тогда...— голос у Брэдли сразу окреп, и, круто повернувшись к ней, он с такой силой ударил кулаком по камню, что до крови содрал кожу на суставах,— тогда дай-то бог, чтобы я не убил его!

Злоба и ненависть, которые слышались в этих словах, сорвавшихся с его посиневших губ, окровавленная рука, которую он сжимал, точно в ней был нож, нанесший смертельный удар,— все это так напугало Лиззи, что она повернулась и бросилась бежать. Но он удержал ее.

— Мистер Хэдстон, пустите меня! Мистер Хэдстон, я буду звать на помощь!

— Это мне надо звать на помощь! — сказал он.— Если бы вы только знали, как я в ней нуждаюсь!

Чуть не закричав, она отшатнулась от этого искаженного судорогой лица и, не зная, что делать, стала искать

глазами брата. Но прошла секунда, и лицо Брэдли застыло, точно на него легла печать смерти.

— Вот! Видите, я овладел собой. Выслушайте меня!

Она вспомнила, что всю жизнь ей приходилось надеяться только на самое себя, вспомнила, что не обязана отчитываться перед этим человеком в своих поступках, и, с достоинством отведя его руку, смело взглянула ему в лицо. Он словно впервые увидел, как она красива. Глаза его померкли — взгляд этой девушки отнял весь их свет и взял его себе.

— Теперь по крайней мере я ничего не оставлю недосказанным,— продолжал он, сложив руки на груди, чтобы не взмахнуть ими в порыве отчаяния.— Теперь, после этого разговора, я по крайней мере не буду мучиться, что упустил возможность высказать все до конца. Мистер Юджин Рэйберн.

— Так это он причина вашей необузданной ярости? — с негодованием воскликнула Лиззи Хэксем.

Брэдли закусил губы, посмотрел ей в лицо и не ответил ни слова.

— Так вы угрожали мистеру Рэйберну?

Он снова закусил губы, посмотрел ей в лицо и не ответил ни слова.

— Вы просили выслушать вас, а теперь не хотите говорить! Пустите меня, я пойду поищу брата.

— Стойте! Я никому не угрожал.

Взгляд Лиззи упал на его окровавленную руку. Он поднял ее ко рту, вытер о рукав и снова положил на грудь, повторив:

— Мистер Юджин Рэйберн.

— Зачем вы твердите это имя, мистер Хэдстон?

— Затем, что в нем заключено то немногое, что осталось недосказанным. Заметьте! Я никому не угрожаю! Если вы услышите в моих словах угрозу, остановите меня, поставьте мне это в вину. Мистер Юджин Рэйберн.

В том, как он произносил это имя, чувствовалась такая угроза, страшнее которой не могло и быть.

— Он преследует вас. Вы принимаете его услуги. И *его* вы слушаете охотно. Мне это известно не хуже, чем ему.

— Мистер Рэйберн очень внимательно и душевно отнесся ко мне после смерти моего несчастного отца,— гордо

проговорила Лиззи,— и проявил большую заботу о его памяти.

— Ну, разумеется! Мистер Юджин Рэйберн человек очень заботливый и душевный!

— К вам-то, по-моему, он не имеет никакого касательства,— сказала Лиззи, не в силах сдержать негодование.

— Нет, имеет. Тут вы ошибаетесь. Он имеет ко мне прямое касательство.

— Какое?

— Хотя бы как соперник,— ответил Брэдли.

— Мистер Хэдстон! — воскликнула Лиззи, вся вспыхнув.— С вашей стороны низко так говорить со мной. Но я воспользуюсь этим и скажу, что вы мне не нравитесь, что вы мне сразу не понравились, с первой нашей встречи, и никто, ни один человек в мире не виноват в том, как я к вам отношусь.

Его голова упала на грудь, точно придавленная тяжестью, но не прошло и секунды, как он снова взглянул Лиззи в лицо и провел языком по губам.

— Я говорю вам то немногое, что осталось недосказанным. Я знал о существовании мистера Юджина Рэйберна с тех самых пор, как вы приковали меня к себе. Знал,— и тщетно старался побороть свое чувство к вам. Это ничего не меняло. Полный мыслей о мистере Юджине Рэйберне, я жил все это время. Полный мыслей о мистере Юджине Рэйберне, я говорил с вами сегодня, и, полный мыслей о мистере Юджине Рэйберне, убедился, что мной пренебрегают, что меня отвергли.

— Если вам угодно именно так понимать мою благодарность и мой отказ от вашего предложения, то я тут не виновата, мистер Хэдстон,— сказала Лиззи, чувствуя жалость к этому человеку, мучительно боровшемуся с самим собой,— жалость, быть может, не меньшую, чем отвращение и страх.

— Я ни на что не сетую,— продолжал он,— а просто говорю вам, как обстоит дело. Меня тянуло к вам вопреки чувству собственного достоинства, вопреки тому, что существует мистер Юджин Рэйберн. Вы понимаете, как я низко пал теперь в собственных глазах?

Ее обида и гнев не утихли, но она не давала им воли, видя его муки и помня, что он друг ее брата.

— И теперь мое чувство собственного достоинства брошено ему под ноги.— Брэдли рывком развел руки, скрещенные на груди, и яростно показал вниз, на камни мостовой.— Запомните! Оно брошено под ноги этому человеку, и он торжествует, топча его.

— Неправда! — воскликнула Лиззи.

— Нет, это правда! — сказал Брэдли.— Я столкнулся с ним лицом к лицу, и он растоптал меня в грязи своего презрения. Почему? Потому, что он знал, что мне будет уготовано сегодня, и торжествовал заранее!

— Мистер Хэдстон, вы как в бреду!

— Нет, я спокоен. Я отдаю себе полный отчет в своих словах. Теперь сказано все. Запомните, у меня не вырвалось ни единой угрозы. Я только объяснил вам, как обстоит дело... как обстоит дело сегодня, сейчас.

В эту минуту невдалеке появился ее брат. Она кинулась к нему, ухватилась за него. Брэдли подошел к мальчику с другой стороны и положил свою тяжелую руку ему на плечо.

— Чарли Хэксем, я ухожу. Я пойду один и запрусь у себя в комнате. Говорить со мной сегодня не надо. Выжди полчаса после моего ухода, дай мне побыть одному. Увидимся мы завтра. Утром я приду в школу как обычно.

Сжав руки, он вскрикнул не своим голосом и зашагал прочь. Брат и сестра стояли теперь одни под фонарем на пустынном кладбище. В упор поглядев на Лиззи, мальчик потемнел в лице, нахмурился и грубо сказал:

— Как это понять? Что ты сделала с моим лучшим другом? Признавайся немедленно!

— Чарли! — проговорила его сестра.— Имей хоть каплю жалости ко мне.

— Брось глупости! Какая там жалость! — ответил мальчик.— Что ты натворила? Почему мистер Хэдстон вдруг ушел от нас?

— Он просил меня... ты знаешь, о чем... он просил меня стать его женой, Чарли.

— Ну? — нетерпеливо крикнул мальчик.

— И я была вынуждена сказать ему, что не могу стать его женой.

— Ах, не можешь! — злобно, сквозь зубы повторил мальчик и грубо оттолкнул ее от себя.— Не можешь!

А тебе известно, что он один стоит пятидесяти таких, как ты?

— Очень может быть, Чарли, и все-таки выйти за него я не могу.

— То есть ты сознаешь, что не заслуживаешь такого мужа, что он тебе не пара? Так надо понимать твои слова?

— Нет, Чарли, мои слова надо понимать так, что он мне не нравится и что я никогда за него не выйду.

— Нечего сказать, хорошая у меня сестра! — воскликнул мальчик.— Нечего сказать, сестра у меня бескорыстная! Значит, все мои старания зачеркнуть прошлое, выйти в люди и вместе с собой вывести в люди и тебя должны пойти прахом из-за твоих нелепых капризов? Так, что ли?

— Я не хочу упрекать тебя, Чарли.

— Нет, вы только послушайте ее! — Мальчик оглянулся в темноте по сторонам.— Она не хочет упрекать меня! Она сделала все, чтоб разрушить и мое и свое счастье, и она же не хочет упрекать меня! Чего доброго ты еще скажешь: не надо упрекать мистера Хэдстона за то, что он спустился к твоим ногам из тех кругов, которые гордятся им, и снизошел до тебя только для того, чтобы *ты* его оттолкнула!

— Нет, Чарли, как я ему сказала, так скажу и тебе: я благодарю мистера Хэдстона за предложение, но жалею, что оно было сделано, и надеюсь, что он найдет себе лучшую жену, с которой будет счастлив.

Чувство, близкое раскаянию, сжало черствеющее сердце мальчика, когда он поглядел на нее — на терпеливую маленькую нянюшку, ходившую за ним в детстве, на терпеливую воспитательницу, советчицу, подругу его отроческих лет, на беззаветно преданную сестру, которая ради него была готова на все. Он взял ее под руку и сказал совсем другим тоном:

— Полно, Лиз! Зачем нам ссориться! Давай обсудим все спокойно, трезво, поговорим, как подобает брату и сестре. Ты согласна выслушать меня?

— Ах, Чарли! — ответила она сквозь слезы.— Разве я не слушала тебя? Разве не мне ты говорил все эти жестокие слова?

— Ну, прости, Лиз, прости! Я искренне раскаиваюсь. Но ты сама выводишь меня из терпения. Так вот слушай. Мистер Хэдстон полюбил тебя. Он чистосердечно признался мне, что в нем словно все перевернулось с той самой минуты, как я познакомил его с тобой. У нас есть учительница, мисс Пичер — молодая, хорошенькая и все такое прочее. Она очень расположена к мистеру Хэдстону, это всем известно, а он даже не глядит на нее и слышать о ней не хочет. Его чувства к тебе совершенно бескорыстны! Жениться на мисс Пичер ему было бы гораздо выгоднее во всех отношениях, а от женитьбы на тебе он ничего не выиграет. Ведь правда?

— Да, правда, видит бог, правда!

— Ну вот,— сказал мальчик.— Это говорит в его пользу, что очень важно. Теперь насчет *меня*. Мистер Хэдстон всегда старался дать мне ход, а от него многое зависит. Став моим шурином, он будет еще больше заботиться обо мне. Мистер Хэдстон самым деликатным образом поделился со мной своими чувствами и сказал: «Надеюсь, Хэксем, моя женитьба на твоей сестре будет тебе и приятна и полезна?» Я говорю: «Мистер Хэдстон! Да это мое самое заветное желание!» Тогда мистер Хэдстон говорит: «Следовательно, я могу рассчитывать, Хэксем, что, хорошо зная своего учителя, ты замолвишь за него доброе словечко перед сестрой?» А я ему говорю: «Разумеется, мистер Хэдстон, ведь сестра меня очень слушается». Верно, Лиз?

— Верно, Чарли.

— Вот и отлично! Видишь? Когда толково обо всем говоришь, как полагается брату и сестре, дело сразу идет на лад. Хорошо! Теперь насчет *тебя*. Как жена мистера Хэдстона, ты будешь занимать почетное положение и гораздо лучшее место в обществе. Ты, наконец, избавишься от Темзы и от всего неприятного, что с ней издавна связано, разделаешься навсегда с разными кукольными швейками, с их пьянчугами отцами и тому подобной публикой. Я не хочу сказать ничего дурного о мисс Дженни Рен, она в своем роде не так уж плоха, но то, что пристало ей, не пристало будущей жене мистера Хэдстона. Теперь ты понимаешь, Лиз, что для нас троих — для мистера Хэдстона, для меня и для тебя — ничего лучшего не придумаешь.

Мальчик говорил все это, медленно шагая рядом с сестрой, но теперь он остановился, решив проверить, как подействовали его слова. Сестра молча смотрела ему в лицо, и, не прочтя в этом взгляде уступки, мальчик повел ее дальше. Когда он заговорил снова, в его голосе прозвучала плохо скрытая неуверенность.

— Ты меня во всем слушаешься, Лиз, и мне, должно быть, следовало поговорить с тобой, не дожидаясь, пока мистер Хэдстон объяснится сам. Но тут все настолько ясно и бесспорно, а ты всегда была такая умная и рассудительная, что мне это показалось совершенно лишним. Не знаю, может я ошибся? Но мы быстро поправим дело. А для этого нужно только, чтобы, придя домой, я мог передать от тебя мистеру Хэдстону, что твой ответ был не окончательный и что мало-помалу все уладится.

Он снова остановился и поглядел на бледное лицо сестры. Ее взгляд был полон тревоги и нежности к нему, и все-таки она отрицательно покачала головой.

— Что же ты молчишь? — резко спросил он.

— Мне очень не хочется это говорить, Чарли, но сказать придется. Я не могу передать с тобой такой ответ мистеру Хэдстону, я не могу отпустить тебя к мистеру Хэдстону с таким ответом. К тому, что я сказала ему сегодня — сказала окончательно, добавить нечего.

— И она считает себя хорошей сестрой! — воскликнул мальчик, с презрением отталкивая ее от себя.

— Чарли, милый! Вот ты опять чуть меня не ударил. Ты только не обижайся. Я понимаю, видит бог, понимаю, что у тебя не было злого умысла, но зачем ты так отшатнулся от меня?

— Я все знаю! — сказал мальчик, будто и не слыша ее упрека и думая только о своей обиде, о своем разочаровании,— я знаю, что за этим кроется, и опозорить себя не позволю.

— Я сказала тебе все, как есть, Чарли. Ничего другого за этим не кроется.

— Неправда! — злобно крикнул он.— И ты сама знаешь, что это неправда! Все дело в твоем драгоценном мистере Рэйберне — вот в ком!

— Чарли! В память наших прежних дней — перестань, замолчи!

— Опозорить себя я не позволю,— упрямо продолжал он.— Я выбрался из грязи, и тебе не удастся столкнуть меня в эту грязь обратно. Позор сестры не ляжет на брата, если он отречется от нее, и я отрекаюсь от тебя навсегда!

— Чарли! Сколько ненастных вечеров, таких, как этот, и худших, чем этот, сидела я на улице с тобой на руках! Возьми назад свои слова, просто возьми назад, не прося прощения за них, и мои объятия откроются тебе так же, как и мое сердце!

— Нет, я не возьму их назад! Я повторю их еще раз. Ты плохая сестра, ты бесчестная, и я отрекаюсь от тебя, отрекаюсь навсегда!

Он поднял свою неблагодарную, безжалостную руку, точно воздвигая преграду между собой и сестрой, круто повернулся и зашагал прочь. Она так и осталась на месте, безмолвная, неподвижная, и простояла там до тех пор, пока бой башенных часов не заставил ее очнуться. И первое же ее движение растопило слезы, скованные точно льдом словами себялюбца брата. «Умереть, лечь вот тут в могилу!» и «Чарли, Чарли! Так вот к чему привели картины, которые виделись нам среди углей!» — это было все, что она сказала, закрыв лицо руками и припав головой к каменному выступу ограды.

Какой-то человек поравнялся с ней, прошел мимо и вдруг, задержав шаг, оглянулся на нее. Это был согбенный старик в широкополой шляпе с низкой тульей и в длинном сюртуке. Нерешительно переступив с ноги на ногу, он повернул назад и проговорил голосом, полным мягкости и участия:

— Простите, что я обращаюсь к вам, сударыня, но вы чем-то опечалены. Я не могу пройти, как бы ничего не заметив, не могу оставить вас здесь одну, в слезах. Чем помочь вам? Как вас утешить?

Она подняла голову, услышав эти ласковые слова, и радостно воскликнула:

— Мистер Райя, неужели это вы?

— Дочь моя! — сказал старик.— Удивлению моему нет конца! Я заговорил с вами, не зная, что это вы. Возьмите мою руку, обопритесь о нее. Что вас так огорчило? Кто тому виной? Бедная девушка, бедная девушка!

— Мы поссорились с братом,— всхлипывая, проговорила Лиззи,— он знать меня больше не хочет.

— Неблагодарный щенок! — в гневе воскликнул старик.— Не удерживайте его. Отряхните прах с ног своих и забудьте о нем. Пойдемте, дочь моя! Пойдемте ко мне. Мой дом совсем близко. У меня вы успокоитесь, осушите свои слезы, а потом я провожу вас. Путь далек, на улицах людно, время позднее, а вы и так задержались.

Девушка приняла протянутую ей руку, и они медленно вышли с церковного двора. Переулок вывел их на большую проезжую улицу, и тут какой-то человек, который со скучающим видом прогуливался по тротуару, поглядывая то направо, то налево, то вперед, то назад, кинулся к ним со словами:

— Лиззи! Куда вы запропастились? Позвольте! Да что с вами такое?

Услышав голос Юджина Рэйберна, она прижалась к старику еврею и опустила голову. Райя окинул Юджина быстрым, пронизывающим взглядом и тоже потупился, не произнеся ни слова.

— Лиззи, скажите, что случилось?

— Мистер Рэйберн, если я когда-нибудь и смогу ответить на ваш вопрос, то не сейчас, не сегодня. Прошу вас, оставьте меня!

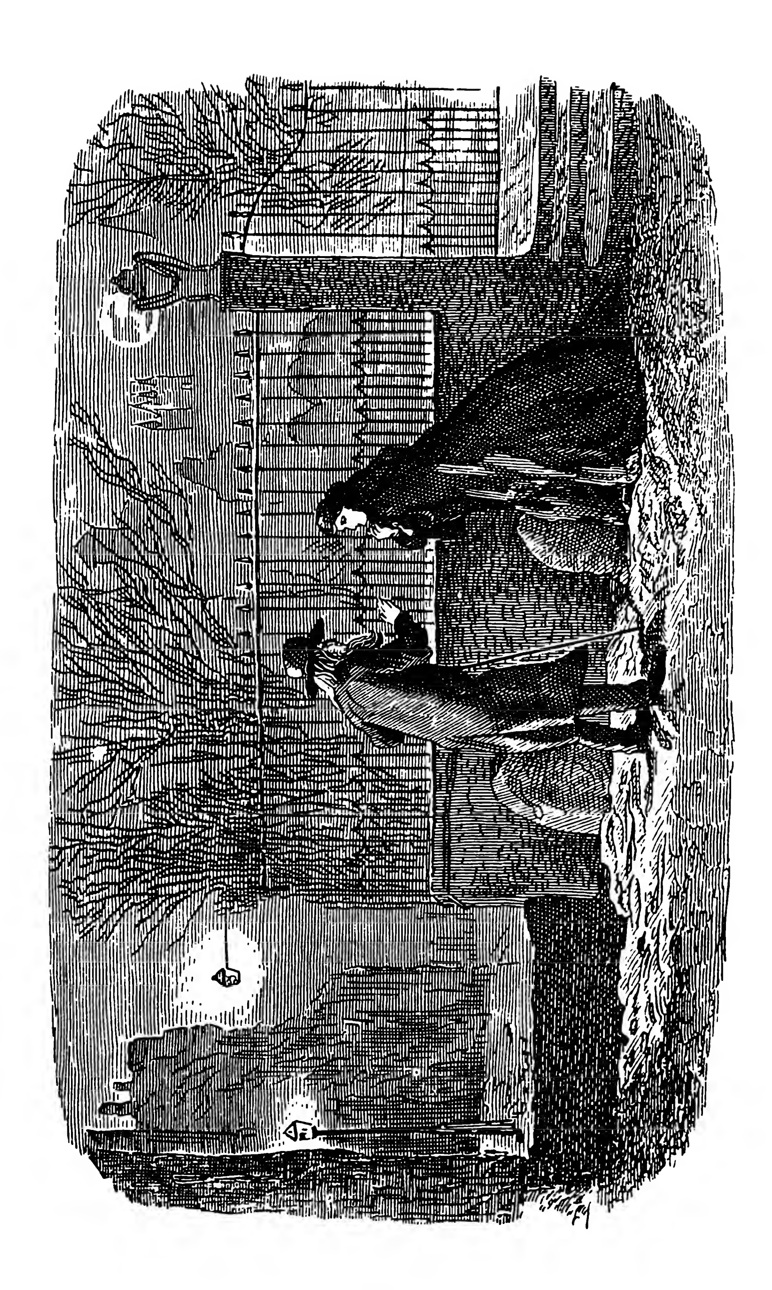
— Но, Лиззи, ведь я пришел сюда, чтобы встретиться с вами! Я знаю, когда вы возвращаетесь с работы, и решил пообедать в кофейне, тут неподалеку, а потом проводить вас домой. И вот слоняюсь по улице взад и вперед, точно судебный пристав, или,— Юджин поглядел на Райю,— или старьевщик.

Еврей поднял глаза и снова окинул Юджина быстрым взглядом.

— Мистер Рэйберн, прошу вас! Оставьте меня, я под надежной охраной. И умоляю, будьте осторожнее, берегите себя!

— Удольфские тайны! * — сказал Юджин, с удивлением глядя на нее.— Но все же разрешите мне спросить в присутствии вашего престарелого защитника — кто он такой, этот добрый джентльмен?

— Друг, который печется обо мне,— ответила Лиззи.



— Я освобожу его от попечений о вас,— сказал Юджин,— но говорите, Лиззи, что вас так огорчило?

— Брат огорчил,— ответил старик, взглянув на него.

— Ах, братец огорчил! — презрительно бросил Юджин.— Наш братец не стоит ни одной нашей слезинки. Но все-таки, что же наш братец сделал?

Старик внимательно посмотрел сначала на Юджина, потом на Лиззи, которая стояла потупившись. Оба эти взгляда были полны такого значения, что Юджин сразу осекся и ничего не сказал, ограничившись задумчивым «гм!».

Старик снова опустил глаза, продолжая удерживать руку Лиззи в своей, и, вероятно, мог бы простоять так в полной неподвижности, не произнося ни слова, всю ночь — столько покорности и безграничного терпения чувствовалось в нем.

— Если мистер Аарон соизволит поручить мне заботы о своей подопечной,— сказал Юджин, когда ему наскучило молчать,— у него останется время на посещение синагоги. Мистер Аарон, будьте любезны...

Но старик не тронулся с места.

— Прощайте, мистер Аарон,— вежливо проговорил Юджин.— Не смеем вас задерживать.— И, обращаясь к Лиззи: — Кажется, наш друг, мистер Аарон, несколько туг на ухо?

— Я очень хорошо слышу, сударь,— спокойно ответил старик.— Но сейчас слуха моего может коснуться только один голос. Если эта девушка сама попросит меня не провожать ее домой и уйти, я так и сделаю. А никого другого слушать не буду.

— Разрешите полюбопытствовать, почему, мистер Аарон? — осведомился невозмутимый Юджин.

— Простите, сударь. Если этот вопрос задаст мне она сама, я ей отвечу. А никому другому отвечать не буду.

— Я ни о чем не стану вас спрашивать,— сказала Лиззи.— Проводите меня домой. Мистер Рэйберн, мне очень тяжело сегодня, и я надеюсь, вы не сочтете меня неблагодарной, изменчивой, скрытной. Дело не в этом. Я несчастна. Прошу вас, запомните, что я вам сказала. Берегите себя, будьте осторожней!

— Лиззи, милая,— вполголоса проговорил Юджин, наклоняясь к ней.— Чего мне остерегаться? Кого остерегаться?

— Того, кто недавно приходил к вам и ушел в гневе.

Он щелкнул пальцами и рассмеялся.

— Ну, хорошо, поскольку ничего лучшего не придумаешь, мы с мистером Аароном поделим между собой обязанности попечителя и вместе проводим вас до дому. Мистер Аарон пойдет с той стороны, я — с этой. Если у мистера Аарона не будет никаких возражений, эскорт выступит в путь.

Он был уверен в своей власти над ней. Он был уверен, что она не отошлет его. Он был уверен, что теперь, когда ему грозит какая-то опасность, она не захочет расстаться с ним. Несмотря на свою беспечность и ветреность, он безошибочно читал те ее сокровенные мысли, которые ему хотелось прочесть.

И сейчас он, такой веселый, спокойный, шагал рядом с ней, он шутил, несмотря на все то, что ему пришлось выслушать. Как это возвышало его над мрачным, скованным в каждом своем движении искателем ее руки и над озлобленным, эгоистичным братом! Он оставался верен ей, когда родной брат от нее отрекся! Какое же огромное преимущество, какую власть над ней давало ему все это в тот вечер! А если вспомнить, сколько его поносили из-за нее и сколько она сама, бедняжка, из-за него вытерпела, то разве удивительно, что участливые, проникновенные нотки, проскальзывавшие в его голосе (вопреки беспечному тону, который должен был успокоить ее), малейшее его прикосновение, мимолетный взгляд, само его присутствие на этой темной, убогой улице точно пронизывали ее светом, падавшим из какого-то волшебного мира, и сияния этого не властны были угасить ни ревность, ни злоба, ни подлость, ни насмешки духов тьмы.

О том, чтобы идти к Райе, ничего больше не было сказано, и они пошли туда, где жила Лиззи. Не дойдя несколько шагов до двери, она простилась со своими спутниками и вошла в дом одна.

— Мистер Аарон,— сказал Юджин, когда они остались на улице вдвоем.— Премного благодарен вам за компанию, но теперь, как это ни прискорбно, нам надо расстаться.

— Сударь,— ответил ему старик,— разрешите пожелать вам доброй ночи и посетовать, что вы такой легкомысленный.

— Мистер Аарон,— сказал Юджин,— разрешите мне тоже пожелать вам доброй ночи и посетовать, что вы такой глубокомысленный, а следовательно, скучный.

Но лишь только роль, которую Юджин исполнял в тот вечер, была сыграна и, повернувшись к Райе спиной, он сошел со сцены, вид у него тоже стал глубокомысленный. «Как это Лайтвуд меня спрашивал тогда?» — пробормотал он, останавливаясь и закуривая сигару. «Так чем же это кончится? Что ты делаешь? Куда ты идешь?..» Тяжкий вздох: «А-а! Скоро мы все это узнаем!»

Такой же тяжкий вздох, точно подхваченный эхом, послышался час спустя, когда Райя, сидевший в темноте напротив дома, где жила Лиззи, встал и медленно зашагал по улице, похожий в своем длинном ветхозаветном одеянии на призрак давно минувших времен.

ГЛАВА XVI

Годовщина

Одеваясь в своей квартирке над конюшней (на Дьюк-стрит, в Сент-Джеймс-сквере) и слыша, как внизу совершается туалет лошадей, почтенный Твемлоу приходит к выводу, что в общем и целом он находится в менее выгодном положении, чем эти благородные животные в стойлах, ибо хоть при нем и нет слуги, который угощал бы его увесистыми шлепками и командовал бы ему грубым голосом: «Тпру! Стой!», все же слуги-то у него нет вовсе, а так как по утрам суставы пальцев и прочие суставы работают у нашего кроткого джентльмена со скрипом, он, пожалуй, согласился бы, чтобы его привязали к двери спальни, но только бы вымыли, вытерли, почистили и одели, предоставив ему играть пассивную роль во время этой нелегкой процедуры.

Как чувствует себя обольстительная Типпинз, наряжаясь для прельщения мужчин, известно только грациям

и ее горничной. Этой очаровательной особе не приходится обслуживать самое себя, как бедному Твемлоу, но все же она охотно сократила бы хлопоты, неизбежные при ежедневном восстановлении ее прелестей, так как лицо и шея у нашей богини похожи на панцирь той разновидности раков, которые каждое утро сбрасывают свое одеяние и прячутся в укромных уголках до тех пор, пока на них не затвердеет новая оболочка.

Тем не менее Твемлоу, наконец, ухитряется надеть воротничок, галстук и манжеты, доходящие ему до кончиков пальцев, и отбывает на завтрак. И как вы думаете, у кого он будет завтракать? У своих ближайших соседей, супругов Лэмл на Сэквил-стрит, которые предуведомили его, что на этом завтраке он познакомится со своим дальним родственником, мистером Фледжби. Грозный Снигсворт, может, и наложил бы табу на Фледжби, изъял бы Фледжби из обращения, но миролюбивый Твемлоу рассуждает так: «Если он действительно состоит в родстве со мной, я тут не виноват, а знакомство с ним ни к чему меня не обяжет».

Мистер и миссис Лэмл празднуют первую годовщину своего счастливого супружества, и в честь этой знаменательной даты дают завтрак, потому что званый обед должного размаха можно было бы дать только в несуществующем роскошном особняке, который возбуждает такую бешеную зависть у их знакомых. И вот Твемлоу, по-стариковски семеня ногами, выходит на Пикадилли и вспоминает, что раньше его фигура отличалась большей статностью, а его жизнь не подвергалась такой опасности среди быстро мчащихся экипажей. Впрочем, это было в те дни, когда он еще надеялся получить от грозного Снигсворта разрешение заняться чем-нибудь и стать кем-нибудь в жизни; это было еще до того, как этот величественный самодур издал рескрипт: «Поскольку он, Твемлоу, не сможет отличиться ни на каком поприще, пусть будет неимущим джентльменом-пенсионером, и пусть живет отныне на пенсию, получаемую от меня».

Ах, Твемлоу, Твемлоу! Поведай нам, хилый седенький старичок, какие мысли теснятся сегодня в твоей голове о ней, о Мечте — назовем прежним именем ту, что ранила твое сердце в ту пору, когда оно было у тебя еще

совсем юное и когда волосы у тебя были каштановые. Поведай нам, что хуже, что мучительнее — верить в свою Мечту по сей день или знать, что она превратилась в алчного, закованного в броню крокодила, который не способен ни представить себе, какое нежное, мягкое, чувствительное местечко таится у тебя под жилетом, ни пронзить это местечко вязальной спицей. Поведай нам также, милый Твемлоу, что лучше — быть бедным родственником могущественной особы или стоять у извозчичьей биржи в зимнюю слякоть и поить лошадей из мелкой колоды,— той самой, в которую ты сейчас сослепу чуть не угодил ногой? Но Твемлоу оставляет эти вопросы без ответа и молча продолжает свой путь.

Когда он останавливается у дома Лэмлей, к подъезду подкатывает маленькая одноконная карета; в ней восседает божественная Типпинз. Опустив стекло, Типпинз, настроенная весьма игриво, превозносит кавалера, который будто бы только затем сюда и пришел, чтобы помочь ей выйти из экипажа. Твемлоу помогает ей выйти с такой учтивостью и серьезностью, точно Типпинз и вправду существо вполне реальное. Поднимаясь об руку с ним вверх по лестнице, Типпинз с трудом ступает заплетающимися ногами и делает вид, будто непроизвольные подрыгивания ее ненадежных конечностей объясняются свойственной им от природы живостью.

— Здравствуйте, дорогая миссис Лэмл и дорогой мистер Лэмл! Когда же вы уезжаете за копченым окороком в это... ну, как его? поместье графа Уорвикского — Дан-Кау, что ли? Ах, вот он, Мортимер, имя которого навсегда вычеркнуто из списка моих поклонников в отместку, вопервых, за его непостоянство и, во-вторых, за презренное отступничество. Ну, здравствуйте, негодник! Как, и мистер Рэйберн здесь? А он зачем пожаловал? Ведь мы заранее знаем, что из него слова не вытянешь! Ч. П. Вениринг! Ну, как дела в палате? И когда вы изгоните оттуда эту мерзкую оппозицию? Миссис Вениринг, душенька, неужели правда, что вы каждый вечер ходите туда, сидите в духоте и слушаете эти нудные речи? Кстати, Вениринг, почему мы не слышим ваших речей? Ведь вы в палате рта не открыли за все это время? А нам так хочется вас послушать! Мисс Подснеп, милочка! Папа тоже здесь?

Ах, вот как! И мамы нет? А-а, мистер Бутс! Прелестно! Мистер Бруэр! Все в сборе! — Так щебечет Типпинз, наводя свой золотой монокль на Фледжби, на «чужаков» и как девочка-резвушка порхая по комнате. Есть еще знакомые? Кажется, нет. Здесь — нет. Там — тоже нет. Нигде больше нет.

Мистер Лэмл, искрометный с головы до ног, выдвигает на первый план своего друга Фледжби, заявляя, что тот умирает от желания представиться леди Типпинз. Фледжби представляют. Судя по выражению его лица, он хочет что-то сказать, судя по выражению его лица он ничего не хочет сказать, судя по выражению его лица, он погружается в размышления, потом им овладевают сомнения и чувство внутреннего опустошения, он пятится, натыкаясь на Бруэра, описывает круг около Бутса и, окончательно стушевавшись на заднем плане, проводит рукой сперва по левой, потом по правой щеке, как будто долгожданные бакенбарды могли вырасти там за последние пять минут.

Но Лэмл снова извлекает Фледжби на свет божий, не дав ему времени окончательно убедиться в бесплодии его физиономии. По-видимому, Фледжби чувствует себя совсем плохо, так как, если верить Лэмлу, он опять умирает. На сей раз Фледжби умирает от желания представиться Твемлоу.

Твемлоу протягивает ему руку. Он рад познакомиться.

— Мы с вашей матушкой в родстве, сэр.

— Да, кажется,— отвечает Фледжби,— но она была не в ладах со своей родней.

— Вы сейчас живете в городе? — спрашивает Твемлоу.

— Я всегда живу в городе,— говорит Фледжби.

— Любите городскую жизнь? — говорит Твемлоу, но Фледжби сразу укладывает его на обе лопатки, заявив обиженным тоном, что он не любитель городской жизни. Пытаясь ослабить силу падения Твемлоу, Лэмл говорит: «Городская жизнь нравится далеко не всем». Фледжби возражает, что это верно только по отношению к нему, и Твемлоу снова сбит с ног.

— Новостей сегодня, кажется, нет? — спрашивает Твемлоу, с удивительным присутствием духа опять кидаясь в бой.

Фледжби ничего особенного не слышал.

— Никаких новостей нет,— говорит Лэмл.

— Совершенно никаких новостей,— добавляет Бутс.

— Решительно никаких,— подхватывает Бруэр.

Этот номер программы, исполненный квартетом, почему-то поднимает общее настроение. Долг совершен — все оживляются. Теперь им легче перенести такое бедствие, как общение друг с другом. Даже Юджин, который стоит в оконной нише и сердито крутит кисточку шнурка от шторы, вдруг начинает крутить ее еще быстрее, точно у него сразу прибавилось сил.

Завтрак подан. Сервировка на столе пышная, бьющая на эффект, и в то же время она явно кричит о своем временном, кочевом характере, точно давая понять, что в аристократическом особняке все это будет гораздо пышнее, гораздо эффектнее. За стулом мистера Лэмла — его собственный лакей; Химик — за стулом Вениринга. Вот вам пример того, что слуги обычно делятся на две категории: первые не доверяют знакомым своих хозяев; вторые не доверяют самим хозяевам. Лакей мистера Лэмла принадлежит ко второй категории, так как, судя по его унылому виду, он находится в дурном расположении духа и недоумевает, почему полиция до сих пор не арестовала его хозяина за какое-нибудь тягчайшее преступление.

Ч. П. Вениринг сидит справа от миссис Лэмл, Твемлоу — слева; миссис Вениринг, С. Ч. П. (супруга члена парламента) и леди Типпинз справа и слева от мистера Лэмла. Но можете не сомневаться, что в радиусе действия пленительной улыбки и пленительных взглядов мистера Лэмла сидит маленькая Джорджиана. Можете не сомневаться также, что рядом с маленькой Джорджианой и под наблюдением того же самого рыжеватого джентльмена сидит Фледжби.

За завтраком мистер Твемлоу то и дело поворачивается к миссис Лэмл и говорит ей: «Прошу прощения!» Почему же Твемлоу так странно ведет себя сегодня, ведь это совсем не в его характере? А вот почему: Твемлоу находится под впечатлением, будто миссис Лэмл хочет заговорить с ним, но, поворачиваясь к ней, он каждый раз убеждается, что это ему только показалось и что она

смотрит на Венеринга. Странно, но факт остается фактом: Твемлоу хоть и удостоверяется в своей ошибке, а все-таки отделаться от этого впечатления не может.

Вкусив плодов земных (в том числе и нектара, который дает нам виноградная лоза), леди Типпинз заметно веселеет и принимается высекать огонь из Мортимера Лайтвуда. В кругу посвященных знают, что этого неверного обожателя леди Типпинз следует сажать напротив нее, чтобы она могла высекать из него искры светской болтовни. Во время паузы, посвященной пережевыванию и проглатыванию пищи, леди Типпинз вспоминает, глядя на Мортимера, что в доме наших милейших Венирингов, в присутствии всех тех, кто и сейчас налицо, Мортимер рассказал историю о человеке ниоткуда, которая впоследствии так захватывающе интересно развернулась и приобрела такую вульгарно-широкую известность.

— Да, леди Типпинз,— подтверждает Мортимер,— воистину так, если выражаться выспренним языком.

— В таком случае,— заявляет очаровательница,— для поддержания своей репутации расскажите нам дальнейшее.

— Леди Типпинз! В тот день я навеки исчерпал свои возможности, и больше от меня ждать нечего.

Так отражает ее наскок Мортимер, в то же время признаваясь самому себе, что в других домах роль остряка принадлежит не ему, а Юджину, а в этом обществе, где Юджин предпочитает быть молчальником, он, Мортимер, становится всего лишь дублером своего друга, который всегда служил ему образцом для подражания.

— Нет! — изрекает обольстительная Типпинз.— Я твердо решила добиться от вас новых сведений. Изменник! До меня дошли слухи о новом исчезновении. Говорите, что это значит?

— Если эти слухи дошли до вас,— парирует Лайтвуд,— может быть, вы сами и доложите нам о них?

— Прочь с глаз моих, чудовище! — восклицает леди Типпинз.— Меня отослал к вам ваш собственный Золотой Мусорщик!

Вступив в их диалог, мистер Лэмл громогласно заявляет, что история человека ниоткуда действительно имеет продолжение. За столом наступает полная тишина.

— Уверяю вас,— говорит Лайтвуд, обводя взглядом всех присутствующих,— больше я ничего не могу рассказать.— Но так как Юджин бормочет вполголоса: «Ну, хорошо, расскажи, расскажи!» — он вынужден добавить: — Во всяком случае, ничего такого, о чем бы стоило рассказывать.

Бутс и Бруэр немедленно приходят к выводу, что рассказывать безусловно стоит, и с назойливой учтивостью требуют продолжения. Их вяло поддерживает Вениринг, и гости понимают, как трудно ему сосредоточиться на чем-нибудь — что поделаешь! Рассеянность свойственна всем членам палаты общин.

— Пожалуйста, не рассчитывайте на долгий рассказ,— говорит Мортимер Лайтвуд.— Я кончу гораздо раньше, чем вы успеете принять удобные позы. Дело обстоит так...

— Дело обстоит так,— нетерпеливо перебивает его Юджин,— как поется в детской песенке:

Моя сказка кончится вскоре:
Жил-был Джек Манори.
У Джека был отец.
Вот вам сказки начало,
А вот и конец.

Ну, расскажи, и покончим с этим.

В голосе Юджина слышится раздражение; он сидит, откинувшись на спинку стула и свирепо глядя на леди Типпинз, которая игриво кивает ему головой и называет его злым волком, намекая тем самым, что она не кто иная, как Красная шапочка.

— Моя досточтимая и прекрасная повелительница и оппонентка,— продолжает Мортимер,— по всей вероятности, имеет в виду следующие события: несколько дней назад молодая девушка Лиззи Хэксем, дочь покойного Джесса Хэксема по прозвищу Старик — того самого, который, как вы помните, обнаружил в Темзе тело человека ниоткуда, получила — от кого, неизвестно — полный отказ от обвинений, возведенных на ее отца некиим Райдергудом, тоже промышляющим на реке. Обвинениям этим никто не верил, потому что сей Райдергуд,— не могу не применить к нему пословицу «и душою худ, и просто плут», утверждал то одно, то другое и, по сути, запутался в своих наветах. Так или иначе, Лиззи Хэксем полу-

чила письмо с отказом от обвинений — получила его весьма загадочным образом, чуть ли не из рук незнакомца в темном плаще и в шляпе с низко опущенными полями, и в подтверждение невиновности своего отца препроводила полученное ею письмо моему клиенту мистеру Боффину. Надеюсь, юридическая терминология никого здесь не шокирует. Дело в том, что у меня нет и, по всей вероятности, никогда не будет других клиентов, и я горжусь мистером Боффином как редким произведением природы.

Спокойствие, с которым говорит Лайтвуд, только кажущееся; на душе у него далеко не спокойно. Он как будто и не обращает внимания на Юджина, а сам чувствует, что в присутствии друга эта тема не совсем безопасна.

— Редкое произведение природы, которое служит единственным украшением моего юридического музея,— продолжает он,— приказывает своему секретарю — экземпляру из породы раков-отшельников или устриц, по фамилии, кажется, Шоксмит... Впрочем, это не важно, назовем его хоть Артишоком... Итак, приказывает своему Артишоку снестись с Лиззи Хэксем. Артишок изъявляет готовность выполнить поручение, действует соответствующим образом и терпит неудачу.

— Как, неудачу? — спрашивает Бутс.

— Почему неудачу? — спрашивает Бруэр.

— Прошу прощения,— говорит Лайтвуд,— но мне придется немного повременить с ответом на ваши вопросы, чтобы не нарушить естественного хода событий. Поскольку Артишок потерпел полную неудачу, мой клиент, действуя в интересах предмета своих розысков, поручает это дело мне. Я пытаюсь разыскать ее, я даже располагаю,— бросив взгляд на Юджина,— кое-какими наводящими сведениями, которые могут помочь мне разыскать ее... и тоже терплю неудачу, потому что она исчезла.

— Исчезла? — Многоголосое эхо подхватывает его последнее слово.

— Пропала без вести,— говорит Мортимер.— Никто не знает как, никто не знает когда, никто не знает куда. Таков конец истории, который имела в виду моя достопочтенная и прелестная повелительница и оппонентка.

Типпинз взвизгивает чарующим голоском и заявляет, что нас всех до одного зарежут во сне. Взгляд Юджина

ясно говорит, что всех не надо, а одного — вернее, одну — пожалуйста. С. Ч. П. миссис Вениринг замечает, что, наслушавшись рассказов обо всех этих социальных загадках, побоишься оставлять малютку дома. Весьма посредственно копируя форму парламентского запроса: «Видя достопочтенного джентльмена, возглавляющего департамент внутренних дел, на месте, и т. д.», Ч. П. мистер Вениринг желает знать, следует ли истолковывать слова Мортимера так, что исчезнувшее лицо похитили и вообще совершили над ним какое-либо насилие? За Лайтвуда отвечает Юджин, и отвечает поспешно, с раздражением:

— Нет, нет! Ничего подобного! Он хотел сказать, что это лицо исчезло по собственной воле, и исчезло бесследно, неизвестно куда.

Однако нельзя же допустить, чтобы столь важная тема беседы, как супружеское счастье мистера и миссис Лэмл, исчезла вслед за другими исчезновениями — исчезновением убийцы Джона Гармона, исчезновением Джулиуса Хэнфорда, исчезновением Лиззи Хэксем! Венирингу приходится загонять овец в хлев, из которого они разбрелись. Кому же, как не Венирингу, следует ораторствовать о счастье мистера и миссис Лэмл — самых дорогих и самых старинных его друзей во всем мире! И какой аудитории следует ему поведать свои мысли, как не этой аудитории — имя существительное собирательное, обозначающее группу лиц, рассматриваемых как единое целое и являющихся самыми дорогими и самыми старинными его друзьями во всем мире. Разрешив себе ораторствовать сидя, Вениринг начинает монотонно бормотать, как в парламенте, что он видит за этим столом своего дорогого друга Твемлоу, который ровно год назад соединил руку его, Вениринга, дорогого друга Лэмла с прелестной рукой его дорогого друга Софронии и что он видит за этим столом также своих дорогих друзей Бутса и Бруэра, которые объединились вокруг него в те дни, когда его дорогой друг леди Типпинз тоже объединилась вокруг него — одна из первых! — и он будет помнить это до тех пор, пока память не откажет ему. Нельзя не отметить, что за этим столом нет его старинного дорогого друга Подснепа, хотя Подснепа самым достойным образом представляет здесь его, Вениринга, юный дорогой друг Джорджиана. Далее

он видит тут за столом (Вениринг провозглашает это так торжественно, будто глаза его вооружены телескопом необычайной силы) своего дорогого друга мистера Фледжби, если тот позволит ему называть себя его другом. Принимая во внимание все эти и многие другие обстоятельства, о которых вы, люди чрезвычайно проницательные, разумеется, догадаетесь сами, он должен со всей почтительностью доложить вам, что настало время, когда мы с бокалами в руках, со слезами на глазах, с благословениями на устах и вообще со всем тем, чем полны наши душевные закрома, единодушно провозгласим тост за здоровье наших дорогих друзей Лэмлей и пожелаем им много, много лет, таких же счастливых, как и этот истекший год, и много, много друзей, живущих в браке душа в душу так же, как они сами. И вот о чем надо еще сказать: Анастазия Вениринг (которая незамедлительно начинает всхлипывать) создана по образу и подобию своей старинной закадычной подруги Софронии Лэмл в том смысле, что она тоже предана человеку, завоевавшему ее любовь, и доблестно исполняет обязанности жены. Не найдя другого выхода из тупика, Вениринг на всем скаку осаживает своего ораторского Пегаса и летит кувырком наземь со словами:

— Лэмл! Да благословит вас бог!

Очередь Лэмла. Какое у него все аляповатое! В особенности нос, неправильный, грубый. И каков нос, таковы и манеры и склад ума. Слишком широко он улыбается — трудно поверить в искренность такой улыбки; слишком озабоченно хмурится — а вот озабоченность, видимо, неподдельная; слишком много у него зубов, слишком они крупные — того гляди укусит! Он благодарит вас, дорогие друзья, за ваши добрые слова и надеется, что следующий прием — может быть, по случаю второй столь же радостной годовщины — состоится в помещении, более соответствующем вашим понятиям о гостеприимстве. Ему никогда не забыть, что у Венирингов он впервые встретил Софронию. Софронии никогда не забыть, что у Венирингов она впервые встретила его. Они говорили об этом вскоре после свадьбы и решили не забывать, никогда не забывать. В сущности, Венирингу они и обязаны тем, что брачные узы соединили их, и надеются когда-нибудь на деле доказать свое отношение к нему (Вениринг: «Не надо, не

надо!»). Нет, надо! Пусть не сомневается — они докажут, если только смогут. Их брак с Софронией нельзя считать браком по расчету. У нее было небольшое состояние, у него было небольшое состояние — вот они и соединили свои небольшие состояния. В основе их брака лежало искреннее расположение друг к другу и сходство характеров. Благодарю вас! Они с Софронией любят видеть около себя молодежь, но вряд ли их дом будет подходящим местом для юношей и девушек, которые дали обет безбрачия, ибо созерцание супружеского счастья, царящего в этом доме, может заставить этих юношей и девушек изменить своему обету. О присутствующих, разумеется, не говорят, особенно о таких присутствующих, как маленькая Джорджиана. Еще раз благодарю! И, между прочим, к его другу Фледжби это тоже не относится. Он признателен Венирингу за теплоту, с которой тот отозвался о их общем друге Фледжби, так как этот молодой джентльмен пользуется его величайшим уважением. Благодарю вас! Сказать правду (снова о Фледжби), чем ближе вы с ним знакомитесь, тем больше находите в нем то, что вам хочется найти. Еще раз благодарю! Благодарю от имени моей дорогой Софронии и от своего собственного имени!

Все это время миссис Лэмл сидит молча, опустив глаза на скатерть. Как только мистер Лэмл кончает речь, Твемлоу почему-то снова поворачивается к своей соседке, видимо не избавившись от ощущения, что она хочет заговорить с ним. И на сей раз она действительно с ним заговаривает. Вениринг беседует со своей соседкой слева, и миссис Лэмл начинает вполголоса:

— Мистер Твемлоу!

Он отвечает:

— Да? Простите? — все еще неуверенно, потому что она не смотрит на него.

— Вы истый джентльмен, и я знаю, что на вас можно положиться. Не дадите ли вы мне возможность сказать вам два-три слова, когда мы поднимемся наверх?

— Разумеется! Почту за честь!

— Только, прошу вас, не подавайте виду и не удивляйтесь моему поведению, если оно не будет соответствовать нашему разговору. За мной могут следить.

Чрезвычайно озадаченный, Твемлоу подносит ко лбу

руку и в раздумье откидывается на спинку стула. Миссис Лэмл встает. Все встают. Дамы поднимаются в гостиную. Через несколько минут мужчины идут следом за ними. Эти несколько минут Фледжби посвящает осмотру бакенбард Бутса, бакенбард Бруэра и бакенбард Лэмла и обдумывает, у кого лучше и какие завести ему самому посредством трения, если только Гений его физиономии отзовется на этот способ обработки щек.

В гостиной, как водится, составляются группы. Лайтвуд, Бутс и Бруэр вьются, точно бабочки, вокруг леди Типпинз, похожей одновременно и на оплывающую восковую свечу и на саван. Чужаки охаживают Ч. П. Вениринга и С. Ч. П. миссис Вениринг. Лэмл, сложив руки на груди во образе Мефистофеля, стоит в углу рядом с Джорджианой и Фледжби. Миссис Лэмл садится на диван и, взяв со столика альбом, предлагает его вниманию мистера Твемлоу.

Мистер Твемлоу опускается на кушетку напротив нее, и миссис Лэмл показывает ему какой-то портрет.

— У вас есть все основания удивляться,— тихо говорит она,— но, прошу вас, постарайтесь скрыть это.

Встревоженный Твемлоу пытается скрыть свое удивление и делает его еще более явным.

— Если не ошибаюсь, мистер Твемлоу, вы до сего дня не были знакомы с этим своим дальним родственником?

— Нет, не был.

— А теперь, познакомившись, вы видите, что он собой представляет. Гордиться им нет оснований?

— Сказать по правде — нет, миссис Лэмл.

— Если б вы знали о нем побольше, вам и вовсе не захотелось бы иметь такого родственника. А вот еще один портрет. Что вы о нем скажете?

У Твемлоу хватает присутствия духа, чтобы ответить:

— Большое сходство! Поразительное сходство!

— Вы, вероятно, заметили, кого он удостаивает своим вниманием? Видите, где он стоит и с кем стоит?

— Да. Но мистер Лэмл...

Она бросает на него взгляд, смысл которого ему непонятен, и показывает третий портрет.

— Удачный, не правда ли?

— Прелестный! — говорит Твемлоу.

— Так метко схвачено, что это почти карикатура...

Мистер Твемлоу, мне трудно выразить, какую борьбу я выдержала сама с собой, прежде чем решилась заговорить с вами! И я продолжаю этот разговор только потому, что твердо убеждена — вы не выдадите меня. Подтвердите чистосердечно, что вы не обманете моего доверия, что вы отнесетесь к нему с уважением, даже если у вас не останется ни малейшего уважения ко мне, и я приму ваше слово за клятву.

— Сударыня, клянусь честью джентльмена, хоть и бедного...

— Благодарю. Больше мне ничего не нужно. Мистер Твемлоу, умоляю вас, спасите это дитя!

— Какое дитя?

— Джорджиану. Она жертва. Ее хотят заманить в сети и выдать замуж за вашего родственника. Тут заговор в расчете на большую поживу. У этой девочки нет ни силы воли, ни характера, ее продадут, она не сможет отстоять себя и попадет в кабалу на всю жизнь.

— Чудовищно! Но как я смогу предотвратить это? — вопрошает Твемлоу, растерянный и потрясенный до глубины души.

— А вот еще один портрет. И неудачный, правда?

Ошеломленный непринужденностью, с какой она откидывает назад голову, критическим оком разглядывая портрет, Твемлоу все же соображает, что ему тоже следует откинуть голову, и так и делает. Впрочем, рассмотреть он ничего не может, точно этот портрет находится не перед ним, а где-то в Китае.

— Решительно нехорош! — говорит миссис Лэмл.— Вид неестественный и помпезный.

— Неестественный и по...— Но сбитый с толку Твемлоу не может выговорить это слово и сбивается на «по... жалуй».

— Мистер Твемлоу, ее напыщенный, самовлюбленный отец поверит вам. Вы знаете, как он считается с вашей семьей. Не теряйте времени. Предостерегите его!

— Предостеречь? Но от кого?

— От меня.

К величайшему своему счастью, Твемлоу получает в эту критическую минуту порцию возбуждающего средства, и таким возбуждающим средством ему служит голос мистера Лэмла.

— Софрония, дорогая моя, кого вы там показываете Твемлоу?

— Разных знаменитостей, Альфред.

— Покажите ему мой последний портрет.

— Хорошо, Альфред.

Она кладет альбом на столик, берет другой и, перевернув несколько страниц, показывает Твемлоу своего супруга.

— Вот последний портрет мистера Лэмла. Как он вам нравится? Предостерегите ее отца от меня. Мне так и следует, потому что я с самого начала принимаю участие в заговоре. Он составлен моим мужем, вашим родственником и мною. Я признаюсь вам во всем только для того, чтобы вы поняли, как нуждается эта бедная, глупенькая и привязчивая девочка в друге и спасптеле. Ес отцу всего говорить не нужно. Уж настолько-то вы пощадите меня и моего мужа. Сегодняшнее торжество — сплошной обман, но все же он мой муж, и нам надо как-то жить... Вы находите, что сходство есть?

Твемлоу, не помня себя, делает вид, будто сравнивает портрет, который у него в руках, с оригиналом, который бросает в их сторону мефистофельские взгляды из дальнего угла.

— В самом деле, недурно! — Таковы слова, которые Твемлоу с величайшим трудом, наконец, выдавливает из себя.

— Очень рада, что вам нравится. Пожалуй, это действительно лучший из всех. Остальные слишком темные. А этот портрет мистера Лэмла...

— Но я ничего не понимаю! Я не вижу, каким образом,— бормочет Твемлоу, нерешительно наводя монокль на альбом,— каким образом можно предостеречь отца, не сказав ему всего? Что же надо сказать? Что надо утаить? Я... я просто теряюсь!

— Скажите ему, что я заправская сваха. Скажите ему, что я женщина пронырливая и корыстная. Скажите ему, что, по вашему мнению, его дочери не следует бывать в моем доме, в моем обществе. Все это сказать можно, потому что все это сущая правда. Вы знаете, какой он кичливый и как легко задеть его тщеславие. Скажите ровно столько, сколько нужно, чтобы встревожить его и заста-

вить беспокоиться о дочери, а в остальном пощадите меня. Мистер Твемлоу, вы сразу перестали меня уважать, но хотя я давно пала в собственных глазах, мне больно терять ваше уважение. И все же я твердо полагаюсь на вашу порядочность. Если бы вы знали, сколько раз я пыталась заговорить с вами сегодня, вы пожалели бы меня. Повторных заверений мне от вас не нужно, потому что я удовольствуюсь и всегда буду довольствоваться тем, что вы уже пообещали. Надо кончать наш разговор, потому что за мной следят. Если вы согласны успокоить меня, согласны поговорить с отцом этой невинной девушки и тем самым спасти ее, закройте альбом, прежде чем возвращать его мне, и я пойму, что это значит, и поблагодарю вас в глубине души... Альфред, мистеру Твемлоу, как и нам с вами, тоже больше всего нравится ваш последний портрет.

Альфред приближается к ним. Группы гостей расходятся. Леди Типпинз встает и собирается уезжать, миссис Вениринг следует за своим повелителем. Миссис Лэмл продолжает смотреть на Твемлоу, который разглядывает сквозь монокль портрет Альфреда. Проходит минута — монокль Твемлоу повисает на ленточке, он встает и так громко захлопывает альбом, что хрупкая питомица фей, Типпинз, вздрагивает всем телом.

Прощания за прощаниями. Гости очарованы приемом, достойным золотого века, и опять про копченый окорок и прочее, тому подобное, и вот Твемлоу, невинная, добрая душа, уже бредет по Пикадилли, держась рукой за голову, чуть не попадает под колеса выскочившего из-за угла почтового фургона, но тем не менее благополучно добирается до своего кресла и падает в него, все еще не отнимая руки от головы, обуреваемой вихрем мыслей.

КОММЕНТАРИИ

НАШ ОБЩИЙ ДРУГ

Роман «Наш общий друг» публиковался ежемесячными выпусками с мая 1864 по ноябрь 1865 года, с иллюстрациями Марка Стоуна.

Первый русский перевод был напечатан в «Отечественных записках» в 1864—1866 годах.

Стр. 10. *Сэррейский берег* — южный берег Темзы в пределах графства Сэррей; часть графства входит в состав Лондона.

Стр. 13. *Венеринг* (от англ. veneer) — внешний лоск, показная светскость.

Стр. 16. *Антиной* — юноша идеальной красоты, любимец и постоянный спутник римского императора Адриана.

Стр. 19. *Оуэн* Ричард (1804—1892) — английский биолог, автор многих трудов по анатомии.

Первый джентльмен Европы — прозвище английского короля Георга IV (годы правления 1820—1830), который в годы своего регентства (1811—1820) был законодателем мод.

Стр. 21. *Тобаго* — остров в Вест-Индии.

Кимон — герой одной из новелл «Декамерона» Боккаччо, популяризированной в Англии поэтом и драматургом Драйденом (в «Древних и новых баснях»). Кимон был красив, но неумен и необразован. Любовь преобразила его, он изучил науки, блестяще усвоил изысканные манеры и добился взаимности любимой.

Стр. 23. *В красном плисе и с колокольчиком?.. И с лестницей и корзинкой...*— атрибуты лондонского мусорщика во времена Диккенса.

...насыпал свой собственный горный хребет... а основой его геологической формации послужил мусор.— За несколько лет до создания «Нашего общего друга» журнал Диккенса «Домашнее чтение» упоминал в одной из статей о холме мусора в лондонском районе Холстон, который принадлежал некоему Додду и был оценен в несколько десятков фунтов стерлингов.

Стр. 28. *Кентербери* — старинный город на юго-востоке Англии, резиденция главы англиканской церкви — архиепископа Кентерберийского. В XII—XV веках Кентербери был местом паломничества к гробнице св. Фомы Кентерберийского — архиепископа Томаса Бекета.

Стр. 29. *Легче было бы вернуть к жизни воинство фараоново, которое потонуло в Чермном море.*— По библейской легенде, во время бегства евреев из Египта Чермное (Красное) море расступилось перед беглецами и потопило преследовавшее их войско фараона.

Если б Лазарь сохранился вдвое лучше, и то уж было бы чудо из чудес.— В евангелии рассказывается о воскрешении Христом некоего Лазаря через четыре дня после его смерти.

Стр. 31. *Монумент* — колонна, воздвигнутая в Лондоне в память о грандиозном пожаре 1666 года на том месте, где пожар удалось остановить.

Рэтклиф, Ротерхит — во времена Диккенса лондонские трущобы. Ротерхит был одним из приречных районов, где жили лодочники.

Стр. 43. *...которые явились к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем.*— Намек на происхождение английского дворянства от нормандцев-завоевателей, владычествовавших в Англии после победы войск герцога Нормандии Вильгельма над англосаксами в 1066 году.

Стр. 44. *Чипсайд* — одна из центральных магистралей Лондона.

Стр. 66. *...в процессии...*— Ежегодно 9 ноября, в день вступления в должность лондонского лорд-мэра, в Лондоне происходит торжественная процессия, во время которой проносят городские книги.

Стр. 68. *«Упадок... и ...разрушение...».*— Имеется в виду труд

английского историка Эдуарда Гиббона (1737—1794) «История упадка и разрушения Римской империи».

Пред хижиной стояла дева...— песенка композитора Джорджа Александра Ли (1802—1851) «Солдатская слеза».

Стр. 70. *Прекрасная Розамунда* — фаворитка английского короля Генриха II; побуждаемый ревностью королевы, король укрыл Розамунду в Вудстокском замке, отличавшемся запутанными ходами и переходами.

Стр. 76. *Адриан, Траян, Тит Антонин Пий, Август, Коммод* — римские императоры. *Антонины* — римская императорская династия.

Стр. 97. *Клеркенуэл* — район Лондона.

Стр. 99. *Красногрудый Робин* и другие — персонажи детских песенок из популярного сборника «Том Там».

Стр. 104. *...словно он воскрешает миф о происхождении своей фамилии...*— Венус (Venus) по-английски — Венера. По мифу, она родилась из пены морской.

Стр. 105. *...можете купить скелет в Вест-Энде...*— то есть в районе, где живут состоятельные лондонцы и сосредоточены лучшие магазины.

Стр. 108. *Тэмпл* — район адвокатских контор.

Стр. 109. *Пертинакс* — римский император, убитый мятежными солдатами.

Стр. 110. *...никогда, никогда не будет рабом...*— слова из английской патриотической песни «Правь, Британия» поэта Томсона (1700—1748) и композитора Арна (1710—1778).

Стр. 113. *Азенкур и Креси* — места двух битв англичан с французами: при Креси — в 1346, при Азенкуре — в 1415 году.

Стр. 115. *Докторс-Коммонс* — особая юридическая коллегия, в компетенцию которой входило рассмотрение дел церкви, Адмиралтейства и споров о наследстве.

Стр. 119. *Клиффордс-Инн* — одна из юридических корпораций, обладающих правом присваивать звание адвоката.

Панч — главный персонаж английского народного кукольного представления.

Стр. 143. *...в позе Колосса Родосского.*— Имеется в виду знаменитая тридцатиметровая бронзовая статуя бога Солнца, сооруженная на острове Родос в Эгейском море.

Стр. 147. *...его величество Георг III соизволил милостиво заметить: «Что, что? Кого, кого? Зачем, зачем?»* — Английский король Георг III (годы правления 1760—1820) страдал душевной

болезнью, за девять лет до смерти был признан умалишенным и отстранен от правления.

Бонд-стрит — улица модных магазинов.

Стр. 151. *Остров Уайт* — остров у южного побережья Англии, славится своими пляжами; является и зимним курортом. *Шэнклин* — знаменитое ущелье на этом острове.

Стр. 168. *...будь я трубочистом на майском празднике.*— У лондонских трубочистов был традиционный праздник 1—3 мая. В маскарадных костюмах, вооруженные атрибутами своей профессии, они проходили шумными группами, с музыкой и танцами, по улицам города, а потом собирались за пиршественным столом.

Стр. 177. *«Времена года»* — цикл поэм английского поэта Джеймса Томсона (1700—1748).

Стр. 179. *Не было бы возни с прецедентами...*— Английское судопроизводство нередко опирается на прецеденты — предыдущие судебные решения по аналогичным делам.

Уоллзендский уголь — сорт мелкого угля.

Герцог Веллингтон (1769—1852) — национальный герой Великобритании, возглавлявший союзную армию (Англии, Голландии, Пруссии), одержавшую в 1815 году победу над Наполеоном в битве при Ватерлоо.

Стр. 182. *Альфред Дэвид* — искажение юридического термина «affidavit» (письменное показание перед судом).

Стр. 186. *...клянусь Георгием и Драконом!* — В Англии очень популярна христианская легенда о св. Георгии, спасшем девушку от дракона.

Стр. 191. *Уайтфрайерс* — район Лондона.

Стр. 200. *Гай Фокс* — один из организаторов неудавшегося католического заговора 1605 года против короля Якова Первого. Сигналом к выступлению заговорщиков должен был послужить взрыв парламента во время тронной речи короля. Взорвать бочки с порохом в подвалах палаты лордов было поручено Фоксу.

Стр. 216. *Ньюгетский календарь* — справочник о преступниках, отбывавших наказание в Ньюгетской тюрьме, главной уголовной тюрьме Лондона.

Стр. 221. *Чертог, чертог веселья полон... Как плакала дева...*— искаженная Вегтом популярная песенка английского композитора Джона Бернетта.

Осужденный скитаться по свету... — английская народная баллада.

Стр. 227. *Степни-Филдс* — район в восточной части Лондона, населенный беднотой.

Стр. 228. *Оплакивать тот час...* — строки из стихотворения английского поэта Томаса Мура (1779—1852) «Обитель Эвелины».

Стр. 229. *Навсегда прощай, мой ялик!* — песенка английского поэта и драматурга Чарльза Дибдина (1745—1814) «Бедный Том».

Стр. 250. *Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский священник и поэт; автор литературно-психологических опытов «Фрагменты физиогномистики» (1774—1778), считавший лицо зеркалом души.

Стр. 255. *...их отцы доблестно сражались на Пиренейском полуострове...* — то есть участвовали в войне Испании, Португалии и Англии против Наполеона Бонапарта (1808—1814).

Стр. 260. *Хэймаркет* — во времена Диккенса один из самых грязных лондонских рынков; излюбленное место сборища босяков.

Стр. 265. *...взрастить к утру из этого цветка волшебный боб вершиной до неба...* — взято из английской народной сказки «Джек и бобовый стебель».

Стр. 282. *Вот драгун лихой на диво!* — строфа из стихотворения английского поэта и драматурга Хэрри Кэри (?—1743), автора эксцентрических юмористических произведений.

Стр. 295. *Ч. П.* — начальные буквы слов «член парламента»; обычное английское сокращение.

Стр. 296. *Приам* — в греческом эпосе — последний царь Трои.

Стр. 299. *Пэлл-Мэлл* — фешенебельная улица в Лондоне.

Стр. 301. *Белгравия* — аристократический район Лондона.

Стр. 326. *Триктрак* — старинная комбинированная игра в шашки и кости. Шашки передвигаются по доске в соответствии с очками, выпавшими на костях.

Олбени — богато меблированные комнаты на Пикадилли.

Стр. 327. *Вестминстер-Холл.* — Имеется в виду здание, примыкавшее к западному крылу Вестминстерского дворца, где находилось несколько судов первой инстанции.

Стр. 359. *Гоните меланхолию!* — популярная английская песенка на мотив арии из оперы «Волшебная флейта» Моцарта.

Стр. 368. *Держи по ветру и брасопь нок-реи...* — куплет популярной английской песни «При любой погоде».

Могучий дуб английский — искаженные Веггом слова из песни С. Дж. Арнольда (1774—1852) «Смерть Нельсона».

Стр. 387. *Гринвич* — лондонский район, где в гостинице «Корабль» происходили знаменитые правительственные банкеты.

Стр. 388. *«Саул»* — оратория немецкого композитора Генделя (1685—1759).

Стр. 389. *Ньюкасл* — город и порт в Англии, центр крупного угольного района.

Стр. 390. *Грейвзенд* — порт на Темзе, который называют «воротами Лондона».

...уподобившись султану из восточной сказки, окунул бы голову в чашу с водой... — В арабской сказке «Две жизни султана Махмуда» волшебник окунает на мгновение голову султана в воду. Султан видит там картины предстоящего ему путешествия, кораблекрушения, видит, как попадает в рабство и превращается в осла.

Стр. 410. *Аргус* (древнегреч. миф) — неусыпный страж, обладавший множеством глаз.

Стр. 427. *...дали дочери такое имя...* — Плезент (Pleasant) по-английски значит «приятная».

Стр. 433. *Уэппинг* — приречный район Лондона, неподалеку от доков.

Стр. 436. *Фортунатов кубок* — то есть кубок, всегда полный вином. Фортунат — герой германских легенд эпохи Возрождения; владелец кошелька, в котором не переводились деньги.

Стр. 438. *Олд-Бейли* — во времена Диккенса центральный лондонский уголовный суд.

Стр. 492. *«Удольфские тайны»* — один из лучших романов Анны Радклиф (1764—1823), главной представительницы английского «романа ужасов и тайн».

Д. ШЕСТАКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

НАШ ОБЩИЙ ДРУГ

Книга первая
Уста и чаша

Книга вторая
Одного поля ягода

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 24

Редактор Н. Дынник. Художник Е. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская.
Технический редактор Г. Каунина. Корректор В. Седова

Сдано в набор 17/III 1961 г. Подписано к печати 12/V 1961 г.
Бумага 84 × $108^1/_{32}$—16,5 печ. л. 26,7 усл. печ. л. 25,85 уч.-изд. л.
Тираж 400 000 (275 001—400 000) экз. Заказ № 3542. Цена 1 р.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.